

# НАШ СОВРЕМЕНИК

---

*Журнал писателей России*

---



**№ 6 2023**



### *К 100-летию Игоря Ростиславовича Шафаревича*

Гениальный математик, в 17 лет окончивший физико-математический факультет МГУ, ставший доктором наук в 23 года, лауреат Ленинской премии, Игорь Ростиславович в конце 1980-х годов стал постоянным автором “Нашего современника” и членом его редакционной коллегии. Его статьи, регулярно публиковавшиеся в 1990-е годы на наших страницах — “Шестая монархия”, “Россия наедине с собой”, “Под знаком Смуты”, “Россия и мировая катастрофа”, “Была ли “перестройка” акцией ЦРУ?”, “Как умирают народы”, — стали предметом внимательного и пристального рассмотрения как читающего народа, так и власти, которая 6 лет назад предпочла “не заметить” кончину выдающегося учёного, историка, публициста.

“Для России вновь настали судьбоносные времена, — писал он в июне 1991 года. — К несчастью, нам всем, всем народам России, не было дано спокойно осмыслить опыт предшествующей катастрофы. И как бы нам всем не повторить ещё раз тех же ошибок, но в больших размерах, с ещё более страшными последствиями!”

И сегодня мы повторяем эти же слова: “Для России вновь настали судьбоносные времена”.



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-  
ГОНЧЕНКО,

А. В. ВОРОНЦОВ,

Т. В. ДОРОНИНА,

С. Г. КАРА-МУРЗА,

В. Н. КРУПИН,

Ю. М. ЛОЩИЦ,

Д. Н. НИКОЛАЕВ,

Ю. М. ПАВЛОВ,

И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,

З. ПРИЛЕПИН,

Е. С. САВЧЕНКО,

В. В. СОРОКИН,

ТИХОН (ШЕВКУНОВ)  
митрополит Псковский  
и Порховский,

А. Ю. УБОГИЙ,

Р. М. ХАРИС,

М. А. ЧВАНОВ,

С. А. ШАРГУНОВ,

В. А. ШТЫРОВ

## Содержание

### Писатель и общество

Сергей КУНЯЕВ  
Писатель и общество ..... 3

### Поэзия

Александр РЫЖОВ  
Сиреневая высь легка... ..... 9

Николай КОНОВСКОЙ  
Может быть, это любовь... ..... 25

Николай АЛЕШКОВ  
По дороге в Болдино ..... 71

Саха ИРБЕ  
Дни вселенской чистоты..... 126

### Проза

Александр ЩЕРБАКОВ  
Одиннадцатая заповедь.  
Рассказы ..... 13

Анатолий САЛУЦКИЙ  
От войны до войны. Роман ..... 28

Пётр АЛЁШКИН  
Тамбовские волки. Роман..... 73

Валентин НЕКЕНОВ  
Я погиб под Новый год.  
Рассказ ..... 123

Андрей НЕКРАСОВ  
Задайте Богу вопрос.  
Повесть ..... 129

Олег КУЛАГИН  
Огромное небо Донбасса.  
Повесть ..... 166

### Очерк и публицистика

Михаил ДЕЛЯГИН  
Ключевая задача социальной  
инженерии ..... 207

Наталья ИРТЕНИНА  
Вассиан Ростовский против  
“пацифистов” ..... 217

Михаил СЕМЁНОВ  
Академик Игорь Курчатов:  
“Я счастлив, что родился  
в России” ..... 225

## Редакция

Приёмная —  
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —  
*генеральный директор,  
отдел публицистики* —  
(495) 625-01-81

К. К. Сейдаметова —  
*первый заместитель  
главного редактора,  
отдел поэзии* —  
(495) 625-02-81  
ns-poetry@yandex.ru

А. Ю. Сегень —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47  
ns-proza@yandex.ru

*отдел критики* —  
(495) 625-30-47  
ns-kritika@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

## Встречи с читателями

Александр МОСКВИН  
На фоне катастрофы ..... 232

Константин ШАКАРЯН  
Здравствуй, слово, здравствуй! .. 235

Дарья ИЛЬГОВА  
Провинциальность как приём .... 237

Дарья ФОМИНА  
Герой нашего времени,  
или Библиотечная одиссея ..... 239

Антон ЗВЕРЕВ  
По волнам моей памяти ..... 243

Кристина ШРАМКОВСКАЯ  
Ускользящая красота ..... 246

## Память

Марианна ДУДАРЕВА  
Валерий Дударев:  
обратная перспектива.  
Стихи последних лет ..... 247

## Критика

Евгений ЧЕБАЛИН  
Длинная палка  
“Большой книги” ..... 253

Тамара КУПРИНА  
От встречи до встречи ..... 260

## Книжный развал

Владимир ГОЛУБЕВ  
Человек без кожи ..... 274

## Среди русских художников

Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ  
Кому противостоял  
Борис Штоколов ..... 278

Марина ПЕТРОВА  
О традициях в русском  
искусстве ..... 284

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2

Сайт в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru), эл. почта: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.  
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова  
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.06.2023. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 117342, Москва, Севастопольский проспект, 56/40 с1.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 [www.redstarprint.ru](http://www.redstarprint.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО

В складывающейся ситуации, когда завершились крахом пророчества Френсиса Фукуямы в его сочинении “Конец истории и последний человек” – о финале социокультурной эволюции человечества, окончательного утверждения либеральной демократии западного образца, конца идеологических противостояний, искусства и философии – снова вступает в свои права власть художественного слова.

“Цель искусства, – писал Вадим Кожинов, – в том числе и искусства слова – вовсе не в том... чтобы фиксировать те или иные характерные явления и приметы времени, но в глубоком и масштабном освоении человеческого содержания эпохи. Сталкиваясь с новой, небывалой ситуацией в человеческом бытии, искусство стремится... не фотографировать эту ситуацию, а заново осмыслить в её свете сущность самого бытия людей – в частности, как бы вернуться к основам, к истокам...”

И здесь самое время для новой постановки старой проблемы – писатель и общество.

На рубеже 80–90-х – годов прошлого века в сознание общества настойчиво, назойливо, декларативно вдальблывалось, что литература в России должна перестать занимать то место, которое она всегда занимала, сосредотачивая в себе и философию, и социологию, и осмысление текущей жизни, и прогнозы на будущее. Настоящему издевательству подверглось устойчивое представление о России, как о самой читающей стране.

“Телевидение почти свернуло показ фильмов отечественного кинематографа, – писал Юрий Минарелов, – на смену которым пришли низкопробные западные “сериалы” мелодраматического и детективного характера, отличающиеся к тому же скверной игрой актеров, да еще фильмы откровенно порнографического содержания. Тогда же, в начале 90-х, было практически прекращено транслирование по радио и телевидению народных и вообще отечественных песен (песни Великой Отечественной на некоторое время зазвучали лишь в середине десятилетия – в преддверии праздновавшегося во всем мире юбилея победы над фашизмом). Параллельно было почти прекращено транслирование русской (как, впрочем, и зарубежной) классической музыки – услышать симфонию Чайковского, Калининкова или Рахманинова (а также музыку Баха, Бетховена или Брамса) и сегодня почти невымыслимо где-либо, кроме вещающей на УКВ специальной радиостанции “Орфей” (в 90-е годы её не раз пытались закрыть из-за коммерческой “невыгодности”). А в “тоталитарном” СССР музыкальная классика звучала по всем каналам.

...Складывалось впечатление, вряд ли бесосновательное, что в России не просто прекращена государственная работа по развитию отечественной культуры, но и широко и планомерно осуществляется нечто антикультурное.

Особая тема — то, что не только было *прекращено* патриотическое воспитание молодежи через СМИ (которое, естественно, ведется во всех странах мира), но само понятие патриотизма всячески дискредитировалось и осмеивалось в этих самых средствах. Взамен со всех каналов радио и телевидения посыпались призывы к “наслаждению” (а именно к тому, что православие четко именуется “плотским наслаждением”), замелькала реклама жвачки, пива, прохладительных напитков, презервативов и пр. Даже извращенцы, переименованные в “сексуальные меньшинства”, стали регулярно показываться на телеэкранах, “уча жизни” молодежь. Патриотизм тщились заменить эгоизмом, личным бесстыдством и откровенным скотством”.

В то время писателям настойчиво внушалось, что литература должна стать “частным делом”, как на Западе, что социальные проблемы, реальное воплощение смыслов человеческого бытия — нечто для неё чуждое, что это — лишь игра в слова. . . Этот морок длился почти три десятилетия и не изжит до конца по сей день.

А ведь самое время вспомнить, что в XIX веке в реальной жизни проявляли себя человеческие типы, воплощённые классическим пером Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Лескова, что их герои становились спутниками жизни каждого просвещённого человека.

Именно в XIX веке литература для русского читателя стала всем — и философией, и социологией, и указанием на будущее, явленными не в отвлечённых понятиях, а в живых образах. И писатель был вечным собеседником, учителем, наставником, каждый раз открывающим и в жизни, и в литературе нечто новое, благотворное, жизнедеятельное.

И здесь чрезвычайно важно, на мой взгляд, вернуться в прошлое, “к основам, к истокам”, обратиться к размышлениям наших классиков, касающихся усвоения русской мыслью мысли европейской.

Из статьи Ивана Киреевского “О характере просвещения Европы и его отношения к просвещению России”:

“Многовековой холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло Европейское просвещение от самого начала своего развития; так, что собственные его коренные начала, из которых оно выросло, сделались для него посторонними, чужими, противоречащими его последним результатам; между тем как прямою собственностью его оказался этот самый разрушивший его корни анализ. . .

. . . Не мыслители Западные убедились в односторонности логического разума, но сам логический разум Европы, достигнув высшей степени своего развития, дошел до сознания своей ограниченности и, уяснив себе законы собственной деятельности, убедился, что весь объем его самодвижной силы не простирается далее отрицательной стороны человеческого знания. . . большая часть мыслителей Европейских, не в силах будучи вынести ни жизни тесно эгоистической, ограниченной чувственными целями и личными соображениями, ни жизни односторонне умственной, прямо противоречащей полноте их умственного сознания, чтобы не оставаться совсем без убеждений и не предаться убеждениям заведомо неистинным, — обратились к тому избегу, что каждый начал в своей голове изобретать для всего мира новые общие начала жизни и истины, отыскивая их в личной игре своих мечтательных соображений, мешая новое с старым, невозможное с возможным, отдаваясь безусловно самым неограниченным надеждам, и каждый противореча другому и каждый требуя общего признания других. . . . Такое состояние умов в Европе имело на Россию действие противное тому, какое оно впоследствии произвело на Запад. Только немногие, может быть, и то разве на минуту, могли увлечься наружным блеском этих безрассудных систем, обмануться искусственным благообразием их гнилой красоты; но большая часть людей, следивших за явлениями Западной мысли, убедившись в неудовлетворительности Европейской образованности, обратили внимание свое на те особенные начала просвещения, не оцененные Европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще замечаются в ней помимо Европейского влияния.

Русские ученые, может быть в первый раз после полутора лет, обратили беспристрастный, испытующий взор внутрь себя и своего отечества. . . они были до сих пор обмануты; не потому, чтобы кто-нибудь с намерением хотел обмануть их, но потому, что безусловное пристрастие к Западной

образованности и безотчетное предубеждение против Русского варварства заслоняли от них разумение России... Россия, отделившись духом от Европы, жила и жизнью отдельно от нее. Англичанин, Француз, Итальянец, Немец никогда не переставал быть Европейцем, всегда сохраняя притом свою национальную особенность. Русскому человеку, напротив того, надобно было почти уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться с образованностью Западною; ибо и наружный вид, и внутренний склад ума, взаимно друг друга объясняющие и поддерживающие, были в нем следствием совсем другой жизни, проистекающей совсем из других источников...

Об этом же говорили и Пушкин ("Поймите же... что Россия никогда не имела общего с остальною Европою, что история её требует другой мысли, другой формулы"), и Чаадаев ("Россия не имеет привязанностей, страстей и интересов Европы... Возьмите любую эпоху в истории западных народов... и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации... Поэтому нам незачем бежать за другими, нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое").

Пушкин был неоценимым собеседником и для власти, и для читающего народа – после роковой дуэли к его дому стекались многочисленные толпы и германский дипломат князь Гогенлоэ написал в дневнике, что о поэте скорбит "чисто русская партия, к которой принадлежал Пушкин".

Раскол русской общественной мысли на направления "славянофильское" и "западническое" роковой чертой прошёл по читающему обществу – и оно внимало, как заворожённое, и "Философическим письмам" Чаадаева, и "Письму" Белинского к Гоголю, и тургеневскому Базарову, по образу и подобию которого "строили жизнь" многие и многие молодые люди, и Достоевскому, рассказавшему о преступлении и наказании Родиона Раскольникова.

Литература, действительно, была всем. И насколько она в Отечестве "всё" – стало очевидно воочию 8 июня 1880 года, когда Достоевский произнёс свою знаменитую речь о Пушкине в Обществе любителей российской словесности. "Когда... я провозгласил в конце о всемирном единении людей, – то зала была как в истерике, когда я закончил, я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить... Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. "Вы гений, вы более чем гений!" – говорили они мне оба... С этой поры наступает братство и не будет недоумений" (из письма Ф. М. Достоевского жене). "Не просто речь, а историческое событие, – заявил Иван Аксаков. – С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я, например, и представители западничества, как Тургенев".

Достоевский говорил о преодолении раскола русского сознания: "О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей".

Конечно, с этим согласны были не все. Речь вызвала полемические отклики и Глеба Успенского, и Константина Леонтьева.

Но вот как интерпретировал основную суть речи Достоевского Вадим Кожин четыре десятилетия тому назад:

"...для Запада, выросшего на "сгнивших" развалинах поверженного древнего мира (культуру которого победители на данной стадии своего развития еще не могли оценить и принять), в новом мире существовал только один полноценный "субъект" – он сам; **весь** остальной мир был только "объектом" его деятельности. Как говорил одновременно с Гегелем Чаадаев, "Европа как бы охватила собой земной шар... все остальные человеческие племена... существуют как бы с ее соизволения". Эта мировая ситуация западной культуры чревата тяжелейшими последствиями, которые в наше время с жестокой ясностью предстали перед самим Западом.

Правда, и сознавая все это, нельзя переоценить величие истории Запада. Опираясь всецело на самого себя, он действительно явил торжество свободы

деяния и мышления. Его история есть подлинно **героическое** освоение мира...

Да, западный человек в самом деле осознал себя по отношению к “внешнему миру” — и природному, и человеческому — в качестве “человекобога”. Это было совершенно необходимой основой западной героики, западного свободного творчества. Но одновременно это означало, что Византия и государство ацтеков, Индия и Китай и, конечно, Россия — только **объекты** приложения сил Запада и не имеют никакого всемирно-исторического значения...

Сохранить и развить единство народности и всечеловечности — это не только труднейшая, но и в полном смысле слова творческая задача, которая для своего осуществления нуждается не только в разумном ее понимании, но именно в напряженном и вдохновенном творчестве.

И если происходит разрыв, распад единства всечеловечности и народности, первая вырождается в космополитизм, а вторая — в национализм. Оба эти явления, впрочем, характерны лишь для сугубо боковых, периферийных линий русской литературы; ее основное, стержневое движение всегда сохраняло единство всечеловечности и народности...

А теперь отойдем от речи, только что произнесенной Достоевским, на три года назад и обратимся к страницам “Дневника писателя” за 1877 год. Первая реакция в обществе на объявление Россией войны Османской империи:

“Все чувствуют, что началось что-то окончательное, что наступает какой-то конец чего-то прежнего, долгого, длинного прежнего и делается шаг к чему-то совсем уже новому, к чему-то преломляющему прежнее надвое, обновляющему и воскрешающему его уже для новой жизни и... что шаг этот делает Россия!..”

Россия! Но как же она может, как она смеет? Готова ли она? Готова ли внутренне, нравственно, не только матерьяльно? Там Европа, легко сказать Европа! А Россия, что такое Россия? И на такой шаг?...

Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь “братьев-славян”, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задохнулись, сидя в немощи растления и в духовной тесноте...

...Они проповедают о человеколюбии, о гуманности, они скорбят о пролитой крови, о том, что мы еще больше озвереем и осквернимся в войне и тем еще более отдалимся от внутреннего преуспеяния, от верной дороги, от науки. Да, война, конечно, есть несчастье, но много тут и ошибки, в рассуждениях этих, а главное — довольно уж нам этих буржуазных нравоучений! Подвиг самопожертвования кровью своею за всё то, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение...

И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями — войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов. Налажено, что мир родит богатство — но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразившись болезнями богатства, сама передает заразу и остальным девяти десятым, хотя и без богатства. Заражается же она развратом и цинизмом. От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. Чувство изыщного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость. Грузная и грубая душа сладострастника жесточе всякой другой, даже и порочной души. Иной сладострастник, падающий в обморок при виде крови из обрезанного пальца, не простит бедняку и заточит его в тюрьму за ничтожнейший долг. Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, общается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: “Всякий за себя и для себя”; бедняк слишком видит, что такое богатч, и какой он ему брат, и вот — все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие”.

Даже сейчас для многих эти мысли могут оказаться совершенно неприемлемыми — даром, что сформулированы они как будто в наши дни, а не полтора



века назад. . . И в те же дни, когда писательское слово обрело связь с читателем на страницах газет, когда живое восприятие образа творца и его героя невозможно было заменить ничем, Лев Толстой писал о сущности искусства:

“Искусство не есть, как это говорят метафизики, проявление какой-то таинственной идеи, красоты, бога; не есть, как это говорят эстетики-физиологи, игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не есть производство приятных предметов, главное — не есть наслаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах”.

А это — размышления Чехова о современной ему литературе:

“Теперьшняя литература — это начало работы во имя великого будущего, работа, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего, Бога. . .”

Пройдет еще более полувека, и в годы Великой Отечественной, нового “подъема духа нации”, когда классическая литература поверялась каждым днем современности, а каждый день современности — более чем тысячелетней отечественной историей, когда стихи Пушкина, Блока, Есенина, Тютчева, “Тарас Бульба” Гоголя, “Брусиловский прорыв” Сергеева-Ценковского зачитывались до дыр солдатами и офицерами — Михаил Пришвин записывал в дневник:

“Теперь даже один наступающий день нужно считать за все время. Никто и никак теперь не может сказать, будет ли за этой жизнью в Усолье какая-нибудь другая благополучная <...> все равно, эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас будут значительней всех будущих дней. . .”

О время, время какое! Все маски сброшены с государства и с церкви, и все пережитое человечеством в этих формах опрокидывается в открытую душу каждого, как бремя, которое он должен вынести. . .

. . . Ближе и ближе подступает к нам та настоящая тотальная война, в которой станут на борьбу действительно все, как живые, так и мертвые.

Ну-ка, ну-ка, вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил! . . .”

Пройдет ещё четыре десятилетия — и уже Вадим Кожин обратится к нам — нынешним — словами статьи “И назовёт меня всяк сущий в ней язык. . .”, связывая единым историческим контекстом Пушкинскую речь Достоевского и отстоящую от неё на пять столетий Куликовскую битву, которая, по его словам, “была битвой русского народа прежде всего с всемирной космополитической агрессией. . . Куликовская битва была направлена не против какого-либо народа, но против поистине “тёмных” сил тогдашнего мира” (Кожин).

Опять же — словно о нашем нынешнем дне.

“Нигде не жизненна литература так, как в России, — это Александр Блок, — и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас”.

И свежей кровью в наши дни наливаются его слова более чем вековой давности:

“Быть вне политики”? С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству справляться с людьми, как ему угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит — кто-то будет только “с политикой” и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно, т. е. воевать, сколько ему заблагорассудится, заключать торговые сделки с угнетателями того класса, от которого мы ждем появления новых исторических сил, расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской жизни. Мы не будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону. Вряд ли при таких условиях мы окажемся способными оценить кого бы то ни было из великих писателей XIX века. Мы уже знаем, что значит быть вне политики: это значит — стыдливо закрывать глаза на гоголевскую “Переписку с друзьями”, на “Дневник писателя” Достоевского. . .”

Приветствуя участников фестиваля “Таврида. Арт”, президент России произнёс следующие слова:

“Вы представляете различные направления культуры и искусства, но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь

к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру – великой. . . Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений”.

Здесь, пожалуй, следовало бы особо выделить литературу, как фундаментальную часть культуры в целом, обеспечивающую это саморазвитие. Слова о том, что Россия самоопределяется, что культура находится в центре геополитического противостояния, не должны остаться только словами. Литература – главная “мягкая” сила России. Но с тех пор как власть отвернулась от литературы – последние три десятилетия, роковые в отечественной истории, – она так и не повернулась к ней лицом. И положение дел, увы, не меняется. Писателей, которые в России, как явствует из всего вышеизложенного, всегда были самой влиятельной общественной силой, сегодня, в час грозных испытаний не слышно...

Общество ждёт перемен.

**P. S.**

Со второго полугодия в журнале стартует новая рубрика под названием “Писатель и общество”. В этом разделе читатели смогут познакомиться со статьями критиков, литературоведов и публицистов на обозначенную тему.

АЛЕКСАНДР РЫЖОВ



## СИРЕНЕВАЯ ВЫСЬ ЛЕГКА...

\* \* \*

Мне бы пережить этот самый день  
И увидеть, как по седой траве  
На замену выплаканной среде  
Пьяною громадой идёт четверг.  
Он придёт расхристанный, на рогах,  
В обуви завалится на кровать.  
Для него печали мои — лузга,  
На мои тревоги ему плевать.  
Он дугой тугой моё горе гнёт,  
Треплет грусть мою на семи ветрах.  
Он живёт собою — одним лишь днём,  
Для него нет завтра и нет вчера.  
Он закрутит стрелки стенных часов.  
Бесшабашность с шабашем пополам!  
Чтобы сутки сыпались, как песок,  
И дрожал испуганный циферблат,

---

*РЫЖОВ Александр Сергеевич (Александр Руж) родился в Оленегорске Мурманской области. Писатель, поэт, сценарист. Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Работал корреспондентом в газете, редактором муниципального радио. Автор множества книг поэзии и прозы. Публиковался в периодических изданиях и альманахах Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Мурманска, Самары, Саратова, Набережных Челнов, Петрозаводска и др. Лауреат литературной премии Баева-Подстаницкого, премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, премии "Неизбывный вертоград" имени Н. Тряпкина. За книгу "Зов Полярной звезды" удостоен национальной премии "Русский детектив" в номинации "Открытие года" (2021). Член Союза писателей России. Живёт в Мурманске.*

Чтоб минуты мелко мололись в мел,  
Чтоб зыбун забвенья раззявил пасть...  
И глаза мои занавесит хмель,  
К коему припасть — почитай пропасть.  
Но когда сплетётся полночный плат,  
Блѣстками усеян — где в желчь, где в синь, —  
Мой приятель рухнет из-за стола  
И завоюет так, что Господь спаси!  
А потом за двери (пора! пора!)  
Торопливо выскользнет, словно тать.  
И вернётся память, и до утра  
Будет отходную мне напевать.

\* \* \*

Мне б дожить до весны —  
До крикливой, расхристанной и бестолковой,  
Чтоб успеть наглотаться сырых её запахов всласть.  
И по гнили прогалин прошлёпать,  
Перчаток срывая оковы,  
И упасть... чёрт бы с ним!.. вон туда,  
В эту кислую топкую грязь.  
Буду пьян.  
Буду сед от последнего подлого снега,  
Что рассыплется брызгами, схожими с первым дождём.  
И умрут талисманы, раскрошатся в пыль обереги,  
И опора уйдёт из-под ног.  
А потом... а потом...  
Не заглядывай вдаль!  
Там такая туманная россинь,  
Что за ней, как ни пыжься, не разглядишь ни рожна.  
Я влипаю, как муха, в проклятую чёрную осень,  
Где надежда уже не важна  
И любовь не нужна.  
Всё, что надобно мне —  
Не мечта о несбыточном чуде,  
А всего только всплеск талой влаги,  
Ворвавшийся в сны.  
Пусть не будет за ним ничего,  
Даже лета не будет —  
Всё равно...  
Мне бы только дожить  
До последней весны.

\* \* \*

Как идёт тебе это платье!  
Из волнительно-дерзкой ткани,  
С колыхающимся подолом...  
И сапожки на каблучках.  
Не в пример надоевшим джинсам  
Из некачественной дерюги,  
Этим грубым полуботинкам  
И растянутым свитерам.  
Да, я знаю, что здесь не климат,  
Преотвратнейшая погода,  
На морозе коленки зябнут...  
Но ведь, чёрт возьми, красота!

Ты шагай в этом платье дивном  
С колыхающимся подолом  
Через горести и напасти, —  
Как бурьян, их сминой легко!  
И когда меня вдруг не станет,  
Пусть же в цокоте каблучковом  
Оживёт хоть на миг биенье  
Сердца глупого моего...

\* \* \*

Падают старые тополя,  
Вздыбив над травами ржавые корни.  
Падают,  
    в жуткой предсмертной агонии  
Жухлыми кронами шевеля.  
Падают старые тополя,  
Выбившись вдруг из рядов сплочённых,  
Медленно, страшно и обречённо —  
В заросли хрусткого ковыля.  
Видимо, всё же опора тонка:  
Освободившись от строп и от лямок,  
Рушится прошлое с тополями,  
Падают месяцы, годы... века...  
Падают старые тополя.  
Валит их время могучими лапами.  
Гаснут селенья, как старые лампы,  
Гаснут дороги, сады и поля.  
Новыми порами дышит земля,  
Новой историей обрастает.  
Видишь? — былое сбивается в стаю  
И улетает, и улетает...  
Падают старые тополя...

\* \* \*

Скоро лето спустит багровых гончих,  
Скоро буду вереском я запятнан  
И взамен судьбы нарисую прочерк,  
Прикорнув у рощицы на запятках.  
Скоро будет, видимо, не до шуток.  
Сны мои июнь обглодает дочиста,  
И шиповник шальный — ловкач и шулер —  
Мне швырнёт потрёпанное одиночество.  
У ручья водой наполняю флягу,  
Мне дорога срочные шлёт повестки.  
Скоро будет, видимо, не до ягод,  
Что развесил щедро июль по веткам.  
Август меня более не согреет,  
И не хлынут вирши мои за дамбы.  
Захирели звуки в силках хореев,  
Провалились гласные в ямы ямбов.  
А потом сентябрь заскулит, задразнит,  
Оживит в трахее скрипучий кашель.  
Погляди-ка: осень — скупой лабазник —  
Сыплет про запас перелётных пташек.  
В белую труху злой пырей сопреет,  
За осенней вязью жди вязь иную.  
Хорошо, что печка всё так же греет!  
Выпью. Призадумаясь. Зазимую.

\* \* \*

Ты по городам, а я на выселках.  
В стороны нас тащат полюса.  
Там, где ты, — сиреневая высь легла,  
Там, где я, — в сирени палисад.  
Там, где ты, — тепла на самом донце,  
Там, где ты, — морошины в горсти.  
Ночью бьётся северное солнце  
В окна осовелые квартир.  
Там, где я, — наливки и наливники,  
Там, где я, — полёвки и плетень;  
Там закат безжалостным опричником  
Четвертует уходящий день.  
Скоро вырвусь из дневного плена я,  
И проглотит ночь меня живьём,  
Чтобы мне привиделась Вселенная —  
Та, где мы.  
Наедине.  
Вдвоём.

\* \* \*

Всё сходится нынче: и даты, и люди, и звёзды.  
Считать совпадения — в моей ли слабеющей власти?  
Я чёрный работник без права на радость и роздых,  
Бессменный старатель на приисках истовой страсти.  
Осеннее солнце. Последняя правда природы.  
Сухие деревья, как грани веков, полустёрты.  
Мне трудно дышать. Это будущей эры зародыш  
Растёт из предсердия, взрывая гортань и аорту.  
Я дам ему волю. Я стану пустой оболочкой,  
Покинутым ульем, мякиной, ботвой, шелухой...  
И скроюсь навек, поперхнувшись прощально строчкой,  
В высокой траве, под пахучей вздыхающей хвоей.

## СОЛНЦУ

Умер твой Кукулькан, в отставку отправлен Ра,  
Но тебе всё равно, оранжевощёкий идол.  
Тени яблонь в саду я сегодня читал с утра,  
Как читал Шампольон пиктограммы на древних плитах.  
Мне пригрезились в роще тевтонских подков следы.  
Слышишь? Лес шелестит, словно шумные князья стяги.  
Можно, землю копнув, отыскать меж вальжжных дынь  
Половецкий кинжал или жёлтую кость варяга.  
То ли заступа скрип, то ли пращуров тихий стон...  
Мы глядим друг на друга сквозь поры земли, сквозь щёлки.  
Тот сармат, чьё ребро под малинным гниёт кустом,  
Точно так же любил тебя, идол оранжевощёкий.  
Точно так же любил тебя сброд из окрестных сёл,  
Что прошёл чрез столетья, тобою и водкой палимый.  
Торфяные трясины, рассыпчатый краснозём...  
Всё, что тронут солнцем, всё живо.  
Неповторимо.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



## ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

РАССКАЗЫ

### ПОГИБ ОТ ЛЮБВИ

Немало лет минуло с той поры, но и поныне, когда случается пересекать Енисей в его минусинских верховьях, я неизменно вспоминаю эту печальную историю — не то быль, не то легенду...

В далёком отрочестве мне, как и всем деревенским мальчишкам, страстно хотелось увидеть город. Я, правда, уже бывал в Минусинске, даже ночевал там в нашей колхозной гостинице — “заезжей”, — но он считался как бы не настоящим городом. Несмотря на приметный среди деревянных домов краснокирпичный Мартьяновский музей, на сине-белую церковь, сияющую над енисейской протокой своими золотыми куполами и крестами, на живописный, с каменными кружевами, бывший купеческий дом в центре, Минусинск всё-таки был лишь большою деревней, где лошадь на пыльной улице встречается чаще, чем автомобиль.

Настоящим же городом мне представлялся Абакан. Над ним, автономно-областным центром, незримо сиял ореол столицы. Туда летали самолёты, там была железная дорога, и привокзальные кварталы оглашались пронзительными свистками огнедышащих паровозов, знакомых мне лишь по картинкам.

---

*ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович родился в 1939 году в селе Таскино Красноярского края в крестьянской семье. По образованию — учитель словесности, журналист. Автор многих книг поэзии, прозы, публицистики, изданных в Красноярске и Москве. Заслуженный работник культуры РФ. Возглавлял краевое отделение СП России. В “Нашем современнике” на протяжении нескольких десятилетий выступал с рассказами и стихами. Живёт в Красноярске.*

И мечта моя вскоре сбылась. Прослышал я, что колхоз снаряжает в Абакан автомашину, с тем чтобы она привезла оттуда солдат к нам на хлебоуборку, а туда попутно прихватила тридцать мешков пшеницы для сдачи в “Заготзерно”. Требовался сопровождающий, он же грузчик. Недолго раздумывая, я предложил свои услуги. Лет мне тогда было немного, тринадцать или четырнадцать. Но я выглядел почти взрослым парнем, и заведующий сушилкой доверил мне ответственное дело.

И вот с Василием Шелеховым, шофером фронтовой ещё закваски, двинулись мы на “УралЗИСе” в это дальнее странствие — за целую сотню вёрст. Стояли вёдренные дни, ясные и даже жаркие, но небеса уже подёрнулись той бледноватой голубишной, какая бывает в конце августа, и облака, плывшие по ним, уже не были так легки и шелковисты, как в пору “макушки лета”. До Минусинска я проскучал, равнодушно поглядывая на леса, косогоры и деревеньки, мелькавшие за окном. Но как только остались позади кривые улицы старинного городка и прогудел под колёсами мост через протоку, встрепенулся и внутренне напрягся в ожидании чудес и открытий.

И они не замедлили объявиться. Первым чудом оказался асфальт, которого я прежде в глаза не видел. Да и Василию, колхозному шофёру, годами колесившему по сельскому бездорожью, должно быть, нечасто выпадала такая благодать. Едва мы выехали на чёрную, лоснящуюся полосу, как он явно оживился, нахлобучил поглубже свою фуражку с широким околышем и задорно крикнул мне:

— Ну, держись, Шурка, даю газу до отказа!

И начал суетливо перебирать рычаги и педали, пока не отыскал самую высокую передачу, полузабытую на просёлках. “УралЗИС” наш с “квадратными” крыльями стал стремительно набирать скорость и, словно бы сам пугаясь своей прыти, как-то приумолк и сосредоточился. Прекратилась тряска, приутихли моторный рокот, громыхание кузова и поскрипывание бортовых крючьев. Слышались только ровный шорох шин и посвистывание ветерка в заклеенном окне кабины.

Василий восторженно взглядывал на меня, потом снова упирался глазами в дорогу и всё давил на газ, упиваясь полётом. Его восторг невольно передался и мне. Я тоже зачем-то осадил свою блинчатую кепчонку и с ликованием завертел головой, дивясь “быстрому мельканию” пшеничных колосьев, капустных кочанов, темно-зелёных конопляных стеблей и редких перелесков. Потом слева от дороги пошли какие-то дивные, поодиночке растущие сосны, толстые, приземистые, разлапые, похожие на баобабы. И вся окружающая лесостепь мне уже стала казаться некой африканской саванной, где впору увидеть за раскидистым деревом антилопу или слона, про которых я читал в книжках...

Но восторженное парение наше оказалось недолгим. Вылетев на отлогий перевальчик, увидели мы, что от сверкающей реки по широкой лощине тянется навстречу нам километровая вереница машин, а по правой стороне дороги, прижимаясь к обочине, замерла ещё более длинная колонна. Василий непроизвольно сбавил газ и присвистнул:

— Ого, очередина-то на понтон! Это до заката...

Мы подъехали поближе и пристроились в хвост молчаливой колонны. Василий было послал меня в разведку к далёкому мосту, маячившему в дымчатом мареве, чтобы разузнать обстановку, но в это время в голове безразмерной сороконожки началось какое-то шевеление, загудели моторы, забегали люди. Мы увидели, что несколько передних машин, оторвавшись от строя, направились к мосту. Потом за ними потянулись другие. Постепенно ожила и вся колонна. Сначала по ней от конца до конца прошла как бы судорога, а затем машины стали потихоньку двигаться к реке: сперва — ближние, потом — средние, и наконец дошла очередь до дальних.

— Кажется, двинулись, — обрадовался Василий и сунул мне рукоятку: — Дуй, заводи!

Я вылетел из кабины, подскочил к радиатору, вставил рукоятку в гнездо и начал крутить мотор, как сортовку, однако наш “уралец” заводиться не спешил. От машин, напиравших сзади, послышались требовательные гудки,



а одна нетерпеливая “полторка” попыталась даже объехать нас, но я, молотя из последних сил, набрал такие обороты, что мотор сдался — зачихал, застрелял калачами из выхлопной трубы и наконец заржал, точно отставшая от табуна лошадь. Мы ринулись догонять впереди кативший “студебеккер”, боясь упустить своё место за ним. Однако вскоре колонна снова замерла.

— Теперь надолго. Опять пошли очередники с той стороны, — сказал Василий тоном бывалого человека. — Давай вместе сходим к мосту. На рекогносцировку, как говорили на фронте. Поди, никто не украдёт нашу пшеницу.

У берега, нарушив цепочку очереди, машины сбились без всякого порядка. Там и сям, собравшись в кружки, стояли или сидели на корточках шофёры, грузчики и пассажиры. Василий направился к одному из этих кружков, а я побежал к мосту, чтобы поближе рассмотреть загадочные понтоны, не виданные мною прежде. К моему удивлению, они оказались огромными железными лодками, составленными в длиннющий ряд, убегавший к противоположному берегу. По верху лодок-понтонных был переброшен дощатый помост. И когда по нему пошли, держа интервал, встречные машины, он стал прогибаться под ними, словно мостки на нашем деревенском пруду под увесистой бабой, полоскавшей бельё. Притапливаемые по очереди понтоны гулко погромыхивали, как пустые бочки. У крайнего понтона стоял строгий распорядитель в милицейской форме с красным и зелёным флажками в руках. Машины медленно, будто подкрадываясь, добирались до берега и потом, резко взрывая, выскакивали на пригорок.

Полобовавшись на понтонный мост, я вернулся к автомашинам, ожидавшим своей очереди, разыскал кружок людей, среди которых стоял Василий. Вниманием собравшихся в этот момент владел толстый, кудреватый мужик лет сорока, в брезентовой куртке, из-под которой синела полосатая тельняшка.

— Слыхали, тут случай был года два-три назад? — обратился он к слушателям. — Тогда ещё этих понтонов не существовало, а ходил паром. Ох, и медленный, зараза. Другой раз, особенно по осени, в страду, целыми сутками ждать приходилось. Вон там, в сторонке, даже палатка торговая стояла, закуски разную продавали — пирожки, охотничью колбасу, икру развесную, ну и, конечно, к закуске... Не верите, денатурат давали на разлив! Представляете? На бутылке вот такими буквами: “Яд, пить нельзя!” — а его шуруют, как море. Ну, это к слову... Однажды сидим мы вот так же кружком, ждём своей очереди на эту чёртову черепаху, толкуем от скуки про то да про сё. И вдруг видим: вон на тот взлобок выехал уральский “ЗИСок”.

Рассказчик махнул рукой за мост вверх по течению, где в реку на излучке вдавался высоченный берег, крутым обрывом уходящий в воду. А над обрывом зеленела просторная поляна.

— Да. Заполдень дело было, как вот сейчас. Вроде и далековато, но погода ясная, “уральца” хорошо видно. Он прямо как парил будто на фоне неба. Ну, появился бы, да и появился, куда нашего брата бес не заносит. Однако заметили мы, что дело неладное. Как-то странно ведёт он себя. Выехал на это крутобережье, постоял немного, а потом как рванёт к обрыву! Мы все аж замерли от страха. Но он у самой кромки — по тормозам и назад. Мы вздохнули с облегчением. Отъехал, может, сажень на сто, тут точно не определишь, расстояние скрадывает. Но потом снова — рывок на скалу! И опять — стоп, и снова — задний ход. И вот таким макаром раза четыре снова он туда-сюда. Что за дурацкие манёвры, думаем? Может, нализался ффраер да покуражиться решил на глазах у публики? А может, пугает кого?

— Да, а в кузове-то был ли кто? — с нетерпением перебил рассказчика сосед.

— Ни души! Ни на поляне, ни в кузове, ни в кабине. Никого, кроме шофёра. Нам же видно, всё просвечивает насквозь. Один водила за рулём. И груза — никакого. По лёгкости рывков понятно, что порожняк. Шурь — туда, шурь — обратно. Как челнок. Мы уж вроде стали терять интерес к его финтам. Но вдруг он резко откатывает ещё шагов на сто и сразу — вперёд! Мчит, набирая скорость, подлетает к самой кромке и с ходу — срывается с обрыва! Летит прямо в воздухе, как твой эроплан, а потом носом книзу

и — в Енисей. Трах-бабах! Удар, столб воды, брызги, как от взрыва. Немного погодя, посмотрим: один кузов плывёт по волнам. Оторвало его, видать. Порядочно проплыл, вот как от меня — до той белой “Победы”. А после стал тонуть, тонуть — и тоже скрылся. Одни пузырьки по воде...

Рассказчик замолчал, и все слушатели тоже замерли на минуту, глядя на речную быстрину, словно надеясь увидеть плывущий кузов “уральца” или хотя бы пузырьки от него.

— Ну, а потом-то что? — осторожным полушёпотом спросил, наконец, сухопарый старик с жиденькой бородкой и тростью в руке, бывший явно не шофёром и не грузчиком, а чьим-то пассажиром.

— Да что потом? — вздохнул и поёжился рассказчик. — Потом — суп с котом. Переправились мы на пароме, заявили в милицию. Один из наших, из свидетелей, поехал с нарядом на место происшествия. Постояли над обрывом. Обшарили всю поляну. Нашли записку, придавленную камешком. Там всего одна строчка: “Папа и мама, не ищите виновных. Погиб от любви...” Позже, слышал, разыскали родителей. Единственный сын был у них. Молоденький совсем. И вот втрескался бедолага в какую-то дуру...

— Да и сам дурак немалый, — крикнул Василий с вызовом, оглянув толпу.

— А это уж кому как: кому — дурак, а кому — герой, Ромео, — философски заметил кудрявый рассказчик, разведя руками.

— Ой, сказка, однако, — покачала головой грудастая женщина, подошедшая уже к концу рассказа. — Не первый раз слышу. И всё здесь, на переправе. А у нас, в Абакане, не припомнят такого...

В это время с рёвом вылетела на берег последняя машина, соскользнувшая с понтона, и постовой, стоявший у моста, замахал зелёным флажком и закричал пронзительно: “По коням, мужики! Следующая партия!”

— По коням! По коням! — подхватили шофёры и бросились к автомобилям.

Мы с Василием тоже заспешили к своему “УралЗИСу”, хотя и понимали, что в эту “партию” нам явно не попасть.

Когда же подошла, наконец, наша очередь, солнце уже клонилось к закату. И пока машина ползла по плавучему мосту, прогибавшемуся под колесами, точно осенний лёд, я во все глаза смотрел на ноздреватую стену угрюмого обрывистого берега, нависавшего над рекой, на длинную тень, косо падавшую от него, на потемневшую воду и живо представлял себе, как парит над нею в кабинке “УралЗИСа” молодой шофёр, “погибший от любви”.

Много приключений случилось со мною в давнюю, но памятную поездку. Была ещё одна понтонная переправа, через реку Абакан, была первая встреча со “столичным” городом, была поздняя, в потёмках, разгрузка машины — ждали меня прогонистые и крутые, уходящие по воронам к самому небу трапы, по которым мне пришлось до упаду таскать неподъёмные кули на горбу; была железная дорога, были и паровозы, под гудки которых я пытался заснуть, ворочаясь всю ночь в кузове под холодными мешками в ожидании эшелона солдат, мобилизованных на хлебоуборку... Но, как ни странно, самым ярким впечатлением, врезавшимся в память на всю жизнь, оказалась быль, которую поведал кудреватый шофёр в штормовке и тельняшке и которая стала легендой, рождённой на моих глазах.

Да, стала легендой.

Совсем недавно, на исходе весны, довелось мне побывать в командировке на юге нашего края. Жил я в родном для меня Минусинске, в старинной гостиничке с высокими сводчатыми окнами, совсем рядом со знаменитым Мартьяновским музеем. И одним прекрасным утром, ясным и солнечным, отправился по служебным делам в Абакан, ныне и впрямь столичный город “сопредельной” республики. Народу в автобусе было немного. По старой привычке я присел поближе к окну, чтобы вдоволь поглядеть по сторонам, полюбоваться знакомыми местами, повспоминать, подумать.

Остались позади белокаменная церковь с крестами и куполами, горбатый мост через протоку, новые улицы многоэтажного левобережья, вырос-

шие как из-под земли в годы советского застоя. Пошли, как и прежде, поля, перелески. Наконец, замелькали слева экзотические минусинские сосны, ещё более толстые, разлатые и похожие на баобабы. И вот когда мы подкатили к Енисею и въехали на звонкий железный мост, сменивший паромы и понтоны, одна из крашенных девиц лет шестнадцати, сидевших впереди меня, вдруг прервала свой бесконечный щебет о Вадиках и Эдиках и, показывая на высокий отвесный берег, спросила товарку:

— Знаешь легенду?

— Какую?

— А что когда-то давным-давно вон с той скалы шофёр на машине бросился в воду. Совсем молодой. Мальчишка. И записку оставил у обрыва под камушком: “Папа и мама, не ищите виновных. Погиб от любви”.

И видя, что подружку не особенно тронула эта душещипательная история, она наклонилась к её розовому уху с радужной серёжкой в мочке и, хлопая длинными искусственными ресницами, горячим шёпотом повторила:

— Погиб от любви. Погиб от любви! Ты представляешь?

Но судя по скептической улыбке, мелькнувшей на губах полусонной подруги, у неё не хватало воображения, чтобы представить такое. К легендам и “преданьям старины глубокой” она была явно равнодушна.

## ВЫСТРЕЛЫ В ЯБЛОКО

Помнится, я был тогда уже студентом. Летних каникул мы не знали. Страну сотрясал целинный бум. И после весенней сессии нас тоже отправляли на целину, а если сказать по правде — то просто использовали как даровую силу на рутинных работах в обезлюдевших хозяйствах глубинных районов. Небольшой отпуск домой нам давали только в промежутке между сенокосом и жатвой, чтобы потом снова бросить “на целину”, теперь уже до белых мух.

И вот таким-то сиятельным днём позднего лета вышел я из отцовского дома с чувством праздного отпускника и направился по любимой дороге детства — за поскотину, к Пашину озеру. Небо было безоблачным, высоким и словно бы шелковистым в своей посветлевшей голубизне. Леса ещё не пожелтели, но листва уже потеряла насыщенную зелень, поблёлкла, и шорох её стал более сухим и отчётливым. Хлеба подходили неровно, сдерживаемые подсадой, и позлащённое поле, точно домотканый половинок, там и сям пересекали темно-зелёные полосы. Однако оно было уже по-хозяйски обкошено кругом, приготовлено к жатве, и пшеничные колосья тянулись к небу, качаясь на ветерке из стороны в сторону, точно в нетерпении.

Смешанный запах зреющих хлебов, полыни и медвяного донника напомнил почему-то о запахе яблок. Может, потому, что была пора яблочного Спаса. И я невольно подумал о колхозном саде, расположенном неподалёку, в широкой низине, где, должно быть, сейчас уже поспели нехитрые нашенские фрукты — разносортные ранетки, полуяблоки и яблоки “белый налив”, которые я так любил когда-то, хотя, правду сказать, они нечасто попадали в руки деревенской ребятне.

Вдруг справа, из-за косогора, показалась гнедая лошадь, волочившая телегу с возом дров. На возу сидел рыжебородый старик. Это был — лёгок на помине! — колхозный садовод Кузьма. Повозка двигалась мне навстречу. И вскоре поравнялась со мной. Я просто кивнул деду Кузьме и хотел уже пройти мимо, но он неожиданно остановил лошадь и даже почему-то снял шапку, положив её рядом на берёзовые кряжи.

— Здоровы будем, — сказал он дружелюбно.

— Здравствуйте, здравствуйте, дядя Кузьма, — ответил я, не сумев скрыть некоторого удивления.

— Слышал, в городе учишься, в институте. На кого, если не секрет?

— На учителя истории и литературы.

— На учителя? Это хорошо. Раньше учитель первым человеком на селе был. И за советом к нему, как к мировому судье, и с исповедью, как к попу. Да и нынче не скажу, что в последние превратился. Правда, помельчал как-то учитель. Натура не та пошла. Крупности не стало, основательности. Один, смотришь, за воротник закладывает, другой — по женской части слаб... Но ты, слышал я, парень самостоятельный, дай Бог тебе, как говорится.

Я ничего не ответил, больше смущённый, чем обрадованный этим неожиданным и прямолинейным, как оглобля, комплиментом. Помолчал и Кузьма, глядя в землю. А потом без видимой связи добавил:

— Сад у нас нынче отменно рясный. Двадцать кулей одних яблок собрали. Но есть ещё и на корню — “белый налив”, “мичуринка”... Зашел бы когда, угостился. Мы гостей привечаем.

— Спасибо на добром слове, дядя Кузьма. Может, и забегу — будет время.

Гнедой меринок, отдышавшись после подъёма, потянулся к густо-зелёной подсаде, но Кузьма прикрикнул на него: “Куда полез в потраву, окаянный!” — и, передёргивая вожжи, стал выправлять на дорогу. Меринок нехотя повиновался и, едва стронув с места тяжёлый воз, покатил его дальше к покосине. Кузьма надел шапку, уселся поудобнее, поправив под собой кусок кошмы, и уже когда отъехал порядочно, крикнул мне ещё раз:

— Заходи, не стесняйся!

Я благодарно помахал ему в ответ, но про себя подумал с невольной грустью: “Эх, дядя Кузьма, лет бы десять назад услышать от тебя это любезное приглашение. А теперь... Зачем мне теперь твои яблоки? Воистину — дорого яичко к Христову праздничку”.

Шагая полевой дорогой между хлебами, я невольно вспомнил одну давнюю встречу с Кузьмой, о которой он наверняка и думать забыл. Во мне же она оставила одну из тех невидимых царапин, что не заживают в нашей душе всю жизнь и время от времени ноют “к несчастью”, точно осколки в теле старого воина.

Я уже говорил, что яблоко в детстве было для нас редким лакомством. До сельских магазинов южные фрукты тогда не доезжали. В местных садах и палисадниках вызревали одни ранетки да дички, которые, пока мороз не ударит, съедобными можно было считать лишь условно. Настоящие яблоки водились только в колхозном саду. Но ребятишкам туда путь был заказан. Сад, обнесённый высоким забором, охранялся сторожем. Правда, эту службу обычно по совместительству нёс сам садовод, но от этого его владения не становились более доступными для сельского населения.

Были, конечно, смельчаки и ловкачи, которые обводили-таки вокруг пальца сторожей, пробирались в сад и выносили за пазухой ядрёные пахучие яблоки, брызжущие при надкусывании беловатым соком. Но они подвергали себя немалому риску. У сторожа, кроме внушительного волкодава, было ещё ружьё, заряженное солью, а то и мелкой утиной дробью. А помимо того, сторож мог написать в сельсовет докладную, и тогда потрошителю колхозного сада грозили штраф и несмываемый позор на всю деревню.

Понятно, что если попадался на краже яблок пацан, то ему ещё и дома влетало от отца-матери. Словом, было над чем подумать нашему брату, прежде чем решиться на опасное предприятие. А мы и впрямь нередко предавались этим размышлениям, придумывая самые невероятные манёвры и хитрости. И вот, помнится, однажды во время таких мечтаний я предложил путь добывания яблок столь неожиданный, что он, принятый за шутку, сначала вызвал смех моих товарищей, однако вскоре завоевал нескольких сторонников.

Суть моего замысла, при всей необычности его, была предельно элементарной. Вместо вероломства и всяческих ухищрений, связанных с воровством, я предлагал просто среди бела дня пройти в сад через ворота, а если они окажутся запёртыми, постучаться предварительно и попросить у Кузьмы вожделенных яблок. Может, даже в качестве платы за них предложить помощь на садовых работах.

— Неужели откажет, если мы поступим честно и открыто? — упорно повторял я свой главный и, как мне казалось, самый неотразимый аргумент.

И, должно быть, именно это упорство в конце концов убедило моих приятелей — Гыру Филимонова и Ванчу Теплых, которые согласились идти со мной “в открытую” за яблоками в колхозный сад.

Таким же вот ясным деньком позднего лета или ранней осени приблизились мы к воротам сада и с удовлетворением отметили, что они не заперты, а лишь притворены. Видимо, кто-то недавно выехал или въехал и не удосужился закрыть их на массивный крючок, выкованный нашими сельскими кузнецами и прибитый так, что снаружи его отключить было невозможно. Ворота были дощатые, но со щелями между тесинками, и мы надеялись увидеть сквозь них Кузьму или кого-нибудь из колхозников, отряженных в этот день на садовые работы, чтобы вызвать на переговоры. Однако аллея, ведущая к сторожке, была безлюдна, а незапертые ворота создавали иллюзию лёгкой доступности сокровищ колхозного вертограда, и мы, потоптавшись в раздумии, в конце концов решились войти без спросу.

— В открытую, так в открытую, — сказал самый старший и смелый из нас Гыра Филимонов. — Не воры же мы какие-то, в самом деле, чего нам прятаться, честным людям?

И с этими словами он первым шагнул в запретную зону. Мы внутренне напряглись, ожидая если не грома небесного, то хотя бы громopodobного лая муругой Кузьмовой Дамки, однако ничего такого не произошло. В саду стояла прежняя тишина, и только, несмотря на кажущееся безветрие, чуть шелестели листья на верхушках высоких ранеток. Мы двинулись гуськом по аллее.

— Давайте говорить погромче, чтобы понятно было, что не скрываемся, — просил я, озарённый мудрой мыслью, способной предотвратить возможные “ошибочные” выстрелы.

Но Гыра Филимонов, не шедший, а как бы плывший впереди нас, замахал руками, замотал головой и словно выплюнул из одеревеневших губ всего одно слово:

— Потом.

Ранетковая аллея кончилась, мы завернули по дорожке вправо и тотчас увидели избушку Кузьмы, отчётливо белевшую между деревьями. Теперь по обе стороны от нас кустились приземистые яблони, увешанные золотистыми и краснобокими плодами. Мы невольно остановились, поражённые их обилием и крупностью, но остановились лишь на момент — Гыра, стиснув зубы и играя желваками, показал нам кулак, и мы обречённо засемили вслед за ним с той смелостью отчаяния, с которой, наверное, идут люди через минное поле.

Настораживала и пугала абсолютная тишина. По нашим предположениям, непременно должна была залаять Дамка, как она всегда лаяла даже на людей, проходивших вблизи сада; на её лай должен выйти Кузьма, с которым мы намерены были завести доверительную беседу. Однако Дамка подозрительно молчала, и не было видно ни Кузьмы, ни даже его старой лошади Мухортухи, которая обычно паслась на привязи возле сторожки. И вообще никого не было. Была только гнетущая тишина. Птицы — и те, кажется, исчезли из этого странного, словно заколдованного сада.

Так, никем не окликнутые, не остановленные, мы дошли до самой избушки. Увидели, что она не замкнута, но, должно быть, пуста. Проверить мы не осмелились, а только постояли минуту-две в нерешительности и уже хотели было ретироваться не солоно хлебавши, но Гыра вдруг набрал воздух в грудь и, сложив ладони рупором, затрубил на всю окрестность:

— Дя-а-дя Кузьма! Ау, кто здесь живой?

Никто ему не ответил.

Тогда и мы с Ванчей стали подвывать долговязому Гыре срывающимися голосами:

— Дядь Кузьма, а дядь Кузьма, откликнись!

Однако и на наши голоса никто не отозвался. Подождав ещё немного, мы побрели назад, обескураженные совершенно непредвиденным приёмом.

Кажется, приуныл даже смешливый Ванча. Он теперь шёл иноходью впереди, а Гыра замыкал нашу незадачливую депутацию и уже не “плыл” широким гусиным шагом, как прежде, а тащился сзади, спотыкаясь и всё оглядываясь на сторожку в надежде увидеть возле неё рыжебородого Кузьму. Мы с Ванчей жадно глазели по сторонам на тугие, увесистые, с добрый кулак яблоки, сиявшие между листьями, и сглатывали слюнки.

Уже недалеко от сворота на ранеточную аллею Гыра, идя с повёрнутой назад головой, больно наступил мне на пятку. Я взвыл и отпрянул в сторону, к низенькой стелющейся яблоньке. И вдруг где-то в глубине сада, за сторожкой, раздался раскатистый выстрел. Мы непроизвольно пригнулись, сжались от страха и, переглянувшись, опрометью бросились бежать. Тут же слышался хриплый, но звучный, как в бочку, лай Дамки, что-то зашумело, затрещало в кустах, и следом громыхнул второй выстрел. В тот же миг по листьям соседних яблонь прошуршала волна, похожая на град, и я, удирая, краем глаза успел поймать, как на самом крупном яблоке справа словно вспыхнули рваные дырки и белые царапины. “Дробь или соль?” — мелькнуло у меня в голове, и спину прошило острым, расслабляющим ознобом.

Гыра опять оказался впереди. Теперь он не плёлся и даже не плыл, а скорее летел, подняв руки в отчаянии. Ванча чесал за ним мелкой рысью, а я шкандыбал сзади с острой болью в отдаленной пятке. Я слышал, как за спиной всё ближе и нахрапистей раздаётся Дамкин лай, как накачивает шум её тяжёлых прыжков между деревьями, но не оглядывался, чтобы не потерять спасительных секунд.

Не помню, как мы пробежали ранетковую аллею, но помню, что ворота, к счастью, оказались приоткрытыми. Мы прошмыгнули в узкий проём, и я успел ещё, прежде чем Дамка настигла нас, захлопнуть их. И Дамка лишь бросилась грозно на шербатые тесины ворот, так что даже опрокинулась назад от удара, и, словно поперхнувшись при этом, залаяла сбивчиво, с перефырком и кашлем.

Мы долго улепётывали по пыльной дороге, всё забиравшей в косогор, пока не достигли первых берёз и не упали в их тень плашмя, как подкошенные. А упав, ещё долго лежали вниз лицами, отпыхиваясь и приходя в себя. Сначала мы молчали, подавленные происшедшим. Ванча даже, кажется, всхлипывал или, может, сморкался от свербения в переносице. Но потом нас вдруг одолел нервный смех. И мы стали глупо и закатиисто хохотать, сперва лёжа, а затем, сев на кукурки и прижимая животы руками от мучительного колотья где-то в правом боку, в подреберье, вызванного этим неудержимым, надсадным, нервическим смехом.

Дома мы, конечно, ни словом не обмолвились о приключении. Но на другой день родителей наших вызвали в сельсовет и преподнесли им штраф по двести пятьдесят рублей каждому. Это были немалые деньги в то время. Нам, понятно, влетело по первое число. Правда, я отделался лишь подзатыльником, который отец сопроводил философским замечанием:

— Учти: все воры с малого начинают...

Напрасно было объяснять ему, что мы шли в сад открыто, как честные люди, хотели всё сделать по совести, но что Кузьма поступил с нами нехорошо, не по-человечески и, по сути, расстрелял нашу веру в доброту и справедливость. Впрочем, я и сам осознал всё это много позднее, когда ребятишки стали называть меня попом Гапоном. А тогда, в первые дни после случившегося, я мучился только одним вопросом: “За что?” И мне всё не верилось, что это мог сделать такой тихий, степенный и рассудительный человек, как дядя Кузьма.

Признаться, у меня и теперь нет ещё окончательной уверенности, что это сделал именно он. Ведь мы так и не увидели его ни в саду, ни в сторожке и, в сущности, не знаем доподлинно, кто же это выстрелил вслед мне, сделавшему невольный шаг в сторону. Да, мы остались невредимы. Выстрел пришёлся в яблоко...

А если подумать, буквально — в самое яблочко.

## ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

К десяти заповедям Моисеевым: не убий, не укради, не клянись и так далее — Лев Толстой предлагал добавить одиннадцатую: не проси! И я его прекрасно понимаю.

Ничто меня в жизни так не угнетало, не унижало и не приводило в состояние глухого раздражения, как необходимость просить кого-то о чём-то, лезть кому-то в глаза. И если я трижды убежал из журналистики, то во многом потому, что чертовски не любил ловить кого-то за рукав и лепетать искательно, сглаживая назойливость неуклюжей иронией типа: “Минуту вашего государственного внимания, простите...” Или что-то в этом духе. Впрочем, журналистика всё-таки служба. А просить “по службе” куда легче, нежели кланяться по личной надобности, ходить с протянутой рукой по бытовому, житейским нуждишкам.

Конечно, я старался избегать этих тягостных для меня чувств, то есть вообще никого ни о чём не просить, но, к сожалению, наша жизнь устроена так, что мы постоянно ощущаем зависимость от некой внешней силы, некой “персоны”, от её внимания и “решения”, а точнее — от прихоти и произвола. Это постоянное чувство зависимости так въелось в наши поры, так вывернуло нашу душу, что мы уже не представляем себе самостоятельного шага без благословения “влиятельного лица”. Мы уже просто не верим, что сами способны выстроить свою судьбу, добиться поставленных целей без покровителей и поводырей. Ужасно, что этим неверием и бессилием, этой разновидностью духовного СПИДа, заражается всё большее число нашей молодёжи.

Вот только один “случай из практики”.

Как-то, в мирный час ужина, начав издалека, жена сообщила мне, что получила письмо от дальней родственницы не то из Анаша, не то из Амонаша. Я никогда в глаза не видел этой родственницы, да и жена её помнит довольно смутно, однако в письме столько добрых чувств и трогательных воспоминаний, что к нему невозможно отнестись равнодушно. Есть в нём, между прочим, и небольшая просьба. Дело в том, что дочка этой родни на десятом киселе приехала в наш город поступать в институт. И именно в тот (надо же, счастливое совпадение!), который я закончил когда-то, — в педагогический, на историко-филологический факультет. Девочку зовут Маша, по-домашнему, Манюня. Что тоже весьма трогательно.

Она, конечно, усердно готовилась к вступительным экзаменам и, наверное, сама выдержит конкурс, но всё же неплохо бы поддержать её, поболеть за неё. Тем более что среди нынешних преподавателей института есть мои бывшие однокашники...

— Просить? Да ни за что на свете! — вспыхнул я.

— Не просить, а поспособствовать...

Кусок застрял у меня в горле. Мирная семейная трапеза была нарушена. Молча поковыряв жареную картошку и не допив чая, демонстративно встал я из-за стола и деревянной походкой ушёл в рабочий кабинет, захлопнув за собой скрипучую дверь. Здесь, на узком диванчике, я и заснул в гордом одиночестве, полный решимости на этот раз твёрдо выстоять перед всеми атаками и искушениями, не нарушить одиннадцатой заповеди Льва Николаевича.

А утром как-то робко и прерывисто зазвенел звонок. Жена открыла дверь. Я выглянул из кабинета и увидел в прихожей юное создание, голенастое, сутуловатое и беловолосое, с почтительно-испуганным взглядом, уставленным на меня. Это была Маша из Анаша-Амонаша.

— Вот вам гостинец от мамы, — с обескураживающей непосредственностью сказала она, подавая жене баночку красноватого варенья. — Мама помнит, что вы в детстве любили брусничное...

Девочку пригласили к чаю. За столом она вела себя так скромно, вопросы задавала такие наивные и в глазах её было столько блеску, что...

Словом, наутро был главный экзамен — сочинение, и я уже в половине девятого измерял шагами бетонную дорожку перед старым, с узкими окнами зданием пединститута. Я был зол на себя, клятвопреступника, и на весь

гнусный мир, который снова ставил меня в унижительное положение просителя...

Впрочем, я был не единственный болельщик, явившийся в то утро к вузу отнюдь не из спортивного интереса. Правда, другие вели себя не так беспокойно: просто сидели на скамейке под тополями или стояли на крыльце института, как на паперти, и почтительно кланялись всякому, кто проходил к двери и хотя бы отдалённо напоминал преподавателя. Настораживало, что все они “болели” за пределами здания, а если входили в него, то подозрительно быстро возвращались назад, чтобы снова сесть на скамейку или пополнить группу толпящихся на крыльце.

Наконец, и я, круто изменив маршрут прогулок, решительно направился к двери, но едва протиснулся через тамбур, как увидел, что проход в коридоре, откуда две лестницы с решётками старинного литья вели наверх к возделенной аудитории, был наглухо загорожен столами. За ними стояли, точно за прилавком, молодые люди с красными повязками на рукавах — дежурные. Они смотрели на меня строго и подозрительно. Не успел я раскрыть рта, чтобы выдать приличествующую случаю фразу, как меня опередила бойкая девушка с короткой стрижкой:

— Простите, вам к кому?

— Мне нужен ректор или декан, — сказал я, напуская на себя важность и деловитость.

Однако голос мой против желания прозвучал не слишком уверенно.

— Ни ректора, ни декана пока нет, — ответила девушка с издевательской вежливостью. — И вообще сегодня посторонним лицам вход воспрещён. Идут вступительные экзамены. Придётся вам зайти в другой раз.

У меня не было чёткого плана действий. Прямо просить кого-то о помощи Манюне я, конечно, не собирался. Не позволяли принципы. Но если б предупредить знакомого преподавателя, он мог бы подбодрить её словом, взглядом, наконец, просто соблюсти объективность... Неожиданное сопротивление в осуществлении столь “невинного” замысла подействовало на меня раздражающе. Но ещё более, пожалуй, меня раздражало растущее чувство стыда, мешавшее мне сохранить видимость достоинства. Я спешно подыскивал аргументы, которые должны были убедить “эту стриженую” в том, что мне действительно необходимо подняться наверх. Но таких аргументов в природе не существовало. И я в отчаянии уже было ухватился за последнее средство, к которому ранее поклялся не прибегать ни в коем случае, — рука против воли поползла к нагрудному карману, где лежало служебное удостоверение...

Но в эту минуту за спиной дежурных мелькнула знакомая лысая голова старого преподавателя-словесника. Я радостно махнул ему и хотел поприветствовать, однако с ужасом обнаружил, что напрочь забыл его отчество, а помнил лишь имя, такое уместное при его сократовском черепе:

— Адриан... — невольно вырвалось у меня.

— Да-да, здравствуйте, рад вас видеть, — протянул мне руку через стол старый преподаватель, подчёркнуто назвав меня при этом по имени-отчеству.

Мне впору было провалиться сквозь землю. Язык мой присох к нёбу, и я, тиская руку Адриана Григорьевича (отчество вспомнилось слишком поздно), только глупо улыбался в ответ сухими губами и с неожиданной для себя эластичностью в позвоночнике глубоко кланялся, почти бия челом о стол, разделявший нас. Не знаю, сколько бы продолжалась эта трогательная сцена свидания преподавателя с бывшим учеником, если бы Адриан Григорьевич не положил конец моим телодвижениям механического болванчика.

— Вы, наверное, за кого-то болеете? — спросил он и выставил ладонь вперёд, предупреждая мои объяснения: — Не беспокойтесь, всё будет хорошо. У нас объективность полная. Все сочинения закодированы. На них не будет даже фамилий абитуриентов, так что субъективность оценок исключена.

И чтобы сгладить неловкость моего положения, стал расспрашивать меня о здоровье, о “литературных успехах”. А потом, посмотрев мне в глаза с мудрым сочувствием, исчез так же неожиданно, как появился. Мне осталось лишь ретироваться несолоно хлебавши. Я боком протиснулся сквозь



толпу болельщиков, неприязненно прошупывавших меня колкими взглядами, и снова оказался на дорожке под тополями.

“Не удалось Артёму устроить брата в депо”, — пришла на ум полузабытая фраза из школьных упражнении по русскому, и я затрясся в нервическом смехе над собой. Так тебе и надо, олух царя небесного. Не позорь свои седины, чты одиннадцатую заповедь.

Продолжая казнить и бранить себя, я измерил ещё раз длину здания пединститута, потом, выписав прощальную восьмёрку под глухо шуршавшими тополями, резко взял направление к дому.

Подгоняемый угрызениями совести, я уходил, втянув голову в плечи и опустив глаза долу, как уходят со сцены освищенные артисты. Но именно в этот момент меня окликнул певучий женский голос. Он прозвучал совсем рядом, почти над самым ухом. Я оглянулся и увидел ректора Пельмскую. Вся белая — в белом костюме, в белой кофточке с глухим гофрированным воротником, почти до подбородка скрывавшим шею (интеллигентные женщины знают, где с возрастом появляются первые предательские признаки увядания), с белыми кудряшками волос, она стояла на соседней дорожке и махала мне рукой.

Вначале я даже растерялся немного. Форма приветствия была слишком непосредственна для уважаемого ректора института и слишком доверительна к моей персоне, если учесть, что мы не были близко знакомы. Правда, я учился когда-то у профессора Пельмской, читавшей нам античную литературу. Но, во-первых, это было — увы! — давненько, не одно десятилетие назад, а во-вторых, мы видели Пельмскую только за кафедрой, практических занятий она не вела, кружков — тоже и вообще, кажется, не особенно благоволила к своей пастве. А может, это мнение ошибочное. Пельмская тогда не была ни ректором, ни деканом, не занимала высоких постов, но величественности в ней было куда больше. Тогда её воротнички ещё не были такими глухими, и она обладала другою властью над людьми, дарованною ей самой природой, — властью красивой женщины, знающей себе цену. На её облике был как бы отсвет предмета, который она преподавала, а может, она сознательно старалась походить на своих античных героинь. Недаром студенты флфака прозвали её Фиалкокудрой Сафо.

И вот теперь полубогиня Сафо, с несколько поблёкшим лицом и заметно оплывшей фигурой, но всё с тем же нимбом белых волос над чистым лбом, махала мне приветливо рукой, как простая смертная. Я робко приблизился к ней, выразил искреннее удивление, что узнал ею, и стал сбивчиво объяснять причину своего появления здесь, среди “болельщиков”. В отличие от Адриана, Пельмская живо заинтересовалась моей протееж, спросила, как девочку звать, откуда она и насколько успешно закончила школу, а потом, прикинув что-то в уме, уверенно сказала:

— Не беспокойтесь, придёт. Мы к сельским абитуриентам особенно внимательны, из них получают более надёжные учителя для глубинки. Думаю, с вашей подопечной будет всё в порядке.

С этими словами Фиалкокудрая оставила меня и всё ещё трепетной женственной походкой направилась к институту.

В это время в глубине здания раздался звонок, призывающий абитуриентов к первому экзамену. Я поднял глаза и в одном из стрельчатых монастырских окон института увидел бледнолицую Манюню. С вымученной улыбкой смертницы она кивнула мне. Я что-то изобразил рукой вроде крестного знамения, но Манюня уже не видела моего жеста, она, подчиняясь звонку, убежала в аудиторию.

Через неделю я узнал от жены, что Манюня написала сочинение на пятёрку, и получил массу незаслуженных благодарностей. Мои протесты воспринимались как проявление скромности. А через месяц, накануне сентября, в прихожей раздался весёлый и настойчивый звонок. Было позднее утро. Все мои домашние ушли на работу.

— Звонит, как домой. Кто бы это мог быть? — подумал я.

А открыв дверь, увидел свою “подопечную”. В новых джинсах и немислимой куртке с бесчисленными бляхами, какие носили когда-то деревенские

дурачки, счастливая и загорелая Манюня смело переступила порог и поставила к моим ногам эмалированное ведро, повязанное белой тряпкой.

— Это вам, сама набрала в бору, — сказала Манюня и, развязав под дужкой узел, жестом фокусника сдёрнула белое покрывало. Я ахнул: ведро было с краями полно влажной, отливающей рубиновым блеском брусники. Давно уже не видел я в таких объёмах эту чудесную ягоду.

— За что? — невольно вырвалось у меня.

— За ваше доброе участие в моей судьбе, за помощь, — бойко выпалила Манюня явно затвержденную фразу.

— Да сколько можно повторять: никакой помощи не было! Ты сама написала прекрасное сочинение и, пожалуйста, сама ешь эту бруснику.

— Я понимаю... Но если не возьмёте, обижусь, и мама обидится, и вообще... Я же сама брала в бору...

— Да что за дурацкая, рабская психология, прости, Господи, — начал заводиться я. — Откуда в тебе это неверие в собственные силы, в человеческую справедливость, откуда это дикое преклонение перед всемогущим блатом? Не было блата, понимаешь? Тебе же прекрасно известно, что сочинения кодировались. При всём желании я бы не смог “помочь”. Из института меня просто выставили дежурные, с ректором я беседовал всего минуту на общие темы, и она ничего не сказала мне, кроме пары светских любезностей. Выбрось это “участие” из головы. И вообще — никогда не рассчитывай ни на каких поводырей и покровителей. Не проси ни о чём. Это унижительно для нормального человека...

Монолог мой оказал на Манюню странное действие. Она как-то сразу повяла, плечи её опустились, лицо поблело. Обиженно закусив губу, Манюня молча и сосредоточенно расправляла носком туфли загнутый край половичка.

— Ну, хорошо, — сказал я, — сколько же стоит твоё ведро брусники?

— Вы за кого нас п-принимаете? — выдохнула в ответ Манюня, потупила голову, и ресницы её быстро-быстро запрыгали, наливаясь влагой.

— О, боже, еще этого не хватало... Ладно, деньги вышлем матери. Но больше — никаких подарков, ясно?

Сумма рублей, посланная телеграфом в Анаш-Амонаш, вернулась без удержания за обратный перевод. А в конце следующего лета в доме снова появилось ведро терпкой боровой брусники. А через год — ещё... Я уже не сопротивлялся. Мне надоело доказывать свою непричастность к успешной сдаче вступительных экзаменов юной родственницей, надоело клеймить треклятый блат и “позвоночные” благодеяния, ввевшиеся в плоть и кровь моих соотечественников. Даровая брусника колом вставала в горле, и я почти возненавидел эту славную сибирскую ягоду, исцеляющую человека от сорока болезней, но бессильную, как видно, перед сорок первой — манией самоуничтожения, неистребимой верой в протекцию, жаждой заступничества со стороны власть имущих.

Спас меня от двусмысленного положения залётный морской офицер. Где-то на институтских танцах он заприметил нашу Манюню и, не дав ей окончить курса, с гусарской решительностью увез её из Красноярска на Дальний Восток. Брусничные подарки прекратились. Слава Богу, я не участвовал в этом скоропалительном сватовстве, и новые подарки мне не угрожали. Надеюсь, хоть на этот раз Манюня поверила в собственные возможности или, по крайней мере, в то, что сама выдернула счастливый билет.

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ



## МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ЛЮБОВЬ...

РОЩА НА ДИКОМ ОТКОСЕ

Роща на диком откосе  
Заполыхает вот-вот,  
Словно военная осень...  
Что она нам принесёт?  
Сердце взыскует ответа...  
Не утешают твой взгляд  
Листья кровавого цвета,  
Спёкшейся крови закат...

“БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ЯЗЫК...”

Тает свеча восковая.  
Прячется в тучи звезда.  
Ветер шумит, не смолкая.  
Старая дача — пуста.

---

*КОНОВСКОЙ Николай Иванович родился в 1955 году в Белгородской области. Служил в армии, работал на заводе, стройках, в охране РЖД. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Автор многих поэтических книг, среди которых “Равнина” (1990), “Твердь” (1990), “Зрак” (2004), “Врата вечности” (2005), “Тростник” (2010), “В отблеске горнем” (2015), “Келья” (2017), “Лирика” (2018), “Божья коровка” (2019). Лауреат Всероссийской православной литературной премии им. Александра Невского, лауреат Всероссийского поэтического конкурса им. С. Есенина, премии СП России “Слово”. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

Летние коротки ночи:  
Вспыхнули — не уследишь!  
Дождик о чём-то лопочет,  
Ты что-то мне говоришь.

Сонного бора вещанье.  
Птицы рассерженный крик...  
Кто-то сказал, что молчанье —  
Будущей жизни язык.

Даже не слушая, слышу...  
Может быть, это любовь,  
Что созерцания выше  
И разуменья, и слов?..

## О МОЛИТВЕ

Свою сбирала жатву смерть.  
Едва лишь умирялась твердь,  
Как новые вскипали битвы.  
С овчинку было небо, но,  
Сокрыто иль обнажено,  
Всё в мире двигалось молитвой.  
Теперь не то: ликует плоть;  
Из сердца изгнанный Господь  
Пошёл бродить по белу свету...  
Не ты ли первородный дар,  
Как некогда Исав, продал?  
Всё есть... И лишь молитвы нету.

## ВЕЛИКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ОКЕАН

*Славянские ль ручьи  
солятся в русском море...*  
А. С. Пушкин

Не избежать смертельной благодати,  
И не уйти в потёмки забытья,  
Когда сам Агнец снимет семь печатей  
И холодом дохнёт небытия.  
Но прежде — с Русью в небывалой славе,  
Избранные из всех земель и стран,  
Все племена славянские составят  
Великий православный океан,  
Как небеса — бескрайний и бездонный,  
До века вышней волею храним...  
Так предсказал когда-то преподобный  
И богоносный старец Серафим.

## ПОСЛУШАЙ, БРАТ...

Ты говоришь,  
Что весь погряз в грехах,  
Что весь окаменел душой,  
Что за прошедший день  
Не сделал  
Ни одного доброго дела.

Послушай, брат...  
А я считаю,  
Что, если ты за прошедший день  
Никого не обидел,  
Не осудил,  
Не сказал в чей-то адрес  
Ни одного худого слова,  
Если отвратил свой слух  
От погибельных новостей мира сего, —  
Я считаю,  
Что прошедший день  
Ты прожил свято...

АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ

## ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ

РОМАН

14

Кандидатскую диссертацию Мартынов защитил давно. Под неумолчным напором своих замов, убеждавших, что учёная степень нужна не самому соискателю, — ни в коем случае не вам, Глеб Сергеевич! Упаси боже! — а для отпора чиновным и научным оппонентам, вечно вставляющим палки в колёса инженерному люду. Зудели так, что в ушах звенело, особенно на неформальных посиделках по случаю награждений или запуска в серию новых изделий. Ещё в шестидесятых Глеб сдался, но поставил условие: идеи и смыслы изложу сам, а текстовое оформление и прочие диссертационные прибамбасы, уж будьте добры, поручите, кому знаете.

В семидесятых, когда остепеняться бросился высокочинный люд и в моду вошла докторская, став плюсовым анкетным пунктом при назначении на должность, Мартына принялась обхаживать хитроумная министерская братия — степень нужна из престижных для отрасли видов. “Для красивых отчётов — понимал Глеб. — Вот у нас какие директора!” Уж как наседали, о диссертации и защите предлагали не беспокоиться: “Учитываем, Глеб Сергеевич, вашу занятость, предоставьте решать этот вопрос нам”. Но на сей раз он не дался, не просто отказался, а категорически пресёк пустые разговоры.

Нежелание лезть в доктора с чёрного хода было стойким. Много, очень много приходилось Мартынову общаться по ракетным делам с блестящими научными умами, и он не мог позволить себе опозлить учёное звание. В академических кругах был своим человеком, с президентом Академии, трижды Героем Соцтруда Александровым, состоял в приятельских отношениях. Когда Анатолия Петровича удостоили Ленинской премии по военной науке и технике, был на скромном домашнем торжестве, в его коттедже — рядом с Курчатником, — где в прихожей гостей встречало чучело огромного страуса.

После завода Мартынов пришёл в Пилогинский институт — системы управления ракетами, — замом по внедрению. И в то воскресенье ждал в гости

коллегу, зама по науке Краснопевцева. Леонид недавно вернулся из Воткинска и шепнул, что должен кое о чём рассказать, — не в кабинетной ауре. По договорённости прибыл Краснопевцев с женой. Красивая, фигуристая, лицо — в изящной, неяркой “боевой раскраске”, одета стильно, однако не броско. При знакомстве с лёгким укором в адрес мужа благодарила:

— Спасибо, Глеб Сергеевич. Если бы не ваше приглашение, наверное, меня не вывели бы в свет.

— Да уж ладно тебе, ты со знаменитостями общаешься, а вокруг меня сплошь секретчики, разговоры — скучнее некуда, — добродушно отозвался Леонид.

Когда сели за немудрёный лёгкий перекус, Мартынов, создавая непринуждённую атмосферу, пошутил:

— Ну что, опять от Адама начнёшь? Знаю тебя, без предыстории до сути добраться не можешь, пока все “про” и “контра” не изложишь, главного не скажешь. Академическая школа.

Леонид и впрямь, прежде всего, нырнул в историю вопроса. Детант давно испустил дух, но сегодня на повестке дня новые договоры по стратегическому вооружению: эпоха сдерживания.

— Ты кому рассказываешь? Своей жене?

Краснопевцев рассмеялся:

— Глеб Сергеевич, она эти вопросы лучше нас с вами знает. Вы в том правы, что я по привычке от Адама начал. А если о главном... Система контроля тревожит, вот в чём вопрос.

И кратко изложил суть. В Воткинске ходят упорные слухи, что на заводе введут американский наблюдательный пост, их спецы станут досматривать каждое изделие, по цехам шастать, во всё нос совать. Воскликнул:

— Да что же это такое, Глеб Сергеевич! Не слишком ли высоко Горбачёв юбку задирает?

— Да он её уже выше головы куполом держит, чтобы ничего не видеть и не слышать. И Штатам показывает, чтобы с ним не стеснялись. Вот они на стратегию и замахнулись. Воткинск! Там покруче моих делают! — В Мартынове всё ещё жил директор завода. — Будут ждать, когда по регламентным срокам “Сатану” спишут и выкатят шантаж: стоять по стойке “смирно”, не то так засадим, что до гланд достанем. Извините, Ульяна, за солдатский юмор. Я солдатом начинал, по-солдатски до седых волос и рублю.

Ульяна только рукой махнула.

— Господи, для моего слуха такой лексикон — что песня. Леонид не даст солгать.

— А ты, дорогой мой членкор, читал, что американцы недавно заявили? Помощь реформам Горбачёва — это инвестиции в американскую безопасность! Каково? Уже не шифруются, не стесняются свои интересы выказать. Полный регрессанс!.. Ладно, хватит скулить без толку. Поводай-ка лучше, какие у вас в Академии настроения.

Краснопевцев задумался.

— Неладно, Глеб Сергеевич, в научном мире. Вы наверняка знаете, что было перед выборами нардепов?

— Знаю, что на оборонных заводах возмущены. А в Академии что?

— Сложно. Снизу в депутаты от общественных организаций кого выдвинули? Великих стариков, академиков, чьими мозгами и трудами поднялась страна, которые и сегодня тащат на своих плечах воз науки, особенно прикладной. Сейчас они наше спасение. SOS!

— Что значит SOS?

— А ты, Уля, по-аглички произнеси. Получится: “медленнее, старше, умнее”. Это известный научный мем... Так вот, а что же вышло? Какой шум грандиозный поднялся! Газеты с ума посходили, митинги, многотысячные шествия.

— Ты, верно, знаешь, что от нашего института целая колонна эмэнэсов маршировала? — поддакнул Мартынов. — Батыгин своими бреднями завёл народ, все и всполошились.

— Батыгин, — у него прозвище “Ураган мата”, очень уж ругачий, — он тот ещё вяземский пряник. Вроде бы мужик толковый, недавно диссертацию защитил с блеском, и не могу взять в толк, чего он, не спросясь ума-разума, так увлёкся политической шелухой. Я его как-то пригласил побеседовать, но получилось час битый ни о чём. Ну, Бог с ним, с Батыгиным. Вы, Глеб Сергеевич, их плакаты-лозунги видели? Долой старперов, спящих в академических креслах, переживших свой век, не понимающих смысла исторических перемен. Артель должителей! Динозавры! И прочая пафосная ерунда, включая словесные непристойности. Сегодня в депутаты надо молодых прогрессистов, прорабов перестройки. В общем, сломали Стёпина, философа, председателя комиссии по выборам, на регламент наплевали и всё заново переиграли. И кого эти физики-шизики навывирали? А вернее сказать, назначили? Из подавляющего меньшинства нацедили самую шумную кучку особо одарённых гуманитариев: Шмелёва, Карякина, Заславскую и т.д. Они теперь и играют белыми, им праздник. Ребята, конечно, задорные, но вокруг них много недоумений и непониманий. В жизни они устроены лучше некуда, а недовольством пышут, словно ущемлены в правах. Всё у них в обвинительном падеже.

— Я так понимаю, что в отделениях естественных наук зреет недовольство?

Краснопевцев пожамкал губами, побарабанил пальцами по столу.

— Эх, да как бы, Глеб Сергеевич... А с гуманитарными отделениями вообще непорядок, очень уж много высоких персон — самых высоких! перестроечных! — рванулись в членкоры, а то и выше. Даже новое отделение мировой экономики недавно учредили, и все понимают, под кого... Под историка, прихрамывающего... Понимаете, экономика под историка... Но, знаете, есть один деликатный, негласный вопрос, который предпочитают замалчивать. — Опять побарабанил пальцами. — На словах архитекторы перестройки нас ударными дозами толерантности пичкают, а на деле степень взаимного отчуждения нарастает. Я же говорю, кто у нас, Глеб Сергеевич, считался научной элитой? Академики, которые с послевоенных времён взрастили на своих мозгах советскую науку, позволив расщепить атом, покорить космос, ракетный щит родины обустроить. Но сейчас их — в утиль, причём контрэлита взрастает не на научных заслугах, а на повышенном, “сделанном” общественном интересе. Я бы даже сказал, не сделанном, а поддельном. Контрэлита мелких честолюбцев, липипуты при Гулливере.

— Не скажи, Лёня, не мелких, не липипуты, — подала голос Ульяна. — Игра идёт по-крупному, речь не только о научной элите. — Повернулась к Мартынову. — По журналистскому профилю я вращаюсь в среде, о которой говорит Леонид. И могу свидетельствовать, что замах куда круче: идёт набор в новую государственную элиту, которая готова возложить на себя заботы о будущем страны и уверена, что войдёт в историю. Публика яйцеголовая. Извините, Глеб Сергеевич, за высокопарный слог, но это я нарочно — чтобы передать настроение этих людей. Правильнее сказать, нового интеллектуального бомонда, воротил сегодняшней общественной жизни. Очень, кстати, ретивых, считающих, что они призваны сказку о рыночном комфорте сделать былью. — После секундной паузы добавила: — Ретивых и... чванных поборников западных идей.

Мартынов поднял брови, внимательно посмотрел на Ульяну. Непростая дамочка... Вспомнилось, как они с Кондратом после смерти Брежнева гадали о судьбах сталинской элиты, кривились на номенклатурную элиту, которую возвеличил Хрущёв, но, конечно, не могли представить себе, что те, кто через пять лет с западной поддержкой рванутся в перестроечную элиту, станут “инвестицией в американскую безопасность”. Уж он-то, Глеб Мартынов, матерый оборонщик, хорошо понимал, чем аукнутся для России “инвестиции в американскую безопасность”.

Между тем Ульяна, повернувшись к мужу, с очаровательной улыбкой, как бы в шутку, по-своейски снова упрекнула его:

— Дома ты мне про академические дела не рассказываешь. Слава Богу, в гостях кое-что услышала. — Краснопевцев отмахнулся, и она спросила уже



серьёзно: — Кстати, ты говорил, что ставку делают на молодых прогрессистов. Но Заславской, кажется, под шестьдесят, вдобавок академик. Внешне всё в норме.

— Ну, Заславская — это разговор особый. Фигура заметная, на телевидении звездит, в газетах мелькает, колокольню звучит. Но неоднозначная, вернее, многозначная, вокруг неё вкривь, вкось и впрямь разговоры идут. В отделе философии и права такие страсти бушуют, что не приведи Господь.

— По поводу её статьи о стратегии социального управления?

— Статью не читал, хотя слышал, будто бы это скользкое многословие с обилием модных слов. Скандал по другому поводу: Заславская объявила себя родоначальницей новой области знаний — экономической социологии. Но группа докторов прислала в Академию и в отдел науки ЦК “телегу” о том, что она позаимствовала идею у какого-то американца, чуть ли не буква в букву. Представили перевод книги, откуда всё списано. Научный плагиат высшего пилотажа. Деталей не знаю, но в Академии шум до небес.

— Относительно громкой статьи я газетные восхваления видел, — включился в разговор Мартынов. — Но по части скандала в Академии ни где ничего не читал.

— Да в том-то и дело, Глеб Сергеевич, что на верхах очень уж заботливо её оберегают, это больше всего и смущает. Носятся с ней как с писанной торбой, поговаривают, что из ЦК запретили газетам писать о плагиате. Если, конечно, он был, наветы, передёргивания тоже не исключены. Кто свят? Но в том дело, что разобраться не дают, диалога не предлагают, а сама Заславская отмалчивается. О перестройке — интервью за интервью, а что до обвинений в плагиате, то она, как у нас говорят, летит ниже радаров, её не видно, не слышно. Мутная история.

— Лёня, а вообще-то какое в академической среде мнение о Заславской? Если по-крупному? — Было видно, что Ульяна вцепилась в тему.

Краснопевцев скренделил на груди руки, надолго задумался.

— Понимаешь, Уля, я от социологии далёк. Но в перестройку Заславская заявила очень уж заметно, её имя у многих на языке. Ну, люди и судачат, что она всегда занималась научным обоснованием желаний власти. Да, да, именно так — даже не пожеланий, объявленных публично, а именно неизречённых желаний. Угадывала и сразу прикидывала, что к чему. Глеб Сергеевич, вы должны понимать, о чём я. Помните, как Челомей с Янгелем по стратегическому изделию бодались?

— Ещё бы!

— И наверняка помните, в чью пользу шёл из ЦК нажим, помните, как оборонщики противились. А Заславская не только никогда с властью не препиралась, у неё искра Божия угадывать намёки власти, даже невнятные, и научно их обосновывать. Шикарные костюмы к рукавам пришивает. Говорят, очень уж она ретивая — верное слово наша Ульяна! — по части обслуживания верховных прожектов, умеет пенки-сливочки снять. На этом себе имя и составила. — Вдруг засмеялся. — Кстати, Уля, мне один академический остролов о её статье так сказал: цыганочка с выходом! Лихо, мол, сплясала перед архитекторами перестройки. Ну, это я так, по ходу.

— О-очень интересно! — воскликнула Ульяна. — Этой метафорой всё о Заславской сказано.

— А ты сама посуди. Предмет у неё самый-самый — социология! Ссылается на мнение населения, транслирует настроения ширнармасс. Это же какой козырь для верхов! Потом выясняется, что решения боком вышли, а у Заславской обряд омовения рук: я непричастна, я лишь высказала свою точку зрения, за ошибки пусть отвечают те, кто решения принимал, кто подписи ставил и печати штамповал. О, вспомни! Есть ещё одно “кстати”. На той неделе мне сказали, что оппоненты вот-вот выкатят ещё какой-то её крупный грех по части неверных научных подсказок. В общем, относительно этой дамы могу сказать так: понимание всего сущего, в том числе и людей, меняется с накоплением фактов. За ней, знаешь, какой образ закрепился? Золотая монета с гладким гуртом.

— Это я не очень понимаю.

— Ну, золото вроде настоящей пробы, а ребро, гурт без насечек, и, значит, монета либо поддельная, либо памятная, не для обращения.

— Здорово придумали! Умный человек не может быть не плутом, — засмеялась Ульяна. — Классика грибоедовского жанра.

— Не многовато ли в раз про эту Заславскую, — прервал Краснопевцева Мартынов и сменил тему. — Ты мне лучше скажи, что теперь с деньгами будет.

— Какими деньгами? — уставился Леонид.

— С государственными! А ты думал, с твоими-моими? Ваши академики такой хозрасчёт придумали, что идёт мощнейшая перекачка безналичных денег в наличные. Людям выплачивают незаработанные рубли, их покупательная сила каждодневно падает. Меня, старого производственника, от таких порядков в дрожь бросает. Дело сумасшедшей инфляцией кончится, не иначе.

Краснопевцев про денежное обращение понимал не очень, а Ульяна в таких вопросах и вовсе плавала. Но, к удивлению Мартынова, оба зажглись интересом, и он на пальцах разобяснил, к чему ведут безумства подпевающих Горбачёву академиков во главе с Шаталиным, которого уже числят личным экономистом Генсека. Потом вроде бы в шутку, а на деле-то всерьёз, рассказал старую цирковую притчу:

— У молодого дрессировщика тигры начали на арене шалить, и он испросил совета у старшего коллеги. А тот и бровью не ведёт, говорит: всё проще простого. Сделай для тигров тумбы поменьше да поуже, пусть они ёрзают, как бы не упасть. Тут уж им не до баловства станет. — И после смешков-улыбок обратился к Ульяне: — Вот и перестройщики так озаботили народ, что он только о хлебе насущном и думает, ему уже не до кулинарных споров. Через новшества его каждый день то пинком, то подзатыльником потчуют, а всё равно по мозгам бьют. Думаю, вы меня поняли... Я, уважаемая Ульяна, всю жизнь в реальной экономике, понимаю, к чему дело клонится. Вот шахтёры касками на Горбатом мосту стучали, газеты этот шум колокольным звоном нарекли. А колокол-то погребальный, по самим шахтёрам звонит.

Когда гости уехали, Глеб убрал со стола, быстренько ополоснул посуду, позвонил Наташе в Москву, отчитавшись за полный порядок в доме, и привычно уселся в плетёное кресло-качалку. По спортивной терминологии, это был его “снаряд” для выполнения головоломных упражнений — при ритмичных движениях хорошо думалось.

А ускоренный бег перестроечных дней давал пищу для размышлений.

Люди, посвятившие жизнь ракетному делу, почти всегда — с “философской жилкой”, ещё от Циолковского так повелось. Кстати, Циолковского Мартынов почитал равным Ньютону: из той же гениальной породы, один открыл закон земного тяготения, другой нашёл способ его преодоления. Что бы ни придумывал Жюль Верн, из пушки до Луны не долетишь, а ракетой и до звёзд достанешь, — как тут не проявлять интереса к общим категориям, заглядывая в бездонную глубь и необъятную высь мироздания?

Впрочем, Кантом-Гегелем Глеб не интересовался, ему с лихвой хватило давнишних, ещё в 50-е годы занятий в сети политпросвещения, где терзали тарабарщиной марксизма-ленинизма, заставляя вести конспекты лекций. Но не просто делал ракеты, а всегда тяготел к осмыслению стратегических идей безопасности, — как говорится, должность обязывала. И в последние годы, чуя неладное, мучительно пытался постичь, что на деле кроется за приговором Горбачёва “процесс пошёл”. Какой процесс? Куда пошёл? Зачем? По правде говоря, из директоров Мартынов эвакуировался вовсе не из-за того, что стеснялся выборов, — стояла бы перед заводом задача по новому изданию, в два счёта сломал бы любого неформала, никто и не пикнул бы. Но... Там, на верхах, всё расписано. Непобедимый криком кричал: “Сдавать “Оку” нельзя, это измена!” А Горбачёв эту ракетную систему сдал, просто так, без взаимности, как подарок Бушу. Мало того, вопреки отчаянному сопротивлению Генштаба, в угоду американцам снял с производства и “Осу” — тоже новейшее, неотразимое оружие ближнего ракетного боя. А Лигачёв, которого бросили на сельское хозяйство, жёстко жал ладить

вместо ракет линии для сбора яиц от фабричных несушек. Лично прибыл пощупать опытный образец.

Глеб Сергеевич Мартынов это новое поветрие принять не мог. Душа восстала так яростно, что однажды, впервые в жизни, проснулся от ночного кошмара. Причудилось, что ключи от дома потерял, не от замка, а от дома, от жизни, и не может войти в самого себя, мечется. Вещий сон!

Нет, не желал он принимать участие в разрушении того, что создавал всю жизнь.

И вот теперь — американцы в Воткинске. А Воткинск... Ракетная отрасль росла на глазах Глеба Мартынова. Он помнил, как на базе 88-го артиллерийского завода предвоенных времён возник головной ракетный институт НИИ-88, как стремительно набирал мощь его концерн. И понимал, что Горбачёв намеренно губит ракетное дело.

Глеб уже давно считал его, по меньшей мере, умным дураком, не желая смириться с тем, что во власти теперь чужие. Новое мышление Генсека, которое он вывалил с трибуны ООН, ставило общечеловеческие ценности выше национальных интересов, а его мессианские мечтания о всемирном примирении отвергали баланс силы, который зиждился на ракетном сдерживании. Отказ от идейного стержня во внешней политике стал, по раздумьям Мартынова, прямым предательством. Пока Горбач приносит интересы страны в жертву общечеловеческому благу, Штаты под шумок славословий и пафосной лести в его адрес потирают руки, убирая с глобуса главного конкурента, — вот уже и до Воткинска добрались.

Велеречивый выскочка, возомнивший себя вершителем мировых судеб? Возможно. Однако есть один вопрос, который для Мартынова был самым большим.

Глеб поднялся с качалки, принялся неспешно расхаживать по комнате. Ладно, Горбачёв, одуревший от мировой славы, одну за другой дарит Штатам стратегические уступки. Но ведь не сам же он измудряется на антигосударственные пакости-подлости, есть же рядом команда, которая подбрасывает идеи вселенского масштаба. И уж они-то, в этой команде, отлично понимают, к чему идёт дело. Нет, иначе: наверняка они хорошо знают, к чему ведут дело. Снова свербила в голове мысль, которую когда-то обкатывали они с Кондратом: всё-таки прорвалась к власти элита, готовая сдаться на милость западному образу жизни и бросить к его ногам великую страну. В памяти Мартынова, участника Парада Победы, когда к подножию Мавзолея швыряли повергнутые фашистские штандарты, стоял именно тот образ позора поверженного врага. И сама мысль о том, что теперь новоявленная кучка привластных интеллектуалов, которую возводят в ранг национальной элиты, под обманными лозунгами очистительной перестройки бросает славные русские знамёна под колесо истории, была трагичной. А Воткинск — да, наше знамя боевое, гарантия стратегической безопасности.

Ускорил шаг, в бессильной злости из угла в угол метался по комнате. Сволочи! И вдруг обожгло: “А если под статусом новоявленной элиты орудует тайная группа особых интересов? Если во власти Пилаты и Иуды?”

## 15

Чудны дела твои, Господи!

Десятилетиями беспощадный к любой искре инакомыслия цэковский Агитпроп возвращал свирепую цензуру, которая с пристрастием блюла строгую политическую нравственность. И до такой степени изощрился Главлит, бдительный страж партийных интересов, искоренявший непотребные публичные изыски, что — уму наперекор! — требовал литовать даже надгробные эпитафии нелояльным к власти покойникам. Удивительно ли, что столь жёсткий надзор за свободной мыслью ещё в 60-х породил ответ, в традициях народного краткословия названный самиздатом. Тысячи самостийных машинок возраста от юного до преклонного, за плату или по душевному влечению, в тиши ночей или в тоске пенсионных будней, тайно, словно азбукой Морзе, выбивали на пишущих машинках запретные тексты; копировальная

бумага шла по разряду дефицита. А кагэбэшная Лубянка, чьё приметное здание хорошо просматривалось из агитпроповских окон на Старой площади, исправно отлавливала диссидентов, промышлявших самиздатом.

И вдруг, в какие-то два-три года, по историческим меркам в одночасье, цензурная удавка ослабла до такой степени, что главреду “Московских новостей” Егору Яковлеву с личного дозволения архитекторов перестройки удалось добиться отмены предварительной цензуры. Гласность торжествовала, страна неудержимо рвалась к демократии, к плюрализму мнений, к свободе печати.

Но известно, есть у переломных исторических эпох некая обязательная особенность: переустроители жизни, жаждущие быстрого идейного слома, всегда беспринципны и, призывая к новшествам, на деле не прочь использовать как раз те догмы, которые свирепо осуждают и отвергают. В результате реформаторские недра неизбежно сотрясают глубинные скандалы. Они не колеблют поверхности суетливой в такие годы повседневности, а потому не удостоены внимания современников. Их символический смысл открывается лишь потомкам, распознающим по таким эксцессам — иначе о них и не скажешь, — особую степень коварства политических затейщиков. Мировая история пронизана этими тайными до поры до времени, неизменно порочными изъянами, изъедающими среду торопливых обновителей жизненного уклада.

Случился такой скандал и в перестроечных недрах. Кто бы мог подумать, что прорабы, звавшие к свободе печати, своим перестроечным рвением поспособствуют возрождению славного русского самиздата? Самое же поразительное, даже фантастическое заключалось в том, что возродил самиздатовскую стихию цензурный раж тех же людей из тех же агитпроповских кабинетов Старой площади, которые раньше пестовали Главлит, но потом прозрели, осознали порочность прежних догм, лукаво переобулись в воздухе и громко ратовали за отмену цензуры. Однако, едва дело коснулось их интересов, они тайно отбросили демократические лозунги и со страстью взялись за прежнее, за привычное для них “держать и не пущать”.

На сей раз негласно.

Это было нечто фантазийное. Глубинный, внутренний скандал оказался связан с острой необходимостью на корню задавить угрозу развенчания научного авторитета академика Заславской. “В миру” немногие знали, что именно она играла ключевую роль в замысле предстоящего идейного слома. Именно компетентным научным мнением Татьяны Ивановны архитекторы перестройки обосновали решающие социальные сдвиги, на деле означавшие... да, да, всего-навсего смену общественного строя. Ведущий социолог страны, президент советской социологической ассоциации, директор знаменитого ВЦИОМа, Заславская была фигурой знаковой, в пропагандистском плане “священной коровой”. Она держала в своих руках всю сферу социологии, включая печатные издания, она не позволяла “высунуться” коллегам с иной точкой зрения, предваряя и венчая своим веским словом дискуссии о социальных вызовах перестройки. Крах её научного авторитета позволил бы обществу услышать поперечные мнения, и это могло подорвать концепцию идейного слома, основанного на поношении прошлого и производстве иллюзий о западном образе жизни.

Что бы снять угрозу, архитекторы перестройки, не поперхнувшись, избрали испытанный метод своего цэковского прошлого — погребение умолчанием.

Между тем, группа профессоров Ленинградского университета, в том числе заведующие социологическими кафедрами, посмела бросить тень на безупречную научную репутацию Татьяны Ивановны, обвинив её в грехе обвального плагиата. Они утверждали, что Заславская беззастенчиво заимствовала чужие идеи. Письмо профессоров, поступившее в ЦК КПСС, — копия в Президиум Академии наук, — категорически нельзя было предавать гласности. Для газет, противостоявших Горбачёву, институт цензуры формально ещё не был отменён, и его задействовали в полную силу. А для “Московских новостей”, “Огонька” и других демократических изданий хватило телефонного намёка на важность глухого замалчивания.

Эта политическая извращённость транзитных лет с её вывертами общественного сознания и возродила самиздат. В столицах письмо ленинградских профессоров о научной нечистоплотности Заславской, а попросту — о шулерском вольте маститого академика, широко ходило по рукам, вызывая крайнее недоумение просвещённой публики.

Письмо начиналось оглушительно:

“Заславская о создании ею новой области знаний заявила в своей статье “О предмете экономической социологии”, помещённой в издаваемом под её редакторством журнале “Экономика и прикладная социология”. (Выпуск 1. 1984.) Эта статья, однако, вышла на пятнадцать лет позднее, чем аналогичная работа американского социолога проф. Н. Смелсера “Социология экономической жизни”, опубликованная в книге “Американская социология”. Эта книга была издана в США в 1968 году и переведена на русский язык в 1972 году... Идеи Н. Смелсера в области социологии экономики были заимствованы Заславской без какой-либо ссылки на работы Н. Смелсера”.

Авторы письма приводили данные о том, что в СССР социальное планирование, авторство которого присвоила себе Заславская, “на практике начиналось в Ленинграде”. А в приложении на четырнадцать страницах машинописного текста цитатами показывали, что “Заславская заимствует не только общую формальную методологическую установку, но и концепцию ролей как исходную для социологического анализа... Заславская сконструировала свою экономическую социологию из материалов одного источника — статьи, написанной Н. Смелсером”.

В научных кругах письмо ленинградских профессоров вызвало шок. Это был политический Чернобыль с высокой дозой консервативного облучения.

А вскоре досадливо сработало и старое русское правило “лиха беда начало”. В самиздате всплыло письмо четырёх докторов философии, которые обвинили Заславскую, “сосредоточившую в своих руках руководство или членство во множестве учреждений, советов, редколлегий и т. д.”, в неприязни критики и научном монополизме, — это был прямой выпад против её цэковских опекунов. Авторы письма по косточкам разбирали путаные и сомнительные цитаты из статей Татьяны Ивановны. Особенно досталось той, что из сборника “Иного не дано”. Философы писали: “Заславская выводит за рамки активных сил перестройки десятки миллионов пенсионеров, а различным слоям крестьянства в её схеме места вообще не нашлось”. В качестве примера грубого подавления альтернативных мнений приводилась судьба социолога-аграрника В. И. Староверова, которого Заславская третировала много лет. И, наконец, — вишенка на торте! — Великим постом титулованная учёная дама заявила, что необходимо немедленно в 2-3 раза повысить цены на продовольствие. Шум после того скандального академического требования поднялся до небес, и “17 февраля 1988 года по московской программе телевидения Заславская отказалась от этого своего предложения как несвоевременного, но необходимого в ближайшей перспективе, и следовательно, отставившая ошибочную направленность своей рекомендации”.

Имя академика Заславской становилось одиозным. Цэковские стряпчие, которые со страстью мирволили Татьяне Ивановне, всполошились.

Главный редактор “Московских новостей” Егор Яковлев — в Учредительный совет газеты вместе с архитектором перестройки Яковлевым входила Заславская — понимал, что пришло время свистать всех наверх. И первым делом позвонил старому другу Борису Грушину:

— Боря, ситуация критическая. Ты в курсе, что происходит? Того и гляди, эта мышьяная возня, профессорская клоунада может вызвать такие аплодисменты, что мама не горюй. Дело табак. Ты же понимаешь, с чьего голоса они поют. Надо отбить нападки. Как сподвижник Татьяны Ивановны ты должен сказать своё громкое слово в её поддержку. К твоему мнению прислушаются. Ты у нас о двух головах. Только ты можешь с толком, с расстановкой проследить этих умников по всем падежам. Ставлю твою статью в следующий номер.

Грушин молчал.

— Боря, ты понял? В следующий номер.

— Егор, ты же знаешь, я не люблю включаться в политические сюжеты, у меня есть работа на своём поле.

— Какие политические сюжеты? Началась травля выдающегося социолога, это вопрос нравственный. К тому же ты прекрасно знаешь, что Татьяна Ивановна у нас на пропагандистском спецобслуживании.

Но Борис не поддавался. У заядлого анекдотчика Грушина всегда был под рукой нужный случай.

— Слушай, мне вчера анекдотец рассказали, как раз в тему. У Мойши умерла горячо любимая жена, и он пришёл к ребе посоветоваться, как ему теперь жить. Ребе и говорит: это бывает, через год горечь утраты утихнет, вы утешитесь и вернётесь к нормальной жизни. Мойша отвечает: через год! Но что мне делать сегодня вечером? Егор, ты меня понял?

Анекдот был неоднозначный, с типично грушинской изнанкой. Похоже, Борис иносказательно и деликатно намекнул, что не слишком уж и переживает по поводу нападков на Заславскую.

Но Яковлев продолжал напирать. В ход пошла тяжёлая артиллерия:

— Чёрт побери! Мы не вправе допустить, чтобы эти гробы повапленные опорочили Татьяну Ивановну. Всё не так просто. Как пить дать, эта красная профессура вчерашний день ищет. Боря, отведи на них душу! Я жду.

Грушин снова замолчал. Потом гмыкнул и твёрдо ответил:

— Егор, не жди, статьи не будет. До встречи.

С Заславской у Грушина было непросто. В 1983 году, слегка очухавшись после смерти Брежнева, на Старой площади засуетились по части заимствования на Западе “кусочка демократии”: Пленум ЦК через опасливые закулисные сомнения, что называется, скрепя сердце повелел создать чуждую для советской системы структуру под названием Всесоюзный Центр изучения общественного мнения. И Отдел науки ЦК принялся сколачивать рабочую группу для подготовки “бумаг” по щекотливой проблеме: наверху понимали, что массовые анонимные опросы, выявляющие глас народа, могут стать детонатором всеобщего недовольства. Первой, как и следовало ожидать, всплыла кандидатура Бориса Грушина, которого в ЦК хорошо знали три отдела.

Международники дважды посылали его в журнал “Проблемы мира и социализма”, что само по себе говорило о полном доверии. Вдобавок, Борис не затруднился так глубоко изучить пивную и банную культуру пражан, что между делом сочинил смешную книжонку под названием “Истина в пиве”, которая весьма позабавила московских кураторов, — свой парень!

Иначе воспринимали Грушина в Агитпропе. Ещё в 70-х наделал шуму его знаменитый, многолетний “Таганрогский проект”, который через тысячи ответов на хитрые, тонкие вопросы позволял, как говорится, отличить голодных от голодающих и раскрыл такую шкалу народных ожиданий, что в ЦК поспешили поставить на нём гриф “ДСП” — для служебного пользования. В те же годы Грушин так энергично “полез” на телевидение, что до беседы с ним снизошёл тогдашний шеф радио и ТВ Лапин. Борис Андреевич предложил ему новшество — систему оценки зрительских симпатий, в 80-х названную рейтингом передач. Результат беседы был, по оценке Грушина, восхитительный.

В ту пору властители дум, как самонадеянно именовала себя благополучная передовая интеллигенция, часто собирались на квартирах — не на кухнях, как в 60-е, в эпоху безмолвия, а уже на квартирах, — чтобы горливо отвести душу в откровенном трёпе, а порой и безудержном зубоскальстве. И на одном из таких весёлых заседаний, после визита к Лапину, который он с юмором назвал “посиделками на электрическом стуле”, Борис хохотливо поведал друзьям:

— Бесподобный Лапин меня в капусту изрубил. Говорит: “Зачем выяснять, что люди смотрят по телевидению, если нам и без того известно: они смотрят то, что мы им показываем”.

Но не ведомо было Грушину, что после той беседы крутой Лапин в категоричной манере изложил нелестное мнение о нём агитпроповскому куратору

телевидения Грише Оганову, — да, да, Грише, с его вечно скептической полуулыбкой, Грише, с которым Боря лет пять хлеб-соль водил ещё в “Комсомолке”. А болтун и жополиз Гриша, увы, был не из тех, кто не сдавал своих, он довёл до нужных ушей, на кого изволил гневаться Лапин. В общем, по совокупности “кейса” в Агитпропе с давних пор к Борису Андреевичу относились настороженно.

А в отделе науки колебались. Там знали, что Грушин — первейшая величина по части соцопросов, знаток западной системы изучения общественного мнения. Но как раз по этой причине и мялись: хотелось чего-то своего, доморощенного, обжитого, привычного и... подконтрольного.

Об этих цэковских сомневансах Борис узнал гораздо позже, а в 83-м, когда ему предложили возглавить рабочую группу, поверил сладким обещаниям, был на седьмом небе, дал волю мечтам. В тот вечер примчался домой с шампанским: “Сегодня праздник, будут танцы!” Человек эмоциональный, уповающий на удачу, классический “антимизантроп”, он давно грезил службой опросов наподобие американского института Гэллана, а потому отбросил научные дела, с головой нырнул в канцелярскую писанину, и уже через месяц проект решения был готов.

Однако понадобилось четыре года, чтобы у Секретариата ЦК, наконец, дошли до него руки. Когда в перестройку по стране бродил призрак демократии, Грушин с весёлой присказкой: “Порожняк не гоним! А если что, — мы на конной тяге!” — опять рванулся на телевидение. На сей раз с идеей рубрики “Экран мнений”. Пытался продвинуть и радиопередачу того же типа, — увы, везде игнорили, всюду водили за нос, всё без толку! Отчаявшись, разочаровавшись, написал злую статью в “Советскую культуру” под заголовком “А. Б. В...”, опубликованную 5 мая 1987 года. Но именно та статья, как смеялся потом Борис Андреевич, стала мышкой, которая выдернула репку.

Через неделю для обсуждения статьи Грушина пригласил секретарь ЦК КПСС Лукьянов, и “процесс пошёл” со скоростью литерного эшелона. Документы четырёхлетней давности, конституирующие ВЦИОМ, нуждались в минимальной правке. Оставалось решить главный для партийных бонз вопрос: под чьей “крышей” будет жить Центр изучения общественного мнения?

Впрочем, вопрос был не просто первее первого, а вдобавок большим, которого предпочитали не касаться: только сейчас выяснилось, что долгая провололочка упиралась именно в проблему “крыши”. Дело было в диковину, общественное мнение — штукавина слишком опасная, всякой всячины в ней столько, что не приведи Господь. Ни-ни оставлять его изучение вне контроля, уж где-где, а тут надо глядеть в оба — в этом отношении лидеры перестройки перестраиваться не собирались. Демократия — демократией, гласность — извольте, свобода мнений — ради Бога, плюрализм — ну, конечно же! Но кто будет командовать “вопросами опросов”, а уж тем более результатами народного волеизъявления, — об этом, извините, мы позаботимся сами. Тут жёсть! Задумано потрясение основ, настало время идейных вызовов, и “крыша” ВЦИОМа должна быть не только абсолютно надёжной с точки зрения её контроля, но и без протечек в смысле утечки поправок, какие в случае надобности придётся вносить в публичные сводки. Лучше всего было бы, разумеется, напрямую замкнуть ВЦИОМ на Агитпроп, да как-то несподручно это для перестроечных нравов. А если вариант Академии наук, о чём толкуют в социологических кругах? Пожалуй, нет, академической средой командовать непросто, высоколобые могут заартачиться. Нужен кто-то послушный, без путаницы в мыслях, беспрекословно, с намёка понимающий, что к чему. Одним словом, востребовано какое-то подставное ведомство.

Искали долго, но всё же нашли — ВЦСПС! При чём тут безвольные в советскую пору и в перестройку профсоюзы? Выяснилось: как раз при том, что безвольные!

На эту тему Лукьянов и повёл разговор с Грушиным, который учтиво, в своей иносказательной, всегда остроловной манере посоветовал секретарю ЦК КПСС “не страдать ерундой”: профсоюзы ни малейшего отношения

к изучению общественного мнения не имеют. Но оказалось, начальственная мысль вопрос о “крыше” уже решила, причём бесповоротно. И в сентябре Грушина позвала на совещание в ВЦСПС, где обсуждали “новую структуру”. Борис Андреевич, человек с открытым сердцем, самокритично называвший себя честным до глупости, и на сей раз не оплошал. Шутливо, но язвительно, а отчасти и кинжально, без наркоза иносказаний, с мудризмами из древнегреческого эпоса, который обожал, задорно и прозрачно намекнул профсоюзным лидерам — чиновники заядлые! — что надо бы им почитать кое-что касательно опросов общественного мнения.

Тем не менее в октябре цэковский куратор из Агитпропа предложил Грушину срочно заняться составлением учредительных документов ВЦИОМ, на приподнятых эмоциях сопроводив поручение цитатой из Грибоедова:

— Вы, Борис Андреевич, у нас не нынче-завтра генерал...

А в конце ноября, когда работа была закончена, тот же куратор с виноватым лицом кисло известил:

— Борис Андреевич, уважаемый... Я вынужден сообщить, что в ВЦСПС при решении вопроса о директоре ВЦИОМ ваша кандидатура рассматриваться не будет...

Магистры перестроечных интриг решали этот вопрос в извилистых цэковских закоулках и тупичках. И результат вышел иным: Грушина забраковали. В декабре 1987 года вместо обещанной экономической перестройки в курьерском темпе громыхала политическая, пришли иные времена, взошли другие имена. И председатель ВЦСПС Шалаев пригласил к себе академика Заславскую, предложил ей перебраться из Новосибирска в Москву, чтобы возглавить ВЦИОМ.

Татьяна Ивановна согласилась сходу, даже не взяв времени на обдумывание, но сопроводив своё “да” оговоркой о том, что у неё опыта такой работы нет и хорошо бы уговорить её в замы профессора Грушина, которого она считает “лучшим специалистом” в этой области.

С учётом того, что реальным идеологом и хозяином ВЦИОМ был Агитпроп, не так уж трудно сообразить, кто именно подсказал Шалаеву кандидатуру Заславской. Не случайно перестроечная пресса немедля возвела её в ранг “вдохновителя, основателя и организатора ВЦИОМ”, хотя в одной из публикаций всё же проскочило, что “вместе с ней создавал ВЦИОМ и Борис Грушин”.

Вместе с ней!

Татьяна Ивановна ни разу не подправила поток восхвалений. Своей славой ей было мало, она приватизировала и чужую. Кремль!

Но надо было знать Грушина! Он писал однажды, что воюет за создание службы изучения общественного мнения не из карьерных видов, — и в мыслях не держал! — а для того, чтобы в СССР возникло гражданское общество. И, подобно знаменитому культурологу Альберту Швейцеру, лауреату Нобелевской премии, сделал свою жизнь своим аргументом. Хотя его вероломно и оскорбительно “кинули”, он продолжал нести свой крест, всё-таки пошёл первым замом к Заславской и со своей ураганной энергией умудрился всего лишь за год учредить сеть социологических центров в союзных республиках, уже в 88-м приступив к массовым соцопросам.

Однако в 1989-м ушёл от Заславской. Предпочёл стать вольным казакком, чтобы создать первую в стране частную социологическую службу “Vox Populi” — “Глас народа”. Не умеющий унывать, шутил:

— Эпизоды великого фильма “Броненосец “Потёмкин” снимали в бассейне Сандуновских бань. Не нужен размах мне советский, дайте право делать, что хочу.

И как раз в это время Егор Яковлев, не знавший о долгих “вциомных” страданиях, попросил Грушина публично поддержать Заславскую, которую коварно, антиперестроечно упрекнули в научном плагиате. Годы спустя, когда пыльная буря нелепостей, случайностей, совпадений, эмоций, обманов, предательств и Бог знает чего ещё замела исторические следы СССР и, наконец, улеглась, старые школьные друзья постфактум попытались разобраться в перестроечной истории с ВЦИОМ. И оба пришли к выводу, что



эта частность, булавочная головка на фоне грандиозных событий, наизнанку вывернувших страну, на самом деле была особо примечательной, рассекретила одно из ключевых таинств перестройки.

Ибо борьба за создание ВЦИОМа стала лишь внешним антуражем этой истории. А суть её раскрылась через почти двухлетний противоестественный мезальянс Заславской и Грушина, невольно заставляющий вспомнить Пушкина: “В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань”. Оказалось, — можно, хотя роль трепетной лани в данном случае исполняла не Татьяна Ивановна.

Досужие умы считают, что опросы общественного мнения понадобились лидерам перестройки, дабы сверять политику с запросами населения. Однако замысел “архитекторов” был иным: памятуя советский опыт цензуры и партийного диктата, в том числе богатейший личный опыт, — да, да, личный! — они изначально задумали использовать соцопросы втёмную, лукаво имитируя через них поддержку реформ. Десятилетиями они обличали мировое зло капитализма и, уподобляя итоги соцопросов статистике, — как-никак, тоже подсчёты! — помнили формулу Дизраэли: на белом свете есть ложь, наглая ложь и статистика. Никто на Старой площади и мысли не допускал, что ВЦИОМ получит право выдавать на-гора данные, противоречащие идеям перестройки. Перед Центром негласно стояла иная задача: обосновать верность выбранного курса. Иного не дано!

Иначе говоря, от ВЦИОМ требовалась двойная лояльность: в опросах не должно быть “дурацких” вопросов, а для страховки лидеры перестройки бронировали за собой право “вето” на публикацию нежелательных результатов. Обе эти задачи успешно решались в том случае, если во главе ВЦИОМ будет стоять “вменяемый” человек, умеющий не выносить сор из избы. “Архитекторы” хорошо знали известное правило: итоги выборов зависят не от голосующих, а от тех, кто подсчитывает голоса. И разумно, со своей точки зрения, прилагали эту аксиому к итогам соцопросов.

Грушин, человек прозападных убеждений, принявший философию потребления Бодрийара, позволявший себе “осквернять советские иконы” — на радио “Свобода” вёл рубрику “Кафка Корчагин”, — казалось, вполне годился на роль директора ВЦИОМ. Тем более в среде социологов считали, что в СССР служба изучения общественного мнения “вышла из грушинской шинели”. К тому же Грушин был убеждён в особой исторической роли интеллектуальной элиты, которая способна указывать путь народам, а эта идея лежала в основе перестроечного замысла. Но слишком уж неуживчив, избыточно порядочен этот въедливый субъект. У него был не только абсолютный музыкальный слух — в детстве пиликал на скрипке, — но такой же слух на любую фальшь, чего бы она ни касалась. Он поклонялся американской службе Гэллапа, однако утверждал, что в русских контекстах копировать её нельзя. Вместе с Карякиным, Яковлевым и другими выходцами из пражского журнала он впитал в себя западные смыслы, но, в отличие от них, наотрез отказался депутатить, избегая чистой политики. В слове “революция” он решительно отвергал первую букву и на деле доказывал свою приверженность плавным переменам, осуждая перестроечные пыл и зуд закадычных друзей. Наконец, он никогда не сдавал своих. Ещё в 1969 году, когда с подачи яковлевского Агитпропа в Академии общественных наук при ЦК учинили разгром социологии, учредив партийный контроль над ней, Грушин был единственным, кто выступил в защиту гонимого в ту пору своего пражского сотоварища Левады.

Безусловно, Грушин, называющий перестройку социотрясением, не был вменяемым, он недостаточно гибок, вечно на своём стоит, а что у него на дальнем уме, не поймёшь. Для “под диктовку” непригоден, такое выдумает, что и подумать нельзя. Грушин не ко двору, его надо аккуратно вытеснить на задворки.

И совсем иное дело академик Заславская. Женщина незаурядная, Татьяна Ивановна, по её словам, всегда искала более привлекательный жизненный путь, в связи с чем после третьего курса физмата МГУ вернулась на второй курс экономического факультета, чутко уловив перспективу. И если Грушин, начинавший с Института общественного мнения в “Комсомолке”,

хорошо чувствовал настроения народа, то Заславская, делавшая научную карьеру, умела отлично угадывать настроения властей предрежущих. И выбрала идеальную позицию нулевого риска: причастная ко многим крупнейшим экономическим провалам, не была их инициатором, — она лишь научно обосновывала ошибочные решения, влиявшие на судьбы страны. Она всегда шла в ногу со временем, и в 88-м, когда авторитет КПСС пошатнулся, член партии Заславская “громко” крестилась в возрасте 60-ти лет, оповестив об этом общественность. Во множестве интервью, — жанр, особо привечаемый Татьяной Ивановной, гением самопиара, — она в изысканной академической манере на пафосе откликалась на каждое перестроечное действие, давая резкую отповедь оппонентам всех мастей. У неё была своя шкала успеха, на которой академическое звание не выглядело высшей точкой — всю жизнь она шла в гору! Стала “кавалером” неисчислимого множества общественных регалий и заняла самые престижные позиции, держа руку на пульсе советской социологии. Ходили разговоры, что Сокуров, снявший обольстительную короткометражку о философе Мамардашвили, “положил глаз” и на лейбгвардии академика Заславскую, которую посчитал маркёром переломной эпохи. Высокого полёта птица! Научное светило с хорошим прошлым, без ретрозависимостей; плюс размах и деловитость. С таким багажом достоинств герметично притёртая к власти, покладистая Татьяна Ивановна, конечно же, была для архитекторов перестройки “экс-нострис” — из наших. С ней можно иметь дело, знает, с какой ноги танцевать, не даст маху.

И верховные опекуны не ошиблись: глава ВЦИОМ академик Заславская не нуждалась в подсказках и намёках. Какими не должны быть результаты опросов, она понимала лучше, чем сами “архитекторы”. Вместо примитивной профанации под диктовку, на что они рассчитывали, Татьяна Ивановна в духе порочных замыслов перестроечной элиты предложила близнецовое сходство карякинскому варианту “да сгинет истина!” — пушкинское “тмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман”. И едва Грушин, создав региональные центры, приступил к опросам, его изначальные тревоги с лихвой подтвердились: с директором ВЦИОМ они думали врозь, не нашли общего языка, идеи “Таганрогского проекта” Заславская отвергла, полагая, что надо действовать “с точностью до наоборот” — это любимое выражение Татьяны Ивановны отражало навыки её мышления.

Воистину, нет в мире ничего тайного, что не стало бы явным. В недолгом альянсе двух выдающихся учёных, словно в призме, преломилась порочная особенность тех смутных лет. На поверхности бурных событий, в шумном политическом “гуляй-поле” кипела драматическая борьба прозападных прорабов перестройки с силами торможения. И мало кто знал, что в стане западников, вдали от суетного мира разыгрывалась своя драма: там шёл естественный отбор — “архитекторы” на всех фронтах идеологической схватки сделали ставку не на честных и порядочных, а на гибких и политически безнравственных. Тех, кого ждут в восьмом круге ада.

Ну, и результат вышел под статью.

## 16

Широкие цэковские коридоры, особенно в Первом подъезде Старой площади, никогда не отличались “ходынкой”, славились тишиной. Почти неслышно в них иногда мелькали курьеры, разносившие по важным кабинетам секретные документы, — всегда женщины проверенного среднего возраста и всегда в обуви без каблуков. Громкая походка здесь была не принята, и только один человек позволял себе ходить по коридору с грохотом. Когда из дальнего лифта, — подъезд во дворе, куда заезжали машины секретарей ЦК, — шёл в свой кабинет Александр Яковлев, он так мощно стучал по паркету ортопедическим каблуком хромой ноги, что его быстрый шаг слышал чуть ли не весь четвёртый этаж.

После отмены 6-й статьи Конституции о всевластии КПСС коридоры и вовсе затихли, “партийные” обитатели здешних кабинетов постепенно начали перебираться в Кремль, сплываясь в президентскую рать.

Убавилось дел и у Кондрата Кедрова. Бывали случаи, когда он безучастно сидел за своим древним, удобным, намоленным письменным столом — не позволяя заменить его при обновлениях офисной мебели, — и бесцётно, одним росчерком рисовал на чистом листе бумаги нотный ключ: рука двигалась просто так, бессмысленно. А сам думал о жизни, которая — да, пошла на последний круг.

Партийные, да и политические перипетии последних месяцев его интересовали не особо — смирился. Зато жизненные заботы тревожили душевными неудобствами. Он часто спрашивал себя, что ещё мог бы сделать для клана Кедровых, пока сидит в кабинете с вертушкой, перебирал различные варианты и, увы, приходил к нулевым выводам. Квартира для Вари стала его последней добычей. И каждый раз, когда натёкался мыслью на этот чиновничий подвиг, непроизвольно морщился из-за того, что всё пошло не так, как задумано. Родился жданный внук, почти четыре кг, уже агукает, — казалось бы, пой-пляши. Но часто бывая на Люсиновской, Кондрат чувствовал, что оттуда ушла радость. Оттого и кручинился, понимал ведь, в чём дело. Варя, она молчунья, с характером, разве пожалуется? И расспрашивать, бередишь нельзя — надо ждать, чем закончатся похождения Дмитрия.

Но после одного из визитов на Люсиновскую, когда Варя на его осторожный вопрос о житье-бытье только плечами пожала, всё-таки не выдержал, позвонил сыну:

— Вечером можешь заехать к нам, в Староконоушенный? Часов в семь?

Сын явился в половине восьмого, бодрый, подтянутый, с непривычно короткой стрижкой, глаза задорные. Принёс какой-то торт в цветастой коробке, попросил маму соорудить чай и, слегка улыбнувшись, начал сам:

— Ну что, отец, созрел для генерального разговора? Пошли...

Они закрылись в кабинете, и Кондрат, наверное, с минуту молча изучал взглядом сына, подмечая перемены в его облике, которые оценил как возросшую уверенность в себе. “Матерест, настоящий мужик”.

Сын спокойно выдержал взгляд. Сидя в кресле, ожидая вопроса, положил ногу на ногу. А какие вопросы, если он всё понял? Кондрат не стал рассоливать, сказал коротко:

— Ну? Я слушаю.

Дмитрий тоже молчал примерно с полминуты. Потом сильно оттолкнулся руками от подлокотников, пружинисто поднялся с кресла, принялся вышагивать по кабинету. Чувствовалось, он готов к разговору, но, видимо, ещё раз проверяет себя. Начал отрывисто:

— Отец, давай напрямую... — Умолк. — Да, напрямую. Решение принято. Жду, когда Никитка начнёт ходить. Варя предполагает, но не более. Мне почти сорок, отец. На ногах стою прочно, с хлеба на квас не перебиваюсь. Имею право выбрать свою судьбу. Всё будет достойно. Безмерно тебе благодарен, что позаботился о квартире для Вари. Но в эту квартиру въеду я... Вопросы есть?

Честно говоря, Кондрат ждал чего-то в этом духе, хотя не предполагал столь жёсткого тона. Отцовский замысел был иным, он хотел слегка прощупать “фактуру”, по возможности выяснить, глубоко ли увяз сын, на кого он запал. В голове старого кадровика автоматически стучали вопросы: возраст, семейное положение, профессия, национальность, трудовой статус. А в сознании невольно стоял образ привлекательной... нет, скорее обольстительной фифочки с боевой раскраской, каких он вдоволь навиделся на больших форумах. Одна из них почему-то запомнилась особенно — большие дымчатые модные очки в пол-лица, элегантная дамская сумочка через плечо. Выдержав паузу, спросил с подтекстом:

— Та-ак... Значит, с жильём будет не просто? Начнёшь с нуля?

Дмитрий поймал вопрос на лету:

— Отец, я же тебя знаю. Не допытывайся. Отвечу на все твои вопросы в двух словах. Она замужем. Муж — членкор Академии наук. Ребёнку три года. Всё понял?

На сей раз Кондрат действительно понял всё. Не изменившись в лице, сохраняя обычную внешнюю невозмутимость, он как бы пал духом, сразу

осознав, что решение сына бесповоротное, это не похождения. Оставалось лишь интересоваться деталями.

— Профессия?

Дмитрий снова угадал:

— Ты в своём репертуаре. Одно слово, кадровик!.. Давай серьёзно. Я ждал этого разговора, потому что очень на тебя надеюсь. Ты глава семейного клана, наша мачтовая опора, от того, как воспримешь перемены, зависит многое. Прежде всего, как они Варю аукнутся. Думаешь, у меня душа не болит? Но иначе не могу, понимаешь, отец, не могу! Говорю же, мне почти сорок, давно не мальчик. Уля тоже начинает с нуля, расстаётся с обеспеченной жизнью.

— Уля?

— Ульяна... Поздно мы с ней встретились, но навёрстывать в четыре руки будем. Отец, меня сейчас больше Варвара беспокоит, она, конечно, что-то чувствует. Говорю же, я ждал встречи с тобой. На тебя надеюсь, ты у нас самый мудрый. Ты должен Варю подготовить... — Подошёл сзади, приобнял за плечи. — Не знаю, как и что, но на тебя вся надежда. Меня ты теперь понял, не мог не понять. Вот и выручай. Времени мало, как только Никитка вылезет из колыбели...

Для Кондрата это был тяжёлый разговор, и он счёл нужным закруглиться. Хотя и не без назиданий:

— Ты вот что... Если плюёшь в прошлое, силу встречного ветра всё-таки учитывай... Ладно, зачехлим тему. Пойдём чаёвничать. Маме ни звука.

Кондрату Кедрову семейные проблемы были в новинку: только сейчас, на склоне лет он осознал мудрость народного присловья “в каждой семье своя гарь”. Несколько дней мучился, то ли поговорить с Варей, — о чём? — то ли выжидательно помалкивать. Потом позвонил Мартыну:

— В субботу возьмём Прагу? Часа в три...

В последнее время они встречались часто, примерно раз в два месяца — есть что обсудить. Их понимание драматических событий, накативших на страну, было полным, и в основном они просто обогащали друг друга мнениями, мыслями и фактами, облегчая душу. Но на сей раз Кондрат хотел и совета испросить.

Впрочем, устроившись в уютном, небольшом “Московском” зале и по солдатски попросив для разогреву принести “по маленькой”, они сразу принялись за свежую, горячую тему: новым министром МВД назначили Пуго!

Глеб взял с места круто, ругнулся:

— Что у вас там творится, мать вашу?

— А ты что, не понимаешь?

Конечно, Мартын всё понимал. Далёкий от партийных дел, он по своему элитарному статусу, уже бывшему, хорошо разбирался в высоких кадровых назначениях. На то, кто стал министром МВД, ему плевать. Пуго, Пуго — вот в чём загвоздка! Впервые председателя Центральной Контрольной Комиссии избрал партийный съезд, и это означало, что он теперь не зависит ни от Политбюро, ни от Генсека. Потому съезд и дал ему поручение расследовать выкрутасы партийной верхушки. К Пуго потоком пошли материалы на Яковлева, Шеварднадзе, да и на самого Горбачёва. И что Генсек, будь он неладен? Не имея на то уставного права, игнорируя волю съезда, нагло пересадил Пуго в кресло министра. С Пленумом ЦК не посоветовался, даже членов ЦКК не поставил в известность. Обезглавил Контроль, и дело с концом, вернее, концы в воду... Тигр прыгнул.

— Но Пуго тоже хорош. Чего согласился? Мог бы собрать Пленум ЦКК, — возмущался Глеб.

— Э-эх, дорогой мой, — тяжело вздохнул Кондрат. — Ты и впрямь не понимаешь, что у нас происходит. Сейчас ЦК — это клубок раздоров. Секретариат уже не заседает, Горбачёв с Яковлевым — люди славные, орудуют разбойно, пресса — в опричниках, газетам только лисьей шапки не хватает. Официальной тарабарщины больше, чем раньше, пафосной ложью мозги изнасиловали. Перепутье времён! Разве дозvoлят сейчас созвать Пленум Контрольной Комиссии? Это разговоры на ветер... Да и в стране, сам знаешь,

беззаконие, банановая республика. Наша эпоха, наша большая эпоха уходит. Чую, Глеб, подлые настают дни, мутные. Загрязнение умов тотальное. Последние времена. Душно!

— Во-первых, помни нашу заповедь: при последних временах держим ноги в стременах. А во-вторых, у тебя сегодня обилие светлых мыслей. Я так понимаю, что ты сдался? Будешь красить лавочки на бульваре? Или пойдёшь суточным сторожем?

— Да, Глеб, сдался. Чего мне перед тобой хорохориться? Придворных приключений я всегда был чужд, ты это знаешь. А теперь и не воитель, уже на обочине, *духом в борьбе не окрепну*. Огонь на себя вызывать не готов, шаг уже не держу, ибо знаю, к чему дело клонится. Аллес капут, кругом *свинцовые мерзости*. Такое сейчас расскажу, что вот этой селедочкой подавишься. — Отложил в сторону приборы, подпёр руками подбородок. — Помнишь, на партконференции Горбачёву велели с первого января 89-го поднять зарплаты партаппарату. Цены шли в рост, в то время всем оклады поднимали. А пятнистый — милое дело! — ждал девять месяцев. Девять месяцев!

— Пятнистый! Ты его уже не щадишь.

— Я Горбачёву не враждебен только по бессилию. Чего яриться, если нигде никак слова супротив сказать не могу? А играть в карты с шулерами я не сажусь. И нагишом в крапиву никогда не прыгал... Ну, слушай. Дождался он, когда партию начали травить, и решил вопрос за пятнадцать минут. Когда замначфина мне про это сказывал, руки у него от зла тряслись, губы дрожали, заикался, бледнел-краснел. В пятницу, по окончании рабочего дня вдруг дёрнул его сам Горбачёв — такого не бывало, чтоб замзава напрямую звал Генсек. Заходит, а у него сидит Костяная нога, Яковлев. Ну, в два голоса и продиктовали ему, чтоб к понедельнику, когда Пленум, был проект решения ЦК о повышении партийных зарплат. Горбачёв партию подставил, а Яковлев сподобил жуткий скандал в прессе: люди с голода мрут, а у секретарей райкомов зарплаты растут! Всё ясно, как Божий день, Глеб! Горе побеждённым. Чума партийной склоки, она скоротечна. Чего теперь стесняться? У меня вообще есть особые соображения по части этих притворщиков, Горбачёва-Яковлева, шли бы они... в Японию, прямо, вторая дверь направо. Страха Божьего не ведают, псы смердячие.

— Вышьем? — поднял рюмку Мартынов. — Для организма, да ещё с трезва такое великомыслие слушать вредно, тянет гульнуть на все. Година мрака и печали... Кстати, сейчас первые осенины, яблочный спас позади. У меня, знаешь, какое детское воспоминание? Снегопад белого налива! Так и стоит в глазах... Да и Успение на носу. Отметим?

Кондрат словно не слышал. Опрокинул напёрсток, продолжил:

— Я тебе больше скажу. Общий отдел такое антраша исполнил, что гром аплодисментов. На подпись членам ПБ пустил решение скользющим способом, по столу президиума, без обсуждения. Лигачёв подписывать отказался, понимал, что будет великий скандал. И что? В перерыве Горбачёв — это мне сам Егор говорил — подсел к нему со стаканом чаю, в комнате президиума, ну, и нажал. А Кузьмич-то, он того... податлив, когда жмут, чего греха таить. Не по Хуану сомбреро. От всей этой дури гадкие мысли в голову лезут. На днях "Майн кампф" полистал, мало ли какие случайные переключки.

— Настольная книга? Где купил?

— Сталин с фюрера глаз не спускал, изучал внимательно. Перед войной сделали перевод и выпустили с предисловием Молотова для ДСП. У нас подзамочно, в спецхране есть, вот я и глянул.

— И что?

— Пока, слава Богу, ничего.

Занялись "столичным" салатом, и Кондрат сменил тему.

— У меня дома нелады, у Дмитрия сын ещё в колыбели, а он, похоже, задумал разводиться. Уже не таится, мне напрямую высказал. Оказывается, случай запущенный, хворь неотвязная, видимо, его крепко эта женщина прихватила. Я думал, у него кризис среднего возраста, бунт естества, вот какая-то молодайка, блудница вавилонская и подцепила. Но, говорит, она замужем, и муж — из солидных, вроде членкор.

Мартын перестал жевать, поднял голову, вскинул на Кондрата глаза.

— А звать как?

— Да какая мне разница!.. Имя редкое, Ульяна.

Глеб неторопливо вытер салфеткой губы, протёр пальцы, слегка отодвинул тарелку в сторону, в упор посмотрел на Кондрата.

— Что ж, сделаю тебе весело. Игра случая: я её знаю.

Кедров чуть вилку не проглотил, но, психологически мощный, удивлённого вопроса не задал, продолжал невозмутимо жевать. Только через полминуты речисто сказал:

— Ну-ка...

— Её муж у нас зам по науке, мужик нормальный. Она — женщина непростая, умная, на мой взгляд, даже с глубиной. Журналист, но сейчас не работает, сидит с ребёнком. — Усмехнулся. — Из колыбели ребёнок уже вылез, сыну три годика. Ну, что ещё?.. Породистая, себе цену знает. У твоего Дмитрия губа не дура. — Помолчали, и Глеб продолжил: — Они ко мне на Клязьму приезжали, она в шутку жаловалась, что муж ей мало внимания уделяет. Выходит, шутка была нешуточная.

Снова долго молчали. Говорить-то было не о чем, всё сказано, всё ясно. Одно слово — жизнь. Наконец заговорил Мартын:

— Моя Галя к Новому году вернётся из Пекина, Вадима отзывают, пять лет в посольстве отбарабанил. Квартира у них двухкомнатная, а дети разнополые. Вот и думаю, не запустить ли их в наши хоромы. Нам с Наташей и двушки хватит.

— Из первых уст про Тяньаньмэнь узнаем.

— Миль пардон, боярин. У тебя только политика на уме, а мне голову ломать, куда дочь пристроить. Китайский она знает плохо, по этой линии не пустишь. В посольской школе географию преподавала, а по образованию геолог, пока замуж не вышла, романтикой жила, но сейчас-то не до экспедиций. Куда её сунуть, чтобы хунбао было?

— Хунбао?

— Это я образно. У китайцев хунбао — это красные конверты с премией.

“Шёл за шерстью, а вернулся стриженным, — злился на себя Кондрат. — Хотел душу излить, а получил удар в челюсть”. Нет, вовсе не до политики ему было, сказал про Тяньаньмэнь лишь для того, чтобы заткнуть дыру в разговоре. На деле-то “воленс-неволенс” думал теперь о другом. Какие у Глеба проблемы? Поселить дочь с внуками в своей квартире, только и всего. Чего тут кручиниться? У моего сына семейный разлад — вот она, настоящая беда. Что будет с внуками? Безотцовщина? Прикинул свой возраст — сколько ещё до пристанища, на сколько лет деда хватит? Не в смысле матчасти, на этот счёт сын позаботится, а по части мужицкой... Когда подрастал Димка, Кондрату некогда было с ним возиться, и он считал, что не довёл парня до тех кондиций, о каких мечтал. Теперь возлагал надежды на внука, которого с колыбели взял под плотную опеку, — не позволял Варе откликаться на любой плач — незачем потакать, да и баюкать на ночь не велел, пусть сам затихает. О внучке он в этих смыслах не рассуждал, потому что не было у него соображений, как надо бы растить девочку. Внука ждал. Восполняя упущенные в жизненной кутерьме родительские радости, Глеб мечтательно думал о душевных восторгах дедовства, о том, что будет пестовать парня по старой боевой присказке “мало штыка — дадим приклада”. Чтобы рос настоящим русским мужиком. Но что теперь?.. И как быть с Варей? Как подступиться к ней с нервным разговором?

Дообедали скучно, пить было больше не о чем. И Кондрат поплёлся домой, благо “Прага” близко от Староконюшенного.

На Старом Арбате творилось чёрт знает что. Пляски в ритме эпилепсии, блатные песни, грохот барабанов, джаз-бандов, карандашные рисовальщи-ки-моменталисты, прилипчивые гадалки, прыщавая школота, нимфетки, девки скрамного вида, пугала огородные в не пойми каких одеждах — пустые никчёмности, жаждающие быть приметными. Здесь же субтильная особа, похоже божевольная, потёртая жизнью, выцветшая, обращающая на себя внимание светло-голубым платьем со стеклярусом. Кто-то торгует с рук

слепым, контрабандным сигаретным товаром. Филиал преисподней! Ещё вчера всё это было немыслимым, а сегодня вдруг, по чьему-то дьявольскому заказу стало “гвоздём” демократической программы. Кедров шёл через эти сборище городских сумасшедших, эту пучину вульгарщины и нецензурицины, через угарные толпы ряженных, в безрадостном, натужном, греховном веселье творящих непотребство, и понимал, что это кривозеркалье, эта гуляющая нечисть, эти худшие из худших — продукт перестроечного гниения, что порвалась связь времён. И хоть тресни, не мог собраться мыслями, в голове плыло, чувство растерянности терзало мучительно. Тяжёлые тучи зашли понад Русью, страна погружалась в сумрак. Нет, не о таких своих прощальных днях он мечтал всю жизнь.

Ему было под семьдесят. Герой фронта, он ещё в студенчестве, в сталинские времена понял, что военная храбрость не равнозначна гражданской смелости. Когда за пьянку в день похорон Генералиссимуса его вышибли из Спорткомитета, он растерялся вот так же, до потери соображения. Как раз в ту пору встретил Зину — познакомились на танцах под оркестр в “раковине” парка Горького, — загорелся женитьбой, а тут всё рушится. Стреляться не собиравшись, однако же эта шальная дурость в башке всё-таки мелькнула. Но в ту пору фронтовики держались кучно, и те, кто постарше, кто до войны нюхнул пороху тридцать седьмого года, дали совет: чтобы обрести спокойствие, надо напрочь выкинуть из башки тяжёлую думу. Легко сказать! Но как? Пить беспробудно? Нет, дурман не поможет, после опохмела всё пойдёт заново. Надо мозги переключить на что-то совсем-совсем иное. Важное, очень важное! Чтобы душевно увлечься другой мыслью.

По зову памяти Кондрат словно дверь в прошлое распахнул, вспомнил тот разговор с Портнягиным, которого в роте все звали Васильичем. Мобилизованный, когда ему было за сорок, успевший до войны построить канал Москва-Волга — не эком, вольнонаёмным, командовал сварочным цехом на Дмитровском мехзаводе, — Портнягин только в ту памятную послесталинскую встречу за рюмкой водки рассказал о своих прошлых страхах, по его словам, хуже фронтовых. Когда вода впервые вошла в канал, с Волги в Москву, на торжественное заседание в Большом театре поплыл праздничный пароход с командным и инженерным составом стройки. На каждом плюзе грохотала медь духовых оркестров, плясали танцевальные ансамбли, народные хоры задиристо пели весёлые частушки. В ответ с палубы — парадные речи, славицы. Но на стоянках незаметно поднимались по трапу некие молчаливые неприметные люди и каждый раз уводили с собой кого-то из пассажиров, да не по одному. И все понимали, кто их пригولубил.

— То ещё было плавание, — кривился после рюмки Васильич. — До Большого театра не все доплыли, а уж из головки энкаведешной — никто. Потом сказали, что враги народа, всех расстреляли. Так вот оно, Кондрат. Представь, чего мы натерпелись? А ведь на пароходе надо было ещё и “ура!” кричать, праздник! От того страху я никак отойти не мог, много чего мерещилось. А потом плюнул и стал всей душой радоваться. Москву сделали портом пяти морей! Канал четыре года строили; хотя эки, но героизма трудового хоть отбавляй — сколько раз дамбы паводком прорывало, и прораны чуть не телами своими люди затыкали. Мы на заводе первый в стране самосвал соорудили. Я, Кондрат, по сей день горжусь.

И выходило, по Васильичу, что гордость за дело рук своих помогла ему в горькие дни отодвинуть страхи. А там и перемоглось.

Медленно ступая по мелкой плитке шумного неопрятного Арбата, Кедров раза два перебрал в памяти тот разговор с Васильичем и “модернизировал” давний совет: надо бы не мозги сушить, измудряясь, как переговорить с Варей душа в душу, а решительно отойти от домашних передраг, предоставив семейным событиям идти своим чередом. Были бы все живы-здоровы, и пусть случится то, чему суждено. Литургии в церквях Кедровы не посещали, — Зина на Пасху за живой водой, конечно, в храм заглядывала, — но Кондрат верил, что Господь суеты не любит, без Божьего умысла ничего в жизнях не случается. В каждом повороте судьбы заложен смысл, который раскрывается лишь со временем, а вернее сказать, вовремя, в нужный час.

Испокон веку водились на Руси люди, которых считали странными. Одиночки, строем мыслей выпадавшие из общего течения жизни. Немало было среди них великих первоумцев, искавших новые смыслы земного и вселенского бытия. Однако чаще всего странные люди отличались от соседей по жизни таким складом ума, в котором желание и умение думать преобладало над повседневными суетными хлопотами-заботами. “Со странностями”, — говорили о таких, а по-житейски совсем уж просто — тяпа-растяпа, чего с него взять?

И судьбы странных людей порой складывались странно.

Жизнь Алексея Семёновича Журбы, насколько он помнил, начала странно прихрамывать ещё в 1948 году, когда его записали в первый класс малаховской средней школы, которую в округе называли гимназией, — в память о царских временах. Лёша знал, что его папа пал смертью храбрых на войне, но оказалось, отец не успел погибнуть на фронте, сгинув где-то на Севере. Мама рассказала об этом за неделю до начала занятий, когда нарядно одела его в новую фланелевую рубашку и впервые повезла в Москву, чтобы положить садовые анютины глазки к родственной могиле на Ваганьковском кладбище.

По узким тенистым аллеям они долго петляли среди старинных надгробий, пока мама не сказала: “Вот мы и пришли. Поклонимся, Лёша, нашим предкам”. Повзрослев, Алексей узнал, что в кладбищенской конторе маме не удалось доказать родственную причастность к этому захоронению, потому что документы на него сгнули ещё в революционном угаре семнадцатого года. Однако же бесхозный, обвитый плющом времени обелиск кладбищенские взяткодралы не снесли и даже слегка за ним ухаживали “за счёт заведения”. Спустя совсем уж много лет, когда настала перестроечная барышная лихорадка и на Ваганькове принялись втридорога торговать любым бесхозным клочком земли, пусть и под асфальтом, даже безудержная страсть к наживе не смогла повалить это старое надгробие — по семейному завету, а порой по душевной скорби Журба иногда навещал Ваганьково, убеждаясь, что памятник в порядке. Наверное, по срокам давности эта сиротская могила получила охранный статус.

Впрочем, надгробие не было шикарным. Глыба серого не тёсанного с трёх сторон гранита, камень-дикарь с выбитым на передней стороне большим крестом и витиеватым узором, обрамлявшим длинную эпитафию, тоже выбитую в камне и от того вечную — глубоко пахал резчик, буквы почти не тронуло время. Правда, обелиск был высоким, выделяясь среди соседних захоронений, и его литая чугунная ограда из переплетённых завитков тоже обращала на себя внимание. На фронте: “Раб Божий Ферапонт Кирьянович Меланин, крестьянин Тверской губернии. В 1886 году поселился в Москве, основал изготовление и торговлю древесной шерстью. Жил честно и достойно. Крестился, постился, Богу молился и людям помогал. Мир праху его. Мы в гостях, а он уже дома”.

Мама, завершив чтение эпитафии вслух, погладила сына по голове и, словно со вздохом облегчения, сказала:

— Надо быть, теперь ему там хорошо.

Что такое древесная шерсть, Лёша понятия не имел. Но мама всё знала и разъяснила:

— Раньше всяких там подстилок упругих не было. Чем матрасы-диваны, мебель мягкую набивать? Сперва грубую стружку запихивали, а потом лучше наловчились — древесной шерстью, стружечкой мягонькой-мягонькой, лёгонькой-лёгонькой, её специальный станок со стругом готовил. Ферапонт Кирьяныч такой станочек и запустил, по двадцать пять пудов стружки в день делал — шутка ли?.. А потом и на упаковку начали брать эту древесную шерсть — штофы, бутылки оборачивали, посуду фарфоровую. Удобно да выгодно. А дерево, дерево-то на стружку, оно не первосортное, из отходов шло. Вот наш Ферапонт Кирьяныч и разбогател, смотри, Лёша, какой памятник знатный. А всё ж крестьянином остался, так и написано. Когда вычишься, сам прочитаешь.



После кладбища мама купила Лёше эскимо на палочке и, пока шли к метро, рассказывала про легендарного Ферапонта Кирьяныча, который вроде бы приходился ей дальней роднёй, девичья-то фамилия мамы Меланина. Правда, в их тверской деревне Багурино почти все были Меланины, и установить степень родства не представлялось возможным. Но, по твёрдому убеждению мамы, корень у них был общий, да и разве в кровных узах суть?

Суть была в другом. После отмены крепостного права Меланин сколотил на своей земле небольшой капиталец и отправился пытаться счастья в Москву. Как сподобился он открыть стружную мастерскую, маме было не ведомо, но знала она, что все земляки глубоко почитают Ферапонта — палат каменных он не нажил, а вот вечную память о себе оставил.

Основав мастерскую, он из года в год стал выписывать в Москву деревенских ребятишек. Конечно, они и в работе помогали — прессовали деревянную шерсть в кипы, вязали их шпагатом, прибирались в пыльном цеху. Однако же не подмастерьев подыскивал Ферапонт, звал деревенских детей не для того, чтобы законопатить их в трюме столичной жизни. Главной его заботой, по свойству души, было обучить детвору грамоте да умом-разумом оснастить, на путь истинный наставить. Не только кровом и прокормом обеспечивал, но и приплачивал за них разным мастерам, чтобы умудряли ребятишек ходовым профессиям — по дереву и стеклу, по железу, по скобяному делу, по кирпичной кладке. Христовым умностям научал, а от ретивых людей да от непотребщины, от пагубы, дурных привычек и житейских мерзостей оберегал тщательно. Дорожкой этой ферапонтовой много деревенской детворы вышло в большую жизнь, да и после 1916 года, когда преставился Меланин, тропинка та не заросла. Мама ведь тоже по ней в Москву шагала, вослед другим.

Много позднее Алексей пытался подробнее допросить маму о судьбе Ферапонта Кирьяныча, но та ничего толком не знала. Будто бы было у него два сына, без вести сгинувших в гражданскую войну, — вот и всё. В общем, обычный человек, жил честно и достойно, ничем не прославился, но многим дал путёвку в жизнь. Может, потому Господь его долгим веком и отметил — кому в ту пору было за восемьдесят, тот долгожитель.

А когда на полупустой дневной электричке они возвращались в Малаховку, мама строго сказала:

— Теперь слушай меня, сынок, внимательно. В школе никому не говори, что твой папа погиб на фронте. Будут спрашивать, помолчи. Папа наш — человек очень достойный, но жизнь у него сложилась трудно, умер он далеко от дома, очень далеко, куда уехал не по своей воле. — И увидев расширенные глаза Лёши, добавила: — На Крайнем Севере.

Через годы Алексей понял причины маминой откровенности. Мать-одиночка, она “сидела” на грошовой зарплате в школьном медицинском кабинете, не жила, а жилаествовала, подсобляясь огородом, и опасалась зловредных языков, в основном бабьих, которыми славилась Малаховка. Сослуживцы знали, что её муж — враг народа, и разговоры сына о папе-фронтовике могли выйти боком. И без того кое-кто за спиной шипит.

О судьбе отца Журба-сын узнал, когда начал входить в лета, учился в девятом классе. Помнится, в какое-то воскресенье в их захудалый домик в Дачном проезде заявился приезжий человек — на возрасте, лысоватый, с гусиными лапками у внешних уголков глаз. Он что-то сказал маме, она засуетилась, бросилась согреть на электроплитке чай, а Лёше велела идти на его любимый стадион Института физкультуры, неподалёку, на торной Шоссейной улице. Но гость неожиданно воспротивился:

— Нет, уважаемая, сына от печи до порога не плите, пусть слушает, уже взрослый. Смотрите, каким акселератом подрастает, пусть знает про отцовскую судьбу.

В тот день Алексей услышал, что его отец умер от чахотки в Печорлаге. Константин Константинович Ревич — так звали незнакомца, — сердечно сошёлся с Семёном Журбой в пересыльном пункте Каргопольлага. Помнится, сказав об этом, он посмотрел Лёше в глаза и сказал необычно: “Отец твой был крепкий щит во время горькое, этим меня привлёк”.

Из Каргополя их вагонным этапом — с брюк пуговицы срезали, эски штаны руками поддерживали; не убежишь! — повезли на станцию Ковда, где заканчивались рельсы. Потом баржей переправили на правый берег Печоры, и три километра они медленно тащились полутундрой — самая хиль! — до другой съезжей избы, как называли пересылку. Но на переправе баржа накренилась, черпнула воды, и “контрики” — почти весь этап был политическим — вымокли до нитки. Вся каторга о том случае с баржей знала, чудом люди спаслись. И когда пришли на место, леденелая одежда колом стояла, ветер-то осенний. После того перехода многие болели. Но Константина Константиновича, по образованию медика, в Печорлаге определили сперва в лагерные “придурки” — нарядчиком, но вскоре послали в санчасть. А Журбу, железнодорожного техника, поставили на ломовую работу — топором стволы сосновые в брёвна перевоплощать. Но простуда-то в теле живёт, никуда ей в голоде-холоде — на стылом воздухе и в хлипком бараке — не деться. Кончилось тем, что Журбу перевели в слабосильную колонию с четырёхразовым питанием, где они снова встретились с Константином Константиновичем. Увы, было уже поздно — организм не превозмог, кашель пошёл кровавый. Ревич последний раз видел Семёна за день до смерти, именно тогда, как он сказал, “в знак признания” и взял у него записочку с малаховским адресом.

— Вот такие дела... — закончил гость. — Поздней осенью сорок второго...

Посмотрел внимательно на Лёшу.

— Расти и помни. Ты у нас пока табула раса, на азах сидишь. Смотри, не оплошай, отец твой был человеком достойным. Не конфузь фамилию... Батюшки святы! А чего это у тебя ногти в трауре? — Повернулся к маме. — Анастасия Сергеевна, уж пожалуйста, вы его по возможности в гигиене блюдите.

— Он мне на огороде помогает, — отговорила мама. — Не уследишь. А про отца я ему так и внушаю, как вы сказали.

Этого доброммысленного Константина Константиновича с его загадочной “табулой раса”, который по профессии оказался хирургом с дореволюционным стажем, а по статусу — из старых большевиков, Журба впоследствии мысленно стал называть Ферапонтом. Очень уж перекликнулась его роль в судьбе Алексея с маминим рассказом о добросердечном крестьянине Меланине, по зову душевному выводившему в жизнь деревенских ребятишек.

После десятилетки Журба поступил на истфак пединститута на улице Радио, пять лет исправно мотался в Москву электричкой, измором науку брал. А когда защитился, без пустопорожних фантазий договорился с родной школой, чтобы запросили распределить его в Малаховку. Жизнь незначительного, скромного в притязаниях человека, каковым незатейливо считал себя Журба, рядового пролетария умственного труда, вошла в нормальную колею. Даже на бывшей однокласснице Зое Ружицкой успел жениться и ситцевую свадьбу справил — первый год в любви и согласии. Без завистей, злобных уныний и завышенных претензий, не штурмуя баррикады жизни, не погрязая в “мышьей беготне”, в мире русских понятий и привычек наладился и домашний быт. Не пыжились, не ёжились, а спокойно обустроивались с надеждой на тихое семейное счастье. Набожная мама ссылалась на апостола Павла: вечером отходить ко сну с обидой в сердце нельзя. И в стареньком доме в Дачном проезде эту заповедь блюли строго.

Но в их доме снова объявился Константин Константинович.

Годы своё дело знают: внешне он был уже слегка обветшалый — сутуловатый, морщинистый, с глубокими лобными складками. Несвежий галстук по-стариковски концами врозь. Но по жизни Константин Константинович оставался бодрым — ходил, не шаркая, говорил по-прежнему очень внятно, неторопливо, весомо. Потребовал от Алексея отчитаться за “проделанную работу” и потом несколько минут молча, беззвучно, маленькими глотками прикушивал чай, размышляя о чём-то. Нечаянным жестом потёр лоб, потом длинным движением стал гладить себя по лысине.

Наконец, сказал:

— Вот что, молодой человек. Врачующими беседами я с вами заниматься не буду, ибо не любитель общих соображений. А вот номер телефона

моего запишите. И пожалуйста, позвоните недели через две. Чтобы не зряш-ные были разговоры, мне надо кое о чём осведомиться, кое-кому словечко закинуть.

Так затеялась ещё одна странная странность в судьбе Алексея Семёновича. Потому что через две недели Константин Константинович продиктовал ему в телефонную трубку время явки и загадочный адрес — знаменитый Дом на набережной! — назвав имя человека, которого историк Журба не мог не знать. Его приглашал в гости не кто иной, как Фёдор Николаевич Петров.

Петров был личностью легендарной. Оценивая впоследствии ту удивительную встречу, Алексей Семёнович изумлялся: с пулей в сердце, полученной, когда партизанил на Дальнем Востоке, этот человек дожил до девяноста семи лет, уйдя на вечный покой в ранге дважды Героя Соцтруда. Но ещё больше интриговала историка Журбу иная жизненная подробность Петрова, чей круг общения не пощадили репрессии: Фёдор Николаевич умудрился избежать ареста. Журба по-своему понимал подноготную сталинского удара по ленинской гвардии: многие старые большевики, прошедшие до революции через каторгу, по образу мыслей были террористами; Сталин знал, кого опасаться, и зачищал ближний круг. Видимо, Петров вовремя осмыслил текущий момент и “смысл” из властной верхушки, ещё в 1934 году укравшись в заштатных заботах о музейных изысканиях.

Степенный, с классической интеллигентской бородкой, в просторной домашней красно-серой рубаше с рукавными отворотами, Фёдор Николаевич сидел в широком кресле. Его просторный кабинет окнами глядел на Кремль, и с девятого этажа вид открывался потрясающий.

Склад речи у него был неторопливый, размеренный. И начал он, как ни странно, с извинений:

— Вы уж, молодой человек, не обессудьте, что неделю заставил вас ждать. На старости лет пришлось мне податься в киноактёры. — Сделал паузу, переживая удивление Алексея. — Делают фильм исторический “Перед судом истории”, и в нём собственной персоной снимается... Кто бы вы думали? Сам Василий Шульгин! Константин Константинович сказал, вы по образованию историк, объяснять, кто такой Шульгин, не надобно. И против этой знаменитости выпустили меня, играю в фильме самого себя, с Шульгиным глаза в глаза беседую. — Улыбнулся. — Он без записи интересно сказал: “Меня достали с антресолей истории, требуют руки по швам, желают, чтобы я делал прошлое таким, каким вы хотите”. А он — нет, видит прошлое по-своему. Он же, дай Бог памяти, после войны во Владимирском центре отбывал... Дискутировать с ним очень непросто, в нерадении пребывать не приходится, каждый раз к съёмкам готовился основательно, времени на общение с вами не оставалось. Он ведь как? Задаю ему вопрос, а он в ответ: “Вам правду голую преподнести или же неприкрытую?” Между ними, говорит, большая разница. Вот и пойми. Я ему про расстрел 9 января, а он: в 1891 году во Владивостоке первую тачку земли на строительство Транссибирской магистрали кто вывез? Царь Николай Второй! Самолично! Вот и дискутирую с этим Шульгиным. Мы с ним на одном языке, но о разном говорили. Капризы истории обсуждали.

Явно не без удовольствия сообщив о своём “актёрстве”, Петров к собственной персоне уже не возвращался и долго расспрашивал Алексея об учёбе, работе, о молодой жизни семейной, даже о бытовых печках-лавочках, о прогулках по рюмочным-наливочным. Цели расспросов Журба не понимал, но отвечал обстоятельно, как оно есть по жизни. Видимо, Фёдор Николаевич услышал в ответах что-то для него нужное, потому что примерно через полчаса сказал:

— Вижу, молодой человек, вы сидите у реки жизни, на берегу. И река эта несёт свои воды мимо вас. Давайте так: я позвоню Отто Вильгельмовичу Куусинену, паки и паки попрошу его подумать о вашем трудоустройстве, выписать вам билет в завтра. — Улыбнулся — Скажу, что вы мой семиюродный племянник.

Только тут Алексей сообразил о стараниях Константина Константиновича, которого отец, умиравший на койке лагерного лазарета, похоже,

попросил, если дозволит Господь, позаботиться о сироте-сыне, вывести его в люди.

Господь дозволил. И люди, хлебнувшие лиха, позаботились. Хотя как раз Петров-то лиха и не хлебал. Однако, судя по извинениям, он споро откликнулся на просьбу сотоварища порадеть эковскому сыну. Видимо, в среде тех, кто волею судеб получил высшее лагерное образование, чувство солидарности ценилось особо. Отзывчивостью своей они словно квитались с горьким прошлым. И на закате дней торопились исполнить свой добровольный душевный долг, предчувствуя, что недалеко пора, когда предстоит им разойтись по своим могилам.

Кругом Ферапонты!

Но при чём тут Отто Куусинен, финский социал-демократ, бесменный ещё со сталинских времён секретарь ЦК КПСС, славный герой Коминтерна? Много позже узнал Журба о том, что тайлось за этой официальной “вывеской”. Узнал и поразился.

На деле международник Куусинен после смерти Сталина формально стал теоретиком партии, а по сути, её теневым идеологом. Он редактировал знаменитый учебник “Основ марксизма-ленинизма”, где речь шла об исчерпании диктатуры пролетариата, он вывел в люди — из Карело-Финской АССР в Москву — и трогательно опекал Андропова, он карьерно “спонсировал” начальника Агитпропа Румянцева, назначив своего данника главредом пражского журнала “Проблемы мира и социализма”, который создали в 58-м году именно по наущению “всемогущего Отто”.

Первый и единственный в СССР зарубежный журнал! Работа в нём считалась не просто престижной, но также весьма наваристой. И старый большевик Фёдор Николаевич Петров в стремлении порадеть сыну погибшего эка не постеснялся козырнуть своим партийным авторитетом.

Там, в Праге, с первого дня окружённый заботливым, а порой навязчивым вниманием коллег, рядовой редакционного отдела проверки Алексей Журба реально и ощутил, что значит быть протее товарища Куусинена. Но почему эта высокая протекция возымела столь волшебное действие, ему “изложили” не сразу.

Странности, сопровождавшие судьбу странного человека Алексея Семёновича Журбы, который не тщился попевать за жизненными благами, продолжались: мизинцем не шевельнув, он достиг того, о чём жгуче мечтали тысячи карьерных гуманитариев. Недоумённо пожимая плечами, шутливо цитировал по этому поводу Пастернака, поэзию которого знал неплохо: надо же, ни с того, ни с сего выписали “талон на место у колонн”.

## 18

Мозговой штурм с ночными бдениями для отыскания аргументов в поддержку Заславской, дебаты с Балаевым, написание пояснительной записки — всё пошло насмарку, потому что оказалось ненужным. Когда Кедров отзвонил Карякину, что выполнил поручение и готов предстать перед его очами, Юрий Фёдорович отмахнулся:

— Не сейчас, Дима. Сейчас не до этого, возникла проблема посложнее.

Между тем, судьба распорядилась любопытно: “проблему посложнее” межрегионалы отчасти возложили на плечи нештатного пресс-секретаря Пименовой, и Дмитрий с Ульяной, по-прежнему пребывавшие в статусе любовников, вынужденно погрузились в неё.

В тот раз они снова были в Кузьминках, и Ульяна задала тон:

— Когда впервые возникла тема Заславской, — помнишь, ты примчался из Переделкина, от Карякина? — я думать не думала, что сия учёная дама окажется в самом центре перестроечной *бучи*, *боевой кипучей*. Конечно, для широкой публики новый шум о ней, — какой уже по счёту? третий? — это что-то вроде развлекалова. Но для нас-то с тобой, Дима, для всех, кто кормится на политической кухне перестройки, Заславская стала чем-то вроде пикантного блюда. По нему весь обед в памяти останется.

— Ну уж! Не преувеличивай.

— А давай прикинем. Пока вокруг неё кипели научные страсти, это касалось публики, как мы с тобой её кличем, возвышенной. А русская деревня — это, прости меня, народ! Это каждого касается. Мои предки из деревни, у меня тоже ретивое зыграло. На святое замахнулась, перспективные деревни выдумала, концепцию их сселения обосновала! По сути дела, приговор русской деревне вынесла! И кто? Научное светило перестройки. Не-ет, не жди от этих перестройщиков добра... Как тебе моя логика?

— Ты лучше объясни, как вы прокололись, скандальную публикацию прозвали.

Ульяна развела руками.

— Не ко мне вопрос. Думаю, в том дело, что газета считалась скучной, не забойной. “Вечёрку” читают все. А что такое “Московская правда”? Ты её смотришь?.. Я тоже. Из разряда мелкой прессы. С главредом, Агитпроп напрямую не работал. В перечнях Главлита Заславская не числится, а особых цензурных указаний по ней в этот раз не было. Вот он и выстрелил, его газету теперь в киосках рвут. Статья-то мощная, фактура убойная, цитаты со ссылками.

Компромат на Заславскую и впрямь был очень щекотливый. Во время оно Хрущёв часто талдычил о желании переселить полунищих замухраев деревенской глубинки в асфальтированные агрогорода, дабы оторвать крестьянина от его пагубных вековых привычек. Эта полуграмотная фантастика вместе с “коммунизмом к 1980 году” стала журналистским штампом тех лет, хотя и пишущие, и читающие понимали несусветность пустых обещаний. Но знатный социолог Заславская, чутко уловив настроения высшей власти, задумала облечь хрущёвское прожектёрство в научную плоть. Она выразила категорическое согласие с мудрыми верховными замыслами, но вразумила головопаясов из партийной верхушки, пребывавших в щедриновском “чаду прогресса” от гагаринского успеха: надо, дорогие товарищи, не об агрогородах бесплодно мечтать, а ударными темпами переселить жителей малых деревень в большие сёла. И простенько, на пальцах, даже с циферками объяснила, что в этом случае производительность сельхоза заметно возрастёт.

Надо ли говорить, с каким восторгом восприняли партийные вожди миф о грядущем благоденствии вечно страждущей деревни. Абстрактную цифирь Заславской “на ура” приняли. Вдобавок — гипноз трескучих заумных фраз. Лысенко в юбке! Учёная дама открыла всем глаза, подсказала простейший путь подъёма сельского хозяйства. Из чёрной ямы, из бездны — к вершинам! Трижды ура! А уж как возрадовались секретари обкомов! Все деревенские проблемы теперь решались с волшебной лёгкостью: можно разом избавиться от обременительных для местной власти малых школ, от надрывных почтовых, дорожных, медицинских и прочих тягот. Сколько глаз хватает, закрыть к чёрту десятки тысяч за долами за лесами деревушек, до которых скакать — не доскачешь, переселить их жителей на центральные усадьбы, и дело с концом. На карте генеральной сразу свободнее станет. Апофеоз результативности... А-а, оказывается, даровитый социолог Заславская, автор таких выдающихся изысканий, научный подвиг свершившая, она ещё не академик? Непорядок...

Нормальный ход административной мысли тех лет, когда партийные заправилы жизни решали “кто есть ху” и умели мигом возносить удобных людей во всеоюзные знаменитости.

На административных радостях сселение пошло бойко, но, увы, медовый месяц выдался коротким. Пагубность концепции вскрылась моментально, слом векового уклада сельской жизни обернулся катастрофой: крестьянин не смог укорениться в многоквартирной застройке, которую для пущей эффективности предложила Заславская, молодёжь, снятая с насиженных мест, в селе не зацепилась, потоком ринулась в большой город, небрежение культурными традициями отозвалось взрывом самогонщины.

Земля обезлюдела. О концепции сселения, которая внушила властям ложные иллюзии и быстро захлебнулась, не успела нанести жесточайший удар по деревне, — по русскому Нечерноземью особо! — поспешили поскорее забыть. Понятно, сама Заславская не принимала решений о ликвидации

малых деревень, всё обстояло иначе. У неё была своя “околоправда”, свой репертуар научных услуг для верхних этажей власти, и она элегантно подсунула вождям идею, с виду сулившую как минимум удвоить сельские итоги. Идею предвзятую, негодную, не берущую в расчёт горизонты русской жизни, замкнутую только на эффективности, — плевать на народные настроения и традиции! А что наверху клонули на заманчивую наживку — это, простите, проблема властей и вождей, это не должно бросать тень на репутацию учёного. Скорее наоборот, умение красиво, без внешнего подобострастия “крутить роман” с верховной властью ценили на Старой площади особо — служанка режима в платье первой фрейлины. И в годы перестройки неуёмная Татьяна Ивановна Заславская, уже в ранге академика, ловко повторила прежний манёвр, на сей раз подольстилась с идеей социального управления обществом — столь же однобокой, непродуманной и подобострастной, как было с сселением неперспективных деревень, зато сполна отвечавшей замыслам “архитекторов”. И демократическая пресса мигом возвела её в статус ярчайшей звезды на небосклоне общественного мнения, ввела в храм новой интеллектуальной элиты через пропилеи. Она стала главным научным авторитетом перестройки.

Однако времена-то обличительные. И вдруг появляется статья о её былом, скрытом за дымкой лет подвиге на ниве сселения, а на деле — погубления русской деревни. Разом проснулась ожоговая народная память о тех горьких годах, возмущению предела не было.

Но что в ответ? Демократическая медийная армада открыла огонь из главных калибров. Такой политический визг поднялся, что святых выноси. Только-только утомился народ после скандальных самиздатовских писем о её художествах, а тут снова каша вокруг Заславской заварилась. Конечно, Карякину было уже не до “Иного не дано”.

Всполошилась и сама Татьяна Ивановна. На следующий день прислала главреду тысячесловную грозную телеграмму, дав волю языку на манер начальника местной кустарной промышленности Бывалова из фильма “Волга-Волга”: “Статью, клеветнически характеризующую мою научную деятельность, рассматриваю как кампанию по дискредитации моего научного политического и нравственного лица в глазах широкого круга трудящихся”. Потом последовала не менее образная по стилю “телега” о десяти страницах в идеологический отдел ЦК КПСС — про публикацию, “носящую явно клеветнический характер и имеющую целью скомпрометировать меня как учёного, общественного деятеля перестройки и человека, что ставит меня перед вопросом обращения в народный суд с иском к газете”.

Егор Яковлев срочно собрал в тесном кабинете на Пушкинской площади свой узкий круг — тех, кому не надо ничего объяснять, кто всё понимает правильно и с полуслова. Как рассказывал потом Отто Лацис, они шумливо, порой на крике обкашляли ситуацию и постановили разоблачить клевету, круто разделавшись с авторами компромата. Непосредственно на сходке Ульяна Пименова не присутствовала, но Егор вызвал её сразу после совещания. “Как у Некрасова, “вчерашний день, часу в шестом”, — балагурила она. И поручил поднять на ноги всех знакомых из демократических СМИ. Со дня на день от Татьяны Ивановны потоком начнут поступать опровержения, и надо уметь “раскидать” их по газетам-журналам, чтобы провести мощную кампанию по дискредитации врагов перестройки, непристойно очернивших академика Заславскую.

Собираясь в Кузьминки, Ульяна захватила с собой хозяйственную сумку с кастрюлькой, полной мясных блинчиков собственного приготовления, с баночкой сметанки и большим термосом крепкого чая: Димка вечно не успевает пообедать, а квартира нежилая, здесь и заварки не найдёшь. Домовито, уютно накрыла стол на махонькой кухоньке и принялась рассказывать:

— С Заславской я только по телефону разговаривала, пожалуй, раз десять. Встречаться почему-то не жаждет. Женщина, конечно, умная, склад ума государственного, но я бы о ней так сказала: тёртая тётка. Написала огромную жалобу в ЦК, на её основе подготовила несколько статей. Но не своих.

— Конечно, у нас тут не ресторан с музыкой, но блинчики изумительные. — Дмитрий уплетал за обе щеки. — Кстати, слышала новый перестроечный лозунг? “Даёшь в колбасу мясо!” Твои с мясом настоящим, хорошо кушаются, ёлки зелёные.

— Кушают только свиньи, а люди едят.

— О-о, ты у нас языковой радикал.

— Хватит, не перебивай. Но быстроедением не увлекайся, вредно. И глазами куда не надо не скользи, не фривольничай, понял? Причеши вихры и слушай. Сначала давай с Заславской разберёмся, мне про неё кое-что на ум не идёт. В общем, обзвонила она когорту известных тебе политических академиков, начиная с Шаталина, и прислала Егору список — восемь человек. Как говорится, групповое соитие замышляет. Теперь мне надо всех объехать и заполучить подписи. О публикации я уже договорилась — в “Совкультуре”. Заказные статьи в “Огоньке”, в “Известиях”. У неё целый план: послала грозное письмо в “Московскую правду” с требованием опубликовать опровержение за её именем и угрозой подачи в суд. Но мне сказала, что писать опровержение не будет, а после публикации статьи академиков просто сошлётся на неё. В общем, говорю, дама изощрённая, это чувствуется.

— Что ты хочешь сказать?

— Я хочу одного: чтобы ты полностью был в курсе дела. Не повредит. Думаю, рыльце у неё в пушку, и ни в какой суд она, конечно же, подавать не будет, просто пугает. Вот сам подумай: за своей подписью публично ни слова о неперспективных деревнях сейчас молвить не хочет, на эту тему только эпистолярный жанр у неё в ходу. Я предложила интервью организовать в центральной печати, чтобы дать отпор клеветникам, она же интервью обожает, а она — нет, не надо. За кулисами прячется. Но сопротивляется яростно, хочет компромат задавить на корню, видимо, всё же опасается чего-то.

Кедрову не хотелось полемизировать с Ульяной. В очередной раз он осознавал, что она права, и был благодарен за то, что не жмёт, не кладёт на лопатки, не торжествует, не упивается неотразимостью своих аргументов, а, наоборот, как бы считает себя виноватой: извини, мол, сама огорчена, но что поделать? Постепенно начинало проясняться, что различие в их умонастроениях не только не мешает душевному влечению, а зачастую помогает лучше постичь суть дела, и это общее стремление сплачивает. Дмитрий, бесповоротно укрепившийся в новых семейных планах, чувствовал, что не только не ошибся, но более того... Вдобавок, Уля не нажимала, не увлекалась обсуждением личных перипетий, по договорённости оба терпеливо ждали, когда Никита Дмитриевич Кедров, уже вышедший из грудного возраста, начнёт передвигаться самостоятельно.

Впрочем, была у них ещё одна причина для душевных радостей. Ульяна считала, что после трёх лет жизни с Краснопевцевым не вправе претендовать на его квартиру, она изначально готовилась забрать сына и вместе с новым мужем переехать в съёмную квартирку, — конечно, не такую убогую, как в Кузьминках. Они и здесь думали дружно, без разлада духа и плоти, квартирный вопрос их не испортил. И вдруг, по Божьему велению, однушка появилась у Димки! Нет, это не везенье, это одобряющий и ободряющий знак свыше. Промысел Божий.

Скорее бы!

В тот раз в Кузьминках они сошлись на лозунге, который Ульяна извлекла из какой-то провинциальной газеты, ярно защищавшей Заславскую: науку хотят обвинить в грехах командно-административной системы. Впрочем, каждый из них вкладывал в эту формулу свой смысл. Уля утверждала:

— Типичный для Татьяны Ивановны стиль мышления: моё дело — прокукарекать, а там хоть трава не расти. Я не виновата, что от моей побудки власть переполошилась; учёный имеет право на просчёт. Как говорится, не стреляйте в пианиста, моё дело сторона. Совесть у неё не скрипит... Мне, Димка, одно не идёт в голову: зачем она встала в позу? Этого я не понимаю. Покаялась бы за старую ошибку, повинную голову меч не сечёт. С кем не бывает? Кто не прихрамывал? Обсчиталась в итогах соцпросов, только и всего. Не исключая, её подвела магия титула. Звания и слава, они окружающих

восторгают, а самих титулованных, бывает, под монастырь подводят — непогрешимые! В общем, сама себе мозги захлмила. Я это называю избытком ума при недостатке мудрости.

— Изящная мысль, — Дмитрий выразительно поиграл бровями.

Но Ульяна и бровью не повела, тон не сменила:

— А возможно, характер сказался. За спиной говорят, что гневливая она, иногда не в меру, в этом смысле кастрюля у неё не варит, а жарит, потому и поджарает. А это я называю эффектом скусна.

— Что ещё за скусн?

— Зверёк, от опасности защищается струёй резкого запаха... А вообще-то, сдаётся мне, эта история с неперспективными деревнями для Татьяны Ивановны выйдет боком. Я же говорю, на святое покусились. А в таких делах всё в руке Божьей. Перебор. Тысячу раз плохо. Как говорится, двадцать два, нервно стало вокруг неё, тлеет.

Словно в воду глядела Ульяна. На втором съезде народных депутатов СССР раздался голос из обоза: Эрмек Жаксилеков из Казахстана потребовал от Заславской объяснений по поводу злополучной концепции сселения деревень. А Татьяна Ивановна и тут не стерпела, по части критики в свой адрес у неё как только — так сразу, против шерсти не погладишь. Через самые высокие связи, вне очереди вылезла на трибуну съезда и круть какую закатила дерзкую ораторию по поводу наскоков на прогрессивно мыслящих депутатов. Зал содрогнулся. Заявила, будто её оклеветали, потребовала публичных извинений, пригрозила сложением депутатских полномочий, ежели комиссия по этике немедля не осудит Жаксилекова, которому надули в уши околесицу, чепуху чепух.

И что? Только прищорила события. В ответ получила коллективное заявление всех депутатов от Казахской ССР — «с фотокопиями документов, удостоверяющих прямую причастность Заславской к неблагоприятному делу сселения». Кулуары съезда гудели. Имя академика Заславской склоняли по всем падежам, с нетерпением гадая, какое решение примет комиссия по этике. В ходу была присказка про леди Макбет. Ситуация возникла слишком деликатная, явно с политическим душком, и в дело вмешались те, кого принято называть «верховными инстанциями». В итоге вопрос замотали, комиссию собирать не стали, и казахам, рвавшимся на трибуну для ответа, слова не дали. От депутатского мандата Татьяна Ивановна, само собой, не отказалась. Поговаривали, что на самом-самом верху ей не рекомендовали идти на обострение. Ульяна объясняла:

— Яковлев, Александр Николаевич не советовал, это известно, а возможно, и Горбачёв. Ты же понимаешь, депутатская отставка такой громкой фигуры — удар по авторитету перестройки. На глазах померкнет слава... В общем, уговорили Заславскую помолчать до времени, уйти в тень. Кстати, неделю назад я была у Егора, а ему как раз она звонит. Он и говорит: Татьяна Ивановна, не переживайте, о казахском демарше никто не узнает, вы же видите, в прессе про этих борзых ребят, простите, знатных господ, депутатов-дегенератов нет ни слова, ни звука.

Дмитрий чувствовал, что Уля транслирует эти великосветские сплетни, чтобы смягчить разочарование, — в его глазах облик выдающегося социолога Заславской, автора пионерных социальных идей, главы ВЦИОМ, слегка поблёк. Но в горячке восемьдесят девятого года, когда политический класс ощущал, что предreshается судьба страны, Кедров даже отдалённо не мог прикинуть, как сложится дальнейшая судьба Татьяны Ивановны.

Между тем яркая звезда перестройки погасла сразу после крушения КПСС. Сразу покинув пост директора ВЦИОМ, исчезнув с общественных горизонтов, академик Заславская ещё четверть века занималась наукой в кабинетной тиши. И взрыв бешеной активности переломных лет остался бы всего лишь загадкой её жизни, если бы этой незаурядной женщине не выпало олицетворять историческую роль той тесной элитарной группы интеллектуалов, которая в годы перестройки волею загадочных обстоятельств обрела непомерное властное влияние и сокрушила страну. Словно злой насквозь прозападный рой, они до поры гудели в своём осином гнезде, пока им не



дали волно до смерти жалить всё вокруг. А выполнив разрушительную миссию, не умея или не желая созидать, они поникли и понуро, неприметно доживали свой век.

Впрочем, в тот день в Кузьминках Уля шагнула ещё дальше.

— Понимаешь, Димка, в этой истории, вернее, в историях с Заславской всё очень непросто. Объясняя свой перестроечный порыв, Татьяна Ивановна красиво, с пафосом, в пламенном комсомольском стиле сказала о себе: “Меня мобилизовало само время”. И поневоле возникает вопрос: а кто рассылал повестки?

## 19

Прилетев в первый отпуск, Алексей Журба, не мешкая, приступил к обновлению старого отцовского дома — пражские заработки позволяли осовременить быт. Мама удивилась до непонимания, ибо пребывала в уверенности, что после уму непостижимого, неожиданного, волшебного зарубежного взлёта сын наверняка распрощается с осточертевшей Малаховкой и переберётся в Москву, купит кооперативную квартиру. И когда Алексей ответил, что не намерен переезжать в столицу, на слезе произнесла сакраментальную фразу:

— Всё-таки, Лёша, странный ты человек...

Не забыл Журба и позвонить Константину Константиновичу, по совету Зои пригласил его на семейный обед по случаю приезда из Праги. Но Ревич слегка приболел, попросил скидку на лета и вышел с встречным предложением: а давайте-ка вы ко мне.

После лёгких домашних препирательств Зоя отстояла своё право не ехать в гости: не умея показать себя, смущалась незнакомой обстановки; да она и в Праге не желала влиться в престижную компанию журнальных жён, куда её усиленно зазывали. В итоге Алексей отправился один.

Жили Ревичи в кирпичной девятиэтажке на Ленинском проспекте. Их двухкомнатная квартирка была обставлена простенько, но, как принято говорить, со вкусом: на стенах — старые фотографии в затейливых рамках, небольшая горка с разномастными чайными парами, включая знаменитую “кобальтовую сетку”, стеллаж с книгами, на окнах плотные коричневые шторы с ламбрекенами. Алексей достал из пакета бутылку карловарской “Бехеровки”, торт “Киевский” и пакетик экзотического рахат-лукума, без спроса черствевшего в малаховском магазине. Константин Константинович приятственными восклицаниями и потиранием ладоней выразил одобрение и в ожидании, как он сказал, кипяточка пригласил присесть за овальный стол под бежевой батистовой скатертью с ришелье.

Разговор начался с того, что Константин Константинович счёл нужным сказать несколько слов о себе. Оказывается, Ревичи — коренные ленинградцы. После революции, в которой Константин Константинович принял деятельное участие, он много лет работал хирургом в Обуховской больнице на Фонтанке, пока однажды глубокой ночью за ним не пришли. “По розыскному списку. Классика энкавэдэшного жанра”, — горько усмехнулся он. Дрейфовал по архипелагу ГУЛаг долго, и спасало его то, что везде его приспособляли к медсанчасти, где был свод своих правил, где лагерные исчадия не тревожили и каторга была сносной. А когда реабилитировали, решили они с женой перебраться из родного города, где после блокады родственников не осталось, в Москву: “Жизнь у нас запоздалая, захотелось век иначе доворковать, земные странствия сюрпризом завершить”. Как старому большевику, квартиру Ревичу дали беспрекословно, но в медицину он уже не вернулся.

— Какой из меня хирург после пятнадцати лет отсидки? Износился, рухлядь, абсолютная дисквалификация, отстал на целую вечность. Да и руки уже были не те, пальцы огрубели. Ничего не попишешь... Занялся в столице общественной деятельностью, музейной. Пенсия, сами понимаете, позволяет, персональная. Бытовой фон в норме, пустые щи не хлебаем. По нашим временам живём сахарно и тихо-смирно. Но-о-о! — грозно повысил голос и поднёс указательный палец к виску. — Прошлое травой забвения не порастает, всё помню.

Потом пошли расспросы о Праге, и к тому времени, когда хозяйка Елизавета Демидовна, предварительно накрыв батистовую скатерть белой синтетикой, принесла кипяточку и чайную заварку, собеседники полностью освоились, разговор перекинулся на философию жизни, к чему судьба Ревича располагала особо.

— Меня Гораций выручил, по его заповеди жил: “В трудных обстоятельствах сохраняй рассудок”. На каторге сие не всем удавалось, уж я-то знаю. Потому и человеческих обломков было много. Через мои лазареты сотни эков прошли, счёт потерял, и каждый со своей исповедью. Лагерных, известное дело, на исповедь тянет неукротимо. Персонажи встречались удивительные, столько наслушался, что прошлое душу саднит, бери авторучку и пиши. Пробовал, между прочим, пытался, но тяготы сочинительства, они не по мне, бросил в зародыше. А все те судьбы, они вот здесь так и сидят. — Дотронулся пальцем до головы. Задумчиво помешивая ложечкой чай, умолк. Видимо, в его памяти теснилось столько чужих жизней, что он не мог выбрать, о какой из них поведать. — Понимаешь, Алексей, я в партию пришёл от атеизма, по молодости ни в Бога, ни в чёрта не верил. А в лагере... Нет, так и живу некрещённый, но был случай, после которого что-то в душе сдвинулось. Лёг на нашу шконку с матрасом доходяга горемычный, лет пятидесяти, говорил, что из-под Тамбова, вроде как учителемствовал, но я так понял, что он из бывших семинаристов. Лечили мы его, как могли, хотя какая на каторге фармацея? Лекарства — в основном плацебо, только для поднятия духа. И мы понимали: уходит человек, в забвенье начал впадать. А однажды зовёт меня и говорит: “Гамаюн, птица бескрылая, вечно полёта птица, она излеталась, чую, вот-вот упадёт. И царь умрёт”. Ну, мало ли кто чем при смерти бредит, бывало, что в последних муках люди умом повреждались. А у него уже мировая скорбь в глазах. Я те слова мимо ушей пропустил. А через день узнаём: Сталин умер... Вот и думай, что хочешь.

Хозяйка поухаживала за Алексеем кусочком торта, и он поблагодарил:

— Спасибо, Елизавета Демидовна.

— По рождению она вообще-то Лисавета и Диомидовна, — деликатно сказал Константин Константинович, и Журба понял, что за этой поправкой кроется какая-то семейная тайна, имевшая отношение к тому периоду жизни, о котором шла речь.

— В Обуховской при поступлении неверно записали, я ведь у него хирургической медсестрой была, — пояснила Елизавета Демидовна. — Из-за этой ошибки меня и потеряли, что-то в документах не сошлось. Зато постановление “без права переписки” не ждала и верила, что он жив. Все знали, что десять лет без права переписки — это расстрел... А уж какой он хирург был! Вся больница о его операциях говорила. Помнишь, Костя, как ты на лицевом протезе прославился?

— Не протез, целостная операция с “правкой” небольшого участка кости. Понимаешь, Алексей, что обидно, — очень сложная операция, очень. Но... бесполезная. Навсегда тот случай запомнил. 1925 год, полным-полно переходных сложностей, и вдруг присылают ко мне сына какого-то титулованного университетского профессора, молодого человека с жутким диагнозом — саркома. Вообще-то оперировать его не имело смысла, я вполне мог отказаться. Тем более в то время приходилось работать беспробудно, от ортопедического стола не отходил. Но парню уже трудно жевать, и моё решение было таким: сколько ему ещё отмерено, мне неизвестно, но пусть свои дни доживает с полным ртом. Он сам мне так и сказал: хочу жить с полным ртом, по-человечески. Умный был парень, уже с университетским дипломом. Где он работал, не помню, фамилию тоже точно не помню, что-то вроде Лаврентьева. А вот имя запомнил — Василий. И та операция перед глазами стоит. У хирургов всегда так: внешность пациента забывается, а свой шов они из тысячи узнают. Операция для хирурга — момент предельного сосредоточения.

— Но почему же операция-то бесполезная? — удивился Журба.

— Да ведь говорю: у него саркома, с ней и сейчас долго не живут, а уж в те годы и вовсе приговор. Послеоперационный период прошёл благополучно,

и больница выписала ему справку на лечение в Германии. Вот парня и выпустили за кордон, — было ясно, на этом свете он не жилец. Помню, пришёл Василий прощаться: спасибо, говорит, теперь жить буду без каши во рту. Он ведь до операции и говорить внятно уже не мог. Но я-то понимал, что недолго ему осталось... Судьбы, они не только в лагерях ломались. А про ту операцию челюстную и впрямь много говорили, Лиза права.

— Мы с Костей чужих краёв не знаем, — вступила Елизавета Демидовна. — Судя по телевизору, Прага красивая. А как там жизнь?

— С его Малаховкой не сравнить, — засмеялся Ревич. — Не буду скромничать, это я подсказал Петрову тебя в “Проблемы мира” определить. Понимаешь, социальные лифты — великолепная штука. Но без лифтёра они не работают, кто-то должен кнопки нажимать. Когда узнал, что ты сам, без подспорья Пединститут осилил, понял, что парень с потенциалом. Вот и выбрал этаж повыше, внёс посильную лепту. Теперь ты в обойме, Фёдор Николаевич тебя на лыжню поставил. Вернёшься из командировки, возьмут в академический институт, защитишь диссертацию. В общем, удачливо всё складывается, жизнь сделана. Хо-орошая конфигурация намечается, много впереди полезностей, будешь около государственных дел хлопотать. Мы с Лизой твои шансы обсуждали, сорадовались.

Журба сделал несколько коротких глотков. Сказал:

— В принципе, я себе место уже присмотрел.

— Молодец! Возможности порождают намерения.

— В Малаховке, рядом с нами, в бывшем имении Сеченова, Институт физической культуры. Но там ведь не только быстрее-выше преподают, там и гуманитарная кафедра есть, курс истории запланирован. Я в общем виде и договорился на будущее.

Константин Константинович, не мигая, уставился на Журбу.

— Ты намерен остаться в Малаховке?

— Мы с женой всего-то неделю назад прибыли и сразу взялись за благоустройство дома. Дело хлопотное, газ надо подвести, отопительный котёл поставить, батареи. Да и окна давно пора менять. За один раз, понятно, не успеем, я вперёд на два года смотрю, чтобы к возвращению закончить основные работы.

Ревич непонимающим взглядом смотрел на Алексея. Потом вымолвил:

— Ты останешься в Малаховке?

— Я, Константин Константинович, почему один приехал? Зоя, моя жена, хотела приготовить праздничный обед и вас пригласить к нам. Никто мне столько добра не сделал, как вы, мама за вас всегда свечки в церкви ставит, говорит, что через отцовскую записку вас нам Господь Бог послал. А когда вы не смогли, это и нам было с руки: очень уж у нас неказисто. Что говорить, вы сами видели. А вот обновим дом, и милости просим. — Повернулся к хозяйке. — Обязательно с вами, Елизавета Демидовна.

Видимо, Ревич понял, что Журба увиливает от прямого ответа, и разочарованно произнёс:

— Странный ты человек, Алексей. Вроде бы умственной недостаточностью не страдаешь, а мысли набекрень, главное в толк не берёшь. Я, старый обезьян, полагал, что после Праги ты круто в гору пойдёшь, горизонты перед тобой широкие. Да вдобавок судьба подфартила: Куусинен ещё был жив, промедли полгода, и неизвестно, как бы с “Проблемами мира” получилось. Я матерый экз, знаю, что значит для судьбы фарт. Зачем, скажи на милость, запираешься тебе в затхлой Малаховке? Вместо академического института физкультурников уму-разуму учить? Что же это у тебя получается? Взял билет, а пойдёшь пешком? Высший пилотаж безумия, недомыслие. В твоей Малаховке жить некуда, нецензурная шестёрка на зоне, вторсырьё, младший подметала. Тебя не разбери-поймёшь. Странно, странно... Суета суетствий... Я это называю низкой самооценкой. Непо-о-рядок, огород без грядок.

— У него анестезия, это пройдёт, — улыбнулась Елизавета Демидовна.

Потом обсудили ситуацию с хлебом. Что же получается? Подняти целину, урожаи были невиданные, а сейчас — мама дорогая! — приходится зерно в Канаде покупать. Россия, житница, покупает зерно!

— Кстати, а как у вас в Малаховке с подсобными хозяйствами? — спросила Елизавета Демидовна. — Мне на ум не идёт, почему коров на городских подворья держать запретили. А Малаховка, можно сказать, пригород.

Вопрос был, что называется, в яблочко. Вокруг подворий драка в Малаховке шла отчаянная. Поселковые дразги разыгрались не на шутку, Никиту-кукурузника крыли в полный голос. И когда Алексей разобъяснял Ревичам, какие теперь настроения в народе по части подворий — не только подворий! — они сокрушённо покачивали головами.

Когда прощались, уже в дверях, Константин Константинович приобнял Алексея за плечи, шепнул на ухо:

— А по Малаховке ты всё-таки подумай. Общий обзор сделай. Поверь, перспективы после Праги открываются шикарные, уж я-то знаю. А если па-че чаяния какая загвоздка объявится, Петрова Фёдора Николаевича под-ключим...

## 20

Рябоволы вступили в Большую игру в разгар 91-го года.

В общем виде задача, как её спланировал Виктор, была двойственной по своей природе. Он вспоминал Аркадия Райкина, который на голубом глазу сокрушался, что в эпоху “диффеита” на премьерах громких спектаклей в первом ряду всегда сидит завескладом, и озаботился поисками постоянного источника снабжения импортным товаром. С другой стороны, предстояло подыскать надёжного покупателя этого товара. Решать столь сложную двойственную задачу постепенно, в порядке очерёдности было опасно: “стрелять” предстояло сразу с двух рук и из кармана, а также от бедра.

Впрочем, на данный момент у Рябоволов не было ни товара, ни покупателя. Но был павильон в Вешняках, который Виктор — после покупки павильона Витька и стал Виктором — гениально задумал превратить не в магазин, не в крышу для бытовых услуг, как было раньше, а в... выставочный зал.

Этот выставочный зал, возникший на месте прилавков, подсобок и закуточков для шиномонтажа, а также ремонта часов-обуви, пребывал под замком и под охраной. Прибыли он не приносил — сплошь коммунальные убытки, однако именно на него Рябоволы возлагали надежды по части волшебного обогащения. В Большой игре это был ход конём. С дальним прицелом.

Но у кого взять и кому продать товар?

Причём, и для “у кого”, и для “кому” действовало некое правило, которым вооружил Виктора многоопытный тесть, собаку съевший на общении с теми, кто, по его терминологии, были контрагентами. “Надёжнее и безопаснее всего иметь дело через одно рукопожатие, — учил он. — Даю умозрительный пример. Зачем тебе гнаться за знакомством с Горбачёвым? Вполне достаточно пожимать руку тому, кто той же рукой здоровается с Горбачёвым. Ты меня понял?”. Виктор понял, но попросил уточнить, при чём тут безопасность? Тесть лукаво прищурился: “А если Горбачёв погорит? Зачем тебе у него в дружбанах ходить? Мало ли какие вопросы вылезут?”

Время уже было такое, что над Горбачёвым насмеялись без стеснений, и этот выверт перестройки стимулировал Рябовола торопиться, чтобы не опоздать в начавшейся гонке за большими деньгами.

Было решено, что первый ход — за Альбиной. Журнал “Советский Союз”, где она укоренилась на договоре, уже дышал на ладан, его знаменитые фотокоры в панике металась по чужим редакциям, мечтая перескочить в какой-нибудь новорождённый “глянец”, где можно прокормиться. И Альбина предложила одному из первачей Толе Хрупову свести его с мужем, который со связями, “сам понимаешь, какими”. Хрупов, разумеется, понятия не имел, что за связи, но чего отказываться от приглашения пообедать в приятной компании? Тем более в “Арагви”. Кто от пирушки прочь?

После разговоров о житье-бытье, о зыбкости наступающих времён и бренности бытия Виктор перешёл к делу:

— Можешь сделать фоторепортаж о представительстве какой-нибудь инофирмы из Центра международной торговли на Пресне?

Хрупов одарил его насмешливым взглядом.

— Что значит — могу? Я всё могу. Кто напечатает, вот вопрос.

Рябоволы заранее расписали роли, и Альбина со знанием дела пояснила:

— Твоё дело представиться от журнала “Советский Союз”, ты же знаешь, они не с каждым будут разговаривать.

Виктор добавил:

— Где репортаж возьмут, сейчас сказать не могу. Но ещё до публикации получишь классный гонорар, гарантирую.

Цель встречи обозначилась, и Альбина попросила просветить по части того, как работают на таких заданиях. Хрупов, набивая цену, забулькал: после больших съёмок фотокоры и герои репортажа становятся друзьями, иногда закадычными.

— Сама понимаешь, приношу им кучу подарочных фото, как не отметить? А уж когда журнал с фэйсами выйдет... — Перескочил на свой интерес. — Но это вам, ребята, не в газету за пять минут щёлкнуть. Семь потов сойдёт, за день серьёзную съёмку не осилить. Иной раз такие кунштюки изобретать приходится, что без реквизита никак. В общем, ребята, для такого журнала, как “Советский Союз”, надо вкалывать на всю катушку. Ну, и гонорар соответственный...

Когда начали договариваться о сроках, Виктор чуть не оплошал. Запросил недели три, но Хрупов, смекнувший, что к чему, огорошил:

— Ты что? Это не мой темп, если уж браться, то завтра. Тем более у меня кое-кто есть на примете. Через неделю выложу фоторяд, и всё чики-пуки. — Хитро глянул на Альбину: — Но ты же знаешь, нужны командировочные.

Это был разговор, о котором Рябовол мог только мечтать. Дальше всё шло, как по маслу, и примерно через две недели в том же “Арагви” Хрупов познакомил Виктора с Санди Бронсвиком, невысоким худощавым американцем, слегка плешивым, с застывшей голливудской улыбкой, чей ломаный русский не мог не вызывать насмешек. Впрочем, жёванный инглиш Рябовола был не лучше.

Второй ход тоже сделала Альбина. Она позвонила Хрупову:

— Толя, теперь нужен репортаж с какого-нибудь московского заводика средней руки. Очаруй директора и тащи его в “Арагви”. Чем скорее, тем лучше.

В Москве Хрупов подходящего заводика не нашёл и приволок в ресторан Игоря Павловича Княжнина из Подольска, которого уже при первом знакомстве Виктор стал называть Пальчем, — мужик компанейский, осанистый, переиначивший шлягер Пугачёвой и шутивший, что он, хотя и не настоящий полковник, зато настоящий “красный директор”. Пальч после пятой рюмки картинно затягивал “Поручик Голицын”, но на самом деле не хмелел. Рябоволы тоже устроили ему пир-полупир в “Арагви”, но тягали по ресторанам не часто. А вот с Бронсвиком быстро сошлись на скептическом отношении к советской жизни и жалобах на чрезвычайную скудость ассортимента в московских универсамах. Месяца через два американец по делам фирмы на неделю улетел в Штаты, и Рябоволы озадачили его интересной проблемой: если найдёт приятеля, готового контейнером присылать в СССР модные американские шмотки, то они готовы оплачивать их авансом. Всё официально, у них кооператив “Прима”, импорт-экспорт разрешён. Разумеется, Бронсвику дали понять, что его скорбный труд не пропадёт и всё будет из полы в полу. Но Санди так и не понял, почему труд “скорбный” и что значит “из полы в полу”. Однако в сути предложения разобрался мгновенно.

В Москву он вернулся с наилучшими пожеланиями от некоего Роберта Куллена из Советско-Американского торгового совета, Washington, D. C. 70036, Box18394. Доллар в СССР уже вышел из подполья, и Виктор принялся менять рубли по выгодному курсу 1:3, чтобы немедленно отправить деньги за океан. Альбина тоже не скучала, составила полный список их былой институтской группы, вычеркнула из него Варю Губину-Кедрову как заведомо не пригодную для предстоящего дела, и принялась методично обзванивать

старых студенческих приятелей, по очереди приглашая каждого на чашечку кофе в ближайшем для них кафе.

На семейном совете Рябоволы пришли к выводу, что прорывная команда должна состоять только из своих людей.

И вдруг — форс-мажор.

Первым в набат ударил тесть. В какой-то нескладный вечер он внезапно, без телефонного звонка примчался к Рябоволам на Октябрьское поле, в изнеможении плюхнулся в плюшевое кресло и потребовал, чтобы зять с дочерью бросили все домашние дела, слушали его внимательно. Нервно закурился “Союз-Апполон”, начал:

— Предсовмина Павлов вот-вот объявит денежную реформу. Даже не реформу, просто обмен денег, новые купюры в оборот запустит. Но! — Затряс над головой указательным пальцем. — Менять деньги будут по паспорту и по 1000 рублей на нос. Совковая сволочь! Какую каверзу учинил, а! В душу плюнул. Хочет отсечь всё, что не в сберкассах, по миру нас пустить. Чтобы мы старыми купюрами потом печи топили. Жаждет сталинский трюк повторить: в реформу 1947 года, рубль за червонец, к обмену не предъявили 25 миллиардов, треть денмассы. Вот Сталин свой военный финансовый грех и списал... Шалишь, сволочь, не возмёмшь! Умные люди уже батальоны меняльщиков сколачивают. Шевелиться нам надо, ребятушки, ой, как надо шевелиться! Не жизнь, а сплошной аврал.

Альбина всё поняла с лёту, озлобилась, истошно завопила:

— Да он что, спятил, этот коммуняка? Грабёж среди бела дня! Папа, труд твоей жизни насмарку. У нас с Виктором только всё наладилось — и тоже р-раз! Не станет ничего, пусто, нищие. Хоть в петлю!

— Погоди, Аля, не кипятись, — урезонил Виктор. — Что за батальоны меняльщиков?

— Сам посуди, откуда у простого человека тысяча рублей наличкой? Это, считай, три хороших зарплаты. Вот и ищут таких, кто больше сотенной в руках не держал. За малую мзду они по пятьсот рэ наменяют чужих денег. Да разве, Витя, батальоном обойдёшься? Дивизии нужны — а как с такой прорвой управиться? Вот и созрела идея: реформу эту павловскую скомпрометировать, чтобы вышло послабление и разрешили менять крупные суммы по справкам о заработках. Идею, мне сказали, уже начали проталкивать. А справок-то раздобыть, сам понимаешь... Сколь угодно и на любую сумму.

Тесть уехал глубокой ночью, а Виктор с Альбиной до утра так и не улеглись. Было ясно, никаких батальонов им не рекрутировать, взвода не наберут, к тому же отдавать деньги в чужие руки не страшно, а попросту страшно. Мелькнула мысль обратиться к Пальчу, пусть его рабочие слегка подзаработают. Но нет, тоже не вариант, никаких гарантий. Наоборот, кидать крупную сумму в одни руки ещё опаснее. Очертя голову денежные вопросы решать нельзя. Да и вообще, как он будет проходить, этот чёртов обмен? Ну, Павлов, ну, коммуняка чёртов! Погоди, дознаемся до него... Да-а, *богатые тоже плачут...*

*Операция “Ы”* с выставочным залом встала. Не до неё. Надо было пережить павловскую реформу с минимальным ущербом. А надежды были. На то, что разгромной катастрофы всё-таки удастся избежать, намекала пресса: газеты яростно громили идею обмена денег, признавая реформу финансово неграмотной, вредоносной, а вдобавок прищипывали политический ярлык — объявили злокозненной мезью похороненной партийной номенклатуры. Вот тебе и демонтаж КПСС! *Англичанка гадит...*

Понятное дело, Виктор с жаром бросился скупать доллары — сколько успею! — но их уже не было даже по 1:10 к реальному курсу. В итоге вечером, накануне обменного дня Рябоволы со зла разрешили себе выпить: почали бутылку армянского коньяка, — конечно, пять звёздочек, другого винца они теперь не держали, — и под сочную селёдочку с отборными маринованными грибочками в поисках компромисса с жизнью засели на кухне, чтобы залить благородным напитком грусть-тоску и хотя бы временно выбросить из головы внезапно прокисшую идею о выставочном зале, которая сулила несметно сколько.

— Вот мы и пришли, куда нас Павлов послал, — не чокаясь, опрокинул рюмку Виктор. — Мы с тобой, как на “Титанике”, музыка до последнего булька.

— Да уж, — в тон ныла Альбина. — “Титаник” пошёл ко дну в гонке за скоростной приз. Так и мы с тобой поспешили да народ насмешили.

Похмельной тоски не было, непосильную рюмку не поднимали, но встали поздно. Идти в сберкассу, чтобы обменять свою тысячу рублей, не было ни малейшего смысла. Однако часам к двенадцати, полностью встряхнувшись, от нечего делать всё же решили прогуляться, глянуть, как идёт обмен. Но только повернули на Маршала Конева, как сразу попали в бурлящую, негодующую массу людей.

— Что? Что случилось? — кинулась в толпу Альбина. В ответ возмущённые крики:

— Новых денег нет!

— Не привезли. Касса заперта! Натё хрен в томате.

— Мухлюют. Кругом обман.

— Павлов дурит народ. Чтоб ему пусто.

Пожилая женщина ожесточённо объяснила:

— Люди с шести утра стоят. Сейчас двенадцать, а кассу не открывают. Говорят, новые купюры не привезли, менять нечего. Народ и лютует.

В толпе, которая напоминала митинговщину, то и дело вспыхивали мелкие потасовки — толкотня без рукоприкладства. Демократы кляли коммуны, коммуны обвиняли в злокознях Ельцина, и те, и другие топтали нехорошими словами Горбачёва. На Павлова — только анафема. Два милиционера спокойно стояли в сторонке, не вмешиваясь, повода не было, потому что никто не собирался штурмовать запертые двери. Каждые четверть часа они открывались, из них выходил средних лет мужчина, толпа сразу стихала, и он громко объявлял, что денег пока нет, но их обещают привезти, ждите. Как только — мы сразу. Кто-то из впереди стоящих подступал к нему с вопросами, он вполголоса отвечал и снова скрывался за дверь. А по толпе из уст шелестело: говорит, что нет распоряжения от Председателя Моссовета Попова.

— Гаврила знает, что делает, — авторитетно сказал рядом с Альбиной крупный пожилой мужчина с пышными усами, в брюках с красной прошвой, похуже, отставник, каких много жило на Октябрьском поле, в домах Минобороны.

— Божечки, что вы несёте? Ваш Гаврила дрянь порядочная, вот что я вам скажу, — возразила возрастная женщина, в гримасе некрасиво обнажив дёсны. — Деньги отнимут, и хоть удавись. Кроме злобы, жить нечем.

— Ну, ну, грех отчаяния не отпевают. А Попов не дрянь, сволочь! Другого цивиличного слова для него нет, кабы вы не женщина, я бы его по матушке охарактеризовал, — забиячливо вступил шустрый, бараньего веса мужчина в очках. — Гнилой мужик. Выгребная яма, вот его место.

— Много вы понимаете, недоумы. Косорыловки надо меньше пользоваться, — зло, матерно глянув на очкастого сверху вниз, ядовито отмахнулся усатый.

— На горло-то не берите. Сами вы ума лопата. Побольше вашего разумею. Гаврила нарочно народ мутит, у него свой расчёт.

— Зачем вообще-то этот обмен придумали? И без того последняя копейка ребром стоит, психопаты, — присоединился к разговору грузный толстяк свиной стати. — Всё поверх правды делают. Сталина на них нет. От его взгляда низовые начальники каменели. А сейчас-то им раздолье. Томатный сок из лимона жмут.

И пошло-поехало. Суды-пересуды были безбрежными и с широким разбросом: от божбы, что дело это воровское, до козней мирового сионизма. Народ терпеливо ждал, народу нечего было делать, и этот вялотекущий митинг отражал путаницу-сумятицу, какая задурила головы людей с галёрки, замороченных горбачёвской перестройкой, уставших от безвременья.

Альбина, вся в волнении, разумеется, была на стороне “великолепного” Попова. Щегольнув осведомлённостью, живописала, как лично слушала

выступление Гавриила Харитоновича: “Ах, какой умный человек!” А Виктор помалкивал и наматывал на ус всю эту нелепую, пёструю болтовню, утверждаясь в мысли, что для людей умных настало время сделать денежный рынок, чтобы возвыситься над этой серой толпой обречённых.

Рябовол понимал то, что не могла осознать Альбина, с которой он не считал нужным делиться своими глубинными соображениями. Гавриила Попов неспроста задерживал доставку в сберкассы новых купюр. По всей Москве сейчас бурлят эти негодующие толпы, проклиная уже дохлую советскую власть и Павлова с его денежной реформой. Ишь, захотел разом ликвидировать миллионные залежи теневиков и цеховиков! Ну, ну, поглядим, как это у него получится. Скандал с нехваткой новых купюр, подстегивающий народное недовольство, — умно продуманный социальный шантаж, он поможет пробить обмен крупных сумм по справкам о доходах. Рябовол на всякий случай уже договорился с Пальчем на этот счёт. Якобы “Прима” уже целый год на подряде у завода приводила в порядок очистные сооружения. Поди проверь. Да и кто в теперешнем угаре безвластия, в дурацкой политической кутерьме, когда дров наломали уже с полтайги, — кто будет проверять? Страна в штопоре, не до проверок. Лишь бы легализовали обмен по справкам.

Сберкасса открыли только в три часа. Народ облегчённо вздохнул и не без перепалок начал вытягиваться в очередь. Рябоволам здесь больше нечего было делать, и они отправились домой, задумав допить вчерашний бутылец, — на сей раз в ожидании и предвкушении добрых вестей.

Эти вести появились уже через два дня. Было объявлено, что на предприятиях разрешено создавать комиссии, которые будут выдавать своим работникам справки на дополнительный обмен денег. Новая жизнь выиграла скрытый поединок со старой обветшалой властью.

Наделавший ужасов внезапный форс-мажор подстегнул Виктора. Он резко ускорил долларовые накопления, не скупясь на покупки по 1:5 к курсу. И при очередной ресторанной встрече со Стенли выложил ему примерный список товаров, который после дотошных обсуждений составили они с Альбиной. Без стеснений популярно объяснил американцу, что размер стимулирования лично его, Бронсвика, будет, помимо прочих факторов, зависеть и от сроков выполнения заказа.

А в это время уже кипела работа в выставочном зале. Его освежали по первому разряду, и в левом дальнем углу оборудовали современную барную стойку со множеством ярких иностранных бутылок и рюмками-фужерами, висящими на потолочном ухвате. К стенам зала привинтили разнообразные вешалки, полки, крючки и прочее крепёжное оборудование, поставили стеллажи. Когда всё было готово, в Вешняки прибыли главные эксперты — мама и тесть Виктора. Роль бармена взяла на себя Альбина, и тесным семейным кругом они подняли бокалы за успех общего дела.

Родители уехали с лёгким сердцем: праведными трудами нажитые в советские годы капиталы пошли в дело. Детям были обеспечены выгодные стартовые позиции для предстоящего рыночного рывка.

К тому времени, когда пришёл первый контейнер, команда “Примы” — только из своих подсобников-пособников, из бывших однокурсников! — уже провела несколько занятий по части устройства выставочных экспозиций. И цветастый американский ширпотреб разместили умело, со вкусом, глаза разбегались.

Рябовол в очередной раз пригласил Пальча в “Арагви” и как бы мимоходом предложил съездить на любопытную выставку модной американской одежды. Подпустив пыли, козырнул новомодным словечком:

— Ты такого шоурума в глаза не видел! Это тебе не самодельные варёнки.

Как намечалось, Пальч от обилия ярких заграничных шмоток обалдел. Чего только здесь не было — кроссачи любого цвета, куртки, блейзеры, батники, сумасшедшие купальники и всякие мини-бикини, пуловеры, футболки с зазывными принтами и картинками, лихие бейсболки. Всё можно пощупать руками — качество! Глаза у Пальча разбежались. И тут вступил



в дело Коля Кучмин, авиационный инженер, срочно обучившийся на бармена. Перед носом Палыча он устроил спектакль, виртуозно манипулируя бутылками, совком со льдом, джиггером, стрейнером, бешено тряся шейкером. И со словами: “Авторский коктейль!” — лихо наполнил замороженную коктейльную рюмку Княжнина жидкостью неизвестного содержания.

Мелко прихлёбывая коктейль, не отрывая взгляда от выставочных стеллажей, Палыч задумчиво произнёс:

— Да-а, это не хлам с блошиного рынка. Слов нет, ходовой ширпотреб. Каприз моды. — Потом сказал с хитринкой: — Виктор, ты мне голову не морочь, я же вижу, кто здесь хозяин. Что, чего, не спрашиваю, на этот счёт интересоваться мне пользы нет. Но у меня вопрос: ты можешь во-он ту жилетку с рукавами — показал на модную куртку — мне продать? У меня сын шестнадцати лет, уже модничать начал, с ума от счастья сойдёт, для него это мир грёз. Хочу Генку порадовать.

— Не-ет, Палыч, говоришь не с теми и не о том. Здесь ничего не продётся, это не магазин. Это шоурум. Здесь только посмотреть-пощупать можно. Курточку я тебе подарить могу, это другое дело.

— Подарить? Ты на меня колпак с бубенчиками не надевай. Это за какие же заслуги? Чую, штукавина не из дешёвых.

— Эх, Палыч, Палыч... Знаю, что ты не дурак, а кое-что в голову не берёшь. Твоему заводу сейчас дали хозяйственную свободу, имеешь право безналичные обналачивать, а о коллективе, о рабочих своих побеспокоиться не хочешь.

Княжнин сделал стойку.

— Скажи, у тебя на заводе профсоюз есть?

— А-а, торичеллиева пустота, одно название.

— Так тебе самое время авторитет профсоюза поднять... Чтобы он на твой авторитет работал.

— Что-то пока не врубаюсь. При чём тут профсоюз?

— А ты пораскинь умом. Подбрось ему целевых денегат, чтобы закупили партию самой модной американской одежды, — обвёл рукой выставочный зал, — и пусть со скидкой распределит её среди рабочих. Одежда повседневная, она людям всегда нужна, особенно молодёжи. Сам-то как для сына вцепился, а! Тебя заводские за такую инициативу на руках будут носить.

Княжнин медленно переваривал услышанное, и Рябовол вынул из главного:

— Отсюда товар только оптом уходит. Чем больше партия, тем дешевле. А ты спрашиваешь, за какие заслуги я тебе курточку подарю. Если будешь широко о своих рабочих заботиться, привезёшь сюда сына, пусть берёт, что хочет.

Палыч молча допил коктейль, жестом остановил бармена, готового повторить, и стал медленно шарить взглядом по выставочному залу, внимательно разглядывая экспонаты. Повернулся к Рябоволу.

— Хлебный твой бубнёж, складный. Но зачем мне профсоюзы? В моём заводском горниле жизни я сам могу оптовую закупку в интересах рабочих сделать. Официально.

— Понимаешь, Палыч... Ну, зачем тебе, “красному директору”, в торговый бизнес соваться? Я буду иметь дело с профсоюзом, и формально всё честь-честью. А ты ни шьёшь, ни порешь. С тобой у нас разговор особый, напрямую, вне контракта. Как говорит мой тесть, ни дня в армии не служивший, заряженному танку в дуло не заглядывают.

Княжнин снова задумался.

— Логично... Я с тобой, Витя, удачный фукс закатил... Тогда вот что. Пришло-ка я в этот, как ты говоришь, шоурум своих профсоюзников. Пусть поглядят, выберут, что приглянется... Они размер партии и определяют. Как рассчитывать, подсказешь. Товар здесь брать?

— На складе, у Белорусского вокзала.

Палыч отошёл от барной стойки, взял яркие оранжевые кроссовки с толстой подошвой и длинным языком. Долго вертел в руках, и Виктор понял: “Мужик думает, размышляет”. Потом вернулся к Рябоволу, попросил

бармена повторить коктейль. Сделал глоток, взглядом изучил что-то на потолке, сказал:

— У меня в Подольске приятель есть, тоже директор. Саблезубый мужик. У него на холодной штамповке поголовье футбольных болел работает, численностью немереное. Если я его сюда привезу... Во славу Божию... — Глазами показал на экспозицию. — Но моему сыну столько добра не треба. Ты сечёшь? По рукам?

Рябовол кивнул. Они поняли друг друга. Настало время снимать пенки.

## 21

Неожиданная, — с чего вдруг? — казалось, пустая мысль о том, что его внук, к счастью, успел родиться в Советском Союзе, мелькнула в голове Кондрата Кедрова случайно, во время дежурного променада по арбатским улочкам, однако, странное дело, застряла прочно. Она уносила в мечтательные дали за пределами его брэнного существования и согревала надеждой на то, что, завершая земную юдоль, он закроет глаза с твёрдой верой в грядущее возрождение русского величия. Оставшись не у дел, постепенно свыкаясь со скучным, размеренным пенсионным ритмом, поставив крест на своём великом прошлом — да, да, как бы ни хаяли СССР теперешние башибузуки, он считал своё прошлое великим! — но не желая жить только из любопытства, Кондрат в старческих, оторванных от реального бытия фантазиях представлял себе, что его внук, рождённый в СССР, поднимет знамя, выпавшее из рук деда.

Чем ещё согревать себя в стариковские будни, если не грёзами о том, каким крепким мужиком он пестовал бы Никитку, будь такая возможность. Мечтания о чае в будущем позволяли ему превозмогать унылую череду дней, торжествовать над серой обыденной жизнью, рождая неизречённую радость. Былые сановные замашки слетели быстро. Пару раз в неделю он тащился на Люсиновскую — метро с пересадками, потом троллейбус, — чтобы насладиться вознёй с долгожданным карапузом — живая ртуть. Заодно наставлял внучку, а ещё, оставаясь с детьми, давал возможность Варе сходить в магазин. Но всё не то, при каких семейных порядках растёт Никитка, ему было не ясно. Однажды с улыбкой вспомнил рассказ Мартына. Из казаков, родившийся в станице, он говорил, что мать, уходя в поле, голым сажала годовалого сына в мешок, туго подвязывала у подмышек, чтобы только руки и голова торчали, и подвешивала за потолочный крюк; бывало, часов по пять малец бултыхался в своём дерьме, потом его доставали и обмывали. Разумеется, сам Глеб своих мешочных сидений не помнил, а знал о них по рассказам матери, которая считала этот способ детского “содержания” безопасным и для ребёнка, и для дома. Улыбнулся ещё шире: “Бултыхался в дерьме, а вырос героем”. Что ж, такими до войны были воспитательные “порядки”.

Применительно к Никитке проблемы “порядка” стояли в иной плоскости.

Кондрат знал о планах сына, бывая на Люсиновской, отчётливо ощущал, сколь заметно изменился там семейный климат, видел, что Дмитрий уделяет Никитке минимум внимания, и томительно, с опасениями, переходящими в лихорадочную сумятицу добрых мыслей, ждал финала. Ох, уж этот базар житейской суеты! Не для него это, не для Кондрата Кедрова... В какой-то раз, возвращаясь на Староконюшенный после очередной порции душевных радостей, с горечью подумал об их мимолётности на фоне общей картины семейных неурядиц и вспомнил Висло-Одерский плацдарм. Самые тяжкие минуты наступали в преддверии очередного огненного вала, в минуты ожидания смерти. Когда всё громыhalo и вокруг летели клочья земли, бояться было некогда.

Он понимал, что Варя уже не может не догадываться о намерениях мужа, дело зашло слишком далеко. Но молчит железно — характер! К тому же, куда ей деться с малым дитём на руках? Вынуждена терпеть уже очевидную измену, со страхом ожидая развязки. Ожидая... Нет, не из таких

она, чтобы покорно смириться с участью брошенки. Видно, о чём-то неотступно думает, какая-то нескончаемая тягостная мысль сквозит в её безразличном взгляде, в ровной, без эмоций речи. Кондрат не готовился к скандальному варианту развода, грязи под ногтями не будет — стязательных видов у Кедровых нет, ни дивана квартиры, ни раздела имущества точно не предвидится. А Варя не из тех, кто из бестолковой жгучей ярости-ненависти к мужу-изменщику бьёт посуду. Женщина по части достоинства строгая. Но ведь думает, думает беспрестанно, это же видно. Конечно, думает о том, как жить дальше. Но что надумает, что назревает в тиши её молчаливого омута? От неё такого можно ждать, о чём и мысли не допустить.

В какой-то день заехал Дмитрий, который последнее время баловал родителей лишь короткими телефонными звонками. Кондрат сразу заметил, что парень уже не смотрится таким бравым, каким был ещё полгода назад, да и в разговоре не брызжет оптимизмом. Похоже, градус его самоуверенности пополз вниз, и это обнадёжило. Что ж, вздорная, недозволенная любовь, известное дело, вспыхивает ярко, да остывает быстро, оборачиваясь душевным утомлением. Житейская бывалость подсаживала Кондрату: глядишь, парень начнёт колотиться об углы жизни и скиснет, а там и в семье всё потихоньку образуется.

Но суетные помыслы оказались напрасными: настроение у сына было средним по причинам общего характера. Термин “общее” на языке партийных функционеров был неким грифом, который со стороны кажется неопределённым, непонятным, но на деле именно своей размытостью прикрывает нечто самое главное. Общий отдел ЦК, где кадры, документооборот, служба охраны партийной и государственной тайны. Министерство общего машиностроения, а по сути — штаб суперсекретной ракетной отрасли. Правда, этими “общими” вопросами занимались люди, виртуозные в своих узких специализациях... Причины, по которым с Дмитрия сошёл прежний кураж, тоже были общими, то есть главными, более важными, чем семейные перипетии, которые обычно лечит время.

Речь шла о жизненном поприще. Институт Международного рабочего движения скукожился, сменил название, профиль, его финансирование стало ущербным, и Дмитрию пришлось срочно эвакуироваться в Институт мировой экономики, — слава Богу, успел перескочить на прежних связях. С побочными заработками тоже стало трудно: после распада Союза интерес к научному авангарду перестройки упал, и Кедрова уже не звали в бесчисленные экспертные советы-комиссии, где платили за каждый чих.

— Что-то странное происходит, отец, — рассказывал он, когда после чаепития они уединились в кабинете. — Сплошное пиво с недоливом. Откуда-то появились личности с ходульными речами, которых в перестройку никто знать не знал, везде эти изыскатели благ кишат, землю роют и быстро прибирают к рукам управленческие нити. А наши... Карякин исчез с поверхности общественной жизни, да и Заславская куда-то слиняла, ушла из ВЦИОМа, Лацис — только на подтанцовке. Лишь единицы на плаву, вроде Лукина, который подсутился с Явлинским и через “Яблоко” снова влез в политику. Как бы и меня не прокатили на вороных. Чтобы не путался у них под ногами.

По пенсионному статусу Кондрат исправно и в изобилии, как шутила Зина, до самых до подмышек, смотрел телевизионные новостные программы. А его аппаратный опыт позволял делать глубокие выводы — из мешанины разнородных фактов, которые обрушили на неискущённых зрителей новые медиа, он извлекал корень. И уловил, что правила политической игры меняются, лукавая стилистика перестройки уступила место либеральному горлопанству. На смену людям со Старой площади, которых он знал и называл ударниками Горбачёва, пришли новые принципиалы, лицензию на власть получили незнакомые ему люди из Белого дома на Пресне, герои 91-го года, ставшие преторианской гвардией Ельцина. Не люди — всего лишь ловкие лодышки. Как мог госсекретарь Бурбулис, считай, второй человек в государстве, с почётом принять какую-то рабыню Изауру с фазенды, из дешёвой мыльной оперы?

Но так или иначе, а река времён, как называл Державин историю, катила свои воды неумолимо, хотя порой бурлила на перекатах. Правда, Кондрат не предполагал, что перемены будут столь стремительны.

— Да, многое меняется, это я вижу, — кивнул на телевизор, — наконец-то и ты глаза разул. Но тоску не наводи, уж коли заныл, хочу дать отцовский совет. Насколько я понимаю, твои новые умозрения... Кстати, не спрашивал, ты из партии успел катапультироваться или, как я, почил вместе с ней?

— Вышел.

— Что ж, осчастливил. Достойный нукер Яковлева, тот тоже успел... Так вот, хотя твои новые умозрения соответствуют идеологии теперешней власти и ты пребываешь в плену иллюзий, всё равно предстоит решать, как жить дальше. Капризничать сейчас не приходится, конъюнктура момента непростая. Если без полутонов и допущений, то вариантов всего два. Первый, я его называю советским, — гонор в сторону, работать старшим научным, замыслить новую докторскую и через сколько-то лет, когда осядет перестроечная пыль, защититься. Вариант спокойный, но... — не отказал себе в удовольствии бранчливо уколоть сына, — шикарней жизни он не обещает. Как раньше говорили, в душе радость, в кармане мелочь. И как на такие художества посмотрит её великолепие бывшая жена членкора, тебе виднее.

Дмитрий глазом не повёл, и Кондрат продолжил:

— Второй вариант требует искать приключений, включить режим призовых скачек, жать на газ, отпустив тормоза, чтобы стать пристяжным в управленческой элите, прорваться в круг личностей, которых ты, насколько я понял, презираешь, но которые пожинают плоды вашей победы над КПСС. Всё по старой логике: “Ангелу — рай, чёрту — преисподняя”.

— По больному бьёшь?

Кедров развёл руками.

— Брось! Когда КПСС живьём закапывали, ты меня, не помня партийного родства, не жалел. Говорил, что таких, как я, выбросило на берег прибоем новой жизни и надо учиться дышать жабрами. Слава Богу, без сильной лингвистики поучал.

Сын надолго задумался, переменял позу в кресле, закинув ногу на ногу. Потом поднялся — не так упруго, как раньше, — стал расхаживать по кабинету.

— Понимаешь, отец, ты укрепил меня в той мысли, которую я не первый день вынашиваю.

— Это в какой же именно? Я тебе две мысли подкинул.

Дмитрий опять не отозвался на подначку. Снова сел в кресло, снова задумался.

— Отец, знаешь, что я хочу? Я хочу познакомить тебя с Улей.

— Это зачем же?

— Отец, ты многое поймёшь. — Опять резко встал, шагнул Кондрату за спину, обнял за плечи, горячо зашептал в ухо: — Поймёшь, кто меня наставляет жить по первому варианту.

Все точки над “и” были расставлены, и они перешли к насущному.

Сын малодушничал и умолял отца взять тяжёлый разговор с Варей на себя. Отец не знал, как подступиться, и доискивался каких-нибудь, пусть лукавых, зацепок для выяснения отношений. Не скажешь ведь покинутой жене, что муж встретил красивую и любимую. В тот вечер они битый час разводили тары-бары, но так ни о чём и не договорились. Не закусывая, в семейных разладах разобраться невозможно. Пообещали друг другу, что ещё подумают и посоветуются снова. Кондрат устал от этих бесплодных прений, злился на себя за то, что стал несносно болтлив, но, приняв семейные перипетии Дмитрия как тягостную неизбежность, всё же отыскал в этой передыжке свою, отцовскую доблесть. Его дембельский аккорд на Старой площади вышел удачным: успел обставить однушку на Мичуринском, где будет жить сын, белорусским гарнитуром. В новых Димкиных невзгодах это очень даже не помешает.

Но события на Люсиновской повернулись иначе. Нет, не напрасно Кондрат Кедров чувствовал, что невестка готова такое надумать, чего и не умыслишь. Варя его потрясла.

В тот раз он тащился на Люсиновскую в особо тяжёлых раздумьях. Семейные нескладухи сына затягивались, но Кондрат после долгих раздумий пришёл к выводу, что рубить узел внезапно, одним ударом нельзя, не тот случай, по отношению к Вале это будет и нечестно, и жестоко. Не по-людски. Как бы с ней духовная поломка не случилась. И готовился к первому, как бы пристрелочному разговору. Замысел рисовался через усыпляющее “баюшки-баю”: начать с житейских проблем, в следующий раз перейти к распросам про Дмитрия, о котором он, отец, сейчас мало знает, ибо сын звонит редко и второпях. Ну, а дальше — по ситуации. Вот как-то так...

Однако же неспроста в Писании сказано, что человек предполагает, а Бог располагает.

Варя встретила его необычно. Она всегда прилежно следила за собой, ни разу свёкор не видел её неприбранной, и даже повседневную одежду подбирала со вкусом. Но сейчас она выглядела нарядно: вместо домашней кофты — нежно-голубая блуза, манжеты, воротник с кружевной оборкой. Кедров понял, что его ждёт какой-то сюрприз. И верно, пока нянькался с внуком, Варя накрыла на кухне стол со скромными угощениями, а когда сели чаёвничать, сказала:

— Кондрат Егорыч, думаю, пришло время нам с вами поговорить. Во всяком случае, у меня есть, что сказать, есть три предпочтения, которые я не могу решить без вашего участия. — Запнулась. — Вернее сказать, две проблемы решу и без вас, а вот одну, главную...

Кондрат внутренне вздрогнул, лихорадочно, почти в душевной панике, изговлаиваясь к прямому жёсткому разговору, которого мечтал избежать. Он понимал, что начало этого разговора Варя тщательно отрететировала, и молчал, собираясь мыслями, гадая, куда она повернёт. Какие ещё три предпочтения? А главная почему-то не решается без меня...

— Я же понимаю, что вы к нам зачастили неспроста. Понимаю, что вы знаете больше, чем я. А я, между прочим, ничего знать и не хочу, в грязном белье копаться не собираюсь. И выяснения отношений не будет. Мы с Дмитрием давно спим в разных комнатах, и я не намерена ждать, когда он объявит о своём уходе. Ухожу я.

Прямота невестки обескуражила. “Какую золотую девку упускает! — мелькнула возмущённая мысль о сыне. — Дурак!” Но как ответить, что сказать? Да ведь она ни о чём и не спрашивает, ей всё ясно. Кондрат по-прежнему молчал.

— То, что ухожу я, это первая из проблем, и здесь мне ничьи советы-помощи не нужны. Я теперь ничейная вещь и вовсе не озабочена тем, как сложится моя дальнейшая жизнь, — предугадать судьбу никому не дано. Но не думать о детях я не могу. И это вторая проблема, главная. Теперь всё вверх дном, и без вашего личного участия её не решить.

Варя замолчала, надкусила печеньё, мелкими глотками пила чай. Было ясно, что заготовка — говорила, как по писаному, — исчерпана, теперь пойдёт разговор с чистого листа, и она выжидала, хотела понять, как свёкор воспринял её кинжальную откровенность. А Кондрат после внутренней эмоциональной вспышки успокоился. Вот так, мимоходом, между делом, без горячих дебатов, без скандалов они проскочили тягостный момент, которого особо боялись, — произнесение вслух того, что Варя уже понимает по жизни. И она взяла эту тягость на себя! “Не дурак, а идиот, обалдуй!” — снова мелькнуло в адрес сына. Но, так или иначе, а теперь, миновав опасные пороги, разговор мог войти в относительно спокойное русло, потому что никаких сложностей, сопутствующих разводу, Кондрат не предвидел. Интересно, какую такую проблему она не в состоянии решить без его личного участия? Дмитрий просил с ней поговорить, а она попросит поговорить с ним? Хотят на этом этапе общаться через меня? Так, что ли? Что у неё на уме?

Тоже принялся за чай, раздумывая о превратности судеб. Он, герой войны, бывшая номенклатурная шишка, стал жалким пенсионером без машины

и дачи, вынужденным безропотно разбираться в семейных дрызгах сына, у которого вдобавок дела пошатнулись, а овёс нынче дорог. Был бы в прежнем статусе — вожжи в руках, повелительно продиктовал бы молодым условия их дальнейшей жизни. Вспомнил, как на исходе хрущёвской эпохи — пыльная старина! — Михальчук, тоже замзав, родня по аппаратной службе, заочно, против их воли выписал из Москвы своего сына с невесткой и отправил их работать на какой-то завод в Караганде. На годик. А потом вернулся и опять через большую руку в МВД прописал в столице заново. Вот как в те времена стряпали детям биографии. Где сейчас эти Михальчуки? Сам-то Семён помер, а сын его, помнится, стал дипломатом. А что может теперь он, Кондрат? Только советы давать и ждать, примут их или же пошлют советчика подальше... Впрочем, не так уж и плохо складывается жизнь после страшной горбачёвской ломки, всё познаётся в сравнении. Недавно во время утренней ходьбы увидел на Староконюшенном Шостаковского в расстёгнутой рубашке, в сандалиях на босу ногу, с плетёной авоськой, а в авоське — пустые бутылки: сразу видно, тяжело бражничает человек. Вроде солидный мужик, даже по возрасту, а вприпрыжку бежал на кипящее необузданными страстями арбатское торжище за дешёвым боекомплектком — теперь там сплошь палёный раствор. Много лет он руководил Высшей партийной школой. Потом вдруг заделался пламенным карбонарием и стал одним из лидеров в гнусной лавочке, громко назвавшей себя Демократической платформой, — она и скинула КПСС. А теперь никому не нужен, рыба на песке, вот и спился, скатился до площадного сброда. Было ему море по колено, стала лужа по уши. Да-а, быстро ельцинские оттеснили горбачёвских.

Пауза затягивалась. Варя, видимо, поняла, что свёкор решил отмалчиваться, отодвинула в сторону блюдце с чашкой, облокотилась на стол и начала новую сагу.

— Да, Кондрат Егорович, прежде всего я обязана позаботиться о детях. Понимаю, с хлеба на квас перебиваться не буду, бедствовать не придётся, петь лазаря незачем. Но разве рублём жизнь ограничивается? Выйду из декрета, и как жить дальше? Алёнку — в школу, Никитку — в детсад? Хотя убейся, а тут не разорваться. Мама сидит с внуками, у старшей сестры трое, надежды на бабушку нет. Что делать?... — Глядя на Кондрата, замолчала. Видимо, ждала отклика.

Но он тоже молчал, твердокаменно. Сказался опыт кадровика: когда человек исповедуется, незачем прерывать его охами-ахами, поддакиванием или вопросами, ответное молчание побуждает собеседника к откровенности. Всё как на сцене: если нет аплодисментов, артисты из кожи вон лезут ради жидких хлопков. Об этой старой актёрской “психотравме” Кедрову когда-то поведал Смоктуновский, тоже томский, из Шегарки, с которым он сошёлся на почве землячества. Пустив эту уловку в дело, Кондрат на личном опыте убедился, что она срабатывает безотказно.

Не подвела уловка и на сей раз. После долгой паузы Варю словно проввало. Куда делось волевое внешнее спокойствие, с которым она начинала разговор? Выплеснула горячо, захлёбываясь словами:

— Я столько много думала, как жить дальше, в смысле детей. Столько много! И так вертела-крутила, и этак. Ум за разум зашёл. А потом поняла: одной с двумя мне, ну, никак не справиться, ну, никак не совладать. Накормить да сопли утереть, этого ж мало! По сути, без призора родительского будут расти, особенно младший. И это в новые лихие времена! Такого своим детям я пожелать не могу.

Эмоциональный всплеск оборвался так же внезапно, как начался. А Кондрат чуть ли не глаза вытаращил, он ждал чего угодно, только не отказного варианта. В душе шевельнулось что-то нехорошее: ишь, мать её в дивизию, хочет одного ребёнка мужу сбросить! Образ Вари, живший в его сознании, разом поблёк. Да и вообще, дело принимает иной оборот, у Никитки будет мачеха? Вот она, чёрствая горбушка жизни, да ещё чесноком натёртая, как щиплет, а! Внутренне содрогаясь, изо всех сил заставлял себя молчать.

Через минуту Варя снова зажглась:

— Я же вижу, Кондрат Егорыч, как Никитка откликается на ваше слово, со мной он совсем другой, хоть убейся, не могу с ним по вашим советам, и он это чувствует. Когда вы с ним возитесь, мне как мёдом по сердцу, отец-то внимания ему почти не уделяет, отцу сейчас некогда. — Кондрат отметил, что она говорит о муже спокойно, без озлобления, как о постороннем; видимо, в душе у неё перегорело, она приняла твёрдое решение о разводе, и женская ярость её не терзает. — Да и вам, вижу, внук в радость. Каждый раз по полчаса прощаетесь. Я же вижу, Кондрат Егорыч, вижу, вижу. Всё на моих глазах.

Варя пустила слезу, захлопала носом, и отмалчиваться было уже нельзя. Кондрат сказал полуофициальным тоном:

— Варвара, пока не пойму, в чём твоя главная проблема, которая зависит от меня? Говори прямо. Чем я могу помочь? Образумить Дмитрия?

— Да нет мне никакого дела до вашего Дмитрия! — в сердцах громко воскликнула она. — Меня судьба Никитки заботит! Хочу сына достойным человеком вырастить! Кондрат Егорович, дорогой, миленький, я к вам в ноги пасть готова с материнской просьбой.

“В ноги пасть?” — молнией отозвалось в сознании Кедрова. Эти же слова он слышал от Матвея Лещени. Как странно!

Варя уловила его мимолётное замешательство, с напором повторила:

— Да, да, Кондрат Егорович, в ноги паду! Я мечтаю, мечтаю, чтобы вы... Понимаю, конечно, для Зинаиды Валентиновны это нагрузка. Но не сказать, чтоб непосильная, может, даже и в радость. И мечтаю, чтобы вы Никитку к себе взяли. Совсем. — Почти криком: — Навсегда!

Уронила голову на руки, зарыдала. Кондрат ушам своим не верил и обомлел, и очумел. Обомлел от неожиданности, а очумел от счастья, от избытка чувств аж дух перехватило. Дурацкие стариковские фантазии вдруг стали реальностью: подумать только, он будет растить внука! То, о чём он мечтал всегда, даже тогда, когда Никитки и в помине не было, может стать явью. Почувствовал, как увлажнились глаза. Они оба приходили в себя несколько минут. Кондрат после взрыва чувств осознал, что вопрос слишком серьёзен и не решается за чаепитием. Ребёнок — не игрушка, его с рук на руки не передают. Всё предстоит очень тщательно обдумать. Но оказалось, Варя уже всё обдумала. Тыльной стороной ладони по-детски утерев слёзы, начала объяснять:

— Кондрат Егорыч, я обязана прежде всего о детях думать, я вам говорила. И я знаю, что лучше всего Никитке будет именно у вас, вы его от всей души пестовать будете. Я мать, мы с ним общаться будем, он будет знать, что я его мать. Но если он будет расти в вашем доме... Боже мой, как я мечтаю об этом! Вы его вырастите по-настоящему. — Перевела дух и с новой силой: — Ваш возраст позволяет, у вас ещё столько энергии, что на десятилетних хватит. — Улыбнулась через силу. — И при деле будете, скучать не придётся. Я же вижу, сколько радости вам Никитка доставляет. Может быть, настанет время, когда вы сочтёте возможным... усыновить его. Как мать я возражать не буду. Думаю, и отец согласится.

Да-а, тупым стал Кедров. Лишь после этих слов он понял истинную глубину её замысла. Усыновить... Сразу всплыло в памяти, что Хрущёв удочерил внучку, и после этого в партийной номенклатуре разразилась чуть ли не эпидемия родственных усыновлений-удочерений. Расчёт был простой: сделать внуков наследниками первой очереди, чтобы напрямую передавать им квартиры, машины, прочие ценности. О своих детях номенклатура уже позаботилась, они в полном порядке. Теперь на всякий случай надо побеспокоиться о будущем внуков, — мало ли, как сложатся судьбы их родителей. Варя, не сегодня-завтра неустроенная мать-одиночка без жизненных перспектив, глядит далеко-далеко вперёд, когда сыну придёт пора обустроить свою судьбу, и ради него готова пожертвовать своим материнством.

Богоугодно!

Кондрат опять молчал. Но на этот раз его молчание нельзя было воспринять иначе, нежели знак согласия. Варя облегчённо вздохнула, вытерла салфеткой глаза, заговорила более спокойно:

— Конечно, Кондрат Егорыч, это вопрос непростой, надо всё обдумать конкретно. Но для меня-то самое главное, что вы не возражаете. — Снова улыбнулась. — Я же вас знаю, у вас слово — золото, а молчание — бриллианты... Ну, теперь о третьей проблеме, которую заставляет решать моя развесёлая жизнь. Её я решу сама, но сейчас считаю нужным поставить вас в известность о своих намерениях. Понимаю, мой муж готовится к эвакуации из этой квартиры. Благородно! Где он будет жить, у меня в печёнках не сидит. Но если Никитка переедет к дедушке и бабушке, то я здесь тоже не останусь, мне эта жилплощадь не нужна. Мы с Алёнкой переедем в квартирку на Мичуринском, куда вы меня прописали. Там незатейливо, прекрасно будем там жить-поживать. А кто здесь, на Люсиновской, обоснуется, не моё дело.

Что мог сказать Кондрат Кедров этой женщине, которая в драме семейного распада не только не потеряла себя, но, образно говоря, “вошла в горящую избу”, сумела на десятилетия вперёд позаботиться о судьбе своего сына? Зоркая душа! Он через стол взял руку Вари и долгим поцелуем приложился к тыльной стороне её ладони.

Потом поднялся, сказал:

— Ладно, расходимся. Но в моём возрасте после таких душщипательных прений сразу отправляться в путешествие на метро нельзя. Дай-ка я, Варенька, поваляюсь полчаса на тахте, мысли причешу, сердцебиение уйму. Постели-ка мне плед.

*(Продолжение следует)*



НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ



## ПО ДОРОГЕ В БОЛДИНО

\* \* \*

Вдруг вспомнится перед сном,  
И сердцу светлее станет,  
Как женщина за окном  
Мальчишку к себе поманит.  
И лягут — в руке рука.  
Что ж, парню пора приспела.  
А женщина, как река,  
Не знающая предела...  
И ласки её волна  
Иное откроет зреньё,  
Поднимет его со дна,  
Открыв в небеса теченье...  
Воспой же, моя строка,  
Власть женщины! Знамо дело:  
Ведь женщина, как река,  
Не знающая предела...

---

*АЛЕШКОВ Николай Петрович родился в 1945 году в селе Орловка Челнинского района ТАССР. Работал монтером связи, электриком, диспетчером домостроительного комбината ПО «Камгэсэнергострой», литсотрудником районной газеты «Знамя коммунизма» и газеты Московского округа ПВО «На боевом посту», редактором набережночелнинской городской газеты «Время», межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В 1982 году окончил Литинститут имени М. Горького. Автор тринадцати книг стихотворений и поэм. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей СССР. В настоящее время — главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан».*

\* \* \*

Декабрьский дождь и майский снегопад  
Ворвутся в жизнь и всё переинчат:  
Вот в конуре безмолвствует Пират,  
А внучка — ей три года — чуть не плачет...

Черту смиренья не переступи,  
Живи в ладу с надеждою незримой!  
— Всё будет хорошо, ты потерпи, —  
Скажи спокойно женщине любимой. —  
Земля прекрасна, наша жизнь на ней  
Устроена — счастливей не бывает...

Неясная тревога всё сильнее,  
Всё явственней тебя одолевает.

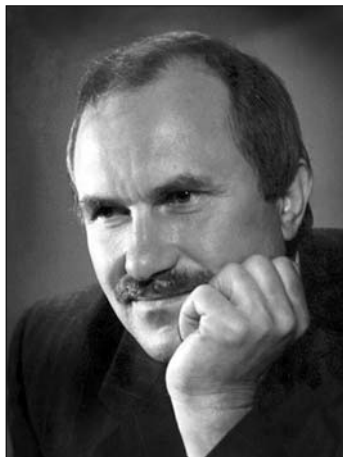
### ПОПЫТКА ВЕРЛИБРА

Выйдя к реке, подумаешь вдруг, что птичий язык Хлебникова  
вряд ли объединил бы всё человечество, но, может быть, научил бы  
нас разговаривать с птицами, с шелестом берёзовой листвы, с  
ветром и облаками...

\* \* \*

Предвестие дождя, как зазеркалье,  
Надвинется, пугая и дразня.  
Вот молнии по тучам засверкали.  
“Скорей домой!” — гром торопил меня!  
Дом ждал меня, как панцирь ждёт улитку.  
Всему свой срок. И, будто по часам,  
Я отворю знакомую калитку —  
И хлынет дождь. И — слава небесам!

ПЁТР АЛЁШКИН



## ТАМБОВСКИЕ ВОЛКИ

РОМАН

Часть первая

РАСПРАВА

1. Ачкасов

В то майское утро, когда так внезапно и стремительно, вихрем, закрутилась эта история, ломая, калеча молодые судьбы, раскидывая в разные стороны друзей, Николай Анохин собирался в Тамбов, куда его вызвал председатель облисполкома.

Утро было тихое, свежее, тёплое по-летнему. Анохин, выходя из общежития, отметил, какое глубокое и голубое небо сегодня, но какое-то унылое, томительно-тревожное. Точно так у него было на душе.

В вагоне Николай Анохин дремал, придавив подбородком узел галстука, думал о Зине, представлял, как она удивится, увидев его, обрадуется. До встречи, когда они должны были идти в загс, ещё три дня, а он сегодня явится. Зине хотелось расписаться в Тамбове, а свадьбу сыграть в Уварово, у родителей. Выбрала она день для свадьбы перед получением диплома, сра-

---

*АЛЁШКИН Пётр Фёдорович родился в 1949 году в селе Масловка Тамбовской области в семье колхозника. Работал плотником, слесарем, трактористом, шофёром, монтажником пути (1966—1982), редактором (1982—1987). В 1990—1991 гг. был директором издательства “Столица”. В настоящее время возглавляет издательство “Голос” и журнал “Наша молодёжь”. Награждён медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени за заслуги в развитии отечественных СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Автор 27 книг прозы, собрания художественных и исторических произведений в 23-х томах. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

зу после экзаменов в пединституте, чтобы подружить, с которыми она сблизилась за четыре года учёбы, перед расставанием погуляли на её свадьбе, разделили с ней радость, прикоснулись к её счастью.

Сонный рабочий поезд шёл медленно, часто останавливался, подолгу стоял на станциях и полустанках. Вагон потихоньку заполнялся, затевались разговоры, становилось шумно, жарко. Перед Сампуром поезд разогнался, вагон раскачивало, мотало.

Николай поднял голову, поправил галстук, сдвинутый набок подбородком, глянул в окно. Солнце накалялось, поднималось над деревьями лесопосадки, тянувшейся вдоль железной дороги, светило в лицо сквозь тусклое пыльное стекло. Небо затягивалось дымкой, опускалось, тускнело, становилось белёсым.

В Сампуре на платформе, как всегда, встречала поезд возбуждённая толпа, волновалась, гудела. Вагоны ещё не остановились, а подножки уже облепили подростки, лезли в тамбур, подтягивались за поручни, мешали друг другу.

Двери в рабочем поезде всегда открыты. Шум, крики, ругань, толкотня. Растрёпанные в давке люди врываются в вагон, шумно занимают свободные места, кричали, подзывая своих. Через минуту устроились, суета улеглась, мест, как всегда, хватило всем. Это потом, тем, кто сядет в Кандауровке, придётся стоять, но оттуда до Тамбова недалеко. Час всего пути. Галдящие, возбуждённые юной энергией, подростки потолкались минуту на жёстких деревянных сиденьях и, смеясь, подталкивая друг друга, вывалились назад, на платформу, докурить на просторе, ведь поезд стоит здесь пятнадцать минут.

Анохин хмуро глядел на них сквозь пыльное стекло, потом забылся, стал в который раз гадать, зачем вызвал его в Тамбов председатель облисполкома Климанов Сергей Никифорович. Что ему надо от заместителя редактора районной газеты? Почему не редактора вызвал? Климанов три года назад был секретарём Уваровского райкома партии. Они виделись всего один раз, когда Анохин после окончания университета устраивался на работу в районную газету. Редактор приводил его на собеседование к Климанову. Через два года Николая Анохина утверждал заведующим отделом газеты новый секретарь райкома. Климанов уже работал в Тамбове. А заместителем редактора Анохин стал в прошлом году.

Зачем именно он, а не редактор понадобился председателю облисполкома? Редактор, когда сообщал о его звонке с приглашением в Тамбов, предположил, что зовёт тот Анохина из-за его недавней статьи о беспорядках на трикотажной фабрике. Но ведь статью ту не напечатали. Виктор Степанович Долгов, теперешний секретарь райкома, снял. Откуда же узнал Климанов? Долгов, конечно, мог рассказать. Но зачем? Велика важность, директора фабрики покритиковал...

При мыслях о трикотажной фабрике явственно всплыла в памяти вчерашняя встреча с заместителем начальника милиции Ачкасовым, и снова сердце заныло, снова стало тягостно на душе. Впрочем, та встреча не забывалась, подспудно жила в подсознании, наполняя душу тяжкой тревогой.

Весь вечер просидели они над документами, которые Ачкасов прятал у себя дома после недавней смерти Саяпина, начальника райотдела милиции. Пришёл Ачкасов к Анохину потому, как он сам объяснил, что узнал о его статье, запрещённой секретарём райкома партии.

— Ох, не своей смертью умер Саяпин, не своей! — мотал головой Ачкасов, сжимая лысый затылок толстыми растопыренными пальцами. — Не даром сейф в его кабинете наизнанку вывернули. Эти бумаги ищут... — стукнул он кулаком по раскрытой папке.

Ошеломлённый увиденным и услышанным Анохин, сгорбившись, сидел над распахнутой папкой, освещённой настольной лампой. Ачкасов оперся обеими руками о стол, поднялся, большой, грузный, подошёл к окну. Ветхие половицы заскрипели, заохали под его ногами. Он отодвинул уголок занавески и долго глядел на тускло освещённую улицу, потом тщательно закрыл занавеску, вздохнул и вернулся за стол:

— Зря я на мотоцикле приехал. Завтра же будет известно, что я у тебя был...

— Может, напрасно вы... — заговорил приглушённым голосом Анохин. — Сосед наш в деревне недавно тоже от язвы умер. Веялку на току перекатывал, тужился и — прободение. До больницы не довезли...

— Не-ет, не говори! Какая там язва у Саяпина... Сроду не жаловался. Красномордый был...

— Отравили, думаешь?

— Убеждён... — Ачкасов вернулся к столу, сел на хрустнувший жалобно стул.

— Но ведь врач вскрывал, смотрел... Да и перепроверить легко.

— Вскрывал... Ледовских. Сын его, Васька, в ресторане официантом работает. Мы с Саяпиным в тот день там обедали. Васька нас обслуживал...

Ачкасов замолчал.

— Ну, — нетерпеливо подтолкнул его к продолжению рассказа Анохин.

— Вот те и ну... Ты же читал, — кивнул Ачкасов на папку с документами, там не только подпольный цех в трикотажке, продажа квартир, машин, стройматериалов, неучтённое стадо овец в колхозе, но и ресторанные и больничные дела.

— А Васька откуда узнал... об этом? — Анохин взглянул на папку.

— Васька не знал.... И не знает. Подсказали ему....

— Тогда б он вас... обоих.

— Нельзя, — усмехнулся Ачкасов. — Там не дураки... Видишь, — оттолкнул он папку от себя, — меня потом...

Анохин смотрел на Ачкасова растерянно. На мгновение показалось, что милиционер бредит, сошёл с ума. Не может того быть, о чём он говорил. Никак это не может быть! Не на диком же Западе живём! Выдумка всё это Ачкасова. Не белая ли горячка у него? Говорят, что попивает он сильно. Недоволен им из-за этого секретарь райкома. Но вот же документы, вот они лежат. Ясно, чётко видно, что подпольный цех на трикотажной фабрике существует. Да и у него, когда он собирал материал для статьи о трикотажке, было чувство, что там не всё чисто. Но докопаться он не смог, опыта не хватило.

— Слушай, — говорил между тем Ачкасов, — папочку эту ищут. И не успокоятся, пока не найдут... Что она у меня, догадываются. Оставлять у тебя не хочу, не затем пришёл. Парень ты честный, знаю, сам допёр, что не всё ладно у нас в районе. Видел я, как ты копал, ошибался, милицию винил, Саяпина критиковал в газете. Теперь, видишь, зря... Понял теперь, почему статью твою о милиции Долгов пропустил, даже похвалил на бюро, а о делах в трикотажке завернул?.. Документы эти у меня будут. Как назначат нового начальника милиции, я отпуск беру — и в Москву. А сейчас давай перефотографируем... всё. У тебя фотоаппарат хороший. Пока копию не сделаю, спокойно жить не смогу...

Анохин фотографировал, а Ачкасов перекладывал бумажки.

— Готово, — щёлкнул последний раз Анохин.

— Нет, теперь прояви!

— Может, завтра?

— Нет, сейчас. Хочу посмотреть, что получилось. Проявляй!

Николай Анохин делал раствор, а Ачкасов ходил, скрипел половицами, маялся, потом не выдержал, спросил:

— У тебя нет водочки? Ни граммулочки?

— Я же не пью.

— Душа горит... сволочь!

— Кажется, сухое осталось. На доньшке. Гляну сейчас... Если не прокисло.

Вино, действительно, плескалось на доньшке бутылки, с полстакана. Ачкасов поднял бутылку, поглядел на свет, поморщился. От стакана отказался, выпил из горлышка, буркнул:

— Квас.

Он сел на стул по другую сторону стола, оглянулся на окно, увидел, что тень его головы падает на занавеску, и отодвинулся в сторону. Заметил, что Анохин обратил на это внимание, усмехнулся:

— В вашей газете лет пятнадцать назад детектив печатался, “Знакомая походка”. Там в милиционера в окно стреляли. В тень на занавеске бабахнули. Думали, что он...

— Я читал, помню.

— Ты читал? — недоверчиво удивился Ачкасов. — Сколько же тебе тогда было?

— Если пятнадцать лет назад, значит, десять. Я уж всю взрослую книгу читал. Помнится, с отцом наперегонки этот детектив глотали... — Анохин крутил пальцем ручку фотобачка, проявлял, вращал плёнку в растворе. — Я завтра в Тамбов еду. Климанов вызывает...

— Климанов? Тебя? Зачем?

— Сам гадаю. Я вроде к нему никакого отношения не имею.

— Он сам звонил? Что он тебе сказал?

— Он с редактором разговаривал. Меня не было.

— Нда, чего это он? — пробормотал Ачкасов.

— Вы что, неужто и Климанова подозреваете? — усмехнулся Анохин.

— Директор трикотажки его друг... Более того, Климанов его сделал директором.

Этого Анохин не знал.

— Может, ему Долгов о моей статье сказал, — повторил он предположение редактора. — Приструнить хочет, чтоб не совался никуда со статьёй о трикотажке. Ведь меня и тамбовские газеты печатают, и “Комосомолка” в Москве дважды мой материал давала.

Ачкасов мотнул лысой головой, согласился: может такое быть.

За разговором Анохин проявил, промыл плёнку, осторожно растянул её перед глазами напротив лампочки. Ачкасов поднялся, нетерпеливо заглянул через плечо Николая:

— Получилось?

— Отлично.

— Давай отпечатаем парочку, — загорелся Ачкасов.

— Высохнуть должна. Это долго...

— Жалко.

— Не волнуйтесь. Я и так вижу, чётко вышло.

— Но ты завтра же отпечатай, проверь. Если что, перефотографируем...

Утром Анохин скатал высохшую плёнку в рулончик, завернул в бумагу и кинул в ящик стола. Увидел там пустой пузырёк из-под туши, взял его, — давно нужно выбросить, валяется зря, — но задумался, открутил пластмассовую крышку, заглянул в пузырёк. Тушь давно высохла. Тогда он засунул плёнку в пузырёк, закрутил и поставил в ящик.

За этими думами, за воспоминаниями Анохин не заметил, как подкатили к Тамбову. Очнулся, когда за окном среди густой зелени кустов замелькали кресты, оградки Петропавловского кладбища, по-весеннему свежескрашенные, потом потянулись вагонные мастерские, и показалось жёлтое здание железнодорожного вокзала.

## 2. Сарычев

На улице пахло креозотом от шпал и тем особенным запахом, которым пахнут вокзалы в жаркий день. Анохин вышел на широкую площадь и направился к остановке автобусов и троллейбусов, многолюдной от приезжих. Прямо перед ним за остановкой на стене Дома культуры висела огромная афиша нового фильма. Во весь стенд красовалась мощная лысая голова Фантомаса. Вспомнилось, как редактор рассказывал, что на бюро райкома хотели запретить демонстрацию фильма в Уварово, мол, на подростков пагубно действует. Анохин часто видел стены домов в подъездах с нацарапанными торопливыми надписями: “Фантомас”. Рассказывали, что кто-то принёс в милицию записку, найденную в своём почтовом ящике. В ней кривыми

печатными буквами было написано: “Мне нужен труп. Я выбрал вас. С большим приветом! Фантомас”.

— Коля! — услышал вдруг Анохин позади возглас и обернулся.

К нему пробирался сквозь толпу усатый улыбающийся милиционер с капитанскими звёздочками на погонах, Сарычев Сашка, Уваровский начальник ОБХСС. Пробрался, пожал руку, заговорил радостно:

— Привет! Ты зачем сюда? С поездом? С этим? Как же мы в Уварово не встретились? Всё веселее бы ехать. Поболтали бы. А меня вот начальство вызвало...

— Климанов? — невольно брякнул Анохин.

— Зачем? У меня своё начальство. УВД... А ты что, к Климанову? — догадался он.

— Вызывает зачем-то...

— Они найдут зачем... Ты слышал? Мы в Уварово совсем без начальства остались. Я теперь в милиции самый большой начальник, — засмеялся Сарычев.

Анохин видел, что Сашка чем-то возбуждён: нежная кожа на его румяных щеках полыхала, глаза блестящие, а кончик тонкого носа подрагивал нервно. И возбуждён, конечно, не встречей с ним.

Они не были приятелями, просто хорошие знакомые. Видели друг друга довольно часто. Городок маленький. Один раз даже попали на одну вечеринку. Тогда Анохин поразился, что Сарычев так говорлив. Представлял работников милиции молчаливыми, сдержанными в компаниях: профессия такая. Но жизнерадостный Сашка Сарычев трепался весь вечер. Потом Анохин обратил внимание, что Сашка ни слова не сказал о своей работе, ни разу не упомянул ни одного сослуживца, и если бы Анохин не знал, что он начальник ОБХСС, то принял бы его скорее всего за школьного учителя, гуманистара. Чувствовалось, что читал Сарычев много и не без разбору.

— Как это? — не понял Анохин слова Сарычева о том, что в Уваровской милиции он теперь самый большой начальник, но почему-то сразу в душе вспыхнула тревога.

— Вчера ночью пьяный Ачкасов на мотоцикле вмазался в самосвал. Мотоцикл вдребезги, сам в лепёшку!..

— Вчера?! Пьяный?! — воскликнул Анохин, побледнев. — Не может быть!

— Ага, не может. Он здорово поддавал... Да чего ты расстраиваешься?

— А ты, вижу, рад. Местечко освободилось, — мрачно перебил Анохин. Он почувствовал, как слабеют ноги. Дышать становится трудно. Он стиснул зубы и полез в карман за платком.

— Брось, рад! Жалко... Человек всё-таки. Безвредный был... Его бы всё равно не ныне-завтра списали бы. Он уж совсем мух не ловил... Чего ты расстроился? Ты хоть знаком-то с ним был?.. Да, кстати, он, говорят, вечером в том общежитии был, где ты живёшь. Ты не видел его?

— Нет, — тихо качнул головой Анохин.

— У него, говорят, там любовница. Он вроде бы часто у неё поддавал.

— Не видел, — буркнул Анохин, вытираясь платком, и спросил: — А какой же самосвал... ночью? Угнали?

— Нет, колхозный. Сын председателя приезжал за запчастями и задержался...

— Сын председателя?! Со Жданова? — вырвалось у Анохина.

В этом колхозе Ачкасов обнаружил неучтённое стадо овец.

— Да... А откуда ты знаешь? — удивился Сарычев. Лицо у него сразу сузилось, стало каким-то острым, колючим.

— Догадался... Я не раз был у ждановцев. Видел этого сынка. Пьян страшная... Он-то в тот момент трезвый был?

— Не знаю пока... Но будто бы перед столкновением тормознул, остановился, когда увидел, что мотоцикл прёт на него. Тормозной путь чёткий. Пытался в кювет съехать, не успел. — Лицо Сарычева расслаблялось, расплывалось, хотя глаза по-прежнему глядели остро, недоверчиво, будто подметить хотели что-то важное в поведении Анохина.

Неожиданное известие о смерти Ачкасова ошеломило, раздавило Анохина. Надо было уйти от мучительного разговора, и Николай попытался поддеть Сарычева:

— Ну что, теперь ты станешь начальником милиции?

— Я? — не смутился, засмеялся Сарычев, подхватил: — А чо, предложат — не откажусь. Я смогу... Только вряд ли сразу начальником, скорее замом. Начальника пришлют, у нас некого...

Анохин почти не слышал, что говорит Сарычев. Из головы не выходила мысль о смерти Ачкасова, ответ его: “Меня потом!” — когда Анохин спросил, почему не отравили его вместе с начальником. Знал Ачкасов, уверен был, что попытаются убить его, и не уберётся. А если узнают, что он был вечером у меня, догадуются, что он всё рассказал и тоже... того... При этой мысли Анохину стало холодно.

Он оглянулся: не видно ли нужного троллейбуса. На противоположной стороне стоял один, высаживал пассажиров. Скорее бы он подходил, скорее бы уехать от Сарычева, поразмышлять наедине.

Троллейбус тронулся, стал медленно разворачиваться. Люди на остановке зашевелились, готовясь к штурму. Анохин не слушал, что говорит ему Сарычев, глядел, как синий троллейбус объезжает клумбу, расположившуюся посреди площади, покачивается на неровностях много раз ремонтировавшегося асфальта, ждал, когда он повернётся передом, чтобы увидеть цифру, узнать маршрут, и с разочарованием увидел, что это “шестёрка”. Этот маршрут шёл к телецентру мимо рынка, сворачивал, не доходя до облісполкома. “Двойка” нужна была Анохину. Но и Сарычеву тоже. Не хотелось ехать с ним Николаю, и он буркнул отрывисто, прервал Сарычева:

— Я еду!

— А ты куда?

— Туда, — махнул рукой Анохин в сторону рынка и смешался с толпой, ринувшейся к подъехавшему троллейбусу.

Напором людей его поволокло к открывшейся задней двери, закрутило, развернуло боком. Кричали озорно парни, напирая, взвизгивали девочки, ругались бабы. “Ширнут в этой давке ножом в бок, и никто не заметит”, — мелькнуло в голове.

Вспомнились слухи, доходившие из Тамбова в Уварово, будто однажды на остановке набитый донельзя троллейбус распахнул двери, и из него вывалился мёртвый парень с торчащим ножом в боку. Зарезали в давке, отомстили за что-то. Много таких случаев рассказывали о тамбовской шпане. Хулиганё шутило, что для них Одесса — мама, Ростов — папа, а Тамбов — браток.

Николая придавили к боковому стеклу на задней площадке. Троллейбус мотало по ухабистой, разбитой зимой Интернациональной улице. Он то притормаживал резко, то дёргался. Привычные к такой болтанке пассажиры молча терпели. Анохин смотрел в окно на высокий забор, тянувшийся вдоль всей улицы, решал, где ему выйти, чтоб пересесть на нужный троллейбус. На Интернациональной не стал выходить, побоялся, что снова встретиться с Сарычевым. Когда “шестёрка” свернула к рынку, выскочил на тротуар, увидел телефонную будку и обрадовался, решил прежде позвонить Климанову, а потом уж ехать к нему.

Секретарша, выяснив, кто он и зачем звонит, соединила с Сергеем Никифоровичем. Голос у Климанова был весёлый, доброжелательный. Назвал он Анохина по имени.

— А, Коля? Здравствуй, здравствуй! Прибыл, говоришь?.. Приезжай часикам к двенадцати. Занят я сейчас... Жду!

И не дожидаясь ответа Анохина, положил трубку.

Николай вышел из будки, остановился, обдумывая слова, интонацию голоса Климанова. Если бы он вызвал, чтоб погонять за статью, тон его должен быть суровый, начальственный, может быть, раздражённый, по крайней мере, более официальный. Назвал бы непременно Николаем Игнатьевичем, а не Колей, не тыкал бы так по-отечески покровительственно. И зачем-то дважды сказал “здравствуй”, словно рад был услышать его. И слова “занят



я сейчас” произнёс как бы оправдываясь, как равному. Эти размышления успокоили немного, но и по-новому озадачили. Что нужно Климанову?..

Николай взглянул на часы. Половина десятого. Ещё больше двух часов до встречи... У Зины сейчас лекция. Через пятнадцать минут перерыв. Анохин знал, что занятия в пединституте начинаются в девять. Не один раз уж поджидал он Зину в коридоре института. От рынка идти минут пять. Успеет.

### 3. Зина

Он двинулся по Коммунальной улице мимо двухэтажных магазинчиков, построенных ещё дореволюционными купцами, вышел на Советскую улицу и увидел за железными решётками забора и ветвями отцветшей недавно сирени бело-жёлтое здание педагогического института, бывшего Тамбовского института благородных девиц, с четырьмя колоннами у входа. По карнизу крыши — большие зелёные буквы: “Вперёд, к победе коммунизма”.

В коридоре первого этажа института тихо, гулко. Старые дубовые клёпки паркета поскрипывают под ногами. Из-за высоких дверей доносятся голоса преподавателей. Анохин нашёл в расписании на доске объявлений группу, в которой была Зина, узнал, в какой аудитории она сейчас, и побежал по чугунным решётчатым ступеням, мимо белого бюста Ленина на площадке, на второй этаж. Здесь тоже было тихо, и так же поскрипывал паркет. На стенах висели стенды с фотографиями ветеранов войны — работников института, студентов-отличников, спортсменов. Карта области с памятными местами, связанными с жизнью замечательных людей. Анохин остановился возле карты и стал ждать звонка. Сердце его гулко колотилось от быстрого бега по ступеням, от жажды встречи с Зиной. В голове всё перепуталось: Ачкасов, Сарычев, Климанов, Зина. А если её нет на лекции? Мало ли что? Не пошла на нудную лекцию, заболела, проспала... Звонки неожиданно обрушились на него сверху. Анохин вздрогнул, оглянулся на дверь аудитории. И почти тотчас же она распахнулась и выскочила Зина, выскочила с таким видом, будто бы они растаяли перед лекцией, и теперь она торопилась к нему. Выскочила, взглянула, воскликнула: “Ты!” — и бросилась навстречу. Обняла, клюнула в щёку, отстранилась, счастливая, сияющая. Глядела на него блестящими глазами. Коридор заполнялся студентами, шумел. Кто-то здоровался с Анохиным, но он не видел никого.

— Я знала, знала, что ты сегодня приедешь! — быстро восклицала Зина, держа его обеими руками за локти.

— Откуда же ты знала? Я сам ещё вчера утром не знал, — смеялся Николай. Ачкасов, Сарычев, Климанов и все дела отлетели, сразу выветрились, как только он увидел Зину.

— Я знала, что ты не выдержишь, прилетишь раньше... Я тебя ещё вчера ждала! Я сон видела и поняла, что ты приедешь... Почему ты вчера не приехал, вредный?

— Меня в облисполком вызвали...

— Ты не ко мне приехал? — Зина немного кокетничала. Бывало с ней такое изредка. А вообще-то она была простой девчонкой, не стремилась выделиться, обратить на себя внимание. — У-у, вредный! — стукнула она его кулаком в плечо с притворной обидой.

— Но с вокзала-то я к тебе прилетел, — смеялся Николай, сжимая тонкую тёплую ладонь Зины в своей руке.

— А если бы не вызвали, не прилетел бы?

— Зиночка, мы же договорились в пятницу в загс идти. Три дня потом вместе...

— А мы сегодня пойдём?

— Конечно! Паспорт со мной, — хлопнул себя по груди Анохин, где у него в боковом кармане пиджака лежал паспорт.

— Я сейчас сумку возьму и удеру. Жди!

Но Николай удержал её за руку.

— погоди! Я в двенадцать должен быть в облисполкоме. Не успею. Давай после обеда...

— Ну, ты и вредный, — с сожалением остановилась Зина. — Там обед до четырёх. Ждать столько, — огорчённо вздохнула она.

Раздался звонок. На этот раз спокойнее, глуше из-за шума в коридоре, но и тревожнее. Студенты потянулись в аудитории. Коридор стал пустеть.

— Когда ты освободишься?

— Думаю, долго не задержит.

— Тогда давай встретимся на берегу реки, у нашей ивушки. Как освободишься, сразу приходи. Если меня не будет, жди. Ладно?

Проговорила быстро и убежала в аудиторию, возле двери оглянулась, подняла руку, помахала пальчиками. Он с томительной нежностью следил за ней, сдерживаясь, чтобы не броситься следом, поймать, прижать к губам её милые маленькие пальцы... Анохин подождал, когда преподаватели разойдутся по аудиториям, прошёлся по паркету, вслушиваясь в грустный скрип. Он решил подождать, когда кончится лекция, чтобы снова, на этот раз десять минут, побыть с Зиной. Два часа ещё до встречи с Климановым. Но вспомнилось, что редакция “Комсомольского знамени” неподалёку от института, на этой же Советской улице, он успеет повидаться с Алёшей Перельгиным, своим приятелем, однокурсником по МГУ, ответственным секретарём областной комсомольской газеты. Паркет бодро заскрипел у него под ногами.

#### 4. Перельгин

Редакция газеты была в здании, стоявшем на другой стороне улицы напротив городского сада. Двери её выходили прямо на тротуар Советской улицы, которая в этом месте была многолюдна. Неподалёку — городской универмаг.

Перельгин в своём кабинете подписывал какие-то письма.

— Кого я вижу! — заорал он, вскакивая со стула, который под ним казался каким-то игрушечным, детским.

Крупный, плотный, большеголовый, с длинными чуть волнистыми волосами, он удивительно был похож на Бальзака, о чём ему не раз говорили, и Перельгин гордился этим. Отрастил такие же усы. Когда сидел, он производил впечатление человека медлительного, флегматичного, но в действительности, несмотря на своё большое тело, был подвижен, быстр, даже резок в движениях. Любил поговорить, поесть и, конечно, выпить.

— Стол перевернёшь, — засмеялся Анохин, когда Перельгин вскочил.

Ему была приятна радость друга. Конечно, рисуется немного, но и доля искренности есть: рад встрече. За что Перельгина в университете считали себялюбом?.. Рядом с другом Анохин показался себе маленьким, щуплым. Не раз такое чувствовал, хотя был среднего роста, крепок, плечист. Две двухпудовые гири спокойно выжимал.

Перельгин сграбастал Анохина в объятья, словно год не виделись, похлопал ладонями по спине:

— Мужаешь, отец, мужаешь! Как бычок становишься. Жениться пора...

Он знал, что Николай собирается идти в загс с Зиной, потому и говорил так.

— Что я и делаю, — в тон ему подхватил Анохин.

Они уселись на стулья напротив друг друга, через стол. Алексей, поскрипывая стулом, угнездился на своём месте и спросил:

— К Зинке приехал? В загс?

— И за этим тоже... Ещё не передумал быть у нас свидетелем?

— Ну, ты, отец, скажешь! Когда я выпить отказывался?.. Может, подарим по пивцу, а? — глянул он на часы.

— А дела? Начальство?

— Да, отец, у нас новость. Редактор наш в обком партии ушёл. На повышение. Жалко, мужик неплохой, смелый... Сейчас дрожим, сядет жлоб, будет начальству в рот смотреть, пропадём... Кстати, материал твой запустили, в следующем номере читай.

Анохин часто печатался у них в газете, привык, принимал как должное, потому и не всколыхнулась душа, как бывало раньше при известиях о принятых к публикации статьях.

— А кого прочат в редакторы? Зама? — спросил он.

— Нет, староват. Молодого хотят, комсомольского возраста. А заму под сорок. Тоже пора уходить.

— Ну, старик, действуй! — воскликнул шутливо Анохин. — Все козыри в твоих руках... А меня сюда посадишь, — кивнул он на стул, на котором сидел Перельгин. — А то я как увижу тебя на нём, так сразу мысль — как он только тебя выдерживает, не рассыпается? У редактора-то кресло, да, наверно, на колёсиках.

— Точно! — захохотал Перельгин. — Это идея! Тогда мы с тобой из пивбара вылезать не будем...

Анохин угадал то, чем жил последние дни Алексей Перельгин. С бывшим редактором у него были хорошие отношения, и они договорились, что тот, уходя, посоветует посадить на своё место Перельгина. И редактор сдержал слово, назвал его кандидатуру. Говорил потом Алексею, что будто бы к его имени отнеслись благосклонно. Перельгин утром сегодня выяснил осторожненько в отделе кадров, что дело его затребовали наверх. От того-то и был он так возбуждён, от того-то и встретил так радостно Анохина, но после слов Николая пытался свести разговор к шутке. Не хотелось, чтобы Николай знал. Вдруг сорвётся... Неудобно, подумает, что его не ценят. А получится, узнает — придёт время. А может, действительно, предложить на своё место Анохина? Вообще-то народная мудрость не рекомендует друзей подчинёнными делать.

Они посмеялись, пошутили, представляя, где и как они будут делать газету, потом Алексей всё так же шутливо спросил:

— А чего ты, отец, смеёшься, а глаза грустные? Жалко с холостяцкой жизнью расставаться?

И сразу Анохин вспомнил Ачкасова. Да и забывал ли он его?

Шутил, смеялся, а в глубине души тяжко было, давило. Николай хотел подхватить шутку о своей холостяцкой жизни, но не смог, махнул рукой, поскучнел.

Перельгин тоже посерьёзней, спросил с участием:

— Случилось что? Помощь нужна? Я помогу...

“Отшутиться? Рассказать? — думал Анохин. — Поделиться тяжестью? А нужно ли?... Может, он подскажет, что делать? Поможет? Одному тяжко. Зине нельзя об этом... А больше никому!”

Вошёл бы сейчас кто в комнату, или телефон зазвонил, отвлёк бы Перельгина, и Анохин тогда не решился бы рассказать об Ачкасове, о документах, сам бы распорядился ими, и судьба его неизвестно, как сложилась бы. Но никто не вошёл, не позвонил, сидел Перельгин, смотрел на Николая доброжелательно, с готовностью помочь, поддержать друга, и Анохин стал рассказывать. Рассказывал о своей статье, казавшейся теперь ему наивной, словно он пытался свалить медведя иголкой, о неожиданной смерти начальника милиции Саяшина, о приезде к нему Ачкасова, о документах, о плёнке, об утренней встрече с Сарычевым. Перельгин слушал, морщился, хмурился.

— Дело серьёзное... Обозговать надо. Да-а... Плёнка у тебя с собой?

— Нет... Я думаю, может, рассказать Климанову?

— Не, не надо. Ачкасов правильно думал, в Москву надо... И не ждать, пока тебя ухлопают!

— Меня?! — воскликнул Анохин.

— Не меня же?... А может, и меня... — побледнев, пробормотал Перельгин. Лицо его стало растерянным. — Ты не тяни, поскорей в Москву... И не трепись, что говорил мне... Зачем... А если помочь чем могу, я всегда рад, — добавил он быстро.

Если бы Анохин был более собран сейчас, он бы увидел, что Перельгин помощник плохой, и пожалел бы, что рассказал. Но Николай только теперь понял, в какой он опасности. Раньше он был потрясён услышанным от Ачкасова, потом его смертью, догадкой, что это не несчастный случай, а убийство, не думал о себе.

— Думаешь... они узнают, что он у меня был? — спросил Анохин совершенно спокойно.

— Теперь копают... Папку-то с документами при нём, должно быть, нашли. Значит, поймут, что он документы кому-то показывал. А кому он ещё мог в общежитии показывать? Кто там живёт?

— Рабочие сахаровода.

— Ну вот, кому же, как не тебе... Смотри, нужно опередить.

— Сарычев говорил, что у Ачкасова любовница там... Могут подумать, что он у неё папку хранил, взял и...

— Наивный же ты. У девки уже сорок раз выяснили теперь, был или не был у неё Ачкасов. С папкой или без...

Странно, чем яснее становилось Анохину, что за ним могут начать охотиться, тем спокойнее, собраннее, увереннее становился он. Надо действовать, и он будет действовать.

— Они, конечно, не узнают, — продолжал рассуждать взволнованно Перельгин, — о чём вы говорили, а о плёнке тем более... А если никто не видел, как он в твою комнату входил, то и не узнают, что он у тебя был, пока ты сам не признаешься... А тебе признаваться резону нет. Я бы не признался, даже если кто видел... Или сказал бы, что заглядывал, спрашивал, не видел ли я коменданта общежития... Или ещё что-нибудь. Спросил и ушёл. Тут нужно готовым быть к любым вопросам. Обдумать всё...

Анохин смотрел на растерянное бледное лицо всегда уверенного в себе друга, хотел поймать его взгляд, чтоб пошутить, улыбнуться, но никак не мог это сделать. Взгляд Перельгина ни на секунду не останавливался ни на каком предмете, скользил по столу — с газеты на рукопись, с рукописи на письмо, с письма на ручку, которую он ломал своими толстыми пальцами, она гнулась, готова была вот-вот треснуть, с ручки на грудь Анохина.

Таким Николай никогда его не видел. Обычно Перельгин говорил со всеми добродушным покровительственным тоном, часто называл собеседника "отцом", а если разговаривал с несколькими приятелями, говорил им "отцы". Слова его от этого становились ироничней. А сейчас он ни разу не произнёс слова "отец", выглядел каким-то сморщенным и жалким, словно огромный шар, из которого немного выпустили воздух. И чем больше говорил, бормотал Перельгин, тем ироничней, увереннее становился Анохин. Наконец, не выдержав бормотанья друга, перебил покровительственным тоном:

— Ничего, сын, не бойся! Вдвоём мы их быстро возьмём за жабры...

Перельгин загнулся на полуслове, поднял глаза на Анохина. Во взгляде его читалась надежда, что Николай разыграл его. Он готов был улыбнуться, хохотнуть. Анохин понял это и добавил:

— Пусть они нас боятся, у нас руки чистые... Ты меня убедил, нужно действовать! Завтра же я беру за свой счёт до конца недели, и в Москву. Жаль, что плёнку не взял, а то бы прямо отсюда махнул. Прохлаждаться нечего... О том, что ты в курсе, я молчу. Ты как бы в засаде будешь...

— А что я... — снова потускнел взгляд у Перельгина. — Я даже документы не видел.

— Я тебе покажу, заеду...

— Зачем?!

— Верно, зачем время терять. Ты мне и так веришь. — Анохин глянул на часы, поднялся, протянул руку Перельгину. — Спасибо тебе, сын, за поддержку... Меня в двенадцать Климанов ждёт. Бегу... Я позволю. Мы с Зиной заявление подаём сегодня. Отметим... Зови Любу...

Последние слова Анохин говорил от двери. Молчаливый, растерянный Перельгин провожал его глазами, сидя на своём стуле.

## 5. Климанов

Когда высокая тяжёлая дверь с тугой пружиной вытолкнула Николая на тротуар Советской улицы, он не ощущал в душе прежней тяжести, тревоги. Было немного грустно, но вместе с тем хотелось действовать.

День уж раскалился вовсю. Палил, жарил. Асфальт на тротуаре мягким стал, истыкан был острыми женскими каблуками, чувствовалось, что часам к двум в городе будет одуряющая духота.

Троллейбусная остановка была рядом, возле угла. Приехал в облисполком Анохин чуть раньше двенадцати, поднялся на второй этаж. Секретарша, высокая женщина с маленьким загорелым лицом, но с таким большим каштановым шиньоном на затылке, что казалось, что у неё две головы, нагромождённых одна на другую, сказала, что Климанов один, потом поднялась, приоткрыла дверь и сунула в щель обе свои головы:

— Сергей Никифорович, Анохин...

— Пусть входит, — услышал Николай тотчас энергичный упругий голос председателя.

Секретарша шире распахнула дверь перед Анохиным и тихонько бесшумно прикрыла, когда он вошёл в кабинет.

Сергей Никифорович быстро поднялся из зелёного кресла с высокой спинкой, похожего на сиденье автобусов дальнего следования, энергичным шагом обошёл стол и с радушной улыбкой пожал руку Анохину. От первой, трёхгодичной давности встречи у Николая осталось впечатление, что Климанов довольно высокого роста, сдержан, нетороплив, но сейчас перед ним был иной человек. Роста не такого уж высокого, кругленький, видно, раздался за эти три года, улыбчивый, бодрый, приветливый, довольный жизнью, своим местом в ней.

— Давненько я хотел с вами покалякать, поближе познакомиться, — говорил Сергей Никифорович.

Он откатил невысокое кресло от маленького полированного столика, приткнувшегося боком к массивному широкому столу председателя, пригласил рукой садиться и вернулся на своё место.

— Давненько, да недосуг... Материалы ваши в тамбовских газетах читаю. Верный читатель ваш, так сказать. За уваровской газетой не всегда следить успеваю, а здесь читаю, читаю... Как работаете-то? Как живётся?

— Хорошо. Жаловаться стыдно... Забот много, да у кого их нет. Это жизнь, нормальная жизнь...

— Верно, верно. И забот, и недостатков ещё полно. Вы молодцом: вижу, читаю, слышу, как воюете с местными бюрократами, — улыбался Сергей Никифорович.

— Недостатков хватает, — поддакнул Анохин. — Перо сушить рано.

Он чувствовал себя скованно, напряжённо, ждал, к чему приведёт этот разговор. Не затем же его вызвал Климанов, чтоб узнать, как ему работается.

— Ну да, все мы люди, а не боги, ошибаемся, на рожон ослеплённые лезем. Все не без тёмных сторон... А со своими недостатками борьба самая трудная. Главное, не видна она постороннему глазу. А с чужими недостатками — борьба на виду. И часто у нас в героях ходят те, кто с чужими недостатками воюют, а себе то же самое прощают...

Анохин молчал, внимательно и насторожённо слушал. Его не покидало желание выбраться из мягкого кресла, в котором он утонул, только колени торчали вверх, но он не шевелился, пытался понять, к чему ведёт председатель облисполкома.

— Я не о тебе говорю, — улыбался Климанов, неожиданно переходя на ты, — хотя и тебя упрекнуть можно: слишком уж тёмные стороны в твоих статьях выпирают. Неужели ты ничего светлого в своём районе не видишь?

Анохин решил, что на этот вопрос отвечать надо, и заговорил:

— Ну почему же...

Но Климанов перебил его, остановил каким-то мягким движением своей белой руки, поднятой над столом.

— Я понимаю, понимаю: тебе хочется поскорее избавиться быт наш от всего наносного, мешающего идти к коммунизму. Это я понимаю... Потому ты и выпячиваешь, как говорится, вытаскиваешь за ушко на солнышко весь этот негатив... Но ведь нужно всё соизмерять, показывать, как не нужно жить и как нужно: где тупик, а где большая дорога. Без этого нельзя... Представить, что будет, если все мы начнём говорить, писать только о том, что у нас плохо. Что же получится? У читателя вместо борьбы с недостатками руки опустятся. Начитается он наших речей и статей, плюнет, скажет: “Вовек не разгрести эту грязь...” — и, как свинья, в ней утонет. Нет, нет, ты мне не

говори... Нужно, я не возражаю, нужно и под ноги смотреть, грязь показывать. Если она есть, от неё никуда не денешься. Но и на небо надо поглядывать, вдаль, на горизонт смотреть, иначе влезем в дужку, будем кружиться в ней, горбатиться и кричать: "Грязь, грязь кругом!" — а лужайка-то зелёная рядышком, подними голову и шагни...

Анохин понимал, что это всего лишь предисловие. Но к чему?

— А какие у тебя отношения с коллективом, с редактором? — спросил уже другим, мягким голосом Климанов, и Николай понял, что разговор переходит к главной теме.

Он шевельнулся в мягком кресле, сел удобнее. Кресло было низкое, и получилось так, что председатель облисполкома возвышался над ним, смотрел свысока своим радушным взглядом. Добрый бог, готовый миловать, поддерживать, если будешь чувствовать себя маленьким, не будешь стараться выбраться из кресла, из своего придавленного к полу положения.

— С коллективом? — переспросил Анохин. — Нормально. Я как-то не задумывался... Работаем. Ни склок, ни скандалов нет. А с редактором? Вы же его знаете... Он уже десять лет...

— Ну, как же, знаю, знаю. Но хотелось твоё мнение услышать. Я-то его знаю как начальник, а ты — как подчинённый. А это, — засмеялся Климанов, — как говорят, две большие разницы. Слышал поговорку: ты начальник, я дурак; я начальник, ты дурак.

— Ефим Иванович редактор толковый... В расцвете сил. Деловой, опытный. Приятно работать с ним. Кроме хорошего, никто о нём ничего не говорит... Он не грубит, не лезет в личные дела...

— Значит, работой своей ты доволен?

— Жаловаться стыдно, — повторил Анохин.

— А мы хотели предложить тебе другую, самостоятельную. Как ты на это смотришь?

— Смотря какую...

— Ты слышал, должно быть, в комсомольской газете, где ты часто печатаешься, вакансия редактора. Я хотел тебя рекомендовать... Первый ко мне прислушивается, возражать, думаю, не станет. Комсомольцы, как всегда, скажут: "Есть!" Ты молодой, хорошее образование, опыт журналистской работы — всё на месте! Ну?

— А почему я? — нерешительно спросил Анохин, поражённый таким поворотом.

— А почему не ты? — улыбался Климанов.

— В газете ответсеком Алексей Перельгин... тоже молодой, член партии, и коллектив его знает...

— Рассматривали его кандидатуру, это я по секрету тебе говорю, бывший редактор его предлагал, но, — взглянул вверх Климанов, — отклонил первый. Кто-то намекнул ему, мол, Перельгин болтун и не стоек, — указал пальцем себе на шею Сергей Никифорович. — Предлагают пригласить со стороны. Я хочу, чтоб ты был. Ну как?

Анохин задумался, молча смотрел перед собой на маленький полированный стол, на поверхности которого отражались корешки книг с полок, окно, ползали тени от тихонько покачивающихся деревьев за окном.

— Да, неожиданно, — пробормотал он.

— В нашей жизни редко что бывает ожидаемо, живём от неожиданно-сти к неожиданности. Привыкай! Сколько тебе времени нужно на размышление? Часу хватит?

— Да я уж поразмышлял... Только одно меня смущает: Алёша Перельгин! Мы с ним приятели, не хотелось дорогу ему переходить...

— У него шансов нет, — твёрдо сказал Климанов.

— В таком случае... Я согласен...

— Ну, вот и ладненько, — поднялся Климанов, и Анохин тоже стал выбираться из своего кресла. — Я думаю, препятствий не будет. Сейчас же переговорю с первым. Позвони мне часиков в пять, может, кто из твоего будущего начальства пожелает встретиться с тобой уже сегодня. Для предварительного разговора.

## 6. На берегу реки

Анохин ждал Зину под ивой, толстый кривой ствол которой в сети глубоких трещин метрах в двух от земли делился на пять крепких отростков, тянувшихся в разные стороны, отчего крона ивы была широкой, густой, гибкие длинные ветви опускались почти до самой травы, где лежал на спине Николай. Он устал глядеть на тропинку, круто сбегавшую меж лопухов и бурьяна с высокого берега, на котором чуть поодаль виднелась крыша здания педагогического института, куполообразное возвышение с левой стороны крыши с острым шпилем, где раньше был крест: там была внутренняя церковь института благородных девиц. Анохин лежал, закрыв глаза рукой от жаркого слепящего солнца. От реки доносился шум, визг, плеск. Вокруг слышались разговоры, а от компании подростков, расположившихся неподалёку, шлепки карт, споры, смех, подколки.

Анохин выкупался, поплавал, когда пришёл из облизполкома, и сейчас его снова тянуло в воду, но он опасался, что плавки не высохнут до прихода Зины, на брюках будут мокрые следы. Ведь нужно будет идти в загс. Анохин снова перевернулся на живот, упёрся локтями в траву, глянул вверх и сразу увидел на пыльной тропинке Зину. Её бледно-розовое платье мелькало среди бурьяна, как цветок. Следом за Зиной сбегал вниз, поднимал пыль ботинками милиционер в зелёной сорочке с галстуком. Фуражку и китель он держал в руках.

“Неужели Сарычев?” — удивился Николай. Он поднялся, стяхнул прилипшие травинки с ног и нетерпеливо направился навстречу Зине. Сарычев догнал девушку и шёл рядом. Он что-то говорил ей и улыбался как-то грустно и заискивающе. Она издали увидела Николая под ивой, которую они называли “нашим деревом” потому, что два года назад познакомились здесь, познакомились благодаря Перельгину. Он тогда привёл Анохина на пляж, где они встретили группу студентов пединститута. С некоторыми из них Алексей был знаком, познакомил и Николая. Может быть, Анохин не обратил бы внимания на Зину, если бы не узнал, что она из Уварово. Нашлись общие знакомые, а значит, и общие темы для разговора. Постепенно они сблизились, сдружились, стали встречаться в Тамбове, когда он туда приезжал, и в Уварово, когда она бывала у родителей. Переписывались.

Сарычев увидел Николая и сразу изменился, лицо его мгновенно стало насмешливым. Он воскликнул, подходя:

— Во, куда ни пойду, везде Анохин. Не Тамбов, а деревня... Я уж начинаю думать, не следишь ли ты за мной?

— Я не милиционер, — пошутил в ответ Николай.

Неприятно было почему-то видеть Зину с Сарычевым. Почему они вместе? Зачем она притащила его с собой? Или он сам увязался? Если удивился, увидев меня, значит, не знал, что она идёт ко мне.

— А-а, не говори, газетчики похлеще нас. А ты вообще провидец! Ты ведь верно угадал сегодня...

Сарычев нарочно замолчал на мгновенье, сдержался, чтоб не выложить сразу свою радость, хотелось больший эффект произвести на Анохина, и кинул взгляд на Зину. Она, казалось, не слушала их, с непонятной улыбкой смотрела на купающихся, барахтающихся с визгом в воде парней и девчат.

— Что я угадал? — Николай думал об Ачкасове, о сыне председателя Ждановского колхоза.

Встреча с Сарычевым снова заставила его вспомнить вчерашний вечер.

— Мне предложили должность начальника Уваровского райотдела милиции, — быстро выпалил Сарычев.

— Тебе?!

— Мне, мне, — не скрывал своей радости Сарычев.

— И ты, конечно, отказался?

Сарычев захохотал так, словно слова Николая его забавно поразили. Отхохотавшись, спросил:

— Удивлён?

— Чему? Мне ведь тоже предложили должность главного редактора “Комсомольского знамени”, — сдержанно ответил Анохин.

— Редактора? Здесь? — воскликнула с радостным удивлением Зина.

— Ты его знаешь? — глянул на неё Сарычев.

— Это он и есть... С ним мы идём в загс!

— С ним?

Сарычев сразу сник, увял, хотя улыбался по-прежнему, но улыбка была растерянной, вопрошающей: не разыгрывают ли его?

— Ты хотел взглянуть на счастливого: смотри, — улыбалась своей непонятной улыбкой Зина. — Николаша, ты знаешь, — взглянула она на Анохина, — Саша сейчас мне предложение сделал.

— Ну уж, предложение, — смахнул пот с висков пальцами Сарычев. — Жарит как. Искупиемся?.. Вот бабы пошли, — засмеялся он жалко, — сделаешь комплимент, а им кажется — замуж зовут!

— Ах, это комплимент такой? А я, дура, мучаюсь, с кем мне в загс идти? С начальником милиции или редактором газеты, — подмигнула Зина Николаю. — Собирайся скорей, пока не передумала. Некогда купаться.

— Бегу, бегу, — подхватил её шутку Анохин и помчался назад, к иве, где лежала его одежда.

Хоть и шутил, но неприятный осадок остался. Сарычев словно нанялся испортить ему день.

Если бы Анохин знал, что сейчас творится в душе Сарычева, как оглушён, потрясён он тем, что Зина выходит замуж, он бы посочувствовал ему. Сарычев в последнее время думал о Зине всё чаще и чаще. По вечерам она не выходила у него из головы. Жили они на одной улице, через два двора. Учились в одной школе. Зина была моложе него на пять лет, и, может, потому не обращал он на неё внимания, что в сознании Сарычева она была худой незаметной девчонкой. После школы Зина поступила в институт, уехала в Тамбов, и он её три года не видел. Не попадалась на глаза, пока прошлой весной не столкнулся с ней возле своего дома. Заехал пообедать, выскочил из машины, а она идёт мимо в лёгком голубеньком платье, помахивает веткой сирени, смотрит на него, улыбается:

— Здравствуй!

— Зиночка! — ахнул он, ошарашенный её весенней свежестью, красотой. — Ты ли это?

— Я, — засмеялась, засветилась девушка. — Не узнал, зазнался?

— Как хороша! Встретил бы в Тамбове, сроду бы не узнал. Как располнела!

— Ну уж, располнела. Скажете...

— Не располнела, это я неточно, извини... Налилась, как вишня, схватить хочется! Скоро заканчиваешь учёбу?

— Год ещё.

— А потом куда? Назад?

— Обещают в нашу школу взять.

— Ну, и работу ты себе придумала! Всю жизнь в школе.

— А у вас лучше?

— Чего ты меня на “вы”, прямо неудобно. Разве я дед?

— Ага, — глянула на его погоны девушка. — Капитан.

— “Капитан, капитан, улыбнитесь...” — пропел слушающий их разговор шофёр, поглядывая на них из милицейского “москвича”.

Зина поразила Сарычева тогда, да и шофёр подлил масла. Когда возвращались, он сказал: “Хороша соседка у тебя!.. А какими восхищёнными глазами она на тебя смотрела!” — “Брось! — засмеялся Сарычев, а самому радостно стало. — Вернётся в Уварово, надо заняться!” — решил он и с тех пор стал представлять Зину рядом с собой, представит — и теплее становится на душе, нежность затопляет. “Неужели влюбился? — усмеялся он над собой. — Надо жениться тогда!”

Ему почему-то и в голову не приходило, что она может с кем-то встречаться, любить кого-то. Сам он ни в ранней юности, ни сейчас не увлекался девочками, не занимали они его воображения. Жажда приключений,



преодоление опасности — этим он болел с детства. В милиции жажду эту он смог утолить. Полюбилась ему особенно власть над людьми, нравилось видеть, чувствовать, что как только он появляется в многолюдном месте, уверенный, подтянутый, строгий, но и ироничный, так многоголосый шум вокруг сразу затихает, почтительно замирает.

Но Сарычев вместе с тем больше всего боялся показаться унтерпришибевым, поэтому голоса на толпу никогда не повышал, а если надо было какую-нибудь подвыпившую орду разогнать, подходил к ней, как всегда, уверенно и обращался не ко всем, а к кому-нибудь одному из особенно активных, знал в городе почти всех, обращался спокойно, с улыбкой, с юмором, любил, когда ему отвечали, любил состязаться в подначках, понимал, что его милицейский мундир, его положение скрывают языки остряков, волей-неволей чувствуют они границы, а у него, естественно, выбор для острот неограниченный. Но если кто-нибудь по пьянке забывался, дерзил, укалывал его самолюбие, он тут же спрашивал тихо, но быстро:

— Отдохнуть от запоя захотелось, повкальвать?

Если с ним был кто-нибудь из рядовых милиционеров, оборачивался, звал негромко:

— Кирюшин! — или: — Оглобин! — смотря кто с ним был.

А когда Кирюшин или Оглобин подлетал к нему с таким видом, будто готов был крушить всё вокруг, бить морды, выламывать руки, — этот миг Сарычев тоже любил, — он говорил спокойно:

— Шустряев нарушает общественный порядок. Возьми!

Шустряев бросался удирать, а длинноногий молодой Оглобин с яростным видом дёргался за ним, уверенный, что нет в Уварово человека, способного убежать от него. Но Сарычев удерживал его, говоря:

— Спокойно, Оглобин, спокойно! Куда он денется, свидетелей-то сколько, — обводил он улыбчивым взглядом сразу становившуюся молчаливой орду и чуть громче спрашивал: — Ну, кто добровольно хочет быть свидетелем?

Желающих не находилось. Орда мгновенно рассасывалась, что и требовалось. Но Сарычев делал вид, что огорчён, взывал:

— Куда же вы? Куда? Что же вы такие неосознательные? На ваших глазах нарушают общественный порядок, а вы в кусты... Неудахин, Просандеев, где же ваша гражданская совесть?

Неудахин и Просандеев убыстряли шаги, опасаясь, что именно они станут свидетелями. Сколько случаев было, когда вызывают как свидетеля, а возвращаешься через пятнадцать суток... Убежавший Шустряев долго потом избегал встреч с Сарычевым, а если вновь попадался на глаза среди пьяной оравы, то уже не дерзил, не вступал в спор, когда к нему обращался Сарычев.

Отметили в городке быстро и то, что не всех трогает Сарычев. Как бы, например, ни озоровал, ни хорохорился, ни выделялся дерзостью среди пьяной орды Мишка Семенцов, сын директора трикотажной фабрики, молодой парень по прозвищу Сын Вселенной, — он уже побывал на нескольких ударных стройках, откуда возвращался быстро, месяца через три-четыре, работал и в Тольятти, где строился автомобильный завод, — так вот, как бы он ни озоровал, Сарычев никогда не обращался к нему, будто бы не был с ним знаком.

Справедливости ради стоит отметить, что Мишка со своей стороны, как бы ни был пьян, старался не дерзить Сарычеву. Между ними как бы был нейтралитет, негласное соглашение: я тебя не трону, и ты меня не трогай!

Любил власть, любил приключения Сашка Сарычев, но никогда не забывался, начальство уважал, был исполнительным, никогда не возражал, с готовностью выполнял всё, что прикажут, не обсуждая и не ропча. Это заметили и отметили.

К девушкам и к вину относился спокойно. Знали все в городке, что один раз в неделю, в среду, он бывает у Машки Вихляевой. Любому человеку в городке скажи, что, мол, такое-то случилось в тот вечер, когда Сашка Сарычев был у Машки Вихляевой, и тебе тут же ответят: в среду это случилось, в среду. Знали все и то, что Машка Вихляева, тридцатилетняя разведёнка,

длиннолицая, большеботая красавица с долгим узким телом, от которой муж ушёл потому, что она не могла детей иметь, ушёл после того, как узнал, что она в девичестве аборт делала, встречается не только с Сарычевым. Не один раз видели, как, не скрываясь, с весёлой ухмылкой открывал к ней в палисадник калитку озорник Мишка Семенцов, Сын Вселенной. Он был моложе Машки лет на восемь, да и Сарычев тоже не ровесник ей.

Сосед Машки Вихляевой, Юрка Кулешов, бывший одноклассник Семенцова, но, в отличие от Мишки, серьёзный парень, после службы в армии работавший шофёром у самого Долгова, первого секретаря райкома, смеялся, когда бывал в компании мужиков, что, впрочем, нечасто бывало, Юрка Кулешов парень себе на уме, это все знали, так вот он смеялся, говоря, что, мол, ждёт, когда пьяный Мишка в среду ввалится к Машке: вот концерт будет! Но ждал Юрка напрасно, ни разу такого не случилось. Тихо, мирно было в доме Вихляевой. Могла, значит, она ставить на место мужиков.

Районное начальство, особенно председатель райисполкома, намекало не раз Сарычеву, что жениться надо: семейный человек — солидный человек, доверяя ему больше. Сарычев понимал: дело говорят, надо — и ждал, когда Зина окончит институт и вернётся в Уварово, думал о ней так, словно она уже дала согласие стать его женой. Сегодня начальник областного управления внутренних дел прямо сказал ему, что жениться надо, негоже быть начальнику милиции холостым. За каждым шагом начальника народ следит. Простому человеку сойдут с рук романы и романчики, а начальнику — нет. Осудит народ, верить не будет, уважать не будет. Сарычев ответил, что понимает это и давно готов заполнить пробел в анкете.

— Есть кто на примете? — по-отечески спросил полковник.

— Есть.

— Действуй тогда, не медли.

И Сарычев прямо из Управления помчался в пединститут, разыскал Зину Сушкову. Встретила она его радостно, впрочем, иной встречи он и не ожидал. Всё шло, как задумывалось. Но когда он стал намекать ей на свои сердечные чувства, на то, что готов хоть завтра подарить ей свою фамилию, она, смеясь, ответила, что надоели ей фамилии на букву “с” — Сушкова, Сарычев, и она как раз сегодня решила идти в загс с заявлением, чтобы поменять фамилию. И парня уже нашла, готового дать ей свою. Он сейчас ждёт на пляже.

Сарычев не поверил, думал, что она шутит, сам шутил, что сгноит в тюрьме этого негодника, торгующего фамилией, увязался за Зиной на пляж. Теперь он смотрел, как Николай торопливо одевается под ивой, и всё надеялся, что шутят они, разыгрывают его. Молча стоял рядом с Зиной, онемел, ждал, что будет дальше.

Анохин подошёл, деловито спросил у Зины, не обращая внимания на Сарычева:

— Паспорт с собой?

— Дома. Я сразу к тебе. Да и рано ещё, в загсе перерыв. Успеем...

Даже не сами слова, а деловой тон, каким они были сказаны, убедил Сарычева, что Зина с Николаем действительно идут в загс. Обошёл его Анохин, обскакал!

— Ты остаёшься? — спросила Зина у Сарычева.

— Да, да, — очнулся тот. — Я искупнусь. Жарко, — вытер он мокрое лицо ладонью и двинулся к той самой иве с кривым стволом.

Каким униженным, оплётанным чувствовал он себя! Трава под ногами казалась чёрной. И как ненавидел, смертельно ненавидел он счастливчика Анохина!

## 7. Зависть

Зина с Николаем шли назад по горячей пыльной тропе, держались за руки, шли в гору.

— Ты какой-то озабоченный? Из-за Сашки?

— Да ну, глупости! А ты разве не озабочена?

— Я счастлива!

Анохин приостановился, повернулся к Зине, быстро поцеловал в щёку. Тропа сузилась, и Зина пошла чуть впереди.

— Как же не быть озабоченным, — говорил Николай. — Жизнь круто меняется: женюсь, в Тамбов переезжаю, работу меняю...

— Ты не шутил? — повернулась Зина.

— А ты не поверила?

— Ой, это правда!.. И тебе... и нам квартиру дадут в Тамбове? Мы здесь будем жить? Какой ты молодец! Ну, какой ты у меня молодец! — восклицала Зина. — Расскажи, ну расскажи, как тебе предложили? Что говорили?

Анохин, смеясь, прижал к себе возбуждённую Зину, потом отпустил, подал руку и стал помогать взбираться на кручу. По дороге к остановке он рассказал, как встретил его Климанов, о чём говорил.

— Мне неудобно перед Перельгиным... Выходит, я ему дорогу перешёл.

— Но ведь Климанов ясно сказал, что его отклонили до тебя. При чём здесь ты?

— Ну да, мне-то ясно, но поймёт ли Перельгин?

— Объясним.

— Надо позвонить ему. Я обещал, что мы отметим сегодняшний день. Где мы посидим?

— В “Центральном”, конечно. Помнишь, как зимой было здорово?

Перельгина на месте не было. Сотрудница газеты пошла его искать. Анохин ждал и вспоминал утренний разговор с Алёшей. Каким он тоном теперь отзовётся? Пожелает ли вообще пойти с ними?

— А-а, молодожён, привет, привет! — загудел в трубке голос Перельгина. — Подали?

“Успокойся! — решил с облегчением Анохин. — Или слушок дошёл, что меня прочтут в редакторы. Это быстро у них”.

— Алёша, подходи к шести в “Центральный” ресторан, мы тебя там ждём. С Любкой чтоб...

Потом они были в общежитии на Полевой, целовались в комнате, где было жарко, тихо. Большая муха громко жужжала, сердито билась в стекло за тонкими жёлтыми шторами, искала открытую форточку, но никак не могла найти. “Зараза какая!” — пробормотала Зина, отстраняясь, поднялась с кровати, на которой они сидели, и начала придавливать штору к стеклу, направляя муху к открытой форточке. Муха забилась ещё яростней, но быстро нашла выход и пулей вылетела на улицу. В комнате стало совсем тихо. Лишь изредка хлопали двери в коридоре, слышались шаги. Никому не хотелось сидеть в общежитии в такой жаркий день.

Во Дворец бракосочетания входили они, смягченные от жары, от волнения. Там было прохладно и пусто. Из комнаты, открытая дверь которой была слева, быстро вышла, мягко ступая по ковру, женщина с приветливым и в то же время каким-то официальным лицом. Она дала бланки, усадила за широкий стол. Говорила она чинно, торжественно, каким-то металлическим голосом, как диктор радио. От этого тона Николай с Зиной ещё сильнее заволновались. Когда женщина ушла в свою комнату, Зина шепнула, глядявая на дверь:

— Если бы я здесь работала, я бы так радостно всех встречала, что...

Николай коснулся ласково её руки, и она не договорила, замолчала, улыбнулась нежно, вздохнула и продолжила заполнять анкету.

Из прохладной комнаты Дворца вышли они в жару, присмирившие, шли по Интернациональной улице к площади Ленина молча, держась за руки. Не сказав друг другу ни слова, добрались до Советской улицы, перешли её и по переулку мимо музыкального училища и бывшего Казанского монастыря с его кирпичными стенами и соборами двинулись к реке.

Людей на берегу стало ещё больше: плеск, шум, смех усилились. Синие лодки на синей реке среди ослепительных искр от играющей воды скользили тихо и важно, как лебеди, туда, где берег порос высокими пенистыми вёслами, где было тихо, безлюдно. Они постояли на берегу, на круче, неподалёку

от гостиницы. Далеко было видно. Воздух струился: колебались, плавали дома вдаль, трубы завода и тёмная полоска ельника на горизонте. Они спустились и по берегу побрели к лодочной станции.

Вода чистая, лёгкая, мягко шлепала о борт тонкой лодки, взвизгивала, журчала под вёслами, упруго давила на свесившуюся с борта руку Зиной. Поскрипывали уключины. Анохин жмурился на солнце, работал вёслами, с удовольствием чувствуя, как вздуваются, шевелятся мышцы на груди и спине, любовался Зиной, её тонкими белыми руками.

— Ты ещё ни разу не загорала, не купалась?

— Нет.

— А я обгорел, ещё когда у матери картошку сажал...

— Ой, поворачивай! — вскрикнула Зина.

Он оглянулся, увидел мчавшуюся навстречу лодку, резко вогнал одно весло в воду, притормаживая, а другим продолжал грести. Лодка развернулась, чиркнула по борту встречной.

К ресторану они пришли за пять минут до открытия. Перельгин их уже ждал, выделялся среди небольшой очереди: здоровенный, головастый, внушительный. Увидел, расцвёл:

— Завидую я вам, отцы. Сияете, как голубки...

— А кто тебе мешает? — весело спросила Зина. — Люба где?

А Анохин сказал, делая тон нравоучительным:

— Это, сынок, неизвестно, завидовать нам надо или сочувствовать. Жизнь покажет, не иллюзиями ли живём.

— Живите иллюзиями, отцы, без них ваша жизнь превратится в тоскливое существование...

Люба пришла перед самым открытием ресторана. Она была выше, крупнее Зиной, но рядом с Перельгиным выглядела хрупкой. Платье на ней ярче, богаче, элегантней, чем у Зиной. Выщелкнуться она любила, шепотная была, прокудливая. Пришла и сразу будто многолюдней стало возле ресторана, хотя, кроме неё, никто не появился в очереди. Люба и Алёша удивительно подходили друг другу: два сапога пара, как говорится. Оба весёлые, подвижные. Время с ними летело незаметно, быстро, и долго потом оставалось в душе приятное ощущение от общения с ними. Но спроси у человека через час после проведённого в их компании вечера, о чём говорили, что обсуждали, чем обогатил этот вечер? Пожмёт плечами в ответ, скажет — весело было, а если добросовестно задумается, начнёт вспоминать, чему смеялись, над чем шутили? Ничего не вспомнит, кроме пары анекдотов.

И Любе, и Алёше не раз намекали, а то и впрямую говорили, что они и есть те самые две половинки, которые ищут друг друга, чтобы соединиться. Однажды Николай спросил у Перельгина, когда говорил о своей предстоящей свадьбе с Зиной, почему он не женится на Любе? Девка хоть куда: и хороша, и не хлуша.

— Лучше я на козе женюсь! — бросил вдруг быстро и нервно Перельгин с каким-то непонятным ожесточением и брезгливостью.

Анохин растерялся от такого неожиданного ответа, замолчал надолго, не понимая, почему Перельгин, думая так о Любе, продолжает встречаться с ней. Хотел спросить напрямик, но что-то удержало, не решился. А Алексей добавил также быстро:

— А на Зине я б давно женился, не тянул...

И эти слова удивили Николая. Он считал, что Перельгина привлекают яркие, бойкие девчонки, а не скромницы, незаметные молчуньи, которые ни одеться прилично, ни за себя постоять не могут: только краснеют, бледнеют, если подденут их острым словом. Сидят в компаниях в уголке в своих бледных ширпотребовских платьицах. Чтоб нормально одеться, нужно иметь пробивной характер, а где его взять скромницам... Как-то трудно было представить себе такую рядом с Перельгиным. Фантазии не хватало.

Люба — это другое дело. Украшение любой компании. Всегда на виду. Наверное, не у каждой дочки дипломата появлялось раньше, чем у неё, платье сверхмодного фасона. Где она его брала? Как доставала? За какие деньги? Узнать было невозможно. Где работала она, никто не знал, даже Алексей.

Впрочем, он и не интересовался. Знали, конечно, что она два года назад окончила пединститут. Знакомых по институту много было. Когда у неё спрашивали, где она работает, отвечала: “В фирме “Рога и копыта”. Все, естественно, принимали такой ответ, как ильфонетровскую шутку, переходили на ироничный лад, спрашивали: директором? Нет, управляющим, отвечала она. В шутке её была доля шутки: работала она в областном управлении “Вторсырьё” и, конечно, не управляющим. Сидела в конторе, обобщала сведения, поступающие со всей области: сколько собрано макулатуры, рогов и копыт, и другого вторсырья.

Тема сегодняшних шуток Любы и Алексея — будущая супружеская жизнь Николая и Зины. Бесконечная тема: анекдоты, подколки. Зина с Николаем охотно поддерживали шутки. Радостно было говорить, думать о том, что скоро они будут неразлучны.

В начале вечера Анохин наблюдал за Перельгиным. Поразило его утром, что такой большой, огромной силы человек, казавшийся таким уверенным, и вдруг стал таким беспомощным от страха. Алексей понимал, что крепко опростоволосился перед другом, понимал, что Анохин не мог не заметить его состояния, и старался поскорее выбросить из головы неприятный утренний разговор и держался, как всегда, естественно и уверенно. Если бы не утренняя встреча, то, вероятно, Перельгин решил бы взять Анохина в газету своим замом, и рад был бы этому, горд, что помог выбраться другу из глухой провинции, но теперь даже мысль об этом казалась ему глупой.

Днём он снова звонил бывшему редактору, узнавал, нет ли чего нового в его деле. Тот ответил, что всё пока на месте, но шансы его, Перельгина, велики, никто вроде не возражает, иной кандидатуры просто нет. Это успокоило Алексея, прибавило уверенности, что скоро он станет во главе газеты, станет заметным в Тамбове лицом.

После разговора с бывшим редактором сходил в будущий свой кабинет. Не утерпел: страстно тянуло туда, примериться к креслу. Нашёл повод, будто номер телефона ему понадобился, который записан в календаре редактора. Входил в кабинет, а сердце сладко щемило. Вот здесь, в этом кресле, за этим столом он будет сидеть, вести редакционные летучки, руководить, решать. Имя его будет стоять первым в каждом номере газеты. Здорово, ядрёна вошь!

После первых тостов стало ещё веселей. Ресторан быстро заполнялся табачным дымом. Чадили, казалось, все, кроме Николая и Зины. Хрипло и яростно, возбуждая себя и посетителей, ревел ансамбль.

— Отец, — говорил Перельгин Анохину, — сегодня я тебя не пуцую в Уварово. Ночуешь у меня. Места до чёрта... Возьмём с собой горячее, посидим и — гулять по ночному городу! Хоть до утра... Тихо, тепло, май... “Май жестокий с белыми ночами, от страстей моих освободи!”

В прошлый раз, в воскресенье, когда они были здесь, сидели только до девяти вечера. Поезд уходил в полдесятого. Провожали Анохина пешком до вокзала. Он неподалёку. Интернациональная улица в него упирается.

— Я не еду... Мне с утра в обком комсомола. К первому...

Как ни крутился Анохин, стараясь избежать разговора о предложении Климанова, — неприятен он будет для Перельгина, — но пришлось заговорить. Хуже будет, если Алёша узнает не от него, а от кого-то другого. Может подумать, что он действовал за его спиной.

В четыре часа, перед тем, как пойти в загс, Анохин звонил Климанову. Сергей Никифорович поздравил его, сказал, что возражений не было со стороны партии и комсомола.

— Рано, конечно, поздравлять, — гудел довольным голосом Климанов. — В Москву тебе ещё ехать утверждаться, но, думаю, и там повода не будет отклонять.

— В Москву ехать? Мне?

— Ну, не мне же...

— А когда?

— Когда подготовят документы. Возможно, на следующей неделе... Ты нашему комсомольскому вождю понравься сначала. Звони ему, он ждёт.

Николай позвонил, и первый секретарь обкома ВЛКСМ назначил ему встречу на девять часов утра. Говорить об этом Перельгину нужно. Ведь вместе работать. Если замредактора тоже уйдёт, то на его место, естественно, сядет Перельгин. Тут вопроса нет. Говоря о том, что ему завтра в обком к первому, Анохин знал, что Перельгин непременно спросит, зачем он туда идёт. И Алексей спросил:

— А чего тебе от него надо? Он ничего не может. Без команды партии он пальцем не шевельнёт.

— Алеша, ты знаешь, они хотят к вам непременно со стороны редактора посадить...

— Откуда ты знаешь? — похолодел, напрягся Перельгин.

— Климанов предложил мне. Затем и вызывал.

— Тебе?! — ахнул Перельгин, сразу трезвея, но тут же вспомнил утренний урок и с усилием сделал своё лицо изумлённым и радостным: — Ну, ты жох!

— Я ещё не согласился... Я сказал, зачем на стороне искать, когда свои кадры есть, назвал тебя...

Но Алексей будто не слышал этих слов, продолжал восклицать, стараясь казаться восхищённым, хотя сердце ныло, ныло. Прощай мечты! Прощай заветное кресло!

— Ну, жох! А дипломат какой хитрющий, — повернулся он к девочкам, словно приглашая восхититься вместе с ним действиями Анохина. — Даже другу не сказал... Зря, мог бы пролететь. Надо было посоветоваться, я лучше знаю расстановку сил. Знаю, кто есть кто и кто на что способен. Через кого ты действовал? Через Климанова?.. Вообще-то правильно, он человек жёсткий, сейчас в силе, с ним считаются...

— Да не действовал я совсем! Я от тебя только узнал, что ваш редактор ушёл...

— Брось, отец! Сейчас-то не темни, — сдерживая раздражение, с деревянной улыбкой перебил Алексей. — Так в наше время не бывает. Ни с того ни с сего никто ничего не предложит. Подготовочка нужна. Обработка. Давайте выпьем, — поднял он рюмку, — за нового редактора! — Он потянулся через стол к Анохину. Тот быстро поднял свою навстречу. — Я рад, отец! Ей-богу, рад. Лучшее вариант придумать трудно. Это здорово! Надеюсь, друга ты не забудешь. Бросишь кусочек от своих щедрот...

Неловко себя чувствовал Анохин. Неудобно было и Зине. Она знала, что Николай ничего не предпринимал, а то бы он с ней непременно поделился. А Люба с интересом переводила взгляд с Перельгина на Анохина. Алексей хвастался ей, что скоро станет редактором, говорил, что он единственный претендент. Конкурентов нет. А его так лихо обошёл друг.

— Я ещё не согласился, — твёрдо повторил Анохин и выпил, подхватил вилкой кусочек помидора и, морщась, добавил: — Не решил, нужно ли мне это...

Зина с тревогой слушала его. Она уже переиначила в мыслях своё будущее, видела себя в Тамбове.

Перельгин запил водку сухим вином и добродушным голосом заговорил:

— Отец, кто же удачу от себя отгаликивает? Нелогично.

— Конечно! — не утерпела, поддержала его Зина. — Откажешься, больше не предложат. Пригласят третьего. И ни ты, ни Алексей ничего не получают.

— Верно, мать... Сядет дурак, и мне жизни не будет.

— Уговорили, — засмеялся Анохин. — Соглашаюсь только при условии: ты будешь моим замом.

— Во жизнь, а, девки! — захохотал Перельгин. — Утром он ко мне в замы набивался, а вечером меня тянет.

— Вот и верь поговорке: утро вечера мудренее, — подхватил Анохин.

— О, это великолепный тост! — воскликнул Перельгин, хватаясь за бутылку. — Девочки, вперёд! Выпьем за то, чтобы утро всегда было вечера мудренее!

— Не гони. Вся ночь впереди, — попыталась удержать его Люба.

— Поехали! — будто не услышал Перельгин. И снова вином запил.

Хмелел он неожиданно быстро, качался, когда шёл танцевать, натёк на стулья, а танцуя, откровенно дурачился. Зина с тревогой смотрела на него, опасалась скандала.

— Может, пора, — шепнула она Анохину.

— Алёша, — обратился Николай к Перельгину, когда вернулись за стол. — Зина опасается, как бы нас в общежитие не пустили. Сам знаешь, какие там вахтёры.

— А ко мне? — пьяно пробормотал Алексей. — Мы же договорились...

— В другой раз, — уверенно ответил Анохин, догадавшись, что ни задерживаться в ресторане, ни тянуть к себе Перельгин не собирается. — У нас ещё много дней впереди, — положил он свою руку на широкую ладонь друга.

Вечер тёплый, ласковый. Ни ветерка. Матово освещали фонари улицу, сквер напротив ресторана, в конце которого светлела на фоне тёмного неба освещённая прожекторами высокая фигура Ленина. Прошлись немного мимо памятника, мимо жёлтых колонн кинотеатра “Родина”, попрощались на остановке. Люба неподалёку жила, на улице Сакко и Ванцетти, а общежитие пединститута в другой стороне, ехать нужно.

Зина с Николаем помахали из троллейбуса руками. Алексей стоял на тротуаре позади Любы, держался за её плечи своими лапищами. Был он какой-то растрёпанный, нелепый, как побитый лев, а Люба, бодрая, махала им, вытянув вперёд руку, с таким видом, словно прощалась с милыми гостями, которые принесли ей столько радостных минут.

— Быстро он сегодня захмелел, — сказала Зина, когда троллейбус тронулся и покатил по площади Ленина.

— Он же весь вечер водку с вином мешал... Да и расстроил я его. Если бы точно знать, что его сделают редактором, я бы отказался. Он взял бы меня замом.

— Откажешься, а ни ты не станешь, ни он, — горячо повторила, возразила Зина и прижалась щекой к его плечу. — Дует...

— Закрыть? — потянулся Николай к окну.

— Не надо, мне хорошо...

А Перельгин с Любой молча постояли немного, глядя вслед троллейбусу. Он по-прежнему держал её за плечи сзади.

— Лихо он тебя бортанул, — усмехнулась Люба.

— Рано радуется. Он ещё не обошёл меня... Утро вечера мудренее, — совершенно трезво проговорил Перельгин.

Люба с удивлением подняла голову, взглянула на него через плечо. Она тоже считала, что Алексей пьян.

— Ты молодец... Я думала, ты раскис, тряпка... И помни, он с тобой не считался, плевал на тебя. Станет редактором, непременно выживет из редакции... будешь локти кусать...

— Любисток, — поцеловал её в затылок Перельгин, — я о тебе думал хуже.

— Чудак, — засмеялась она нежно, — кто ещё о тебе так заботится, а?

— Пошли, — решительно обнял он её за плечи и повернул в сторону улицы Сакко и Ванцетти. — Утро вечера мудренее, но и вечер терять не стоит.

“Нужно действовать, действовать!” — думал он, вспоминая домашний телефон бывшего редактора газеты. Последние цифры — два-двадцать шесть — он помнил хорошо, а в первых двух сомневался: то ли тридцать семь, то ли тридцать девять.

Проводил Любу, чмокнул в щёку, буркнул:

— Прости!

— Действуй, действуй, может, такой шанс судьба никогда не подбросит.

Она постояла у ворот своего старого деревянного дома, глядя, как он решительным шагом удаляется, Люба поняла, что сегодня она стала значить для Алексея больше, чем любовница, и почти уверена была: если Алексей сумеет обойти Анохина, он не бросит её. Ведь честным путём обойти он не

сможет, значит, будет искать опору, чтобы оправдывать себя, и она станет ему этой опорой. Как и что будет делать Алексей, она не знала, да и не думала об этом. Его дело. Понимала, что связи с большими людьми Тамбова у него есть. Многим выгодно посадить в кресло главного редактора газеты своего человека, поддержит при случае. Особенно выгодно иметь человека, обязанного бывшему редактору, чтобы новый человек не обрубил все концы, которые он завязал. Алексей оглянулся в последний раз, прощаясь, и завернул за угол. Нырнул в первую же телефонную будку, набрал номер и сразу попал к бывшему редактору.

— Я не разбудил?

— Ещё одиннадцать нет... А чего ты такой... взъерошенный?

— Точно. Угадал, — нервно засмеялся Перельгин. — Есть из-за чего взъерошиться! Я узнал, что у меня конкурент появился. Завтра с ним встречается Кузя (так они звали первого секретаря обкома комсомола), даст добро — и всё!

— Кузя за тебя. Это я точно знаю... А откуда он появился? Молодой?

— Из Уварово. Некий Анохин, — зло усмехнулся Перельгин.

— Анохин? Другок твой? — удивился бывший редактор.

— Однокурсник, — буркнул Алексей.

— Он в комсомоле работал?

— Если только в школе.

— Это чепуха. Аргумент в нашу пользу. Ещё что?

— Я знаю только одно: газету, которую ты по зернышку собирал, он за месяц развалит.

— Ну, и потерпи этот месяц, — пошутил бывший редактор. — Развалит, выгоним, посадим тебя, снова соберёшь. Честь тебе и хвала.

— Не жалко газеты?

— Ну ладно, ладно! Позвоню я завтра Кузе. Теперь не я от него, а он от меня зависит.

— И с утра, с утра надо, а то поздно...

— Успеем.

## 8. Первая ночь

Чтобы попасть в общежитие, Зина и Николай проделали обычный манёвр: Зина вошла первой, а Анохин подождал у входа, когда появится кто-нибудь из ребят, живущих здесь, и рядышком с ним с беспечным видом, будто и он студент, прошёл мимо старушки-вахтёра.

Зина жила с двумя студентками. Обе они были в комнате. Зина включила чайник, пошла стаканы мыть, а Анохин направился к своему знакомому, у которого он не раз ночевал, договариваться о ночлеге. Но знакомого студента не оказалось на месте, уехал домой. Парень, живший с ним, указал на свободную кровать: ночуй, не помешаешь. Студент был белобрысый, с узким длинным лицом, губастый и, видно, невозмутимый, спокойный. Анохин почувствовал к нему доверие и заговорил, смущаясь своей наглости:

— Слушай, друг... Понимаешь, я сегодня заявку в загс подал...

— С Зинкой? — заинтересовался парень.

— Ну да, вот видишь... ты знаешь... пойми правильно...

— Ночевать, что ли, с ней здесь хочешь?

— Ну да.

— Не пойдёт она.

— Мы же заявку подали... почти муж-жена...

— Ну, это ваше дело... Бери ключи...

Студент ушёл, а Николай с бьющимся сердцем взлетел на третий этаж, к Зине.

— Устроился?

Николай показал ключи.

— Я один в комнате.

Он опасался, что она не пойдёт, постесняется подруг. Но она торопливо,



с волнением, возбуждённо, словно боялась куда-то опоздать, выпила чашку чая и поднялась.

— Девочки, мы пошли...

Анохин отодвинул свою чашку и вскочил.

По коридору она шла впереди. Он, покачиваясь, следом. Перед глазами у него плыло, словно пил он сейчас не чай, а спирт. Сердце радостно и тревожно ныло.

Когда он закрыл дверь на ключ и повернулся к ней, она положила ему руки на плечи и долго вглядывалась в его лицо, удерживая от объятий. Потом неожиданно всхлинула и ткнулась лбом в его грудь.

— Ты что?

— Я люблю тебя, — прошептала она.

Он легонько поднял её голову пальцами за подбородок и потянулся губами к её губам. Она закрыла глаза. Он прижимал к себе Зину, не чувствуя ни её, ни своего тела, не понимал, где находится, что с ним происходит. Он то ли падал с огромной высоты, то ли летел, то ли плыл, взлетая на гребень волны и ухая вниз. Очнулся, когда она отстранилась и тихонько прошептала:

— Мы сейчас упадём.

Он засмеялся:

— Меня ноги не держат.

— Иди сюда, — подвела она его к кровати и села на краешек.

Ночь пролетела мгновенно. Осталось от неё ощущение нестерпимого счастья да кое-какие подробности: всю ночь виден был в открытое окно фонарь, его выпнутый железный горб — стоял он, отвернувшись, и смотрел вниз, словно потерял что-то под деревьями и теперь внимательно высматривал, искал. И казалось, на всю ночь застряла между пятиэтажными домами напротив, над тёмной верхушкой дерева бледная половинка луны, похожая на тонкий прозрачный ломоть арбуза.

## 9. Утро вечера мудренее

Утром Перельгин сидел в своём кабинете, томился, ждал звонка бывшего редактора. В девять у Кузи будет Анохин, а до этого редактор должен непременно переговорить с Кузей. Стрелка часов еле ползла, будто подкрадывалась к цифре девять. Телефон молчал. Из коридора стали доноситься голоса, начали хлопать двери. Появлялись сотрудники. Девять! Чего он медлит? Неужто не звонил? Перельгин нерешительно потянулся к телефонному аппарату. Едва он коснулся пальцами трубки, как телефон взорвался, как показалось Алексею. Он дёрнулся, вздрогнул всем телом, отдёрнул руку от аппарата, потом сразу же схватил трубку.

— Алё, — выдохнул он.

— Ты?

— Я! Как? Звонил?

— Дело швах, — безнадёжно вздохнул бывший редактор.

У Перельгина опустилось всё внутри, еле сдержался, чтобы не крикнуть от отчаяния: почему?

— Говорил я с Кузей. Он обеими руками за тебя. Понимает, с тобой ему спокойнее будет... Но здесь, у нас, в большом обкоме заминка вышла, и Климанов подсунил Анохина. Первый поддержал. Кузе предложили встретиться с Анохиным, побеседовать, высказать своё мнение. Но дали понять, какого мнения от него ждут. Кузя уже обе руки поднял...

— А ты! — вскрикнул Перельгин. — Ты же там, в обкоме! Поговори, убеди!

— Кого? Кого я буду убеждать? Это на самом верху решалось. Всё, что мог, я сделал...

— Значит, всё? Никакой надежды? — прошептал Перельгин.

— Пока решения нет, от надежды отказываться не надо.

— Что же делать?

— У нас его материал идёт вроде? Никого не задевает он там? Не лезет на рожон? А то поставь его поскорей.

— Этот материал ему только репутации добавит...

— Понятно... Думай, время есть. Будет что интересное, звони. Смогу — помогу!

Алексей опустил трубку, посидел минуты три, уставившись в перекидной календарь, потом стал решительно набирать номер телефона приёмной Кузи.

— Светик, привет. Это Алёша Перельгин... У себя?

— Соединить?

— Есть у него кто?

— Какой-то Анохин. Из районной газеты.

— Светик, это не какой-то Анохин, а будущий мой шеф.

— Неужели?

— Точно, Светик, точно! Как только он выйдет, скажи, пусть мне сразу от тебя позвонит. Давно он вошёл?

Но вместо ответа Перельгин услышал далёкий голос секретарши, которая обращалась к кому-то, вероятно, кто-то вошёл в приёмную. Вдруг в трубке раздался голос Анохина так, словно он был рядом с Алёшей. Перельгин невольно откачнулся от трубки.

— Алёша, привет.

Сердце у Перельгина заколотилось так, что он испугался, как бы стук не был слышен в трубке. Он собрал нервы в кулак, закричал:

— Отец, ты! Ну как, поздравлять?

— До поздравлений далеко.

— Не скромничай. Как беседа-то?

— Нормально. Надо документы готовить... Сейчас был просто предварительный разговор.

— Самое главное — предварительный, а потом пустые формальности. Молодец, отец, я рад за тебя! Очень рад! С нетерпением буду ждать... Не тяни! — заставил он себя пошутить и засмеяться. — Как после вчерашнего, головка не болит?

— Нормально.

— А у меня пошаливает... Ты когда в Уварово?

— Сейчас... Отсюда на автовокзал.

— Ну, давай, давай. Ждём.

Перельгин вылез из-за стола, прошёлся по кабинету, сдавливая виски пальцами. Голова, действительно, заняла после этих двух телефонных разговоров. О, Господи! Что делать? Будет ли ещё такой шанс в его жизни? Пересидишь, сложится мнение, что достиг потолка, и конец. Не вырвешься из Тамбова до тридцати лет — и никому не нужен. А годы мелькают... Откуда взялся этот Анохин?.. Сам вскормил, сам! Не печатал бы здесь, кто бы его знал? Сидел бы он всю жизнь в своей районке. "Ах, дурак, дурак!" — постукал себе по лбу Перельгин. Что же делать?

Вспомнился ему вдруг вчерашний утренний разговор с Анохиным об уваровских передрагах. Алексей остановился посреди кабинета, ощущая какую-то смутную надежду, светлый лучик. Вяжется Анохин и пропадёт... Нет, он не дурак, отвезёт втихаря плёнку в Москву, и тех прихлопнут. Они не подозревают, что он всё знает, что у него плёнка. Может, начнут копать, где был тот милиционер перед смертью, и допрут. Папку они должны взять, должны понять, что они на крючке. Неужто не допрут?.. А-а, документы взяли и успокоились теперь... Ещё сильнее заняла голова. Господи, что же мне делать? Зачем мне всё это?

Он подошёл к столу и поднял трубку, оглянулся на дверь и опустил трубку назад. Подошёл тихонько к двери, прислушался и осторожно запер её. Вернулся к столу, сел, полистал, потербил записную книжку. И решил. Позвонил в обком, узнал номер телефона и имя-отчество первого секретаря Уваровского райкома партии и, уже не думая ни о чём, стал нервно крутить диск.

— Виктора Борисовича, пожалуйста, — сказал он строго и неторопливо секретарше.

— Кто его спрашивает?

— Обком партии, сельскохозяйственный отдел.

Он слышал, как секретарша доложила о нём. Пока удачно идёт. Ждал, сжимая колени, чтобы унять дрожь. Когда услышал мягкий и какой-то домашний голос секретаря, спросил сурово:

— Виктор Борисович, вы видели папку с документами, изъятую у убитого Ачкасова?

— Какую папку? Простите, кто говорит? — ласково перебил Долгов.

— Какую? Которую вы искали, из-за которой убили сначала начальника милиции, а потом его заместителя...

— Кто вы? Что за дикий бред? Дружочек, вы куда звоните? — голос у секретаря по-прежнему был домашний и ласковый.

Перельгин не знал, что Долгов быстро ткнул в кнопку, включил магнитофон, подсоединённый к телефону, и теперь отчаянно давит на кнопку вызова секретарши.

— Не пугайтесь, Виктор Борисович, звонит ваш друг. Вы сами видели документы, которая собрала милиция?

Долгов, зажав рукой трубку, крикнул шёпотом влетевшей в кабинет секретарше:

— Сарычеву звони срочно! Пусть узнает, откуда звонят. Быстро!

Секретарша исчезла, а Долгов также спокойно сказал в трубку:

— Дорогой мой друг, я так и не понял, какая папка? Какие документы? Что вы хотите? Говорите яснее.

— В той папке, как вам известно, были документы о подпольном цехе на трикотажной фабрике, о продаже квартир и машин, о подпольной деятельности некоторых председателей колхозов. Всё это вы хорошо знаете. Но не знаете, что Ачкасов перед тем, как его убил сын председателя колхоза по вашему приказу, побывал в общежитии у Анохина, зама главного редактора вашей газеты, и они каждый документ сфотографировали. Плёнка находится в комнате Анохина. Отпечатать он ещё не успел. Вы меня поняли?

— Пока ничего не понял. Продолжайте...

— Часа через три Анохин будет в Уварово. Это всё, что я вам хотел сказать...

— Послушайте, дружочек, теперь меня. Вот что я вам посоветую: поменьше читайте западных детективов, поменьше смотрите “Фантомасов”, и подобный бред не будет приходить вам в голову. А лучше обратитесь сразу в психбольницу...

— Виктор Борисович, смотрите, как бы вы не проморгали на этот раз. Анохин завтра собирается с плёнкой в Москву. До свиданья!

Перельгин кинул трубку на аппарат и долго вытирал платком лоб, виски, шею, долго не мог унять дрожь внутри. “А, хрен с ним! Дело сделано!” — прошептал он, поднимаясь. Подошёл к окну и стал с тоской смотреть на деревья городского сада, на красно-жёлтое неподвижное колесо обозрения, на карусели, качели...

А Виктор Борисович, как только из трубки послышались короткие гудки, ткнул пальцем в кнопку, вызвал секретаршу и ласково глянул на неё:

— Ну?

— Выясняет.

— Хорошо. Попросите его, пожалуйста, ко мне. Как придёт, пусть входит... и никого не пускайте...

Милиция была через дорогу, Сарычев должен скоро быть. Недолго выяснит, откуда звонили. Скорее всего, из Тамбова, из автомата не могли. В переговорном народе полно, всё слышно. Провокация? Но зачем? Точно описал содержание папки. Знает! Тоже видел документы? Может, ловушка? Заставить нас охотиться за Анохиным? Зачем, зачем? Если плёнка существует, материала хватит прокурору, чтоб на всю жизнь законопатить. Если не хуже... А если папку держали в руках, почему не пустили в ход, почему у Ачкасова осталась? Что-то не то? А что? А если не провокация? Если Анохин кому-то мешает? Сейчас он в Тамбове... Видимо, возвращается. Съездил удачно, скоро из Уварово уберётся... Пораньше надо было его отсюда изъять! Видел же: опасный человек. Недооценил. Можно было раньше присмотреть ему местечко в Тамбове. А теперь, если не наврал этот друг, видел он

документы, сфотографировал их, отправит в Москву, дело плохо... За убийство ментов могут к стенке... Нужно обезвредить! А если провокация? Но человек тот знает о документах... А откуда он знает о сыне председателя? Анохин утром уехал в Тамбов, о смерти Ачкасова он не должен знать. А этот уверенно сказал о его убийстве. Откуда узнал?.. Не Сарычев ли ведёт двойную игру? Но зачем? Он с нами крепко... Сам организовывал убийство... Но знаем об этом только трое: Сарычев, он да шофёр, Зубанов Славик, сын председателя. Да и Зубанов не должен знать о его, Долгова, участии. Он имел дело только с Сарычевым. Только Сарычев знает, по чьей воле умер Ачкасов. Почему его так долго нет? Пора уж...

Долгов позвонил на трикотажную фабрику директору, предупредил, чтоб поскорее приводили в порядок документы, прятали концы, а то дело серьёзный оборот принимает, приказал, чтоб подпольные склады, известные милиции, были очищены и заполнены ширпотребовской продукцией быстро, но без суеты, спокойно, чтоб никаких подозрений ни у кого не возникло. Обычная работа. Сейчас со станции придут несколько контейнеров, весь товар в Тамбов.

— Может, как обычно, машинами? — спросил директор. — И быстрее, и удобнее.

— Нет, нет. Контейнеры.

Долгов говорил своим обычным тихим спокойным голосом, таким тоном, каким в ласковые минуты обсуждают с женой, как провести выходной: в гости сходить или в кино. Виктор Борисович, когда был директором трикотажки, узнал однажды, что Климанов, будучи первым секретарём райкома, высказался о нём, что нравится ему, как Долгов руководит: не кричит, не ругается, спокойно, деловито, толково, и дела ладятся. В те времена Виктор Борисович, бывало, и глоткой брал. Но после такого мнения начальства, приказал себе ни в каких случаях не повышать голоса. Строгость нужна в поступках, а не в тоне. Страшнее всего для подчинённых было услышать от него ласковое: “Ты, дружок, не дорос, видно, для такого дела, не получается у тебя; я посоветуюсь, мы подыщем тебе другое местечко, по силам”. Это значит, что крест на тебе поставлен, уезжай из района, если расти по должности хочешь. Опустит в такую дыру, откуда никогда не выберешься, и забудет навсегда.

Поговорив с директором трикотажки, Виктор Борисович позвонил начальнику станции и сказал, что фабрика срочно просит платформу с контейнерами, затоварились.

— Что же они заявку не делают? По форме. Я сейчас гляну, на какое число они вагоны просили.

— Василий Петрович, дружок, я не знал, что у вас никаких прорех не бывает. Ей-богу, не знал... Затоварились люди. Сверх плана произвели, а мы за это казнить их будем? Так? Когда заказывали вагон, тогда и пришлётё, а платформу с контейнерами — прямо сейчас. Я пообещал, что через час будет. Неужели я не сдержу слова?

— Через час? Я думал — раньше, — совсем иным тоном, бодро отозвался начальник станции. — Сделаем. Туда пятнадцать минут ходу.

— Я так и знал, что не откажете.

Не опуская трубки, Виктор Борисович набрал номер Сарычева. Он отозвался сразу.

— Выяснил?

— Я звонил вам, занято было...

— Откуда был звонок? — нетерпеливо перебил Долгов.

— Из Тамбова. Из кабинета ответственного секретаря газеты “Комсомольское знамя” Перельгина Алексея Андреевича.

— Эге... Кто он? Что ты о нём знаешь?

— Пока ничего. Узнать?

— Не надо... Иди ко мне...

Долгов медленно опустил трубку на аппарат, задумался. Значит, Перельгин... Ответсек газеты, где редактором будет Анохин. Анохин там печатался часто, значит, знакомы. Он сказал, что Анохин через три часа будет

в Уварово. Долгов глянул на часы. Едет автобусом. Но он должен сегодня встречаться с секретарём комсомола. Побеседовал уже, так, что ли? Без четверти девять только. Откуда же ответсек знает? Значит, Анохин доложил ему, звонил! А если звонил, значит, знакомы близко, в таком случае, Анохин мог ему рассказать о встрече с Ачкасовым. Ведь об этом знает только Анохин, больше никто. И сам Анохин фотографировал документы, предварительно просмотрев. Были-то они только вдвоём с Ачкасовым. Ачкасов умер сразу после встречи. Остался один Анохин. Только он мог рассказать о содержании папки, о плёнке. Так, так, так... Но откуда Анохин узнал, что Ачкасов мёртв и даже убит сыном председателя колхоза? Не вяжется, не вяжется... Что-то иное... А если по дороге в Тамбов Анохину кто-то рассказал о смерти Ачкасова, и он вычислил? Могло быть такое? Нет, не могло. Можно было узнать о столкновении машины с мотоциклом, но кто мотоциклист, жив ли он, и кто вёл самосвал, этого узнать было невозможно. Свидетелей не было. Сарычев говорит, свернулись быстро, мгновенно. Остановливалась какая-то машина, но милиция отправила её сразу. Труп Ачкасова они не видели. Что-то не то здесь! Зачем Перельгин звонил? Ненавидит Анохина. А если не Перельгин звонил, а кто-то другой из его кабинета, просто воспользовался его телефоном?

Без стука вошёл Сарычев, молодой, счастливый, беспечный, розовощёкий. Он не заметил, что Долгов озабочен, непривычно хмур. Виктор Борисович быстро рассказал ему о звонке, о сомнениях.

— Так это я сказал Анохину, что пьяный Ачкасов вмазался в самосвал.

— Ты? — изумился Виктор Борисович. — Ах, ты Господи! Ты же вчера в Тамбове был. А я голову ломаю... Вместе ехали?

— На вокзале встретились, в Тамбове... Так я гляжу, чёй-то он с лица сменился, когда я ему про Ачкасова...

— Погоди, — перебил его Долгов, набирая номер телефона: — Как ты, говоришь, ответсека по отчеству... Андреич? — и спросил в трубку: — Алексей Андреевич?

Перельгин отозвался, и Виктор Борисович с облегчением узнал по голосу, что звонил ему только что именно он.

— Не узнали, Алексей Андреевич? Вы только что звонили мне... Я Виктор Борисович Долгов, из Уварово.

— Кому звонил? — запнулся, растерялся Перельгин. Спина похолодела у него, а на лбу испарины выступила. — Не знаю я никакого Долгова...

Виктор Борисович почувствовал, как дрогнул его голос, и улыбнулся.

— Дружочек, милый, голоском-то владеть ещё не умеете, хотя бы конфетку за щёку положили, прежде чем звонить. И сейчас голосок дрожит. Видать, молод ещё. Сколько вам лет?

— Двадцать пять, — неожиданно для себя послушно пролепетал Перельгин.

— Понятно. Хочется редактором стать?

Алексей молчал. Трубка в руке его трепетала. Страстно хотелось её бросить. Побитым взглядом глянул он на девушку, рабкора с завода “Электроприбор”, которая показывала ему свою заметку.

— Станете вы редактором. И месяца не пройдёт, как станете. Это я вам обещаю. А вы пообещайте забыть то, что вы мне сообщили, но прежде скажите, откуда вы взяли весь этот бред, в чьём воспалённом мозгу он родился?

— Погодите... сейчас... — Перельгин опустил трубку и жалко улыбнулся девушке: — Серьёзный разговор... подождите за дверью...

Девушка вышла, и Перельгин поднял трубку.

— Анохин мне рассказал...

— Ясно... Плёночка, значит, существует?

— Зачем ему врать...

— Это да. Он её в Москву хочет везти... А где она у него? Не сказал...

— В комнате, должно... Он же думал, что так...

— Ну, всё. Вам надо забыть об этом. Как станете редактором, мы ещё встретимся не раз. Меня в обком работать приглашают. Это секрет пока, секрет, как другу говорю, ведь вы так представились... До скорой встречи!

Виктор Борисович усмехнулся, пробормотал задумчиво:

— Ну-ну... — и улыбнулся Сарычеву. — Приятно с толковым человеком познакомиться. Ты узнай о нём побольше. Пресса нам нужна, ох, как нужна. Видать, хороший человек, был бы ещё умный. Трусоват, жаль, трусоват... А может, и к лучшему...

— Вы от нас действительно собираетесь?..

— Зовут, дружочек. Надо... Тебе только двадцать семь, а мне уже тридцать пять. Надо, пока зовут... Но не позвали бы нас в другое место... Часа через два с половиной в Уварово вернётся Анохин. Поделится с одним — может поделиться с другим. Нужно заставить его молчать и немедленно изъять плёнку, немедленно. Как всё это сделать?

— Как? Просто...

Сарычев с каким-то сладострастным удовлетворением узнал, что Анохин влез в эту историю и нетерпеливо ждал, когда Долгов даст команду убрать его. Уберёт с большим удовольствием, чем Ачкасова. Тот был безвредный служака, дубоватый, а этот... этот... Даже в мыслях не хотелось Сарычеву связывать Анохина с Зиной. Этот хищник, рвёт всё из рук, прошляпишь — проглотит и не облизнётся.

— Нет, трупов больше не надо. Шорох пойдёт по городу. Как бы боком не вышло...

— Мы быстренько... никаких следов. Был — и нету!

— Не подходит... розыск, шум... Думай! Сейчас нужно немедленно найти плёнку. Сам поезжай, и тихо, тихо. Идеально, если никто не увидит тебя в общежитии.

— А ключи? Как открыть? Он же один живёт.

— Да, — крикнул Виктор Борисович. — Без коменданта не обойтись. Пригрози, чтоб молчал. И действуй так, чтоб сам Анохин следов не заметил...

Сарычев все уголки облазил в комнате Анохина, десятки плёнок просмотрел, но той, что нужно, не было. Каждую тряпку ощупал, а пузырёк из-под туши открутить не догадался. Хотя держал в руках. Взял, переставил, когда ящик стола выдвинул.

## 10. Мать

Анохин не собирался заезжать к матери по дороге из Тамбова. Но чем ближе подъезжал автобус к повороту на Ржаксу, тем сильнее становилось желание забежать на часок в деревню, увидеть мать, рассказать, похвастаться, что его переводят в Тамбов, и не просто в областную газету — об этом он ещё мог мечтать, — а сразу главным редактором. Такого он не мог представить себе даже в самых смелых мечтах. Иногда по вечерам, думая о будущем, он видел себя в Москве известным журналистом, сотрудником центральной газеты. Как он переберётся в столицу, не знал, считал, что проложит туда дорогу пером, своими статьями, очерками, а не через должность.

Анохин понимал, что, чтобы сделать карьеру, нужен человек, который должен тебя толкать, рекомендовать, пробивать дорогу. Таким человеком мог быть в Уварово только первый секретарь райкома партии. Но Анохин не обладал умением подольститься, услужить начальству, каким-то образом войти в доверие и поддерживать это доверие постоянно. Ему не то, чтобы было противно это, просто он никогда не задумывался над этим и не собирался делать, старался хорошо работать, писать много и писать так, чтобы читатель не скользил глазами по строчкам его статьи, а переживал то, что он описывал. Когда так получалось, он с удовольствием слушал похвалы знакомых и коллег. Его уже опасались в Уварово, поговаривали, что лучше не попадаться к нему на перо: пропесочит, выставит на посмешище, потом моргай.

Когда показался поворот на Ржаксу, Анохин окончательно решил забежать к матери, порадовать её. Она должна быть дома. Два урока сегодняшних уже провела. Теперь, скорее всего, на огороде полет картошку, если, конечно, не задержалась в школе. Анохин выскочил из автобуса, спустился по тропинке с грейдера к придорожной лесопосадке, прошёл её насквозь, вдыхая

горьковатый запах листьев и травы, и направился по просёлочной дороге, тянувшейся по зелёному полю ржи.

Вдали виднелись крыши деревни среди зелени деревьев. Ветерок тёплым дуновением шелестел молодыми стеблями ржи. Невидимый жаворонок сладко, томительно заливался где-то в вышине, и казалось, что сам воздух поёт, исходит счастьем, покоем, радостью. Хотелось закричать, запеть, броситься в рожь, упасть на спину. Анохин не сдержался бы, запел, — так его распирало, — но сзади слышались спокойные голоса знакомых женщин-попутчиц. Подумалось, что они не поймут его, примут за сумасшедшего или пьяного.

На двери веранды висел замок. Анохин прошёл мимо порога, двинулся через двор по тропинке на огород. Из-за пышных молодых кустов вишни не было видно, там ли мать или нет. Он открыл калитку, прошёл сквозь кусты и увидел мать в белом платочке, чтоб голову не напекло, в сиреновом халате, который он привёз ей из Москвы. Услышав стук калитки, мать, Ольга Михайловна, подняла голову, оперлась на таяпку, которой полола картошку, взглянула в его сторону и заговорила тревожно и радостно одновременно:

— Ой-ой, Коля! Чтой-то ты среди недели... Случилось что?

— Случилось, случилось! — сиял он, подходя. Обнял, хотя виделись всего три дня назад, в воскресенье. — Я из Тамбова. Заявление с Зиной подали. И ещё одна новость... — отстранился он, глядя на мать. — Ни за что не угадаешь!

— Ну, говори, говори!

— Мне предложили стать главным редактором “Комсомольского знамени”! — выпалил он.

— Тебе? Главным! Брось!

— Да! За этим и ездил в Тамбов. Уже собеседование прошёл. Анкеты дали заполнять. В Москве утверждать будут!

— Не сорвётся?

— Причин нет.

— Ой, смотри, захотят — найдут... Стукнет кто-нибудь о чём-то!

— Стучать не о чем. Я чист, как ангел! Да и зачем?.. Всё неожиданно так произошло. Сразу налетело и закрутилось. Я даже не знал, что главный уходит... Омрачает немного: Алёша рвался на это место, не взяли его. А он, видно, очень хотел...

— А говоришь, некому стучать!

— Ну, мам, мы же с ним друзья! Как ты могла подумать об этом! Я тебе сколько о нём рассказывал. Алёша — замечательный парень!

— Хочешь — не хочешь, а ты ему дорогу перешёл. Когда речь о карьере идёт, через друзей запросто перешагивают. Сколько таких случаев было...

— Мам, ты же знаешь, никогда я не думал о карьере, о кресле главного. И Алёшка знает, что не думал я. Не, мам, не говори мне больше об этом. Не отравляй душу... Я его сразу сделаю своим замом. Я уж сказал ему об этом. Он доволен.

— Ох, и наивный же ты у меня. Сколько тебе шишек ещё набивать! Ой-ёй-ёй! Помни только всегда: область — это не район. В Уварово всё видно, каждый шаг на виду, поэтому и народ чище, побаивается огласки, честь блюдёт. А в области народу больше, и люди коварней... Что же мы тут стоим? Пошли, я тебя покормлю. — Они потихоньку двинулись к меже, переступая через невысокие картофельные кусты. — Тебе ведь ещё на работу надо попасть, да? А то, может, ночуешь и утречком с поездом?

— Нет, я через полчаса двину на вокзал. Надо к поезду успеть... Я просто на минутку забежал, тебя обрадовать!

— Ну, смотри.

— Здравсте, Николай Игнатьевич! Мать проведать решил?

Анохин увидел в соседском саду тётю Любаныку, пожилую женщину с круглым сморщенным лицом. С тех пор, как он вернулся из Москвы и стал работать в газете, соседка начала звать его по отчеству. Сначала он смущался. Анохин поздоровался, сказал, что по пути из Тамбова заглянул, а мать не выдержала, похвасталась:

— Его на работу в Тамбов переводят, главным в комсомольскую газету!  
— Я всегда говорила, сын у тебя умница. Далеко пойдёт. Он ещё в Москву на белом коне въедет, увидишь!

— Дожить бы...

Мать была у Николая нестарая. В прошлом году пятьдесят лет отметила. Вырастила Ольга Михайловна сына одна, выучила. Отец Николая, Игнат Николаевич, работал в Сибири, строил мосты через таёжные реки. Ольга первое время моталась по тайге вместе с молодым мужем, а потом, когда родился Николай, не смогла больше жить кочевой жизнью, вернулась домой, устроилась в школу учительницей. Игнат помогал ей деньгами, но виделись они редко. Из такой дали не наездишься. А года через три Игнат сообщил ей, что собирается жениться на своей секретарше. Больше Оля не видела бывшего мужа, доходили слухи до неё, что Игнат Николаевич стал большим начальником в Сибири. Деньги от него на воспитание сына она регулярно, пока Коля не окончил университет. Но встречаться они никогда не встречались, и Николай не знал, как выглядит его отец. Подспудная обида на отца за то, что тот кинул их семью, жила в нём всегда. Всю свою жизнь Ольга Михайловна отдала сыну, и теперь надеялась, что он будет покоить её старость.

В доме мать сказала с сожалением, имея в виду соседку:

— Ляпнула я ей, а зря... Через час вся деревня знать будет.

— Ну и пусть говорят, не о плохом же...

— Как бы не сглазили... Надо было дожидаться утверждения...

## II. Арест

Сарычев придумал, как быть с Анохиным. Придумал, обрадовался своей изобретательности. Да, после такой истории Зина будет вспоминать об Анохине только с отвращением. Выкинет из головы навсегда.

Секретарь райкома Долгов выслушал его, улыбнулся, кивнул одобрительно: хороший план, дерзкий. Вдвоём они обсудили детали, обговорили, кого привлечь, чтоб было шито-крыто.

И вот на конечной остановке в центре Уварово ждёт автобус из Тамбова Юрка Кулешов, шофёр Долгова. Секретарская “Волга” стоит за углом. Неподалёку от неё крутятся с разных сторон машины Зубанов Славик, то самый шофёр-пьяница, сын председателя Ждановского колхоза, который убил Ачкасова, и Мишка Семенцов по кличке Сын Вселенной. Их задача: как только Анохин сядет в секретарскую “Волгу” на заднее сиденье, быстро прыгнуть к нему с двух сторон и зажать. Чтобы Николай не сел спереди, на сиденье поставили большую сумку.

Показался, покачиваясь на ухабах, тамбовский автобус. Юрка Кулешов заволновался, вытер лоб, стал вглядываться в открытые окна автобуса. Тот остановился, обдал пылью Юрку. Двери пискнули, и на землю, в пыль, стали выходить по ступеням, выпрыгивать люди. Анохина не видно. Где же он?

Последняя женщина, осторожно вытягивая ногу к земле, задом спустилась на землю, вытащила одну за другой из салона две сумки. А Анохина нет! Куда он делся? Может, на другом автобусе едет. Задержался в Тамбове?.. Следующий автобус придёт только через два часа.

Юрка мотнулся в райком, доложил Долгову, который с нетерпением ждал вестей, торчал у окна. Договорились, что Юрка Кулешов проедет с Анохиным мимо райкома, чтобы Долгов увидел, что всё в порядке.

Сарычев для контроля наблюдал за ходом операции издали, нервничал. Он видел, что Юрка подошёл к “Волге” один, сказал что-то своим ребятам и один на машине помчался в райком. Сарычев — следом. Возбуждённый ворвался в кабинет секретаря.

— Спокойно, — глянул на него Долгов. — Никуда он от нас не уйдёт... Ждите следующий автобус.

— А если он поездом? — спросил Сарычев.

Долгов глянул на часы, крикнул, выругался.



— Твою мать!.. Никого ещё из милиции подключить нельзя! Слушок пойдёт... Ладно. Ребята пусть ждут автобус, а ты следи за редакцией. Если он приедет поездом, то непременно заглянет в редакцию, чтобы похвастаться...

До прихода автобуса было ещё полтора часа. Чтобы не торчать на жаре всё это время, Мишка Сын Вселенной уговорил Юрку мотнуться на полчаса на Ворону, поплавать. Они захватили пивка и рванули к реке.

Возвращались с реки заблаговременно, катили потихоньку, разомлевшие. Тёплый ветер влетал в открытое окно машины, трепал волосы.

— Смотри, Анохин! — ахнул Сын Вселенной.

И действительно, мимо гастронома по направлению к редакции шёл Анохин, шёл, весело помакивая портфелем.

— Подъедем, выскакивайте из машины и стойте спокойно. Не спугните! — выдохнул Юрка и газанул, догнал Анохина, остановился.

— Николай Игнатьевич, — высунулся Кулешов из окна, — вас Виктор Борисович зовёт к себе!

Мишка со Славиком спокойно вылезли из “Волги”, как бы уступая место Анохину.

— Передай ему, на секундочку загляну в редакцию и тут же приду! — весело ответил Анохин.

— Нет, он сейчас ждёт. Меня послал... Редакция никуда не денется. Ему некогда ждать...

Анохин секунду подумал и подошёл к машине, взялся за ручку передней двери. Но увидел сумку на сиденье, открыл заднюю дверь и влез в салон. Тотчас же в “Волгу” с двух сторон ринулись Славик с Мишкой. Они грубо стиснули, придавили Анохина. Мишка сунул ему на колени портфель. Анохин недовольно взглянул на него, не понимая, зачем они садятся, почему так грубы и наглы?

— Сиди! Не трепыхайся! — ткнул кулаком в бок Анохина Мишка Сын Вселенной.

“Волга” рванулась, развернулась и запылила вниз к Вороне, к лесу.

— Вы куда? — растерявшись, недоумённо спросил Анохин.

— Туда!.. Сиди, не пекай! — сжал его локоть Мишка.

Николай дёрнулся, попытался освободиться, оттолкнуть Мишку, заорал Юрке:

— А ну, остановись!

Мишка изо всей силы больно врезал ему в бок:

— Не дёргайся!

Славик вытащил финку, придавил к животу Анохина и спокойно сказал:

— Будешь дёргаться — будет дырка!

Анохин взглянул на него и похолодел, узнал сына председателя Ждановского колхоза, который убил Ачкасова.

“Зарежут! Сейчас увезут в лес и зарежут! — мелькнуло в голове. — Как они узнали, что Ачкасов был у меня?”

На мгновение Анохин онемел, парализован был этой мыслью, не знал, что делать, как выпутаться? “Волга” неслась по бетонному мосту через Ворону. Два бандита крепко сжимали его с двух сторон: не шелохнуться. Из машины не вырваться, как ни бейся. Если понадобится, они не дрогнут, прикончат тут же в машине. “Волга” свернула в лес и мягко покатила по песчаной дороге вглубь.

На берегу реки лежали люди, загорали. Несколько человек играли в волейбол, встав в круг. Плескались в реке ребяташки. Анохин вдруг заорал в сторону реки что есть сил, чтобы привлечь внимание, но Мишка сразу врезал ему ребром ладони по горлу. Анохин захлебнулся, заикался, открыв рот. Никто у реки не обратил внимания на его крик. Шумно было там.

Дорога отделилась от Вороны, стало безлюдно. Одни деревья мелькали. Машина шла неспешно. Не разгонишься по колдобинам и ямам. Забегались всё глубже и глубже в лес. Проехали мимо забора пионерского лагеря и минуты через три остановились около ворот в высоком сплошном заборе из почерневших досок. Ворота быстро открыл худой парень в майке. Анохин узнал его. Это был Васька Ледовских, официант, отравивший,

по словам Ачкасова, начальника милиции. Неподалёку от ворот виднелся деревянный дом.

Славик взял портфель с колен Анохина и кольнул его ножом в бок:

— Вылазь!

Мишка ухватил его за руку, выволок из машины, швырнул на землю и дважды с размаху ударил ногой по рёбрам, приговаривая:

— Не ори! Не ори!

Анохин скрючился от боли. Мишка ухватил его за руку, вывернул её назад, приподнял, поставил на ноги и повёл впереди себя к дому. Николай, согнувшись, быстро перебирал ногами, семеня, чтоб не упасть. В глазах у него было темно от боли. Он задыхался, захлёбывался, хватал ртом воздух, хотел и не мог закричать, горло сжал спазм, бок ныл так, словно в него всадили нож. У порога дома он упал. Мишка снова пнул его так, что Анохин на мгновение потерял сознание. И ему стало всё безразлично. Пусть убивают здесь, на пороге. Он лежал, не шевелился. Дышал тяжело, не глядел на своих мучителей, слышал, как кто-то из них повернул ключ в двери, открыл дверь, услышал окрик:

— Вставай, гад!

Николай не шевелился, думал: убивайте, сволочи, здесь! Но бить его не стали. Ухватили вдвоём за руки и потащили волоком по ступеням на крыльцо, потом втянули в какую-то полутёмную комнату, бросили, оставили на полу.

— Свяжем? — спросил Мишка.

— На хрена? Куда он отсюда денется...

— Орать начнёт...

— Пусть орёт, кто его здесь услышит...

Они закрыли дверь, стало темно. Щёлкнул замок. Значит, убивать пока не собираются, решил Анохин. Должно быть, кого-то ждут. Кого? Может, самого Долгова? То, что именно секретарь организовал его похищение, не было сомнения. Привезли-то на его машине. Без участия Долгова Юрка Кулешов никогда бы не решился использовать секретарскую машину для такого дела. Может, не сам Долгов, а кто-нибудь из его сатрапов придет, будет требовать отдать плёнку. Откуда же они о ней узнали? Может быть, Ачкасова не сразу убили? Может быть, сначала наиздевались над ним, пытали и убрали, инсценировав столкновение с машиной. Не могли они больше никак узнать, что документы сфотографированы. Знали ведь только они вдвоём... Как же вдвоём? А Алёшка? Ведь он же рассказал Алёшке!..

Анохин обрадовался этой мысли. Как здорово он сделал, что рассказал. “Если я вдруг исчезну, Алёшка сразу поймёт, чьих рук дело, и забьёт тревогу. Ах, негодяи, просчитались вы на этот раз!” — ликовал Николай.

Вдруг вспомнилось, как Перельгин воспринял его рассказ, но успокоил себя: ничего, он, конечно, испугался тогда, но не до такой же степени, чтоб молчать, когда исчезнет друг. Он непременно заявит в милицию, непременно...

Если они знают о плёнке и будут требовать отдать им, что тогда делать? Молчать? Прикинуться, что не знает ничего о плёнке? Начнут пытаться, истязать, выдержит ли?.. Анохин шевельнулся, чтобы удобнее было лежать на прохладном полу, застонал от боли, стал ощущать бок. Прикоснуться к нему было ужасно больно... “Зверь! — подумал Анохин о Мишке. — Как же его зовут алкаши? Ах да, Сын Вселенной... Так он же сын директора трикотажной фабрики! Вот у кого я в руках... Дача, должно быть, директора...” Почему-то от этой мысли стало легче. Убить не должны. Если плёнку требовать будут, отдам, чёрт с ней, я и так помню, о чём документы. Перееду в Тамбов, раскопаю, пересажаю всех. Ответят и за Ачкасова, и за пинки. За всё, сволочи, ответят!.. А нельзя ли отсюда удрать?..

Анохин приподнялся, охая тихонько, сел, нащупал деревянную стену. Придерживаясь за неё, поднялся и начал шарить руками по стене, искать щели, дверь. Стены были из досок, подогнаны плотно, ни щёлочки. Свет нигде не пробивается. Он медленно ходил вдоль стен, водил ладонями по доскам, давил на них, пробуя на прочность. Комнатка была небольшой. Дверь

крепкая, не шелохнётся, и замок надёжный. Доски стен, видно, двойные, потому и щелей нет. Потолок высокий, рукой не достать. Комната была совершенно пустая. Ни гвоздика, ни клочка бумаги на полу.

Обследовав её, Анохин остановился у двери, замер, прислушиваясь. Тишина, как в гробу. Аж в ушах звенит. Она навалился на дверь, пробуя её на прочность. Она даже не шевельнулась... Уехали они или на улице? Почему так тихо? Анохин ударил плечом в дверь. Показалось, что во всем теле отдалась боль. В доме тихо по-прежнему. Никто не откликнулся на удар в дверь. Может, уехали, и дом совершенно пуст. “Выбить дверь, выбраться в окно и удрать”, — затеплилась надежда. Анохин отступил от двери и ударил в неё ногой, целясь в середину, туда, где должен быть замок. Дверь загудела. Он ударил ещё раз, ещё. Бил, бил, бил. Дверь гудела, раскачивалась. Вдруг он услышал злобный крик, скрежет ключа. Дверь распахнулась, появился Мишка с короткой дубинкой в руке. Сзади него стоял Славик со своей финкой.

— Успокоить? — показал дубинку Мишка. — Я быстро... Сиди смирно! Если б хотели тебя пришить, давно б уж в Вороне плавал. Сиди смирно, если хочешь, чтоб рёбра были целы! Понял?

Он захопнул дверь и снова запер на замок. Анохин сел в темноте на пол, привалился спиной к стене. Значит, убивать не собираются. Что же они задумали? Это точно кого-то из главарей ждут. Что они требовать будут? Чтоб молчал? Запутывать будут? Хорошо, дам я обещание молчать, разве они успокоятся тогда, поверят? Какую гарантию будут требовать, чтоб я молчал?

Так Анохин сидел, размышлял долго, казалось, вечность. Его не беспокоили, было тихо, и он задремал неожиданно для себя.

## 12. Насилие

Проснулся от шума, стука двери, зажмурился от яркого света. На него светили фонариком.

— Вставай, выходи! — голос Мишки.

Анохин сидел, прикрывал ладонью глаза от света, не шевелился. Тогда кто-то ухватил его за шиворот, рванул вверх, поставил на ноги, развернул и, пиная коленом под зад, вытолкал из комнаты, выволок на улицу и потащил по песчаной дорожке меж деревьев к воротам, за которыми серела в темноте райкомовская “Волга”. Анохин, увидев её, перестал сопротивляться, пошёл сам. На улице было темно, звёздно. Его не отпускали, держали за шиворот и за локоть. Возле машины вдруг швырнули на землю, выкрутили руки назад, связали верёвкой и заткнули рот тряпкой. И только потом втолкнули в машину на заднее сиденье, снова сжали с двух сторон, как в прошлый раз. Анохин понял, что действующие лица те же. За рулём — Юрка, а рядом — Мишка со Славиком.

Ехали по лесу назад, в город. Значит, где-то там будут допрашивать. Почему не здесь, ведь в лесу удобней, никто не помешает. Что они задумали? Проехали бетонный мост через Ворону, быстро поднялись в гору. Центр был почти безлюден, значит, уже за полночь. Быстро проскочили через весь город к железнодорожной станции, проехали переезд, постукивая, покачиваясь на рельсах, свернули к вокзалу, но не остановились, покатили дальше, запетляли по узким улочкам меж заборов частных домов, остановились возле дороги, которая вела к общежитию сахарного завода, где жил Анохин. Узкая дорога шла через сад вдоль густой лесопосадки.

Мишка со Славиком, опустив стёкла у машины, с минуту прислушивались к чему-то. Было тихо. Они потихоньку вылезли из машины, стараясь не шуметь, вытащили Анохина и, подхватив его под руки, повели по дороге вдоль лесопосадки. Шли, прислушиваясь, видимо, опасались встречных людей.

Анохин знал, что скоро закончится вторая смена на маслозаводе, где работала почти одни женщины. Они пойдут в общежитие, которое только считалось сахарозаводским, жили в нём рабочие разных предприятий... “Зачем они тащат меня в общежитие? — мучился Анохин. — Что им там надо? Хотят,

чтоб я показал им, где плёнку спрятал? Почему же ни разу не спросили о ней?”

Посреди пути бандиты сдёрнули Анохина с дороги, затащили в кусты, положили на землю и придавили к траве... “Зарежут сейчас, чтоб все думали, что убили его по дороге домой!” — ужасом пронзило голову, и Анохин дёрнул руками, пытаясь вырваться, забился в траве. Его придавили коленом, вдавили рукой в лицо в землю. Он задохнулся.

— Лежи! — злобно зашипел Мишка. — Держи его, не выпускай! — буркнул он Славiku. — А я буду смотреть.

Они теперь держали Николая вдвоём. Юрка Кулешов, видно, остался в машине.

Значит, и здесь убивать не собираются! Что же они затеяли? Может, кто-то идёт, хотят пропустить, а потом...

Слышно было, как Мишка трещит сухими сучьями, отходит в сторону. Заговорил с кем-то шёпотом. Значит, тут ещё кто-то. “Что же они затеяли?” — трепыхалось, рвалось в груди сердце. Анохин затих, стал прислушиваться, надеясь понять, о чём они шепчутся. Комар нудно зудел над ухом. Славик по-прежнему давил ему в спину коленом, а рукой держал за волосы, прижимал голову к земле. Связанные руки начали болеть, щипать, видно, он содрал кожу верёвкой, когда рванулся, пытаясь освободиться. Мишка Сын Вселенной и незнакомец замолчали, притихли, и потом донёсся непонятный шёпот:

— Два раза!

И опять тишина. Потом громкий шёпот Мишки в их сторону:

— Славик, держи его крепче, чтоб не трепыхался! Идут!

Издали донёсся негромкий разговор. Кто-то шёл по дороге. Голоса приближались. Можно было различить, что идут, по крайней мере, две женщины и один мужчина. Чем ближе они подходили, тем сильнее Славик вдавливал Анохина в землю. Николай задышался. Когда голоса поравнялись с ними, Анохин попытался рвануться, дёрнул ногой, зашелестел, но Славик скрутил его так, что он чуть не потерял сознание. Голоса замерли на мгновение.

— Кто-то там есть! — сказала женщина тревожно.

— Крыса, должно, — успокоил её мужчина. — Их развелось — страсть! Голоса стали удаляться.

— Если ещё раз дёрнешься, я те горло перережу! — прошипел Славик. И затих, прислушиваясь.

— Один! — донёсся взволнованный шёпот Мишки. — Приготовься, действуй!

— В случае чего, подстрахуй!

— Не дрейфь, я на посту!.. Смотри не увлекись, не кончь!

Анохин ничего не понимал, не догадывался, что они хотят сделать. Донесли шаги, потрескивание сучьев, и всё замерло. Снова издали послышались негромкие женские голоса. Должно быть, девчата возвращались с маслозавода. И снова по мере приближения голосов Славик сильнее вдавливал Николая в землю. Голоса ближе, ближе, и вдруг в тишине резкий треск сучьев, вскрик, визг! Кто-то быстро пронёсся мимо по дороге, а из кустов неподалёку слышался шум борьбы, вскрики, хрипы, треск одежды, злобное рычание:

— Лежи, сука!

Совсем рядом раздался шаг и громкий шёпот Мишки:

— Давай, развязывай! Быстрее!

Славик отпустил Анохина и начал, суетясь, развязывать узел верёвки на его руках.

— Быстрее, быстрее!

— Затянул, гад!.. Всё, поддался...

— Эй, кто там! — заорал вдруг Мишка во всё горло. — В чём дело?

— Помо... можете! — раздался тонкий писк оттуда, где слышалась борьба.

— Славик, окружай! — снова заорал Мишка и бросился сквозь кусты лесопосадки на голос девушки.

Кто-то треща сучьями пролетел мимо.

— Вот он! — заорал над ухом Анохина Славик. — Сюда! Сюда! Попался, гад! Я держу его, сюда!..

— Бей его, сволочь! Бей! Держи! — шумел, бесновался Мишка.

Он подлетел к Анохину, приподнял его за грудки и ударил кулаком в нос, потом в глаз. Кровь из носа брызнула на сорочку, на галстук.

Вдвоём они подтащили Николая к рыдавшей в кустах девчонке. Она успела встать и придерживала рукой разорванное платье, прикрывала ноги. Мишка держал Анохина за руки. Николай, отупевший от боли, чувствовал, как кровь текла из носа на кляп, торчащий из его рта. Дышать было почти нельзя расплюснутым носом. Он задыхался, еле сдерживался, чтобы не потерять сознание. Он смутно слышал, как Славик говорил девчонке:

— Не реви! Попался он, гад! Сейчас мы его, гадлу, на части разорвём!.. Не бойся теперь... Сейчас мы его в милицию...

— Я не... не хочу в милицию... домой... — всхлипывала, рыдала девушка.

— Нет, этот гад, пусть ответит! Ишь, повадился, тварь, девок портить!

— Домой... домой...

— Как ты себя чувствуешь? Может, в больницу?

— Нет, нет... домой...

— Что случилось? — подлетел Васька Ледовских.

— Девку изнасиловал, гад!.. Мы вовремя подоспели, схватили прямо на ней!

— В милицию его, чего канителиться! — быстро проговорил Васька Ледовских и подхватил под руку Анохина.

Мишка вцепился с другой стороны. Кляп изо рта не вынимали, видно, боялись, что Анохин при девчонке станет отпираться. Славик вёл следом за ними всхлирывающую девчонку. Вышли на узкую улицу со сплошными заборами частных домов.

— Смотрите, машина! — воскликнул Васька.

Анохин догадался, что это он насиловал девчонку.

Тускло горевшие фары машины приближались к ним. У Анохина затеплилась надежда: вдруг милиция. Васька замахал рукой, останавливая машину, а Мишка вырвал изо рта у Анохина кляп и отшвырнул в сторону. Николай шевельнул языком. Он был, как деревянный, совсем не слушался. Машина остановилась. Это была та же самая “Волга” с Юркой Кулешовым.

— Насильника поймали! — весело крикнул ему Васька.

Анохина втолкнули на заднее сиденье, а девушку Славик усадил возле водителя. Васька Ледовских весело и бойко проговорил:

— А мне места нету... Да вы и сами справитесь. Я ж ничего не видел! “Волга” рванула, запетляла по узеньким переулкам, пробираясь к шоссе. Девушка молча всхлипывала изредка. Анохин отдышался и хрипло и быстро заговорил:

— Девушка, не верьте им... Это... — Он не договорил.

Мишка резко врезал ему локтем в бок и зажал рукой рот.

— Молчи, тварь, а то разорвём на части!

Анохин мычал, давился, а девушка перестала всхлипать. Голова её, склонённая на грудь, чернела впереди при свете мельгающих мимо фонарей.

### 13. Убийство

Сарычев ждал звонка из милиции, с нетерпением ждал, измучился, измаялся: вдруг сорвётся, вдруг что-то помешает, ведь может такое случиться, что девки в эту ночь будут возвращаться только большими группами. Тогда что делать? Сарычев стоял в темноте у открытого окна, слушал, как надрываются лягушки в небольшом озёрке неподалёку, как щёлкает, тренькает соловей, как смеются на улице за забором подростки. Телефонный звонок разорвал тишину. Сарычев впотьмах бросился к тумбочке с телефоном, опрокинул стул. Нашарил телефон, схватил трубку, услышал:

— Товарищ капитан, сексуального маньяка поймали!

— Еду! — вскрикнул он и кинул трубку.

Анохина и девушку привели в милицию в одну комнату. В голове у Николая вертелось одно: как объяснить девушке, что не он насиловал, чтобы она поверила? Как улучшить момент, чтобы его сразу не вырубил? Конопатая рыжеволосая девушка не поднимала головы, придерживала рукой порванное платье, закрывала выпачканные в земле колени. Едва их усадили на стулья вдали друг от друга, объяснив дежурному, что насильника поймали, надо срочно вызвать начальника милиции, как Анохин заговорил громко и быстро:

— Девушка, я из газеты, я узнал о махинациях директора фабрики и секретаря райкома. Меня хотят посадить...

— Заткнись, гад! — ударил его кулаком под дых Мишка, но промахнулся, попал чуть ниже, в живот, и Анохин закричал, показал девушке свои руки.

— Я был связан в кустах... Видишь, руки... И галстук, галстук... На насильнике галстука не было!

Кожа на кистях рук Николая была сорвана верёвкой, окровавлена.

— Заткнись! — снова ударил Мишка Анохина.

К нему на помощь бросился Славик. Они пытались вырубить Николая, били его, хватались за лицо руками.

Но он мотал головой, кричал:

— Это они! Они!

Дежурный милиционер, крупный, полноватый и мешковатый парень, ничего не понимал, пытался остановить избиение. Мишка со Славиком вытащили Анохина в коридор, попинали на полу. Милиционер еле отбил у них Николая, который совершенно перестал сопротивляться, лежал на полу трупом, еле дышал. Боли он уже почти не ощущал. Всё тело было сплошная боль.

— Оставьте его, убьёте! — кричал милиционер, отталкивая их от неподвижного Анохина.

Он помог Николаю подняться, усадил в обшарпанное деревянное кресло у стены.

— Его убить мало! — выкрикнул Мишка и вытер пот.

Дежурный вызвал двух милиционеров и указал на Анохина:

— Отведите его в изолятор!

Анохина увели, а дежурный вместе с Мишкой и Славиком вернулись в комнату, где сидела, дрожа, испуганная насмерть, изнасилованная девушка, сидела она с одним желанием: поскорее бы всё кончилось и домой. Больше всего её мучило то, что теперь всё Уварово узнает о её позоре. Не скроешь, если будет суд. И до деревни сразу дойдёт. Стыдно, как стыдно! На улицу не выйдешь, на глаза никому не покажешься! Как только дежурный милиционер вернулся в комнату, она, жалобно всхлипывая, заговорила, забормотала:

— Отпустите меня... я пойду... отпустите...

— Куда же ты пойдёшь? Автобусы давно не ходят. Мы тебя отвезём, — с сочувствием ответил дежурный.

— Отвезите, дяденька... мне больше ничего не надо... дяденька...

— Какой я тебе дяденька, — улыбнулся дежурный. Ему на вид тридцати лет не было. — Сейчас оформим заявление...

— Не надо заявлений... я не заявляю... — по-прежнему жалобно бормотала девушка.

— Как это ты не заявляешь! — громко сказал, входя в комнату, Сарычев. — Если мы будем бандитам всё прощать, то их столько разведётся... Нет, прощать мы не будем!

Девушка быстро вскинула на него голову, взглянула и тут же снова опустила. Сарычев сразу определил, что она из деревни, забитая, перепуганная. Такой что угодно внушить можно. Он решил, что повезло ребятам, что нарвались на такую.

— Успокойся, успокойся, — продолжил он, стараясь говорить доброжелательно. — Идём ко мне в кабинет, сейчас всё запишем...

На Мишку со Славиком он не обращал внимания, и они молчали.

— Я не хочу заявления, — упрямо повторила девушка.

— Почему так? — сделал удивлённое лицо Сарычев. — Совершенно преступление!

— Не хочу, — тихо, но твёрдо, прошептала девушка.

— Как тебя зовут? — совсем ласково спросил Сарычев, начиная понимать, что ошибся, решив, что им повезло с девчонкой. Забитая, но упрямая. Упрётся, не напишет заявления, и всё сорвётся.

— Валя...

— Ты, Валюша, не бойся. Он теперь тебя не достанет. Решётки у нас крепкие... А вы кто такие? — Сарычев сделал вид, что только что обратил внимание на Мишку и Славика. — Это вы задержали преступника?

— Да, да, мы! — дружно закивали бандиты.

— Ну что, товарищ лейтенант, — обратился Сарычев к дежурному, — совершенно преступление, опросите свидетелей, потерпевшую, оформите всё, как положено. А Валя завтра успокоится и решит — писать ей или не писать заявления. Правильно, Валюша?

Девушка не ответила, только всхлинула.

— Так, что произошло и как? — спросил Сарычев.

Валя молчала, опустив голову. Её рыжие волосы закрывали лицо. Сидела она, сжав колени, натянув на них грязное порванное платье, скукожившись, маленькая, жалкая. Сарычев, глядя на неё, почувствовал раздражение. “Дура недоделанная! Её изнасиловали, а она, сука, молчит!” Он перевёл взгляд на Мишку, и тот заговорил:

— Идём мы, эта, со Славиком по лесопосадке, слышим шум, крик, а там этот хмырь, — показал он рукой на дверь. — Мы туда, а он, эта, на ней... услышал и удирать! Ну, мы его, эта, скрутили! И вот привезли, — указал он рукой на девчонку. — Жалко её!

— Конечно, жалко! А кому не жалко! Уничтожить бы таких сволочей на месте без суда и следствия, — выругался Сарычев. — Ладно, вы всё запишите подробно, в деталях... Валя, а ты откуда возвращалась? Или с ним была?

— Мы с работы шли, — буркнула Валя, не поднимая головы.

— Значит, ты не одна была? Кто ещё с тобой был? Куда он делся? Или ты с ним шла с работы?

— Мы с Ленкой шли, с маслозавода... С Ленкой Лагиной...

— Понятно. Ты и Елена Лагина возвращались с работы с маслозавода. Записывайте, товарищ лейтенант!

— Отчество твоё как и фамилия? — спросил дежурный.

— Покровская Валентина Николаевна...

— Итак, шли вы с работы... Дальше?

— Идём... А тут из кустов кто-то... как прыгнет... схватил меня... — Девушка снова зарыдала.

Сарычев подошёл к ней, похлопал по спине ладонью, успокаивая.

— Ладно, ладно, всё позади, не реви!.. А Ленка куда делась?

— Убежала...

— Понятно... Записывай, — кивнул он дежурному. — Он схватил тебя, повалил, платье порвал? Так?

Девушка рыдала и кивала, всхлипывала:

— Ду-шил... и-и... насиль... ничал...

— Душил?! — воскликнул радостно Сарычев. — Это важная деталь! — повернулся он к лейтенанту. — Отметьте это непременно. Важнейшая деталь!.. Ты у него не первая жертва... Слышала, наверно, как какой-то подонок месяц назад также девчонку изнасиловал и задушил. Всё Уварово шумело... Тоже так выскочил из кустов, схватил, изнасиловал и задушил! Ах, сволочь, попался наконец!

— Он говорит... не он... подстроили... — всхлинула Валя. — И он с галстуком, а у того не было. Я видела...

— Кто не он? Кто подстроил?

— Ну, тот...

— Товарищ капитан, — пояснил дежурный лейтенант, — насильник-то замредактора нашей газеты Анохин. Вы знать его должны...

— Да-а?! Анохин?! — воскликнул Сарычев, стараясь показаться поражённым. — Не верю! В такое поверить невозможно!

— Он говорил... тут... чего-то он раскопал на фабрике, вот его и хотят посадить! — Дежурный выразительно показал глазами Сарычеву в сторону Мишки, намекая, что тот сынок директора фабрики.

“Накладочка! — похолодел Сарычев. — Надо было на насилие Мишку направить, а Васька здесь бы справился. Ай-яй-яй!.. Болваны! — выругался он про себя. — Зачем же они его в дежурку тащили? Надо было сразу в изоллятор!”

— Ничего, завтра разберёмся! — бодро ответил он лейтенанту. — Ты видел хоть одного преступника, который бы сразу признался, а не валил на других? Все они крутиться начинают, ходы искать, версии придумывать... А этот не дурак, ещё поводит нас за нос... Ты записал всё? Как появились эти ребята, как он убежал, как поймали... Ну-ка, дай-ка, я прочитаю... — Сарычев взял лист у дежурного, пробежал глазами. — Всё вроде так... Валюша, посмотри и подпиши! Происшествие мы обязаны зафиксировать, ничего не поделаешь... Подписывай, и мы тебя домой отвезём...

Девушка взяла листок дрожащими руками. Он затрясся в её руке, зашелестел в наступившей тишине. Сарычев напрягся: подпишет — не подпишет?

Видела ли строчки Валя, понимала ли их в своём состоянии? Смотрела, смотрела на шелестящий листок, медленно положила его на стол. Неужели не подпишет? Силой не заставишь!.. Валя потянулась за ручкой, подержала её над листком... и подписала. Сарычеву хотелось схватить лист со стола, спрятать. Он еле сдержался, чтобы не выдохнуть с облегчением.

— Возьмите, — кивнул Сарычев лейтенанту, указывая на лист. — Я сейчас...

Он вышел из дежурки и направился в свой кабинет на второй этаж, чтобы позвонить Долгову. Понимал, что секретарь райкома теперь измучился в ожидании, да и посоветоваться надо, как быть с девчонкой? Во-первых, неизвестно, напишет ли она заявление, скорее всего, не напишет. Это усложнит дело: как судить, если потерпевшая не имеет претензий? Но всё же это полбеды! Главное, во-вторых, даже если напишет, то брякнет на суде, что не уверена, что именно Анохин её изнасиловал, расскажет, что он говорил, что его подставили из-за директора фабрики. Всё шито белыми нитками! Всё просто! Вся придуманная интрига трещит по швам.

Всё это Сарычев рассказал Долгову.

— Что ты думаешь делать? — спросил секретарь райкома сердито. — Завязал узелок, развязывай!

— Один выход... — вздохнул Сарычев.

— Какой?

— И девчонку, и его...

— А завтра и тебя, и меня... Так?

— Девчонка потрясена... от позора она покончить с собой готова... Так бывает! Ну, а он... Такие перспективы перед ним открывались, и вдруг всё рухнет... Тоже нервы могут не выдержать. И он повесится... в камере...

— Погоди, думаю, — сказал Долгов.

Помолчал.

— Девка может... Это достоверно... Но чтоб свидетели были...

— Будут.

— И правдоподобно... А он нет... Он же в камере, без шума не сделает... Лишние свидетели!.. Нам не поверят... В Тамбове — возможно, а у нас — нет... Завтра его затребуют в Тамбов... И плёнка нам нужна, плёнка... Надо узнать, не передал ли он её кому?

— Если будет суд, он и на суде будет гнуть своё... Всё расскажет!

— До суда надо дожить!.. Впрочем, и не такие ломались... Зиновьев с Бухариным покрепче были, а что подписывали!.. Это уж не твоя забота... Действуй!

Ободрённый Сарычев вернулся в дежурку. Выход хороший найден! Если девчонки не будет, то подруга её Елена Лагина всё достоверно распишет на суде, даже Анохина узнает. Когда его из камеры привезут на суд, у него



видок будет ещё тот, ничего интеллигентного не останется. Такая бандитская рожа будет! Что бы он ни вякал на суде, кто ему поверит!..

— Так, — сказал он в дежурке, — давайте сначала Валюшку домой отвезём, чего ей здесь томиться? А потом уж вы собственноручно опишете, как дело было...

— Позвать сержанта Новикова? — спросил дежурный. — Он отвезёт.

— Я сам... На своей... Вдруг вызов срочный, а дежурной машины нет. Я с ними отвезу, — указал Сарычев на Мишку со Славиком. — Пошли!

В машине всю дорогу была тишина. Все молчали. Возле пешеходного моста через железнодорожные линии неподалёку от вокзала Сарычев вильнул, сделал вид, что объезжает яму на дороге, переключил скорость, быстро и незаметно выключил зажигание и тормознул. “Москвичок” его дёрнулся и заглох.

— Что это с ним? — пробормотал Сарычев, вылез из машины и поднял капот. Сделал вид, будто осматривает, а сам снял провода с двух свечей. Закрыл капот, вернулся в машину и начал крутить стартёр. Машина чихала, но не заводилась.

— Ну, зараза! — выругался Сарычев, снова вылезая из кабины. Он покопался немного в капоте и крикнул: — Ремень потеряли!.. Славик, помоги поискать. Он где-то рядом слетел...

Славик вылез из машины. Они отошли немного назад, и Сарычев шёпотом быстро объяснил, что нужно делать. Вернулись, снова покопались в моторе.

— Нет, без ремня не обойтись, — с горечью сказал Сарычев и выругался, пнул ногой по колесу. — Зараза!.. Ребята, тут недалеко осталось, минут двадцать. Проводите Валюшу, а завтра я жду вас в милиции... Не в службу, а в дружбу...

— Я не пойду с ними! — вскрикнула девушка испуганно. — Только с вами! Или я здесь ночую, в машине.

— Чего ты боишься? — притворно удивился Сарычев. — Они же тебя спасли! — А про себя выругался: “Ну, и капризная, стерва!.. Ещё чуть, и я своими руками её задавлю!”

— Нет, нет, без вас я никуда не пойду!

— Раскурочат машину, — вздохнул Сарычев, принимая решение. “Приказывать-то легко, — подумал он. — А вот как самому... Назад пути нет!”

— Хорошо, я пойду с вами!

Он запер машину, и они стали подниматься по бетонным ступеням на высокий мост.

“Хорошо, что в Уварово железная дорога не электрифицирована, — подумал Сарычев. — За провода не зацепится!.. Да, приказывать легче!” Сердце его, чем выше они поднимались, тем сильнее билось. Он смотрел вниз, не приближается ли поезд, нет ли движущихся вагонов, чтобы сбросить не на голые рельсы, а под поезд. И ещё смотрел, нет ли пешеходов? Было пустынно. Сопел неподалёку тепловоз, фыркал, скрипели лениво где-то вдали железные колеса, стучали важно, но в полутьме не видно было поблизости движущихся вагонов. Под мостом на крайних дальних путях стояли два грузовых состава. Поднялись наверх, двинулись по широкому бетонному мосту с высокими железными перилами. Сарычев взглянул на Славика: пора. Тот приотстал, и вдруг сзади изо всех сил ударил девушку по голове, оглушил, обхватил руками, приподнял. Мишка растерялся, не понял, стоял, разинув рот.

— Помогай! — крикнул ему тихо Сарычев.

Мишка не знал, что делать, а у Славика не хватало сил одному перекинуть девушку через перила. Тогда Сарычев сам схватил её за ноги и кинул их на перила. Славик толчком сбросил девушку вниз. Они стояли, смотрели, как удаляется, летит вниз, развевается рваное серенькое платье. Им показалось, что падала девушка вечность. Удар о рельсы был глухой, почти не слышимый здесь, наверху. Они кинулись по мосту, по ступеням вниз. Бежали молча. Гулко стучали ногами по бетону. Мост гудел, дрожал под ними. Слетели, спрыгнули с платформы на пути, бросились, прыгая через рельсы, к неподвижному серому бугорку. Издали казалось, что на рельсах лежит куча рваного тряпья.

Девушка не шевелилась, лежала на боку. Крови в полутьме не видно. Сарычев взял её за кисть, стал щупать пульс. И с ужасом нащупал. Палец явно ощущал слабые толчки.

— Жива! — шепнул он и ногой подтолкнул к Мишке камень. Их много валялось меж путями. — Бей! — указал он на висок девушки. — Быстрей!

Мишка медленно поднял камень, растерянно глядел на капитана: не отменит ли он приказ.

— Давай! — яростным шёпотом крикнул Сарычев.

Мишка взмахнул рукой, опустил на висок девушки камень. Потом ударил ещё раз изо всех сил.

— Довольно! Понесли в машину!

— Куда теперь её... — прошептал Мишка. Он не понимал, зачем нужно было убивать девку.

— В больницу... видишь, не выдержала позора, прыгнула с моста, — сердито сказал Сарычев. — А мы не углядели! Откуда мы знали, что у неё на уме... Шла спокойно, и вдруг...

#### 14. Долгов

Рано утром Долгов позвонил в Тамбов Климанову и быстро рассказал о происшедшем за последние сутки. Климанов только кричал, когда слушал очередной поворот событий.

— Не надо бы по телефону... — выговорил он наконец.

— Понимаю, но дело срочнейшее. Как быть с Анохиным? Он первому же следователю всё расскажет... Здесь он не пешка. Поверит — не поверит следователь, а бумагу составит и в дело пришьёт. Не один читатель найдётся...

— Срочно его сюда, сию минуту отправьте с серьёзным сопровождением. Комнату его опечатайте! Нам нужна плёнка. Здесь он скажет, где её прячет!

— Мы всю комнату обшарили...

— Видно, плохо шарили... Везите его в Тамбов. Слишком серьёзное дело для районной прокуратуры... Постарайтесь не афишировать насилие и самоубийство девушки...

Долгов положил трубку и тут же набрал номер телефона Сарычева.

— Сейчас же, срочно отправь Анохина в Тамбов. Усиленный наряд в “воронок”, и сам на машине следом! Всею дорогу глаз не спускай, понял? Пока своими глазами не увидишь, что он попал по назначению, у меня покоя не будет. Вопросы есть? Действуй!

Сарычев немедленно собрался, и через полчаса “воронок” с Анохиным выезжал из ворот милиции. Его сопровождала чёрная “Волга” молодого начальника милиции.

В это время секретарь райкома принимал в своём кабинете редактора районной газеты. Пришёл тот по своим делам. Сидели, разговаривали.

— Твой заместитель меня ошеломил утром, — горько качнул головой Долгов. — Оглушил прямо! Ты в курсе?

— Звонил он мне вчера из Тамбова, обрадовал, — улыбнулся редактор. — Я посчитал, что это вы его рекомендовали... Он парень способный, большая дорога...

— Какая дорога! — воскликнул, перебил Долгов. — Кончилась его дорога! Мне из отдела милиции только что позвонили: изнасиловал он девку ночью, арестован!

— Каля! Изнасиловал?! — откинулся в кресле, побледнел редактор. — Какую девку? Зину? Так он жениться на ней собрался. В Тамбов в загс документы с ней подавать возил...

— Она его невеста? — теперь поразился Долгов. “Неужели эти скоты с его невестой расправились? Ну, скоты, всё запутали! — мелькнуло в его голове, обдало жаром. — Почему же тогда она с собой покончила?”

— Зинка? Покончила? Мать моя! Как? — воскликнул потрясённый редактор. — Тут не то что-то... Я хочу с ним встретиться! Тут что-то не то!

— Сам толком ничего не знаю, — буркнул растерянный Долгов. — Сейчас выясню!

Секретарь набрал номер милиции.

— Сарычева! — попросил он в трубку. — В Тамбове? Когда уехал?.. Какого преступника? Анохина... В Тамбов, значит, увёз... А как зовут ту... девочку, которую он... изнасиловал... Да, да, узнайте... Сейчас узнают, — опустил Долгов трубку и глянул на редактора. — Анохина уже в Тамбов увезли. Утром Сарычев доложил туда, приказали привезти. Дело слишком серьёзное для района... Как, как? — спросил он в трубку. — Валентина? Спасибо!.. — и вымолвил с облегчением. — Валентина её зовут... Дело вот ещё чем осложняется. Нападение по почерку совпадает с апрельским. Помните, маньяк изнасиловал в лесопосадке и задушил свою жертву? Как мне объяснили, нападение однотипное. Но на этот раз случайно ребята неподалёку оказались. Шли мимо, услышали, схватили, говорят, прямо на девке. Вместе в милицию привезли... Протокол составили...

— Как же она покончила с собой?

— Раздолбай! — выругался Долгов. — Домой повезли из милиции, трое было... Она у них на глазах через перила железнодорожного моста сиганула. Рты разинули... Раздолбай!

## 15. Камера

Николай Анохин догадался, что его везут в Тамбов, сразу после выезда из Уварово. Понял это и обрадовался, решив, что там его не достанет Долгов. Там следователи поответственной. Он всё расскажет им. Они быстро разберутся и отпустят его. Николая поташнивало, в животе было беспокойно, крутило, временами схватывало. Наверно, от утренней баланды.

По частым поворотам машины понял, что въехали в Тамбов, и подумал, что где-то совсем рядом находится Зина, может быть, идёт сейчас мимо по улице и не догадывается, в какой он беде. От мысли о Зине сильнее защемило сердце, снова навалилась тоска, такая тоска, словно он узнал, что больше никогда не увидит Зину, не обнимет её.

В следственном изоляторе Анохина ждали, поэтому приняли без проводочек, быстро. Сарычев не был официальным сопровождающим, поэтому в тюрьме в дела не вмешивался, вообще не входил в здание, старался не попасть на глаза Анохину, своему сопернику. Когда ему доложили, что преступника приняли и отправили в камеру, он сел в машину и быстро кинул водителю:

— В Уварово!

Шофёр удивился, глянул на него, проверяя, не ослышался ли он. Прежний начальник милиции никогда так скоро не покидал Тамбов, обязательно места в три заедет показаться, поговорить, пожать руку.

Анохина вначале отправили в одиночку. Шёл он по коридору тюрьмы медленно, осторожно, горбился, всё тело болело. Под глазом синяк, нос распух. Сорочка в тёмных кровавых пятнах. Галстук отобрали в Уварово и не вернули. В камере он лёг на топчан на спину, стал смотреть на тусклую лампочку под потолком и думать, стараться понять, что они будут делать с ним дальше. Он не мог найти объяснения тому, почему его не убили в лесу? Почему не спросили ни разу о плёнке? И знают ли они вообще о ней? Если не знают, считают, что Ачкасов просто познакомил его с документами, тогда логичней убить его, чтобы он не поделился ни с кем информацией. Зачем такая сложная операция с насильем? Неужели они не понимают, что на суде он всё расскажет? И кто насиловал, и за что его подставили. В поведении Долгова Анохин не находил логики, не понимал его. И не мог предугадать, что он предпримет дальше. Вряд ли он решится убить его в тамбовской тюрьме. Значительно проще это было сделать в Уварово, а ещё проще, конечно, на даче, в лесу. Убили, камень на шею и в воду или закопали в лесу. Быстро и незаметно. Значит, что-то ещё придумали. Но что?

В таких раздумьях и тоске по Зине, по матери, в мучениях от мысли — каково им будет узнать о его беде! — Николай Анохин провёл вторую ночь в тюрьме, вторую ночь без сна. Утром после жидкой кормёжки услышал он лязг засовов. Дверь распахнулась.

— Выходи! С вещами! — Надзирателей было двое. — Скатывай матрас.

В коридоре Анохин снова почувствовал резь в животе и попросил:

— Мне бы в туалет...

— Потерпишь, там есть, — буркнул один надзиратель, запирая камеру.

Когда открылась дверь, Анохин подумал, что его поведут на допрос. Он решил сразу написать всё на бумаге и потребовать расследования. Но с постелью на допрос не водят, значит, всего лишь в другую камеру перебрасывают. По коридору вдоль железных дверей вели недолго. Остановились возле одной, и тот же надзиратель, что открывал его камеру, загремел ключами, засовами, а другой сказал с сочувствием:

— Ну, парень, тебе не позавидуешь!

Тот, который открывал, постарше и пожётче, быстро глянул на своего напарника:

— Помалкивай, не твоё дело!

Анохин понял, что его ожидает что-то страшное. Сердитый надзиратель открыл дверь:

— Заходи!

За дверью была большая камера, и, видно, было несколько человек заключённых. Анохин, съёжившись, шагнул через порог и остановился. Жёсткий надзиратель толкнул его в спину и прикрикнул громко:

— Иди-и! Помял крылышки — неси ответ! — и захлопнул дверь.

Анохин не знал, что на воровском жаргоне выражение “помять крылышки” означало изнасиловать девушку. Надзирателю велено было донести до обитателей камеры, что новенький арестован за изнасилование девушки. Анохин стоял у двери, не зная, что делать, куда идти, молча прижимал к себе скатанный матрас с постелью. Он видел, что все обитатели камеры смотрят на него, смотрят недружелюбно, не понимал, что это недружелюбие возникло у всех в глазах после слов надзирателя, на которые он не обратил внимания, просто не услышал их. Анохин увидел свободное место неподалёку от двери и шагнул к нему, но его остановил резкий голос:

— Там занято! Твоё место вон там, в углу, у параша, вместе с петушками!

Анохин остановился в нерешительности, посмотрел на узколицего, который указал ему место у параша. Все молчали, и молчание было враждебным. Николай решил не идти наперекор с первой минуты, не ссориться, и двинулся к нарам, на которые ему указали, кинул на них матрас, раскатал его и сел, не зная, как вести себя, как растопить лёд. Запах в камере был тяжёлый, спёртый, а здесь, в углу, особенно неприятный. Вонь. Камера начала разговаривать, двигаться, шелестеть.

— Как он на Маню похож, — услышал Анохин голос того, кто указывал ему место у параша.

— Не, — возразили от стола. — На Клашку.

— Почему на Клашку?

— Не знаю... Похож, и всё.

— Сейчас узнаем... Маня, Манюша! — громко позвал первый, узколицый.

Анохин слышал разговор, но не думал, что речь идёт о нём, что это его зовут, и не оглядывался, не смотрел ни на кого, сидел на краю нар, сгорбившись, сжимая голову руками. Боль, боль, боль терзала душу. И ужасно тянуло в туалет. Но не хотелось с первой минуты в камере садиться на парашу. И Николай терпел.

— Я говорю, Клаша. Такой розовощёкой и кудрявой Маня не бывает. Смотри!.. Клаша, Клашутка! Ау!.. Не откликается. Жаль! Пошли знакомиться. Может, она глуховата, не слышит...

Двое подошли к Анохину. Узколицый толкнул его в плечо.

— Петушок, о тебе речь ведём, а ты не слышишь, обижаешь...

Анохин поднял голову, увидел перед собой узколицего, худого, с большими жилистыми руками, в наколках. Второй стоял чуть сбоку, плотный, стриженный, беловолосый. Николай молча поднялся, не понимая, чего от него хотят, глядел на их игривые лица.

— Знакомиться пришли.

— Николай, Коля, — хрипло ответил Анохин.

— Ах, Поля! — обернулся узколицый к стриженому. — Видишь, не угдали! Её зовут Поля!

— Николай, — громче повторил Анохин.

— Был Коля, стала Поля, — засмеялся, ощерился зловеще узколицый и потрепал по щеке Анохина жёсткими пальцами. — Ты помял крылышки, а мы тебе наденем юбку! Понаслаждался, дай другим... — Он снова протянул руку к лицу Николая, но Анохин резко отстранился, стукнулся затылком о верхние нары. Он догадался, о чём идёт речь, испугался и быстро заговорил:

— Я не мям крылышки... не наслаждался... ме... ик...

Узколицый сильно ткнул кулаком ему под дых, не размахиваясь. Анохин икнул, согнулся, умолк, а узколицый толкнул его на нары, говоря своему напарнику:

— Поля меня возбуждает... Очень хочется!

— А кто тебе мешает?

— Штаны её мешают.

— Снимем...

— Слышь, Полноня, не томи, — потрогал узколицый за плечо Анохина, который сидел, скрючившись, прижимая руки к животу, тяжело дышал. От удара перехватило дыхание. Уходила, отпускала боль медленно, зато всё мучительней и мучительней било в голову: изнасилуют сейчас! Как быть? Как быть?! Как быть?!!

— Покажи попочку, спусти штанишки! — подпевал, подхихикивал второй, стриженный.

Узколицый больно сжал плечо жёсткими пальцами, рванул вверх Николая, попытался развернуть его задом к себе. Анохин вцепился руками в нары, и тот не сумел оторвать его с первого раза. А когда узколицый ещё сильнее дёрнул за плечо, Анохин отцепился от нар, подскочил и врезал головой ему в живот. Тот отлетел от него, ударился спиной о соседние нары. Николай в ярости кинулся на стриженного, но не ударил его, а схватил за горло. Оба они упали на пол. Все смешалось, завертелось. Его били, пинали, тащили, кричали, хрипели. Чуть ли не полкамеры навалилось на него, помогало узколицему. Он бил, махал руками, катался по полу, хватался за ноги, валил на пол, пытался схватить за горло, бил, кричал, хрипел, не чувствовал боли. Наконец его скрутили, распяли, прижали руки и ноги к полу, стянули штаны. Он дёргался, выл, кричал:

— Я журналист!.. Я не наси...

Ему зажали рот и стали поднимать с пола.

Он ещё яростней, из последних сил задёргал руками и ногами. Вдруг его отпустили, бросили на пол. Раздался хохот.

— Обосрался, гад! Вонючка!

Он не чувствовал, как это с ним произошло. Он лежал на полу, видел перед самым лицом ноги. Попытался подняться, натянуть штаны, но не смог. Рук не чувствовал. Они его совершенно не слушались, как отнялись. И он заплакал.

Яростная свора, которая минуту назад с весёлым азартом топтала его, распинала, тащила на нары насиловать, затихла, увидев, что на полу перед ней лежит в крови и дерьме жалкий, раздавленный человек, дёргается от рыданий, размазывает слезы с кровью по лицу и бормочет:

— Я не насиловал... Я журналист... Я нашел... подпольный цех... на фабрике... секретарь райкома... посадил...

— Что он бормочет? — услышал в тишине Анохин. Чьи-то ботинки появились возле его лица. Кто-то присел на корточки и спросил: — Что за подпольный цех?

— На трикотажной фабрике... Его открыли секретарь райкома и директор...

— Где?

— В Уварово...

- А ты кто?
  - Я зам редактора газеты... Нашёл цех...
  - Понято... Шакал! И ты, Мурло, помогите человеку помыться!
  - Я сам, — бормотнул Анохин, вновь пытаюсь подняться.
  - Помогите, сказал! — жёстко сказал тот, кто расспрашивал.
- Анохина ухватили под мышки, потащили к умывальнику.

## 16. Следователь Макеев

Следователь Тамбовской прокуратуры Макеев Сергей Алексеевич тоже провёл бессонную ночь в одиночной камере. Он тоже всю ночь мучился, страдал, ломал голову, искал пути своего спасения. Несколько раз принимался плакать от бессилия.

В том, что завтра его вышибут из прокуратуры, он не сомневался. С этим он смирился, к этому он готов, и это будет самое лёгкое наказание. Счастливым исход! Худшим был срок, тюрьма, лагерь, где он тут же станет петухом, изгоем. Скорее всего, даже до лагеря не дотянет! Как узнают в камере, что он следователь, придушат в первую же ночь. Биться об стену хотелось Макееву от этих мыслей, от бессилия.

Дёрнул чёрт его вчера вечером потащиться в городской парк! Пивка захотелось. Можно было в другом месте спокойно попить. Нет, в парк потянуло, на природу.

В павильоне многолюдно было, шум. Макеев допивал вторую кружку, когда к столу от автоматов подошёл парень, узкоплечий, кучерявый, розовощёкий. Пена стекала по кружке, которую он держал в руке, и капала на грязный бетонный пол с рассыпанными по нему блёстками рыбьей чешуи. Парень поглядел на Макеева долгим взглядом, ставя мокрую кружку с пивом на стол, и улыбнулся. Макеев понял, кто перед ним, заволновался, чувствуя приятную дрожь, и не удержался, невольно растянул губы в улыбке. Чтобы скрыть волнение, поднял свою кружку и допил остатки пива.

Он хотел быстро поставить кружку на стол и сразу уйти. Тем более что сзади него стоял мужик, нетерпеливо ожидал, когда он допьёт и освободит кружку. Их не хватало всем желающим освежиться в этот тёплый вечер. Макеев поставил кружку, мужик схватил её и ринулся к автоматам. Следователь, поворачиваясь уходить, услышал быстрый голос парня:

— Не торопись!

Макеев заколебался: уйти, остаться? Желание пересилило. Он остановился, решив пригласить парня к себе. Парень большими глотками опорожнил кружку и со стуком поставил её на стол.

— Больше не будешь? — подскочили к нему сразу два человека.

— Не, — мотнул головой парень и шагнул к Макееву.

Кружку сразу слизнули со стола.

— Пошли ко мне, — тихо сказал Макеев.

— Зачем? — уверенно отклонил предложение кучерявый парень. — И тут удобно! — кивнул он в сторону туалета и взял за локоть Макеева, который послушно пошёл рядом с ним в мужской туалет, хотя не хотелось туда идти. Комната у него в общежитии свободная. Никто не помешает. Можно спокойно наслаждаться. Не торопясь кайфовать. Но Макееву парень понравился, и он надеялся, что познакомится с ним, и между ними завяжется долгая дружба.

За два года в Тамбове Макеев не нашёл постоянного друга. Встречи бывали, но редко, да и партнёры намного старше Макеева, спившиеся или спивающиеся.

В туалете многолюдно, вонь. Толпились мужики в основном у стены. Макеев заколебался: не надо в таких условиях, снова сказал парню тихонько:

— Пошли ко мне, тут близко...

Но кучерявый парень молча и уверенно втолкнул его в свободную кабину, накинуд крючок на дверь. Потом развернул Макеева спиной к себе и похлопал по плечу, мол, наклоняйся. Следователь быстро, суетясь, расстегнул штаны, спустил их и, придерживая одной рукой, чтобы они не свалились на мокрый пол, наклонился, расставил ноги.

Через минуту, а может, через две, дверь кабины неожиданно резко громыхнула, крючок вылетел из фанерного полотна с корнем. Раздался шум, вскрики, какие-то яркие вспышки. Парень вмиг отлип от Макеева. Следователь еле успел лихорадочно натянуть брюки, не оборачиваясь, вжикнуть молнией, как кто-то сзади жёстко схватил его за ворот сорочки, рванул из кабины, выволок. Ошеломлённого Макеева подхватили с двух сторон под руки и повели из туалета, расталкивая хохочущих мужиков.

— Гомики!.. Дружинники пидоров замели! — слышались весёлые возгласы, гогот. Кто-то больно пнул Макеева под задницу.

Один из дружинников был с фотоаппаратом.

Всё это вспоминалось, мелькало в голове Макеева в тысячный раз со жгучим стыдом, тоской. Хотелось от отчаяния покончить разом со всем, уйти из жизни. Будущего нет, всё рухнуло...

Макеев еле дождался утра. В девять его, помертвевшего, осунувшегося, ввели в кабинет начальника следственного отдела. И без того жёсткое лицо начальника было особенно хмурым и злым. Только на миг взглянул на него Макеев и опустил глаза. Начальник не предложил сесть, сидел, молчал. Слышно было, как за милиционером, приведшим следователя, захлопнулась дверь кабинета, и стало совершенно тихо.

В открытое окно доносился шелест листьев тополя и слитный гул машин за домом, на улице. Наконец начальник швырнул на стол в сторону Макеева две фотокарточки. Следователь увидел на одной свою голую задницу, наполовину закрытую таким же голым телом вчерашнего партнёра. На другой был остановлен момент, когда Макеев уже выпрямился и натягивал брюки, стоя задом к фотографу. Следователь с некоторым облегчением отметил, что лица его на фотокарточках не видно. Можно будет на суде крутиться, что это не он. Бессмысленно это, конечно, мелькнуло в голове, парень признается, с кем был! И дружинников было четверо. Свидетелей достаточно.

— Какая статья за это? — спросил жёстко начальник.

Следователь молчал, опустив голову.

— Я спрашиваю, какая статья? Знаешь?

— Знаю... — прошептал Макеев.

— Что будем делать?

— Я весь... ваш... только не губите... — вырвалось жалко и жалобно у Макеева.

И снова молчание.

— Я только вчера хвалил вас прокурору, — совсем другим, каким-то грустным тоном проговорил начальник. Макееву показалось, что он вздохнул. — Хотел... да, надеялся важное дело поручить...

— Я выполняю... я всё... — запнулся, захлебнулся Макеев, быстро и преданно глянул на начальника и снова опустил глаза.

Начальник молчал, думал.

— Хорошо, — буркнул он наконец. — Я могу забыть об этом, — указал он вяло пальцем на фотокарточки, — если ты сегодня же добьёшься признания у матёрого преступника... Бери дело, — кинул он Макееву на стол тонкую папку, — вернёшь сегодня с его подписями, и я порву их, — потянулся он за фотокарточками.

Макеев жадно схватил папку-спасительницу. “Своими руками задушу, а выбью признание!” — пронеслось в его воспалённом мозгу.

— Иди, работай!

Следователь быстро повернулся и кинулся к двери. Услышал вслед:

— погоди!.. Постарайся узнать у преступника, куда он спрятал плёнку... И советуя заранее написать протокол допроса...

## 17. Левитан

— Идём, пошепчемся, — подошёл к Анохину плечистый, но с такой короткой шеей человек, что казалось, её совсем нет, что неподвижная голова посажена прямо на плечи.

Николай впервые взглянул на своего спасителя, если так можно было его назвать. Ведь он не вмешался, когда Анохина пытались изнасиловать. Николай к этому времени немного привёл себя в порядок, умылся, сидел на нарах в мокрых брюках. Лицо у него продолжало кровоточить, жгло, горело. Один глаз совсем заплыл. Ничего им не видно. Но Анохин почти не обращал внимания на физическую боль. Душевная была мучительней.

Он был раздавлен, уничтожен, хотелось одного — умереть. Он не соображал ничего, не понимал ничего. При новой попытке насилия он, видимо, не оказал бы ни малейшего сопротивления. Не было ни сил, ни воли. Он уже не жил.

Когда к нему подошёл этот плечистый и пригласил с собой, Анохин послушно поднялся. Рёбра у него болели, ноги болели и дрожали, шагнуть нельзя. В это время лязгнули засовы, дверь открылась, показался надзиратель.

— Анохин, на выход!

Николай стоял на месте, глядел на дверь. Кровь из заплывшего глаза текла по щеке. Ухо надорвано, с запекшейся чёрной кровью. Разбитые губы вспухли. Ноги дрожат, не шевельнуться.

— Поторапливайся! — прикрикнул надзиратель.

Сколько времени прошло с того момента, когда его привели в камеру? Полчаса? Час? Пять часов? Вечность? Что сейчас? День, вечер или ночь? Куда его вызывают?

— Иди, иди, зовут, — подтолкнул его плечистый.

Анохин шагнул, пошёл, прихрамывая, волоча ногу, к двери. Надзиратель ухватил его за рукав, выдернул из камеры.

— Шевелись! Руки назад!

Николай не реагировал на его слова, на толчки в спину, вяло брёл, не видя ни стен, ни дверей, не слышал покрикиваний надзирателя. Привели его в кабинет. Там был какой-то безликий человек, растрёпанный и небритый.

Увидев Анохина, Макеев вскочил со стула, искренне ужаснулся. Не таким он ожидал увидеть сексуального маньяка. Ждал с дрожью, с волнением готовился к борьбе. Взглянув на Анохина, он сразу понял, как нужно вести себя с ним.

— Эк, как тебя разделали! — воскликнул он сочувственно и, выхватив платок из кармана, стал осторожно, чтобы не причинить боль, вытирать кровь с лица Анохина, приговаривая:

— Звери! Звери!.. Ты садись, садись... Сейчас мы тебя к врачу... Мигом подпишем бумаги и — к врачу... И из этой камеры уберём... Ох, звери!

Николай сел. От сочувственного голоса непонятого человека вновь захотелось заплакать. Слёзы защекотали ресницы, ослепили его.

— Сейчас мигом, мы мигом... Держи! — сунул ему ласковый человек в руку авторучку и придвинул какие-то листки. — Подписывай здесь! И к врачу!

Анохин послушно расписался.

— Теперь здесь... здесь... здесь... — Николай подписывал, подписывал. — Вот и хорошо! — радостно выдохнул безликий человек и крикнул: — Иванов, в медпункт его!.. — И снова Анохину. — Ты молодец! Я не ожидал, честно скажу, никак не ожидал... Камень с плеч... Держи! — всунул в руку Николаю свой окровавленный платочек. — В медпункт его!.. Не, погоди... Может, ты скажешь, где плёночка, а? Шепни, только шепни!

— Ка... кхе... Какая плёночка? — еле выговорил Анохин.

— Ну та, та!

Сознание медленно прояснялось, очищалось. Анохин смотрел на безликого человека, который придвинулся к нему так, словно действительно ожидал, что Николай шепнёт, и боялся, что не услышит. И Анохин шепнул:

— Что я подписал?

— Да протокол, — отмахнулся скользкий человек. — Забудь о нём. Это прошлое... Как насчёт плёночки?

— Покажите, что я подписал...

— Ладно, ладно, до завтра! В медпункт! Ты его заслужил... А с камерой погодим... Вспомнишь о плёночке, постучи, переведём в другую...



Хэ-хэ-хэ! — засмеялся радостно Макеев. — А мне говорили — крепкий орешек!.. Не таких раскалывали...

Из медпункта привели Анохина в камеру — всё лицо в зелёнке. Встретили его сокамерники молча, насторожённо. Боялись, что он рассказал, кто учинил над ним расправу, и зачинщики окажутся в штрафном изоляторе. Надзиратель спокойно захлопнул за Анохиным дверь, не потревожив никого. Николай побрёл в свой угол, но спокойный бас остановил его:

— Канай ко мне, журналиста! — позвал его плечистый к столу, поднимаясь.

В дальнем от параша углу под окном они присели на нары напротив друг друга. Плечистый взглянул на лежавшего через нары от них парня в майке, и тот молча вскочил и ушёл к столу, где начали громко перемешивать домино, продолжать игру.

— Левитан — кликуха моя! — вполголоса представился плечистый. — Голос у меня такой... Не слышал ничего о Левитане?

— Диктор был...

— О дикторе все слышали... Я говорю о себе. Обо мне многие знают... Вижу, далёк ты от нашего мира... А ты значит, Николай...

— Анохин.

— Тоже ничего не слышно было о тебе в нашем мире, — усмехнулся Левитан.

Сидел он неподвижно, разглядывая Анохина острыми глазами. Лицо у него спокойное, мёртвое. Только губы шевелились. Страшный человек! В другое время Анохин постарался бы поскорее уйти от него, держался бы подальше, но теперь понимал, что жизнь его, по крайней мере, в ближайšie дни в руках этого страшного человека. Он может стать его защитником, а может и палачом. Здесь его мир, здесь он полноправный хозяин.

— Расскажи-ка свою историю... и поподробней, ничего не упусти. В мелочах главное. Не торопись, у нас времени много. Я слушаю...

Анохин начал рассказывать с того момента, как к нему приехал Ачкасов.

— погоди! — остановил его Левитан. — Начни с того, как ты попал в газету, как работалось, какие у тебя отношения были со всеми действующими лицами раньше... Поехали...

Сидели часа два. Анохин рассказывал, а Левитан бесстрастно уточнял, спрашивал, особенно заинтересовала его поездка в Тамбов.

— Интересная история, интересная, — приговаривал тихим басом Левитан. — Приключенческий роман... Плёнка тебе спасла. Пока её нет у них в руках, ты жив. Найдут — через час умрёшь... Загадка: как они о ней пронохали?... Ачкасов подружке проговорился? Сомнительно! Знал, что за ним охотятся... Сомнительно...

Рассказывая, Анохин заново пережил все свои радости и страдания за последние два дня. Теперь они были отдалены от него на многие десятилетия, которые отодвинули всю прошлую жизнь далеко-далеко, сделали её невозвратной, далёкой, счастливой мечтой. Главное, рассказывая, он успокоился, голова снова стала ясной, снова пришли силы, желание бороться за свою жизнь.

— Что я подписал сейчас? — спросил он.

— Смертный приговор, — ответил Левитан. — Как я понимаю, ты подписал протокол с признанием в изнасиловании двух чужих и в убийстве одной. На суде свидетели и потерпевшая подтвердят твои показания. Смертный приговор обеспечен!

По мере рассказа Анохина в голове Левитана зрел план. Он услышал много интересного для себя и крутил, крутил в мозгах, продумывал свои действия. План хорош был при быстром, молниеносном исполнении. Какая счастливая случайность, что этот лох оказался в одной с ним камере! Не случайность это, не простое стечение обстоятельств. Послан журналист к нему Богом либо дьяволом! Неважно — кем, главное — послан! Может быть, главное назначение этого парня на земле — вот эта встреча с ним, Левитаном, здесь, в камере, его сообщение Левитану, что всё подготовлено для решительных действий. Плёнка готовилась для него, Левитана. Парень сделал

своё дело и должен уйти, умереть, исчезнуть. В планах Левитана для Анохина не было места. Он не стал советовать ему, как вести себя с обманувшим его следователем. Только сказал:

— В Уварово тобой занимались не очень умные люди. Тебя вытащили в Тамбов кто-то поумней, помощней. Я не знаю, как ты можешь с ним справиться. Твоё счастье, что плёнку не нашли. Найдут, и суда не понадобится... Забыют до кобздеца, — повёл глазами Левитан в сторону стучащих в домино обитателей камеры, — по приказу, а запишут — загнулос от сердечной недостаточности. И тишина!.. Раз уж ты мне доверился, колись до конца. Может, я тебя смогу спасти. Это твой единственный шанец... В ином любом случае — карачун: либо зелёной лоб намажут, либо здесь, в камере... Базлай, где плёнка?

— Как же вы её отсюда достанете?

— Это моё дело! Я врубаюсь...

Анохин рассказал.

— Иди, отдыхай... Можешь спать спокойно. Тебя не тронут... К следатку, как я понимаю, тебя теперь не скоро позовут. Если вообще позовут. Иди, дыши спокойно, жизнь хороша даже в камере. Это ты скоро поймёшь!

Николай добрёл до своих нар, опустилс на них, осторожно прилёг на одеяло, но глаза не закрыл, стал смотреть, как Левитан что-то быстро пишет на клочке бумаги. Написал, поднялся и пошёл к двери. Постучал. “Сейчас выдаст следователю, где плёнка!” — подумал Анохин, но подумал бесстрастно, равнодушно, словно это его не касается, словно ему всё равно. Будь, что будет. Он видел, как приоткрылась кормушка, как на мгновенье появилось лицо надзирателя, но Левитан заслонил собой кормушку, видно, что-то говорил надзирателю. Говорил недолго. Кормушка захлопнулась. Левитан с каменным лицом побрёл к столу. Анохин закрыл глаза.

Утром и днём Анохина никто не беспокоил. Он лежал на своих нарах, постанывал про себя — болело все: и душа, и тело. Ему казалось, что год прошёл, как он был в Тамбове.

Не верилось, что всего четыре дня назад он, счастливый, держал за руку Зину, подписывал заявление на регистрацию брака с ней в Тамбовском загсе, обнимал её вечером. Непонятно, что было безумным сном: тот счастливый день или эти ужасные три дня. Слёзы непрерывно текли из его глаз. Он отворачивался ото всех, утыкался в подушку, чтобы не показывать уголовникам своей слабости.

В камере было душно, несло вонью от параша, рядом с которой лежал Анохин. Обитатели камеры разговаривали громко, шумели, смеялись, когда проигравшие в домино начинали приседания или лезли под стол.

Вечером к Анохину подошёл бугор, староста камеры, легонько толкнул в бок, сказал повелительно:

— Перейди к окну! Там свежее!

Один из сокамерников скатывал матрас на нижних нарах у окна, освобождая место. Бугор, видя, что Анохин колеблется, бросил твёрдо:

— Иди! Потом к Левитану... Зовёт!

Анохин молча скатал матрас вместе с простыней, одеялом и подушкой и перенёс к окну. Подальше от параша, поближе к Левитану. Здесь, действительно, было свежее, не так воняло. И светлее.

Левитан ждал его, сидя на своих нарах.

— Садись, — указал он напротив. — Не наклеил ты мне нос, не одурачил!

— Нашли?

— На месте была... Не пойму я, как о ней узнали в райкоме? Как? Мент спалить не мог, его сразу заглушили... Может, ты упустил что-то в своей байке? Может, ты невесте базарил о ней?

— Нет, нет! — воскликнул Анохин, качая головой. — Только Перельгину и всё, а он не мог...

— Кому, кому? Давай-ка, пробазарь мне весь тамбовский день по секундочке. Я весь большое ухо...

Анохин начал вновь вспоминать, рассказывать, что произошло с ним в Тамбове с того момента, как он вышел из пригородного поезда. Левитан

кивал, подбадривал, коротко спрашивал, уточняя. Особенно почему-то интересовался встречей с Сарычевым и Зиной на пляже под деревом, которая казалась Анохину незначительной, неважной, не имеющей отношения к последующим событиям. В первый раз он вообще о ней умолчал. Не говорил и о том, что Перельгин очень хотел стать главным редактором газеты.

— Суду всё ясно! — сказал довольный услышанным Левитан. — Теперь огласи поподробней Долгова, Перельгина, Сарычева. Что за люди? Чем дышат? Чем живут? Чего хотят?

Слушал активно, задавал вопросы, уточнял.

— Мощный пахан стоит за ними! Сила!.. Он тебя, как муху сонную прищёлкнул бы, да плёнка мешала... Золотая плёночка!.. А байка твоя проста и стара... Финал известен... А дальше начнётся другая пьеса...

— Откуда они узнали?

— Дружок твой Перельгин стукнул, чтоб с дороги тебя убрать!

— Не может быть! — воскликнул Анохин.

— Откинешь копыта наивным, — вздохнул Левитан. — Загнёшься, и невеста твоя станет женой мента Сарычева!

— Почему? — Анохин был ошеломлён этими словами.

— Жизнь, — хмыкнул Левитан. — Уверен я, последний акт твоей жизни идёт по чертежу Сарычева... Иди, думай... Если выживешь, попадешь в зону, сразу иди к пахану, скажи ему: Левитан кланяется, и непременно скажи, что ты оказал мне большую услугу. А я завтра же буду на воле... Здесь будь спокоен, к тебе больше никто не прикаснётся, даже если прикажут приглушить тебя. Но они не прикажут, я их знаю, не тронут, уже не тронут... Судить будут!.. Ступай!

Левитан угадал: на другой день его выпустили.

## 18. Зина

Зина приехала в Уварово ночью, с последним поездом. Сидела в вагоне, представляла, как встретится сейчас с Николашей, как обнимет его, как прижмётся к милому телу мужа. Да, он теперь её муж, её половина, сильная половина. Её надежда и опора. Она всё время вспоминала ночь с ним, счастливую, безумную, нежную ночь, вспоминала и со стыдом, и со счастьем. Она не ожидала, что так хорошо прижиматься к мужчине, что так хорошо лежать на плече Николаши. И стыдилась, и желала быть у него в комнате наедине. Это неизбежно! И завтра же они будут у него в комнате вдвоём. Хорошо, что у него своя комната! В Тамбове им, наверно, сразу дадут однокомнатную квартиру. Должность у Николаши довольно высокая, номенклатурный работник. Не будут маяться по квартирам.

На вокзале её никто не встретил. Стояла на условленном месте, ждала, разглядывала быстро пустеющий зал ожидания. Нету! Опоздал, что ли? Ну, я ему покажу! Хорош жених! Не буду больше ждать... Зина еле успела втиснуться в последний переполненный автобус.

А дома удар!

— Доченька, беда-то какая! — бросилась к ней мать.

— Что, что?! С папой... — Но отец вышел из комнаты, вышел понурый.

— Колю арестовали!!

— За что?!

— Ой, позор какой! — причитала мать. — Говорят, девку изнасиловал... Ой, позор!

— Николаша изнасиловал?! Ты что! Ты кому поверила? А я подумала, правда беда! Завтра же Сашка Сарычев отсутит...

— Ой, ой, глупая... и убил! Убил!

— Ты чему веришь? Ты что? Ты представляешь, что ты говоришь!? — рассердилась на мать Зина.

— Ой, дура! Ну, дура!

— Хватить ныть, я есть хочу! Завтра Николаша будет сидеть за этим столом!

— Его уже в Тамбов увезли! Сам Сашка, Александр Кириллович нам говорил... Уж два дня назад!

— Ни за что я не поверю, чтоб Николаша кого-то изнасиловал, убил! Глупость! Мы ведь с ним... только заявление подали! Понимаешь!

— На другой день он и изнасиловал...

— Мам, ты понимаешь, что говоришь! Мы... мы заявление подали, и он от радости изнасиловал и убил? Вот так... Всё просто...

— Девка с моста прыгнула... насмерть... — глупо проговорил отец.

Он до этого молча стоял в двери, слушал, как громко говорят, кричат нервно жена с дочерью. Тяжко ему было думать, что почувствует дочка, когда узнает, что её жених изнасиловал девку. Ой, тяжело! А теперь, слушая дочь, он вдруг начал успокаиваться, спрашивать себя: действительно, почему они поверили безоговорочно, что Николаша мог кого-то изнасиловать? Разве он похож на насильника, маньяка, как теперь представляет его народная молва? В Тамбове не дураки, разберутся скорей, чем здесь. Николаша тоже не телёнок, за себя постоит.

— Так что же? — спросила сердито Зина. — Убил или сама прыгнула? Или сначала он её убил, а потом она прыгнула с моста?

— Ты не шути, не шути! — сердилась мать. — Свидетели есть. Прямо на месте его схватили! А девка потом уж, от позора... Ой, позор какой!

— Ты мне хоть сто свидетелей представь, всё равно не поверю!

— Ладно, верь — не верь, утром узнаешь! — проворчала мать, направляясь за посудой.

— А может, и правда это... не он... А мы поверили! — произнёс отец.

— Ага, неправда... И ты туда же. Сашка врать будет... Он сам девку домой возил, когда она сиганула с моста! Чего же ей, эта, прыгать!

— Так, может, не он... Было, да не он!

— Дак, его же на месте поймали... И она признала его... Вот беда!

Ночь Зина не спала, мучилась: неужели Николаша смог изнасиловать? Был с ней, было так хорошо обоим! И он был счастлив! Ведь был же, она видела, чувствовала! Не мог он, не мог! Это какое-то недоразумение! Одно и то же крутилось в голове всю ночь. И слёзы, слёзы...

*(Продолжение следует)*

ВАЛЕНТИН НЕКЕНОВ



## Я ПОГИБ ПОД НОВЫЙ ГОД

РАССКАЗ

Я погиб под Новый год. За два или три дня. Я не могу ответить точно, так как моя смерть наступила то ли незадолго до полуночи, то ли после. Близость к празднику, безусловно, придаёт гибели трагичности. Сразу же представляется предновогодняя суета, гирлянды, магазины и продуктовые рынки, полные людей, и где-то в это же время темнота, разрывы снарядов, промзона разрушенного города и кровь, стекающая на грязный бетон. В моём родном Красноярске, должно быть, сейчас идёт снег. А может, разыгралась метель. Белая чистая метель.

Я приехал в Донбасс в марте. Тогда, задолго до мобилизации, война была уделом либо профессионалов, либо, как это правильно сказать, романтиков или отщепенцев — можете сами подобрать слово для таких, как мы, — не имеющих военного опыта, не служивших, да, скорее всего, и не пошедших бы служить, не случись война.

Да, слово “отщепенец” будет употребимо ко мне, хотя оно звучит, пожалуй, слишком трагически, а впрочем, после своей гибели я ведь имею право на трагизм — странно, что я всё ещё забываю об этом. По-прежнему на моём лице улыбка, которую принято называть скромной и стеснительной и от которой мне, признаюсь, хотелось избавиться — слишком уж она мне казалась робкой. Может, поэтому я и отправился на войну, хотя и на войне улыбка была всё тем же моим спутником. Она всегда нравилась людям, а может быть, они были просто спокойны и довольны, что не видят во мне соперника.

---

*НЕКЕНОВ Валентин родился в 1987 году в Элисте. Окончил СПбГУ и Токийский университет. Участник мастерской для молодых авторов журнала “Наш современник” в 2021 году. В настоящее время работает военным корреспондентом проекта WarGonzo.*

Соперника в чём? Полагаю, в жизни, соперника за жизнь и её атрибуты в виде денег, женщин, позиции в обществе, которая, согласитесь, неизменно выстраивается, пусть это общество и из пары человек. Впрочем, я использую слишком жёсткие слова, всё не так уж плохо. Так вот. Я приехал на войну.

Первое, что запомнилось в подразделении, — это деревянные беседки и залитый южным весенним солнцем двор располагаи. Началась моя служба на позиционной войне в духе Первой мировой. К нашему поколению пост- или метамодерна неожиданно поступался уже спроваженный железный модерн. Несколько дней окопов сменялись увольнительными в Донецке.

Хорошо помнится лето, всегда открытый и галдящий бункер нацболов, — я приехал через них, — куда непрестанно захаживали ополченцы, гуманитарщики, журналисты и бог знает кто ещё. Это было непрерывное движение людей под музыку и алкоголь. И если вы думаете, что мы ставили тяжёлые давящие военные песни и такую же тяжёлую водку, то нет! Чаще всего это была Мэйби Бэйби под коктейли с энергетиками. Эта кукольная певичка и подростковые энергетика и стали символами этой войны. Самой масштабной после Великой Отечественной.

Наши с противником окопы разделяли триста метров заминированного поля. Столь близкое расстояние исключало работу тяжёлой артиллерии. Мы перестреливались гранатомётами, стрелковым, а, увлечшись, подключали миномёт союзников. Установился даже своеобразный распорядок дня. Как правило, утром было тихо. Можно было спокойно выйти из блиндажа умыться, приготовить пищу, поставить чайник. После полудня мы брали пулемёт, РПГ, “шмеля” и принимались за работу. К пяти-шести вечера наступала уже очередь противника. Спустя час-полтора всё стихало.

Конечно, всегда существовала вероятность попасть под выстрел “не по расписанию”, подорваться на растяжке, в том числе своей, о которой ты мог забыть или даже не знать, и такое, надо сказать, случалось. И благодаря этой неявной, но всё же действительной опасности я находил в минуты сомнений оправдание своему приезду, находил противоядие от недовольства собой или окружающими. Удивительно, каким творческим потенциалом обладает близкая смерть.

Наступила осень. В Харьковской области, под стать ухудшающейся погоде, произошло серьёзное отступление. Напротив, “вагнера”, как всегда, несмотря ни на что двигали фронт вперёд. Наши же позиции под Авдеевкой оставались без изменений. В ясную погоду виднелись трубы промзоны, многоэтажки. Они были, как сокрытое счастье, забетонированное желание. К ноябрю я вернулся в Красноярск. Странно, но дома я ощущал бóльшую уязвимость.

На передовой, на позициях, где известно расположение противника, фокус опасности узок, а чем дальше, тем он более увеличивается: на рас포лаге он охватывает всё направление к фронту, а когда сидишь дома, в своей комнате, опасность будто расширяется на весь мир.

Вечерами я встречал мать с работы, мы ужинали — у нас всегда были тесные отношения. Мы как два соотечественника, оказавшихся в иностранной среде. И это, пожалуй, не было связано с нашим азиатским происхождением, а скорее просто характерно для родителя и ребёнка неполной семьи, ведь в таком случае неизменен объединяющий дух покинутости.

В то же время мне часто казалось, что люди относятся к нам, как к двум неким редким и ценным экспонатам, и этим, должно быть, и объяснялось какое-то заботливое, даже бережное к нам отношение. Может быть, поэтому я и отправился воевать за этих людей.

Поужинав, я выходил во двор, и мы с ребятами отправлялись в пивную. Я оглядывался на наш дом. Ещё в детстве, играя на школьном стадионе в футбол, я смотрел на окна пятиэтажек, в которых один за другим загорался свет. Возможно, оттого, что на фоне иссиня-чёрного неба и тёмно-серых зданий эти огоньки в окнах были слишком незначительны, от них веяло пугающей меня наивностью и беззащитностью. Я понимал, что в доме тепло, уютно, сейчас расходится по квартире запах готовящегося ужина, мы скоро

закончим играть, я вернусь домой. Но следующим днём, вернее, даже не важно, когда, мне придётся его покинуть. Я буду раз за разом уходить и возвращаться, но когда-нибудь этот круг обязан прерваться. И в таком случае, не является ли свет в окне миражом, а сама установка вернуться — самообманом? Может быть, поэтому я и отправился на войну.

О, если вы бы видели мою комнату! Это было что-то среднее между комнатой какого-нибудь токийского хикки и бойца-добровольца. Анимэ-фигурки соседствовали с книгами Лимонова, а военная униформа висела под постерами Мэйби Бэйби. Да, почему-то, как вспышка света, вспомнилась моя комната.

Через три недели я снова приехал в Донбасс, туда же, под Авдеевку. Сложно сказать, почему я вернулся на войну. Я планировал устроиться в компанию по охране торговых судов — работа обещала быть прибыльной и не очень опасной. И для этого вполне хватало военного билета и боевого опыта, которые у меня уже имелись. И всё же я вернулся. В подразделении за это время произошли изменения. Позиции были переданы союзникам, а мы приступили к более деликатным делам.

День штурма выдался теплее, чем предыдущие. Шёл дождь. Окопы размокли, мёрзлая земля превратилась в скользкую грязь. Это сильно замедлило движение. Уже был поздний вечер, когда штурмовики только продавили линию окопов противника. Далее шла асфальтовая дорога, которая вела на промзону, — занять её первые здания и было нашей задачей. Я должен был прикрывать, двигаясь во второй линии, оттягивая при случае раненых в жёлтую зону.

Когда первые бойцы уже перебежали половину дороги — там было метров сто, — по нам стал работать миномёт. При прилёте я залёг и сразу же побежал к штурмовикам — мне вспомнились уроки физкультуры в школе, те же сто метров асфальта, необходимость не опозориться перед одноклассниками, не сделать нелепое движение или смешное лицо, и мне даже сложно сказать, в какой момент я чувствовал себя более волнительно — всё-таки преимущество войны в том, что она конкретизирует жизненные проблемы до определённого выстрела, определённого снаряда.

В темноте я по ошибке забежал не в ближнее бетонное углубление, куда запрыгнули наши штурмовики, а в следующее, метров на десять дальше. Так вышло, что я оказался впереди всей группы.

Чудесны мгновения холодной трезвости, которые приходят в жарком хаосе адреналина. Как тонкий ручеёк ледяной воды посреди вскипающего моря. Я подумал: а ведь это момент моего наивысшего расцвета, я на миг ощутил то же, что и триумфатор, которого берёт и подбрасывает на руках толпа. Представьте, я, скромный паренёк — да чаще в применении ко мне использовалось это, признаться, ненавистное мне слово — оказываюсь впереди штурмовой группы, в которой были и ветераны “Альфы”, “Вагнера”, бойцы, прошедшие по несколько войн.

Да, это был момент моего наивысшего расцвета. И счастья. Мне вспомнилась школьная дискотека.

Актовый зал. Я стою с немногими друзьями где-то с краю, в затемнении. Мы смотрим на центр — там в свете прожекторов танцуют одноклассницы, ловкие и заметные ребята. Где сейчас они? Я впервые почувствовал себя победителем.

Меня сразил пулемётчик. Умереть от пули в артиллерийской войне — своего рода почётнее. Это указывает на решимость и умение подойти близко к противнику. Пуля пробил меня навывлет. Теперь она навсегда в сердце моей матери. В решении не может быть стыда.

САША ИРБЕ



## ДНИ ВСЕЛЕНСКОЙ ЧИСТОТЫ

\* \* \*

Вспомнишь детство... И видишь маму,  
пруд, а дальше — луга... луга...  
запах ветра седой и пряный,  
камышовые берега.

Дуб шербатый... Дорога, дали...  
Удит рыбу над прудом дед.  
(И заботят меня печали  
из тех давних и дивных лет.)

А поймает рыбёшку — в банку  
трёхлитровую...

---

*ИРБЕ Александра — поэт, писатель, исследователь русской литературы XX века, ведущая лекций по истории русской поэзии. Член Союза писателей России, член Международной Академии “Русский слог”. Выпускница и аспирант Литературного института им. М. Горького. Подборки стихов и прозы выходили в журналах “Наши современники”, “Москва”, “Юность”, “Волга — XXI век”, “Балтика”, “Вторник”, “Письмена”, “Российский колокол”, “45 параллель”, “Эмигрантская лира” и других. Автор шести поэтических книг и одной книги стихов и прозы. Стипендиат “Года литературы 2015”, лауреат конкурса “Золотой микрофон”, победитель конкурса на “Лучшее стихотворение года”, обладатель гран-при Всероссийского фестиваля памяти Ю. Визбора “Горные вершины”, лауреат журнала “Балтика” (в номинации “Поэзия”), финалист фестиваля “Эмигрантская лира 2021”.*



А потом  
мы невольницу на гулянку  
в речку дальнюю поведём.

Мама бродит по дали склизкой:  
где — болото, а где — луга...  
Облака проплывают низко,  
очень пышные облака.

И собака юлой по кругу  
собирает нас,  
как овец.  
А затем наступает вьюга,  
время тёмное,  
наконец,

одинокство, грусть, печали,  
пыл любовный... Луга... луга...  
Ох, как дивно цвели вначале  
в сочной зелени берега!

---

Мама в юбке широкой, карей,  
дед над миром сидит один,  
и собака бежит кругами  
над вершками его седин.

Пруд заброшен... Под бездной сонной  
рыба бродит по глубине,  
в лунной дрёме полночных комнат  
моё детство спешит ко мне.

---

Сон промчался... В душе усталость...  
В небе первых лучей дуга....  
Что вернулось, а что осталось?..  
Память сердца... Снега, снега...

## ДАЧА

Хорошо сидеть на даче,  
ни о чём не говорить.  
Воздух зеленью охвачен,  
облаков несётся нить.

Где-то там скрипят качели,  
вдалеке — собачий лай.  
Усмиряются недели,  
растворяется печаль.

Чай заваренный по кружкам  
разливаю... Красота!  
И молчит моя кукушка  
про грядущие лета.

Что ж: молчи!.. Забывшись веком,  
заплутавши в новостях,  
я побуду человеком  
у спокойствия в гостях.

Хорошо сидеть на даче!  
Чай заварен... Сосны, лес.  
А закат тоской охвачен  
в сером мареве небес.

## ПАСХАЛЬНОЕ

Сегодня Пасха... Хочется покоя,  
свободы от вселенской маеты.  
Сегодня Пасха!.. Что она такое?!  
Я знаю плохо — плохо знаешь ты.

Иисус воскрес!.. И смерть промчалась мимо.  
Не чудо!.. В жизни каждого из нас,  
бывает, воскресить необходимо  
какой-то взгляд, движение и час.

И мы — не веря — воскрешаем тоже  
в своей душе предметы естества.  
Иисус воскрес!.. Ты атеист, но всё же —  
Иисус воскрес — поверь в мои слова!

Сегодня — Пасха... Сор из сердца вынув,  
в душе прибрав и посадив цветы,  
я говорю, что нам необходимы  
святые дни вселенской чистоты.

Сегодня Пасха!.. Мир в моей квартире.  
Кулич и свечи, близких голоса.  
Как жаль, что мы, живя в едином мире,  
совсем иные видим полюса.

Как жаль, что ты не веришь в воскрешенье  
и в жизнь не веришь после темноты,  
и что прошло Святое Воскрешенье —  
со мной был мир и счастье, но не ты.

Я не виню!.. Я знаю, что иначе  
не может быть, коль разные миры.  
Не веришь ты!.. Увы, но это значит:  
для нас несхожи правила игры.

Слова несхожи... Судьбы несрастимы...  
Я не о том!.. Сегодня день чудес!  
Иисус воскрес... И смерть проходит мимо  
любой души, коснувшейся небес.

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ



## ЗАДАЙТЕ БОГУ ВОПРОС

ПОВЕСТЬ

*“Правда ли, что Боженька присутствует повсюду? — спросила девочка свою маму. — Но это же неприлично!”*

Фридрих Ницше. “Весёлая наука”.

Всё началось с того, что Дженни прислала сообщение: “Дочь российского правозащитника, попросившего политического убежища в Америке, подвергается гонениям в России. Я почитала, мне кажется, там много интересного”. Имя правозащитника мне ничего не говорило, но история об оставшейся у него в России дочери нашлась в интернете быстро, в нескольких изданиях. Писали, что она молодой талантливый драматург и её преследуют за отца, критика режима. Я коротко ответил Дженни: “Звучит интересно”.

---

*НЕКРАСОВ Андрей Львович родился в 1958 году в Ленинграде. Окончил Парижский университет “Paris-VIII” по специальности “философия и сравнительная литература”, а также высшие режиссёрские курсы Школы кино и телевидения в Бристоле (Великобритания). Был ассистентом Андрея Тарковского на съёмках фильма “Жертвоприношение”. Работал режиссёром и сценаристом игрового и документального кино в Великобритании, Германии и России. Лауреат многих наград за режиссуру. Выпускал фильмы в русле западной пропаганды, в частности, о перебежчике Литвиненко. Снимая очередную фильм в том же духе об убийстве Магнитского, увидел нестыковки в том, как это дело преподносили на Западе, провёл собственные тщательные исследования и доделал фильм, который превратился в яркое обличение антироссийской западной лжи. В итоге он стал для Запада изгоем. Автор многих статей и эссе, а также книги “Дело Магнитского. Зачем начали новую “холодную войну” с Россией?” (издательство “Эксмо”, 2017). В феврале 2022 года, когда многие деятели культуры покидали Россию, Некрасов в неё вернулся. Живёт в Санкт-Петербурге.*

Дженни была продюсером, а я — режиссёром документального сериала о жизни в России, рассчитанного, прежде всего, на западного зрителя. Дженни поначалу пыталась заставить меня снимать экспертов, политиков и разнообразных знаменитостей, но мне удалось убедить её шефа, главного редактора, что сериал должен состоять из историй обычных людей, каждая минут на двадцать длиной. В поиске героев я полагался на своих российских коллег и друзей. Иногда то, что приходило в голову Дженни, казалось мне любопытным. Она неглупая и, по меркам телевизионного мира, деликатная. Её предрассудки мешали ей разглядеть подлинность и оригинальность в потоке информации о России, но она знала об этом и не настаивала, когда я реагировал на её предложения скептически. Как бы то ни было, история с правозащитником и его дочерью показалась мне интересной.

К тому моменту у нас всё было запланировано и забронировано для съёмок в России. Мы с Дженни подумали, что до отъезда следовало бы взять подробное интервью у правозащитника и уже с учётом такой предыстории снимать эпизод с его дочерью в России. Но времени на поездку в Америку, даже если бы на это нашлись деньги, не оставалось. Я не хотел давать правозащитнику возможности выговориться по телефону или скайпу, потому что стараюсь из своего первого же разговора с интересующим меня человеком делать живую документальную сцену. В надежде снять такой разговор позже, я попросил Дженни всё же позвонить ему и получить какую-то необходимую информацию.

Прослушав запись их разговора, я расстроился. Правозащитник настоятельно просил нас не встречаться с его дочерью и даже отказался дать нам её номер телефона или электронный адрес. Пытаться найти её можно было через соцсети, хотя у неё и у правозащитника были, как он предупредил, разные фамилии, а СМИ всё напутали. Он уверял, однако, что любой контакт с западной киногруппой представляет для дочери огромную опасность, и призывал нас вести себя ответственно и не ставить свои интересы выше безопасности людей.

Дженни восприняла слова правозащитника как приказ и на этом закрыла тему (она любила вставлять в английскую речь современные российские речевые штампы, иногда невпопад). Я не сказал ей, что услышал некую фальшь в рассказе правозащитника. Меня больше раздражала сама Дженни. Ох, уж этот протестантский пиетет! История с правозащитником была её идеей, одной из немногих, что я поддержал, но она была готова без боя, без малейшего колебания выбросить этот сюжет из фильма. Я бы и сам семь раз подумал, подвергаю ли я кого-то опасности своей съёмкой, но Дженни не впервые воображала опасность там, где её не было. Она объясняла, например, нежелание каких-нибудь известных российских журналистов или оппозиционеров встречаться с ней в Лондоне страхом подвергнуться репрессиям со стороны режима в отместку за общение с ней.

“Ну, раз ты сама постоянно бываешь в России, — говорил я ей мысленно, — и встречаешься там с разнообразными критиками режима под носом, что называется у Кремля, почему ты считаешь, что им опасно встречаться с тобой в Лондоне? Потому, что тут полонием и “новичком” угощают? Но ведь ребята клеймят российский режим профессионально, за зарплату, там, в России, куда они добровольно возвращаются всякий раз из твоего свободного западного мира. А с тобой они не встречаются, потому что встречаются они, в основном, особенно в Лондоне, только с друзьями, любовниками и деньгодателями. Ты для них ни одно, ни другое, ни третье”.

Ничего ей не сказав, я просто попросил своих друзей в России найти дочь правозащитника. И когда мы уже сидели с Дженни в самолёте перед вылетом в Питер, мне пришло сообщение от приятеля: “Личность установлена”.

\* \* \*

Наступил ноябрь. Ночью, незадолго до рассвета я прочёл о резком повышении уровня воды в Неве и решил как-то использовать это в съёмке общих планов города. Я поднял группу, мы выехали и нашли точку недалеко

от Дворцового моста со стороны университета, откуда казалось, что Нева волнуется, как настоящее море. Одна за другой исчезали под водой ступеньки гранитной лестницы, истошно вопили чайки, а низкие лиловые облака пронеслись мимо так быстро, что казалось, это движение хорошо видно в кадре без съёмки “таймлапсом”.

В начале одиннадцатого мне позвонил мой приятель и сказал, что сидит с “героиней” в университетском кафе.

Мы снимали неподалёку от университета не потому, что я рассчитывал на эту встречу в тот день, это было удачное совпадение. С другой стороны, съёмку мы к тому моменту не закончили, погода ухудшалась, то есть с нашей, киношной, точки зрения, — улучшалась. Я написал знакомому, что хотел бы отложить встречу.

Мы продолжали снимать, и ответ приятеля я прочёл с задержкой: “Не советую откладывать, следующего раза может не быть”. Я сказал коллегам, что должен уйти по неотложному делу, и поспешил в сторону Менделеевской линии.

Они не дождалась меня в кафе и уже прощались, когда он меня заметил. Мы с ним не виделись несколько лет, и, может быть, поэтому я не сразу узнал его, обернувшись на оклик. Сначала я увидел её. Лицо было отчасти закрыто кашпоном. Автоматически оценивая черты с точки зрения фотогеничности, я сразу отметил привлекательный пропорциональный профиль.

Пошёл дождь со снегом. Она чуть приподняла кашпоном, одновременно смахивая со лба тёмные волосы, и быстро, но внимательно взглянула на меня зеленоватыми, слегка раскосыми глазами. Смазливая, однако, у правозащитника дочка, сказал я себе.

Её звали Алина. Она спешила и, пока я её рассматривал, уткнулась в телефон, вызывая такси. Отвечая своему приятелю на вопрос “о жизни”, я пытался сказать что-то погромче и поинтересней о своей творческой личности, но Алина, казалось, не обращала на это никакого внимания. Тогда я решился на отчаянный шаг.

— Мне важно рассказать вам о своём фильме и убедить вас сняться в нём. Можно, я поеду с вами в такси куда угодно и использую это время, чтобы всё объяснить. На это уйдёт пять-десять минут, не больше. Потом вы меня просто выбросите, и я вернусь сюда.

На заднем сиденье я повернулся к ней всем корпусом и понял, что о своём документальном сериале буду говорить в последнюю очередь. То, что я выпалил, было импровизацией, хоть и не вполне лишённой связи с действительностью.

— Я пишу сценарий о молодой журналистке, пошедшей наперекор общественному мнению. Я хочу вовлечь героиню будущего фильма в создание сценария, и не в рутинную писанину, а как бы в соавторство фильма, начиная с его зародыша. Для того чтобы она затем не столько играла роль, сколько *была* самой собой в продуманной ею истории, защищая *свою* правду, в которую бы верила как человек и как... интеллект. Найти такого персонажа в жизни очень трудно, но без него бессмысленно даже и думать о практической стороне проекта.

Не говоря слишком прямо, я достаточно ясно давал понять Алине, что вижу такого персонажа в ней. Она слушала молча, глядя вперёд, иногда слегка поворачивая голову и лишь изредка бросая на меня спокойный изучающий взгляд.

— Извините, — наконец прервала меня Алина, чтобы обратиться к водителю. Мы подъехали к месту назначения, и до меня, наконец, дошло, что я один говорил без умолку на протяжении всей получасовой поездки.

Она попрощалась со мной просто и приветливо, но будто бы я ей ни о каких планах не рассказывал. Я спохватился и сказал, что хотел бы взять у неё интервью для своего документального сериала. Вместо ответа она взяла мой номер и пообещала позвонить.

Я брёл по тротуару какой-то широченной и бесконечной улицы, не имея понятия, где я. Жизнь казалась бессмысленной. “Отчего? — спрашивал я

себя. — Оттого, что ты не веришь, что Алина позвонит? И это причина твоей хандры? Ты что, влюбился? С первого взгляда, в девушку, которая младше тебя лет так на двадцать?”

Украшенная пластмассовыми цветами и розовыми лентами машина окатила меня грязью из огромной лужи. Стемнело. Я стоял как вкопанный посреди анонимного района и разглядывал окна новостроек, представляя, как бы я жил в одной из этих квартир, безвыездно, ну, или уезжая раз в два года недели на две куда-нибудь в Турцию. Дождь постепенно усиливался, я достал телефон, чтобы вызвать такси. И в этот момент от неё пришло сообщение.

Через неделю в галерее советского искусства, принадлежавшей знакомым Алины, мы снимали с ней интервью. Обычно вопросы задавал один я, но в этом случае я посчитал, что будет лучше, если интервьюирующих будет двое.

Оператор включил камеру, и я шепнул Дженни: “Вперёд!”

— Мы очень хорошо понимаем, как опасно это есть для вас говорить с нами, — начала Дженни.

— Я говорю с вами, потому что мне не наплевать на то, как живут люди в моей стране, и мне не наплевать на то, что говорят о моей стране за границей, потому что это, к сожалению, влияет на жизнь людей здесь, — довольно резко, хотя и негромко, ответила Алина и добавила: — Хотя большой надежды на понимание у меня нет.

Вопрос об опасности Алина проигнорировала, а именно он должен был подвести к другим, важным для Дженни темам. Теперь логичного перехода к следующему вопросу не было, но Дженни всё равно его задала.

— Российское правительство подавляет свободу, не так ли? Оно это делает с помощью устрашения?

— Российское правительство служит интересам крупного бизнеса, с моей точки зрения.

— Россия — авторитарное государство, вы согласны, что подавляется свобода?

— Смотря что считать свободой. Здесь многие считают себя вполне свободными или думают, что станут свободными, как только заработают достаточно денег. Люди жалуются, разумеется, на власть и на коррупцию. При этом многим кажется, что на Западе слишком много всяких ограничений и даже запретов, которых здесь нет. Много условностей, политкорректности. Я понимаю, что свобода, русская... в русском понимании, волюшка-воля с элементами хаоса — это нечто, отличное от свободы западной, но тогда свобода, о которой вы говорите — западное изобретение по определению, и её, может быть, вообще нельзя здесь привить.

— Россия взяла много западных изобретений.

— Да, разумеется, многое переняла, но многое и отторгла. Такая у нас судьба. И мы сами, конечно, во многом виноваты. У нас был, например, ужасный строй до революции, и поэтому была революция. Но разве мы сейчас об этом?

Дженни замотала головой:

— Мы сейчас заинтересованы в современной власти...

— Нас интересует ваше мнение о нынешней власти, — тихонько подправил я вопрос Дженни.

— Я не защищаю нынешнюю власть, — после короткой паузы продолжила Алина. — Куча народу расскажет вам, какая тут ужасная несвобода — имеют право так думать, но об этом вам лучше с ними говорить. Могу кого-то порекомендовать. Я считаю, что власть — орудие, оружие в руках класса эксплуататоров. Иногда они используют это оружие друг против друга в конкурентной драке, но важнее то, что они постоянно держат на мушке тех, кого эксплуатируют.

— Расскажите нам о давлении власти на вас, — не унималась моя коллега.

— Какие-то чиновники из министерства культуры запретили театральный проект, в котором я участвовала.

— Это было сделано в отместку за деятельность вашего отца?

— Нет, это не связано с деятельностью моего отца.

Дженни была явно сбита с толку. Я понял, что пора перехватывать инициативу, и попросил Алину рассказать о её театральном проекте. Она это сделала с осторожностью, как мне показалось, выбирая слова:

— Один известный у нас режиссёр, Вадим Гройс, худрук одного московского театра, начал работать над спектаклем по мотивам “Легенды о Великом инквизиторе”. Я познакомилась с режиссёром, и он пригласил меня в качестве соавтора, а также... исполнительницы роли, или, лучше сказать, участницы спектакля.

Рассказ Алины был поначалу скуп на детали, но мне удалось её разговорить. Вот вкратце история этого проекта.

Спектакль был задуман как “постдраматический” — модное на тот момент явление — и назывался ни много ни мало “Разговор с Богом”. По мнению режиссёра (вполне, впрочем, распространённому), Достоевский точно предсказал историю России и, в известной степени, всего мира, в XX веке. Великий инквизитор, этот антигерой Достоевского, утверждает, что Христос совершил роковую ошибку, сделав в своих учениях ставку на свободу, вместо гарантий “хлеба” (что-вроде *basic income*, вставила, я помню, Дженни). Великий инквизитор не отрицает, что человека можно завоевать не только хлебом, но также обольстив его совесть. Однако и в борьбе за совесть Христос, по мнению Инквизитора, поступил, так сказать, как мягкотелый интеллигент, беря на вооружение “всё, что есть необычайного, гадательного и неопределённого” и при этом по-манюшковски мечтая, что люди сделают то, что им не по силам.

В результате, бросает Великий инквизитор Христу, “во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли, и сразится с Тобой, и победит Тебя... Человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть только голодные. *Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!* — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой”.

Продолжая, Инквизитор делает леденящие душу предсказания о тотальном социалистическом долгострое на месте разрушенного храма — ужасной Вавилонской башне, — о гонениях на новых христианских мучеников и, что немаловажно, — всё так же голодающем народе.

Над спектаклем работала команда одарённых и преданных лично Вадиму молодых людей. Стиль постановки Алина назвала “для краткости” брехтовским; зонги, хор, современный танец, видеопроекция. Использовался, среди прочего, известный архивный материал. Что-то было, по мнению Алины, к месту, например, кадры Дзиги Вертова. А что-то, “вроде взрыва храма Христа Спасителя, — слишком в лоб”.

В спектакле звучали отрывки из речей Ленина, Троцкого, Вышинского, Горбачёва. В одной из сцен возникла куча из обнажённых тел, напоминающая жертв нацистских концлагерей, но режиссёр чётко давал понять, что речь идёт о преступлениях Сталина. Алина рассказала, как режиссёр спорил об этой сцене с чиновниками. Мир не видел подобных кадров из сталинского ГУЛага лишь потому, утверждал Гройс, что Сталин, победив в войне, не позволял документировать свои преступления, как это делали в Освенциме. Алина показала нам запись этой сцены на телефоне: трупы — обнажённые и привлекательные, как на подбор, молодые люди — воскресли, выстроились и стали хором. “В лагерях погибли не только молодые и красивые”, — подумал я, но, очевидно, эту сцену нельзя было понимать буквально.

На Дженни рассказ Алины произвёл удручающее впечатление, хотя она и поинтересовалась, кому принадлежат права на видео. Она ещё раз попыталась увести разговор в сторону критики Путина, но Алину это явно не интересовало. Дженни видела в таком безразличии внушаемый диктатором страх. Как бы то ни было, ничего конкретного об участии Алины в театральной постановке я тогда так и не узнал.

У Алины был молодой человек, рослый крепкий парень с густым светлорусым чубом, по имени Сергей. Он приехал забрать её на новенькой электрической машине, и мы познакомились. Сергей широко улыбался, неплохо имитировал американский акцент и пригласил нас на ужин.

У спектакля “Разговор с Богом” нашлись влиятельные защитники, и Вадиму Гройсу позволили продолжить репетиции. Мне удалось побывать на одной из них. В нашем интервью Алина рассказывала о том, как режиссёр интерпретировал историю СССР, но давал он оценку и современной России. В том варианте, который видел я, Россия эпохи Путина изображалась результатом продолжающегося отказа народа от свободы. Народу был дан шанс в 90-х Ельциным, но увыл... Путин — тот же Великий инквизитор в эпоху ботокса, фитнеса и диет. За хлеб, то есть крохи с олигархического стола, за минимальное повышение уровня жизни, обеспеченное ростом цен на нефть, русский человек в начале нулевых предал свободу и лёг под подполковника КГБ. Как и Русская Православная Церковь, которая, с точки зрения режиссёра, предала Христа с его свободой.

Алина дала мне понять, что она участвовала в создании постсоветской части спектакля и что у неё была роль на сцене, вернее, должна была быть...

В середине января начались нападки на Вадима Гройса со стороны консервативных авторов и православных активистов. Какой-то тучный политик не преминул напомнить, что храмы разрушали как раз предки Гройса, и если Великий инквизитор перевоплощается в спектакле в коммунистического правителя, то он должен заодно принять иудейство. Всеволод Чаплин твитнул, что не “гройсам” учить Русскую Церковь Христа любить. За Вадима возвысили голос оппозиционеры и коллеги по цеху, я сам написал пост в Фейсбуке, назвав нападки возмутительными.

На один из тех январских вечеров был назначен ужин у Сергея. Дженни несколько раз попросила напомнить хозяйину, что она веганка; я посчитал, что достаточно написать Алине об этом один раз, но в последний момент забеспокоился, усвоена ли эта информация. Все беспокойства оказались напрасными. Сергей, — а именно он был старшим по “камбузу” (он служил на флоте) — приготовил удивительно вкусное веганское рагу и великолепный камбоджийский салат. Мы с Дженни принесли две бутылки вина, и вечер удался бы на славу, если бы не ложка дегтя политики.

Моей коллеге никак не давало покоя “неоднозначное” отношение Алины к “режиму”. В какой-то момент Дженни заявила:

— Я могу понять, когда люди, которые не учились в университете, не читают на иностранных языках, короче, малообразованный народ, не видит, что режим — недемократический, но когда образованные и... *sophisticated* — как это по-русски...

— Мы понимаем, — вставил Сергей. — Вы вообще можете по-английски говорить, если вам легче.

— С чего вы взяли, что у нас малообразованный народ? — спросила Алина. — Есть, разумеется, всякие, но статистически люди в России не менее образованы, чем, скажем, американцы.

— Ну — люди, которые не знают мира, я бы так сказала...

— А что это значит? Вы про знание языков говорите? Про поездки за границу? А что, у американцев с этим делом лучше дела обстоят?

— Ну хорошо, нафиг американцы, — Дженни хотела выразиться идиоматично, — а что о европейцах?

— О европейцах? Хорошо. Европейцы, положим, некоторые, говорят с детства на нескольких языках. Но это что — их какая-то особая заслуга? Ну да, повезло им родиться в Люксембурге каком-нибудь, порадуемся за них. И тем, у кого английский родной, тоже повезло. Если они только не в бедных чёрных районах родились. Но мы сейчас о чём говорим? О том, что одни народы более *sophisticated*, а другие менее? Кстати, слово “*sophisticated*”, на мой взгляд, следует перевести как “утончённые”.

— Нет. Мы говорим о том, что в некоторых странах демократическая система, а в некоторых — диктатура.

— И вы считаете, что у нас диктатура...

— Ну, в смысле, да.

— И Путин — диктатор?

— В смысле, да.

— Вы, наверное, имеете в виду *in a way* — в некотором смысле.



— Да, в некотором смысле, извините мой русский.

— Ноу проблем. Но вы не боитесь обо всём этом говорить? Сидеть в Петербурге и говорить, что здесь, in a way, диктатура, и Путин, in a way, диктатор. Фильмы здесь об этом снимать?

— Как сказать... Иногда боюсь.

— Ну, а вот я за вас совершенно не боюсь. Диктатор вас бы давно арестовал, убил или, если вы везунчики, выслал. Называть того, при ком вы делаете здесь, что хотите, а делаете вы, в принципе, как мне кажется, пропаганду, — это неуважение к памяти жертв настоящих диктатур. Вы меня оба извините, если я неправа насчёт пропаганды, но я вообще считаю, что крупные СМИ сегодня — это пропаганда, и наши, российские, разумеется, тоже. Или в первую очередь. Правда, у нас очень много пропаганды **за** Запад. Но и за Путина тоже, конечно же, полно.

Дженни посмотрела на часы. Было достаточно поздно, можно и откланяться, но тогда горьковатый осадок от этого разговора остался бы надолго. Я взглянул на Сергея. По его едва заметной усмешке, с которой он смотрел на Дженни, было очевидно, что он целиком на стороне Алины.

— Заблудился я в небе, что делать! — воскликнул я и опрокинул в себя остатки вина из бокала. — Что мы все о грустном да о грустном! Когда мне было столько же лет, сколько Алине и Сергею, я считал, что “красота спасёт мир”. Какой же я был идиот!

— Мне кажется, — заговорил Сергей, — что Запад и Россия просто не доверяют друг другу. За Запад, впрочем, не скажу в деталях, но как русский считаю, что Запад нас поучает, а сам думает лишь о своих интересах. Нет ему доверия. И, кажется, вы особо и не стараетесь завоевать его — доверие наше. И Западу хотелось бы даже Россию, я думаю, завоевать, но, ясное дело, физически это невозможно, это вам не Ирак и не Ливия всё-таки. Но к границам России уже опять можно войска подвести, в том числе и немецкие. Но главное в этой ситуации — это здесь, внутри, союзников иметь. Чтобы помогали утверждать политическое, моральное превосходство над нами... И у вас тут, среди нас, много союзников.

Дженни отключила свою английскую вежливость, перейдя на английский, как она всегда делала, когда чувствовала себя уязвленной в разговоре с русскими, и дальше наш разговор перешёл на язык англосаксов:

— Конечно. Россия не заграбастала Крым, Запад всё это выдумал, фейковые новости, так, что ли?

— Часть моих родственников из Крыма, — ответил ей Сергей. — И они всегда считали себя русскими. И подавляющее большинство считает себя русскими. Смею тебя уверить, подавляющее большинство.

— Почему, — опять вступила в спор Алина, — если в Киеве происходит переворот, люди, которые к нему не имеют отношения, должны подчиниться хунте? Ну, хорошо, не хунте, а революционерам, пусть, но если это не твоя революция, не будем сейчас о том, кто за неё платил, почему ты должен отдать честь Майдану? И потом, вы просто не знаете предысторию...

— Я знаю историю! — перебила Алину Дженни. — Мы воевали в Крыму в девятнадцатом веке, и тогда это была Россия. Да. А Индия была британской. Но мы же не говорим сейчас, что Индия наша?

— А я не об этом, — возразила Алина. — Крым после распада СССР обманывали, и не раз. Вертели названиями... В девяностых, не помню, когда точно, — Алина повернулась к Сергею, но тот слегка помотал головой, пока не понимая, о чём речь, — в Крыму постановили, демократически, без всякого Путина, что там будет своя государственность.

— В девяносто четвертом, — уточнил Сергей, — Верховный Совет Крыма принял закон о суверенитете. Киевские власти, соответственно, его не признали. Кандидата в президенты Крыма, пророссийского, вообще попытались убить. Он выжил, Мешков его звали, и взял семьдесят пять процентов голосов, около того, то есть вообще, действительно всенародно выбранный. Он хотел полного суверенитета, ну, а со временем присоединения к России. Притом, что он в девяносто первом был против ГКЧП, демократом считался. Предал его потом, по сути, Ельцин.

— Ну хорошо, — вмешался я, — тут надо бы и украинскую сторону выслушать, я как журналист сейчас говорю, но украинская сторона приглашена не была. — Я улыбнулся, и посмотрел на мрачную Дженни. — Только британская. Поэтому я согласен с хозяином дома в том, что Запад и Россия друг другу не доверяют. Как это преодолеть? Я не знаю. Но каждый, кто это осознаёт, недоверие это, должен делать что-то в своём лагере, а не только обвинять чужой. Но это — выводить на чистую воду, прежде всего, своих — занятие неблагодарное. Гораздо удобнее и выгодней такое недоверие к чужим использовать в своих целях. Политики и журналисты этим и занимаются...

Я осёкся, потому что логика опять вплотную подвела к тому, чем занимались мы с Дженни. Вскоре после этого мы с ней ушли.

— Крымнашисты какие! — пробормотала она уже по-русски, устраиваясь в такси на заднем сиденье. Машина была небольшая, я сел впереди, так что отсутствие реакции на слова Дженни не казалось чем-то нарочитым. — Это он на неё так влияет, Сергей, судя по всему, — продолжала Дженни. — Интересно, что думает обо всём этом её отец?

Я выдержал паузу и ответил:

— Мне не кажется, что она и её отец слишком близки.

— Дочь всё-таки, — вздохнула Дженни.

Нас неожиданно обогнала машина Сергея. Я удивился, так как был уверен, что парочка проводит остаток вечера в уютной квартирке. Позже выяснилось, что Алина и Сергей жили раздельно, и в тот вечер Сергей отвёз Алину домой.

\* \* \*

Говоря, что Алина и её отец не слишком близки, я на самом деле ничего не знал об их отношениях. Я позволил себе домысел, хотя было уже ясно, что отец Алины кривил душой, отказываясь связать нас с ней из-за грозящей ей опасности. Опасность возникла якобы из-за его правозащитной деятельности, но Алина отрицала это. Прошло совсем немного времени, и я услышал историю семьи Алины из её уст.

Этому предшествовало одно сенсационное событие. Несколько дней спустя после ужина у Сергея жёлтая газетёнка опубликовала фото: обнажённая девушка на сцене театра целует актёра в роли Христа. На заднем плане видна фигура режиссёра, голова которого была обведена кругом. Заголовок гласил: “Страсти по Гройсу”.

Обнажённой девушкой оказалась Алина. Она была тогда ещё неизвестна, и к тому же на фотографии низкого качества её лица почти не видно. Но картинка молниеносно распространилась, и народ быстро определил имя красавицы. Стало известно и имя актёра, игравшего Христа: Алексей Душин. Вечером того же дня Алина мне неожиданно позвонила.

— Вы можете мне помочь? — без долгих вступлений спросила она и добавила: — Это очень срочно.

Я приехал в небольшое кафе на Петроградской, где она сидела в дальнем углу с совершенно пьяным человеком, и им оказался тот самый артист Алексей Душин. Его требовалось отвезти домой. Он категорически не хотел расставаться с Алиной. На меня он сначала отреагировал крайне неприветливо, но Алине удалось представить меня как некую дружественную силу, союзника в борьбе с тем злом, которое преследует и Алину, и самого Душина. Но артиста окончательно развезло. На нас троих с нескрываемым отвращением смотрели из-за барной стойки две девушки, которые, как сказала Алина, уже грозилась вызвать полицию, если Душин как можно скорее не уйдёт из кафе сам.

Перед тем как выйти из кафе, нам пришлось отвести его в туалет. Пока мы ждали такси на улице, его опять вырвало. Тогда я первый и последний раз видел, как Алина курит, притом, что делала она это не так, как если бы это было внове.

Положив Алексея спать в его маленькой квартирке на Академической, мы устроились, в лучших советских традициях, на кухне.

Вот что я узнал в ту ночь.

Прежде чем стать правозащитником, отец Алины, Михаил, был юристом и предпринимателем. Он закончил тот же философский факультет, где теперь училась Алина, но занимался не философией, а бизнесом. Со своей будущей женой, Ириной, Михаил познакомился в Париже. Она там училась, а он приехал на несколько дней по каким-то делам.

В девяностых Михаил получил второе образование, выучился на юриста. Он специализировался на налогообложении и учил иностранцев, как поменьше платить налогов в России. В нулевых он находился под следствием, или, по крайней мере, проходил свидетелем по делам об уклонении от уплаты налогов и фальсификациях документов. Тогда “обошлось”, как выразилась Алина.

Карьера папы пошла в гору при президенте Медведеве, и он основал “Институт правовых и экономических стратегий”, который, впрочем, состоял из двух человек: самого основателя и его жены, Алининой мамы. Но в 2012-м у Михаила неожиданно возникли серьезные неприятности. Насколько они были неожиданными для него самого, впрочем, не совсем ясно, ибо когда сотрудники Следственного комитета пришли его арестовывать, он уже наслаждался жизнью за границей. Но для Алины и её мамы всё это оказалось как гром среди ясного неба.

Михаила обвиняли в том, что он руководил схемой получения и обналичивания денег для оплаты группы юристов, экономистов и журналистов, отбеливающих образ одной очень крупной компании, которая, по версии государства, недоплатила в казну огромные суммы. Мать Алины допрашивали, и ей со своими адвокатами пришлось вникать в суть того, в чём обвиняли мужа. Деньги, которые он платил специалистам, считавшимся независимыми, Михаил получал от представителей той самой компании, которую специалисты защищали. Он, как утверждали следователи, оплачивал “мероприятия по противодействию следствию по делу и судебному разбирательству хищения у страны миллиардов долларов”.

Михаил всё отрицал и заявил, что его преследуют за то, что он занимается правозащитной деятельностью. Ирина не знала о получении и обналичивании денег и, хотя она несла юридическую ответственность за то, что делал “Институт правовых и экономических стратегий”, обвинения ей, в конце концов, не предъявили. Как не предъявили его и тем специалистам, которым Михаил якобы платил.

Вопрос отъезда Ирины с дочкой к Михаилу оказался обременён запутанными обстоятельствами. Алина, которой тогда шёл четырнадцатый год, явно была уже очень информированным и не по годам начитанным ребёнком, но в истории отношений родителей ей было далеко не всё ясно. Позже она узнала, что её дед, отец Ирины, считал, что Михаил действительно “отмывал краденые деньги” и никаким правозащитником не являлся. Но он, дед Николай Андреич, был подполковником КГБ в отставке, и сторонникам Михаила легко было списать его взгляды и заявления на симпатию к режиму. В какой-то момент Николай Андреич начал утверждать, что у него есть доказательства вины Михаила. Но, судя по тому, что дело не дошло до суда, доказательств этих никто, кроме Николая Андреича, не видел. Вернее, он их не показал официальным лицам. По крайней мере, мать Алины и ещё один человек об этих доказательствах знали.

История с отъездом или бегством отца Алины ушла на второй план, когда месяц спустя у её мамы обнаружили рак. Это оказался один из тех сравнительно редких и коварных видов, который долго протекает без тревожных симптомов. На приёме у гинеколога Ирина упомянула тупую, ноющую, хоть и не сильную боль чуть ниже бедра. Оказалось, что у неё запущенная саркома мягких тканей.

Алина помнит, как просыпалась от звука голоса мамы, разговаривающей по телефону с отцом; фразы переходили либо в сдавленный крик, либо в рыдания. А потом Ирина объявила дочери, что решила не уезжать из России и порвать с отцом.

Прошло ещё месяца три, и перед тем, как начать курс химиотерапии, Ирина познакомила дочь с Аркадием, которому суждено было стать Алининым

отчимом. Алина показала мне его фотографию. На снимке, а это был — я сразу увидел — почему-то, плёночный кадр с зерном от недоэкспозиции, у Аркадия было удивительное лицо или выражение лица, или удивительным был весь его образ. Он напомнил мне портрет или набросок какого-то известного художника, и я потом долго пытался вспомнить, кого именно. Я думал, что на фото западный европеец, но нет, оказалось — наш, Василий Поленов. Большие глаза, впалые щёки, но самое главное — правдивое выражение сострадания.

Смотрел он в тот момент, как сказала Алина, на её мать. Её портрет Алина сохранила отдельно.

— Да-а... — пропел я, любуясь изображением Ирины.

— Что — да? — усмехнулась Алина, понимая, что я под впечатлением от красоты её матери. Возможно, это был просто особенно удачный чёрно-белый кадр, и Алина явно им гордилась. Но из телефона на меня смотрела и Татьяна Самойлова, и Джули Кристи, и ещё Бог знает кто — только подправленный, улучшенный, идеальный вариант всех их, вместе взятых. Ирину засняли посреди какого-то поля, со спутанными ветром недлинными волосами, которые она пыталась поправить трогательно неловким жестом. Высокая, открытая шея, полная грудь, в меру отчётливые скулы, тени под слегка раскосыми, как у Алины, глазами, и грустная, слегка ироничная улыбка, образующая ямочку на одной щеке.

У Аркадия Игнатьева оказалась необычная судьба. Родился он в Аргентине в конце семидесятых, в семье советского инженера и аргентинки русского происхождения. Окончив среднюю школу в Буэнос-Айресе, он решил уехать в Россию. Учился на историческом факультете Петербургского университета. Не закончив, проработал несколько лет учителем в Новгороде, а года за три до знакомства с Ириной поступил в духовную семинарию, а по окончании — и в академию. Аркадий писал и публиковал статьи по истории и теологии, которые, по словам Алины, высоко ценились.

Прервав на этом рассказ о родителях, Алина сменила тему и рассказала о своей работе в театре.

“Разговор с Богом” создавался, как часто у Гройса, не на основе заранее написанной пьесы, а в процессе репетиций, с идеями и текстами, подбрасываемыми и завлитом театра, и художниками, и актёрами. Гройс дал обаятельной Алине полный допуск к проекту, и она погрузилась, по её выражению, “в тему целиком”: внимательно перечитала и текст Достоевского, и все Евангелия, и многое другое. А самое главное, она думала, думала и “всматривалась в себя”.

И предложила своё видение.

У Гройса, как и у Достоевского, Христос молчит. За Христа в спектакле отвечает некий обобщённый Свободный Человек. Железной, но ржавой логике тоталитаризма отвечает нравственно неопровержимый либерализм. Инквизитору в лице и Ленина, и Сталина, и Путина отвечает само неизбежное либеральное будущее, а Христос молча символизирует его моральную правоту.

Великий инквизитор, на самом деле, ничего у Христа не спрашивает. Бесконечный монолог, и ни одного вопроса. Не упущенный ли это шанс? Не с задержанным же на несанкционированной демонстрации школьником небось Инквизитор беседует! С самим Господом Богом!

Так вот, Алина посчитала, что разговор не закончен. Оттого, что Христос промолчал, кажется, что аргументы, звучащие от Его имени в спектакле — и в либеральном обществе в целом, — безупречны. Считается, что ни к Его “представителям”, ни к Нему Самому нет, как говорится, вопросов. Но это не так.

Алина не застала девяностых, и её родители не считали себя типичными жертвами постсоветского лихолетья, хотя даже её отец, защищая Ельцина в бесконечных спорах с тестем, признавал, что “то было противоречивое, трагическое отчасти время” (Алина с нотками язвительности цитировала отца). На то у Михаила были, впрочем, и личные причины. Его брат, Алинин дядя, умер при загадочных обстоятельствах осенью девяносто восьмого, возможно, покончив с собой. Он разорился и остался должен большие суммы

каким-то тёмным личностям. Поговаривали, однако, что Михаил не сделал ничего, чтобы брату помочь. Не так трагично, но вполне ощутимо сказался кризис и на деде Алины, Николае Андреече, который “тоже погорел”, потерял бизнес, так что мама Алины, проучившись два года в Париже, должна была вернуться в Россию в конце 98-го. Алина при этом осознавала, что 90-е стали трагедией, прежде всего, для того большинства, тех трёх четвертей как минимум людей бывшего СССР, которые не жили в Западной Европе, набираясь знаний, а если и ездили за границу, то челноками в Турцию, Китай и Польшу за трусами, колготками да трениками.

Как бы то ни было, “лихие девяностые” стали предметом интеллектуального осмысления студентки философии Алины Игнатьевой. Она читала и смотрела всё, что могла найти на эту тему, но с сарказмом отозвалась о “лауреате Нобелевской премии по журналистике”, авторе известной книги о девяностых.

— Она неплохо поработала диктофоном, — сказала Алина о писательнице, — записав потоки сознания растерянных, сломленных, запутавшихся людей, но она сама настолько интеллектуально не организована, что вся книга оставляет ощущение такого же хаоса, который царил на постсоветских улицах и рынках, о котором рассказывают её собеседники. Документальность — не значит произвольность, простая фиксация противоречивых эмоций. А именно это представляет из себя её книга. А своё собственное отношение к девяностым Алексиевич резюмирует в 2012 году приблизительно так: хотя мы устали от борьбы, которую нам навязывали коммунисты, пора опять на баррикады, с белыми ленточками. Их белизна — от света и чистоты помыслов этой новой революции. А в народе её окрестили “революцией шуб”. Но журналистка ещё и привирает. Из её книги мы узнаем, что Марина Цветаева написала: “Неправда денег в русской душе невытравима”. Звучит жёстко, самокритично в устах русской поэтессы в пересказе белорусской лауреатки Нобелевской премии. И все принялись так и цитировать Цветаеву. На самом деле Цветаева написала о русской душе с точностью до наоборот: “Сознание неправды денег в русской душе невытравимо”. Писала это она о своём отце, в автобиографической прозе. Нехорошо и подло так цитаты перевирать, мадам Нобелевский лауреат!

После этого пассажа Алина вернулась к спектаклю “Разговор с Богом”:

— Если послушать ответы наших либералов Великому инквизитору, то мир делится на гэбэшников и коррупционеров, с одной стороны, и на демократов-оппозиционеров, которые борются коррупцией, с другой. При этом демократы-либералы-оппозиционеры превозносят, по сути, финансовый успех как таковой, независимо от его происхождения. Это их идеология. Если серьёзно разбираться в том, как работает финансовая система, или, проще говоря, капитал, то станет ясно, что он не питает общество, как воображают неолибералы, а паразитирует на нём. Это не значит, что все без исключения богатые — жулики и преступники или даже просто нечестные люди. Но постсоветская правящая, так сказать, идеология прославляет капиталистическую силу как таковую, а понятие “коррупция” используется лишь в качестве пропагандистского оружия против политических оппонентов и конкурентов. Пусть кто-то из них, этих врагов наших либералов, — действительно коррумпированные капиталисты, но они лишь часть целого класса и, возможно, не самая могущественная. Нападки на них носят исключительно избирательный характер и не затрагивают тотальной несправедливости, на которой зиждется капитализм. Такие нападки лишь отвлекают от сути проблемы и таким образом способствуют сохранению status quo. И вот вопрос: на чьей стороне известные персоны, которые, с одной стороны, выступают за либеральные ценности, а с другой — превозносят капитализм, — на стороне Великого инквизитора или Христа? Они на стороне Христа и, уверены, что и Он — на их стороне.

— А как же верблюд? — спросил я. — Ну, то ушко игольное, понимаешь о чём я... И торгующие в храме, которых он прогнал...

— Евангелие, — ответила Алина, — это как какие-нибудь мелким шрифтом написанные условия пользователя, с которыми все соглашаются,

не читая. Если речь о чём-то всем понятном и известном, вроде торгующих в храме, — они скажут, что это что-то вроде сегодняшних путинских коррупционеров, то есть не сама торговля плоха, а то, как режим её устроил, как её крышует и, кстати, как сама РПЦ торгует чем попало, и почти буквально — в её храмах. Но это — детали. Либералы берут выше, они философы. Последователи Фёдор Михалыча. Христос — за свободу, а Инквизитор, с требованием накормить голодных, смешон, хуже того, — он аморален. И вот это-то и рассказывали нам после конца коммунизма: несправедливость, разворовывание того, что создано бесплатным трудом людей, за который обещали светлое будущее, если не им, то, нам, их детям — весь этот тотальный наглый постсоветский бандитизм и был свободой, что это было не просто необходимо и неизбежно, это было морально! Ибо “антикоммунистично”. А аморально — это поминать добрым словом наших коммунистических прадедушек и прабабушек... Короче, Гройс меня выслушал и назвал всё это левацким бредом, — заключила Алина. — При коммунизме, сказал он мне, ещё как воровали, а капитализм, будучи, да, свободой, как раз-таки и может нормально накормить. Но чем-то моё продолжение разговора между сторонниками Инквизитора и Христа Гройсу понравилось, и он включил мои реплики в пьесу. Но меня интересовало ещё и другое...

У Алины был с собой её ноутбук. Она иногда заглядывала в него, хотела вроде бы мне что-то показать, но затем, видимо, передумывала. Она продолжила свой рассказ, который в этой его самой интересной части мне сейчас трудно пересказать дословно. Наверное, потому, что я пропустил его через своё сознание, где к нему примешивались мои собственные мысли, связанные, впрочем, с последующими событиями в жизни Алины.

Смысл был вот в чём.

Очевидно, что христианство, вдохновив человечество на великие произведения искусства и, с некоторыми оговорками, на общественный и политический прогресс, благодаря именно той самой идее свободы, которую так хорошо чувствовал Достоевский, стало тем не менее оправданием для всевозможных лицемеров, обманщиков, жуликов, грабителей и даже убийц. Когда сейчас обсуждают, агрессивен ли Ислам, часто забывают, как представители Христианства, этой великой религии смирения, разбойничали по всему миру. Безумными кажутся и все неисчислимые войны между самими христианами, одна Тридцатилетняя война чего стоит! Почти десять миллионов человек погибло в Европе, и это в семнадцатом-то веке, то есть в пропорции к общему числу населения гораздо больше, чем во время Первой мировой. Но и в XX веке у себя дома слишком многие из тех, кто считал себя христианами, подавляли свободу, а не способствовали ей. Сама Церковь и политические институты, партии, называющиеся христианскими, были, за редкими исключениями, рассадниками лицемерия, ханжества, шовинизма, расизма, антисемитизма и милитаризма. Какой беспринципной изворотливостью ума надо обладать, чтобы оправдывать, например, рабовладение христианскими ценностями! А именно это и делалось и в США, и в Европе, и в России.

Иван Карамазов возмущался тем, что Бог допускает страдания невинных деточек, но, с другой стороны, утверждал, что атеизм ведёт к вседозволенности. Если Бога нет, то всё можно. Затем люди смекнули, что, наоборот, всё можно как раз в случае, если Бог *есть*. Ибо Бог всё простит, на то Он и Иисус Христос. На упрёк Богу в том, что Он допускает страдания, тоже есть ответ. Бог не управляет прямо событиями и действиями людей. Он даёт человеку свободу воли и совести, выбор между добром и злом, и каждый обязан этот выбор делать. Во всём этом ничего нового нет. Что не перестаёт удивлять, однако, так это то, что Христос позволяет злоупотреблять Своим учением и Своим образом, исказить до неузнаваемости весь Свой посыл и лгать от Его имени. Лгать с успехом и безнаказанностью. Страдания людей, как жестоко это бы ни звучало, не ведут к упадку веры и христианской цивилизации. А вот ложь, особенно успешная, — очень даже ведёт.

Поэтому самый страшный враг Добра сегодня — не то, что так будоражит добропорядочных людей: новый популизм, авторитаризм, повсюду поднимающий голову национализм и даже нацизм. Самый главный и опасный

враг — это ложь. Ложь не просто в виде тотального информационного фейка, а ложь, пропитанная страстным моральным негодованием. Такая ложь становится неотличимой от веры, становится подобием веры. Ну, а нейтральный критерий правды гибнет в полном забвении.

Возможно ли новое спасение?

У Алины был проект спасения, который она предложила в качестве финала спектакля “Разговор с Богом”.

Даже если христианство окончательно себя скомпрометирует, Христос останется самой уважаемой публичной, так сказать, фигурой западной цивилизации. В любом другом деятеле истории или современности возьмёт да и найдётся какой-нибудь изъян. Христос же *безгрешен*. Конечно, всегда будут и высмеивающие, и презирающие Христа, и даже у Него не будет, так сказать, стопроцентного рейтинга; но относительное первенство ему ещё очень долго будет обеспечено. И вот к такому Христу у Алины есть вопрос.

Она считает, что доля ответственности Христа за христианство не равна нулю. Да, Он не несёт прямой ответственности за всяческих крестоносцев и рабовладельцев, но какая-то сложная, хоть и трудноуловимая связь между его “идеями” и выросшими из них идеологиями есть. И чтобы её определить, нужно оставить в стороне эмоции и предрассудки и включить холодный анализ.

Вера и мораль становятся орудиями контроля. Прямой контроль полицейского типа, будучи подчас жёстким и жестоким, не был главной темой Алининого проекта. Несравнимо более эффективен — и совершенно необходим, ибо никакой полиции, конечно же, не хватит контролировать всех и вся, — контроль посредством эмоций. Социальные сети, как известно, хитро используют “обратную связь”, делая людей зависимыми от эмоций, которые они считают свободным самовыражением. Но в основе контроля посредством эмоций лежат старые добрые угрызения совести, когда собственная психика даёт самой себе, как лагерной овчарке, команду “фас” и сама же себя раздирает на кровавые куски.

После некоторых колебаний Алина всё же показала мне репетиционную запись поставленной ею сцены.

Иерусалим. Храм. Утро. Иисус беседует с людьми. Входит группа книжников и фарисеев. Среди них — молодая женщина в изодранной одежде, которую играет Алина. Её подталкивают вперёд.

*Книжник:* Учитель! Она занималась сексом с чужим мужчиной. По закону мы должны казнить её, забить камнями. Что ты на это скажешь?

Иисус наклонился, и, не обращая на них внимания, стал что-то писать пальцем на земле.

Книжники и фарисеи настаивали.

*Фарисей:* И всё же, учитель, как следует поступить с грешницей? По закону?

Иисус выпрямился и сказал им: “Кто из вас без греха — первым брось в неё камень”.

Затем он опять нагнулся ещё ниже и продолжил писать на земле.

Один за другим те, кто окружал Алину, убрались восвояси, и вместе с ними все остальные посетители храма. Она осталась одна, стоя полуобнажённой перед Иисусом.

*Он поднял голову и спросил:* Ну что, все разошлись?

*Алина:* Да, все.

*Иисус:* Никто больше не обвиняет тебя? Ну, и Я не буду. Ступай и больше не грешь.

*Алина:* Благодарю тебя, Господи. Ты спас мне жизнь. Они не посмели меня убить. Но Ты — почему Ты не бросишь в меня камень? Ты ведь без греха, и Тебе ничто не может помешать исполнить закон!

*Алина поднимает с земли камень.*

*Алина:* Вот камень.

*Алина протягивает Иисусу камень.*

*Алина:* Возьми его и сделай всё по закону.

*Иисус встаёт, держа руки опущенными.*

*Алина:* Чего же Ты ждёшь? Что Тебя держит? Или, быть может, Ты Сам не без греха? Где логика?

*Иисус стоит молча.*

*Алина:* Может быть, Тебя сейчас впервые одолевает желание? Или стыд? И Ты почувствовал, что между нами в этом, в грехе, не так уж много разницы? Или Ты понял, что если разница лишь в том, что у меня сегодня был секс, а у Тебя — нет, это не даёт Тебе превосходства? Ева вкусила от плода познания, и это было грехом, от которого произошли все остальные. Ты сам не упоминаешь эту историю. Но всё вокруг тысячи лет как бы намекает, что первородный грех — это прообраз прелюбодеяния. Ведь в сексе начинается жизнь человека, так же как с первородного греха началось существование человечества. И поэтому несмотря на то, что грехов множество, несмотря на всю жестокость, коварство и кровожадность на Земле, прелюбодеяние кажется грехом номер один. “Она согрешила!” — говорят о такой, как я, и не надо уточнять, что это был за грех, всё и так совершенно понятно. Но вот в этом-то и заключена несправедливость. И неправда о жизни. И я же видела только что, что Ты сам не веришь до конца в зло плотской любви. Конечно, всё может стать орудием зла, и плотью можно манипулировать, заставляя страдать. Но ни я, ни мой друг не делали этого. Меня стыдили и хотели казнить лишь за само плотское наслаждение. И именно поэтому, а не потому, что Ты решил простить мне зло, Ты прогнал фарисеев. Ты спас мне жизнь — и скоро об этом узнает весь мир, а потом сотни миллионов людей будут передавать эту историю из поколения в поколение, и она станет одной из тех, что сделает тебя Богом. Новым романтическим Богом свободы и любви, который, в отличие от старых, не забывает девочку камнями за то, что она занималась любовью. Но пройдёт много столетий, и люди в других краях и в других условиях поймут, что обвинением в грехе прелюбодеяния человеческие существа держат друг друга в психическом рабстве. Подавляя естество человека, заставляя его стыдиться самого себя, управляют его сознанием; натравливают на себе подобного, заставляют верить в небылицы, ненавидеть и убивать. Ты спас мне жизнь, но Ты не смог освободить меня от тирании греха. И почему же Твои священники говорят об искуплении греха Тобою, если Твои чада всё так же задыхаются в неврозе воображаемой греховности? Не оттого ли, что Ты сам, несмотря на весь свой героизм, не был до конца свободен? И потому теперь я, женщина, беру у Тебя эстафету освобождения людей, хочешь Ты того или нет. Прощай. И вот ещё что... Я люблю Тебя.

*Алина обнимает и целует Иисуса в губы.*

\* \* \*

Никто в театре не видел Алининого текста в письменном виде заранее, и она просто организовала элементарное оформление, свет, и без репетиции проговорила свой текст.

Рассказала мне Алина и о реакции режиссёра Гройса на эту сцену. Он молча поднялся на сцену, пока “Христос” и Алина там стояли в ожидании, подошёл к Алине и сказал:

— А теперь то же самое, но без этого наряда. Всё с себя снять. Всё.

История с запретом спектакля оказалась сложнее, чем она поначалу казалась. Окончательный текст инсценировки попал *куда следует*. Текст включал Алинину сцену. Автором текста считался Вадим Гройс, он один. Это, кстати, напомнило мне единоличное Брехтово авторство “Трёхгрошовой оперы”, в то время как, на самом деле, большая, если не большая часть текста была написана подругой Брехта, Элизабет Гауптман.

К тексту, как я понял, у властей — Минкульта, и других “органов” — было много претензий, но настоящий гнев вызвала именно Алинина сцена. Текст был положен на стол знаменитого епископа Тихона. Я знал Тихона в бытность его Георгием, когда он курировал от издательского отдела Патриархии мой фильм о постсоветском возрождении Церкви.



— Мне удалось получить от Его Святейшества короткий комментарий по поводу текста “Разговора с Богом”, — сказал Тихон. — “Возмутительная, грязная ересь. Не хочу даже пытаться представить, чем живёт человек, сочиняющий такую отвратительную хулу на Господа”.

Из контекста разговора стало понятно, что он имеет в виду Алинино “продолжение” восьмой главы Евангелия от Иоанна, стиха 8.11.

Гройс убрал сцену из спектакля, и я уже видел прогон без неё. При этом до епископа Тихона и, видимо, соответствующих органов была доведена информация, что богохульный текст написан не Гройсом. Возможно, “довёл” эту информацию сам Гройс, ибо у него всё ещё были связи в Минкульте, и он там пытался спасти спектакль. По крайней мере, в какой-то правительственной газете вроде “Известий” появилось упоминание об “удалённых из пьесы особенно спорных текстах, которые не были написаны самим Вадимом Гройсом, а, вероятно, возникли в процессе актёрской импровизации”.

Затем, в другом издании, Гройсу задали вопрос в связи с тем, что “запрещённый текст”, по мнению “информированных источников”, слишком сложен для того, чтобы быть результатом импровизации. Более того, он содержит довольно продуманный вызов православной доктрине, требующий определённой теоретической и литературной подготовки. Гройс ответил, что уровень образования коллег по театру очень высок, но как бы то ни было, человек, несущий непосредственную ответственность за слова, способные ранить чувства верующих, более не является членом театрального коллектива.

\* \* \*

Светало. Я должен был вернуться в гостиницу, освежиться и переодеться перед назначенной на то утро съёмкой. Мне было тревожно за Алину. Она сказала, что поспит час-другой здесь, на диванчике у Алексея, и утром решит, как жить дальше. Они сильно поссорились с Сергеем из-за фотографии в газете. Я подумал, что на самом деле почти ничего не знаю о Сергее, и сказал Алине об этом. Я уже стоял у дверей, когда она описала его в довольно неожиданных выражениях.

— Это идеальный человек. Хоть и не так, как князь Мышкин... Идеальных, конечно, на самом деле нет. Но Сергей — самый правильный из всех, кого я встречала. Он может ошибаться, как все, но всегда признаёт, что не прав. Никогда не обвиняет кого-то без веских оснований. Это не значит, что ему легко понравиться, совсем даже наоборот, он может очень критично отзываться о ком-то или о чём-то, но он это всегда делает спокойно и рассудительно. У него есть чёткая цель — посвятить свою жизнь России. Я думаю, он хочет быть президентом или кем-то в этом роде. Но не ценой интриг, не подличая. Если так не получится, то и Бог с ним. Он готов быть рядовым юристом, но делать всё честно. Он понимает, сколько здесь проблем. Олигархи, жадность, коррупция. Нельзя быть наивным. Но ещё хуже быть циником. И если ни на что не отвлекаться и всё время действовать в интересах страны, народа, то — Сергей так считает — всё вокруг будет тебе помогать. Во всяком случае, будет достаточно источников силы и вдохновения. Наша страна и наш народ, может быть, не самые изящные и изощрённые, но в них есть что-то совершенно уникальное. И то, что сказал Александр Невский, актуально, как никогда: “Не в силе Бог, а в правде”. Сергей — очень верующий. И говорит, что его вера в Бога и вера в Россию — это одно и то же. И любовь... Он любит меня. И Россию. — Алина слегка улыбнулась. — Я — его Россия. Он хочет прожить правильную, православную жизнь — со мной. Поэтому эта история, фотография... Маленькая катастрофа. Или не маленькая...

Мы простились. “Какие они всё-таки ещё дети”, — думал я, вспоминая Алинин монолог по дороге в гостиницу.

Вскоре я улетел в Лондон. Там я прочёл, что Вадим Гройс арестован. Не найдя детальной информации, позвонил Алине. Она не могла долго разговаривать и сказала только, что Вадима обвиняют в избиении актёра.

К вечеру картина несколько прояснилась. Избитым актёром оказался Алексей Душин. Гройс отрицал, что избил Душина, утверждая, что лишь оттолкнул его, защищаясь от “нападения”. Душин между тем попал в больницу с переломами и сотрясением мозга. Либеральная общественность опять встала на защиту режиссёра: арест, разумеется, политически мотивирован. Но всё не так просто.

С момента появления Алины в театре Душин взял Алину под свою опеку. Он показал ей театр, мастерские, познакомил со всеми, кто попалался на пути: осветителями, машинистами, гримёрами и костюмерами, не говоря уже об актёрах. Алина впоследствии призналась, что быстро поняла, что Душин влюбился в неё с первого взгляда. При том, что ходили слухи, что он “голубоват”, хотя и женат. Первое время Алина не видела его пьяным, но однажды почувствовала сильный запах спиртного. Было это, кстати, во время той самой знаменитой сцены с поцелуем Христа.

В истории с избиением драку, судя по всему, начал Душин. Он пришёл пьяным на прогон и стал упрекать режиссёра в том, что тот выкинул Алину “гениальную, лучшую сцену” из спектакля и “предал” Алину. Когда Гройс попросил Душина уйти, тот начал громко оскорблять режиссёра. Гройс поднялся на сцену и, подойдя близко к Душину, потребовал, чтобы тот убирался из театра. Душин якобы дал Гройсу пощечину. Затем произошло нечто, в результате чего Душин свалился со сцены.

На следующий день после ареста Гройса я летел в Москву. Я уже однажды снимал Вадима в театре, хотя и не говорил с ним подробно на камеру (и это было до того, как его всерьёз взяли в оборот “консервативные силы”). Теперь я хотел расширить эпизод о нём и его театре. Надо было, в числе прочего, восстановить цепочку событий, приведших к аресту, постараться записать интервью со свидетелями, с Душиным в первую очередь.

Стоя в очереди на паспортный контроль в Шереметьево, я прочёл, что Алексей Душин скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Обвинение Гройсу было переквалифицировано в непреднамеренное убийство.

Помню, стоял страшный мороз, несмотря на то, что была уже середина марта. Алина, выезжая из Питера, чтобы навестить Душина в больнице, и не зная, что его уже нет, почему-то назначила мне встречу на улице, и я, не подумав, согласился. Я не смог ей перезвонить потому, что в телефоне села батарея. Алина опаздывала, и я чуть не околел.

Так получалось, что всё в Москве в те дни было ужасно неудобно и не приветливо. Отель непонятно почему не смог снять предоплату с моей карточки, и последний номер отдали другому. Таксисты не находили меня по геолокации. Когда же я оочевенными пальцами вбил адрес, то не заметил, как нажал что-то не то, и такси было заказано в Петербурге, а не в Москве.

— “С лёгким паром!” — остроумно пошутил дозвонившийся до меня водитель.

Мне было не до шуток. Стоя у памятника Пушкину, я думал о нас, русских: какой же мы всё-таки несчастный народ! Даже мороз у нас злее, чем у других. Почему-то при такой же температуре воздуха в Осло или Монреале нет такого ощущения безысходности, как в Москве. Впрочем, ощущение это было тогда наверняка связано с новостью о смерти. Смерти человека, с которым я был едва знаком, но о котором знал, что он любил Алину; человека погибшего, как я вдруг остро почувствовал, из-за любви.

Наконец, прибежала Алина, и мы зашли в ближайшее кафе на Тверской. Она уже знала, на какой день назначены похороны, и, оказывается, Сергей, по случайному совпадению, назначил “помолвку” — подачу документов на заключение брака, — на тот же день. Сергей уже занялся переносом помолвки, но теперь другое мучило Алину. Она твёрдо обещала себе рассказать Сергею, прежде чем окончательно согласиться выйти замуж, всю правду о взаимоотношениях с Гройсом. Похороны давали ей возможность оттянуть разговор. Но, как она выразилась, ложь казалась ещё страшнее в злобешем свете того, что произошло с Алексеем.

— Алина, какая ложь? — осторожно спросил я.

— Я переспала с Гройсом. И когда я говорила Сергею, что Вадиму нравятся мои гениальные идеи, и только поэтому он взял меня в театр... Короче — я кривила душой.

Алина решила не возвращаться в Петербург до похорон. Она остановилась у знакомой девушки-костюмера и проводила время с ней и другими знакомыми по театру, поминая Алексея. Я хотел попробовать снять что-то на похоронах для фильма и собирался спросить заранее и письменно разрешения у вдовы, но Алина посоветовала к вдове не обращаться. Там наверняка будет несколько камер от телеканалов, предположила Алина, и они разрешения спрашивать не будут. Написав вдове, я вряд ли получу ответ, но, может быть, получу отказ.

— Она такая, чуток с приветом, — сказала Алина и добавила с напускным русским акцентом: — Джаст ду ит.

\* \* \*

Народу на кладбище собралось много, человек двести. Алексей снимался в двух-трёх популярных сериалах, правда, уже давно. “Разговор с Богом” никто не видел, но спектакль стал известным примером откровенной цензуры, да ещё таким скандальным и интригующим. Славы Алексею, конечно же, добавила его смерть.

“Христос” умер. Или был убит.

Надрывно звучали речи коллег. Никто не винил Вадима. Все говорили о трагедии. О трагедии художника в современной России.

Гроб был открыт. Я помню, как содрогнулся, увидев в гробу Иисуса Христа, с заострённым носом, впалыми щеками и чёрным обрамлением глаз. Волосы шевелились на ветру, и голова была чуть-чуть повернута в сторону. Вместо бороды, правда, щетина, и глаза не приоткрыты, а так — просто Ганс Гольбейн какой-то!

Алина подошла ко мне незаметно, в то время как я что-то обсуждал со своим звукооператором. Закончив съёмку, я прошёл с Алиной к группе её театральных знакомых. Там на раскладном столике расставили пластиковые стаканчики и тарелочки с солёными огурцами и оливками. Разлили водку. Неожиданно к Алине подошла вдова Алексея, темноволосая женщина с бледным лицом в расстёгнутой, как сейчас помню, черно-бурой шубе, и сказала, что не хочет её видеть на поминках. По реакции Алины можно было подумать, что к ней обратились на непонятном ей языке. Она, кажется, слегка помотала головой и даже едва заметно улыбнулась.

— Убийца! — выкрикнула ей в ответ вдова. — Это ты его убила!

Алина села в наш съёмочный микроавтобус, мы доехали вместе до моей гостиницы и устроились в баре поговорить и помянуть Алексея. Тогда я узнал ещё кое-какие подробности.

Сергей как-то уехал в Крым, где его отец руководил строительством гостиницы, но сломал руку и нуждался в помощи. Душин приехал к Алине в Питер и признался в любви. Он сказал, что подозревает, что у неё роман с Гройсом, но ему неважно, с кем она спит, и он готов отдать жизнь за её поцелуй. Он собирался ночевать на вокзале, и Алине пришлось его приютить. Алексей был пьян и скоро заснул, но именно в ту ночь Алина почувствовала, что с ней происходит что-то необычное. Утром она сказала об этом Алексею, он вызвался сходить в аптеку и купить тест на беременность. Тест дал позитивный результат, и Алексей стал уверять Алину, что Вадим её не любит, что он будет заставлять ее сделать аборт, а он, Алексей, готов развестись с женой, работать на тупых сериалах, жениться на Алине и воспитывать её ребёнка. При этом он уже с утра пил, прихватив бутылку во время похода за тестом на беременность.

Запой длился несколько дней, Душин пропустил репетицию. Жена Алексея, Людмила, разыскивала его, обзванивая больницы и morgi. После того как она, наконец, узнала, что Душин у Алины, Людмила приехала в Питер и, наорав на Алину, забрала мужа с собой. Ужасная в своей банальности русская история.

Однако Алина в результате убедилась, насколько Алексей уважает, если не боготворит Вадима Гройса. В минуты просветления он только о нём и говорил. Гройс был, согласно Душину, гением. Его театр — островок свободы и любви в этом жестоком городе по имени Москва. Алине показалось, что эта любовь к Вадиму не была достаточно взаимной или перестала ею быть. Это и стало причиной участвующих у Алексея срывов в беспробудное пьянство.

Он не справился с жизнью. Но просто считать это слабостью — значит плохо её, жизнь, понимать. Неспособность Алексея отстоять себя на уровне чёрствой рутины оказалась, скорее, результатом его непрерывного вдохновения. Кроме того, что он очень много работал, выкладываясь эмоционально, до истощения, он был прекрасным пианистом и хореографом. Казалось, что мыслит он исключительно ассоциативно, а не традиционно-драматургически, с поразительной уместностью цитируя поэзию, в том числе малоизвестную и иностранную. И вот теперь ничего этого никогда уже не будет. И восстанет ли он когда-нибудь из мертвых, как обещают в христианстве? Алина долго сдерживала слёзы, но, наконец, расплакалась.

— Он слепил свой автопортрет, фигурку, статуэтку, он ещё и скульптором был, любителем, из глины, потом обжигал где-то профессионально, очень такая хорошая, экспрессивная, очень характер его хорошо отражала, безумная такая немножко, и, короче, он мне её подарил, я тебе себя дарю, сказал, на день рождения, он долго её лепил, она у него осталась, я сказала, что заберу, когда перееду, — и когда я ему сказала, что сделала аборт, он схватил статуэтку и — об пол, вдребезги...

\* \* \*

Алина вернулась в Петербург и всё рассказала Сергею. “Всё” — это, впрочем, преувеличение. Разве можно кому-то рассказать всё? Как бы то ни было, неделю спустя после похорон Душина Сергей знал больше, чем я на тот момент. Всё это он потом описал в своих показаниях.

На одной вечеринке Гройс, Душин и Алина оказались втроём в одной комнате. Звучала музыка, лилось настоящее шампанское. После какого-то замешательства Душин вышел из комнаты. Позже кто-то из гостей сказал какому-то журналисту, что “троица” занималась сексом. Алина это отрицала. У них, с Вадимом и Алексеем произошёл якобы откровенный разговор. Среди прочего, и на тему секса, да. И так называемой “ориентации”. Но именно разговор. А не оргия. Тем не менее Алина сказала Сергею, что в тот вечер у неё и Гройса был секс.

Когда я первый раз услышал обо всём этом, я всё ещё очень мало знал о Сергее. На факты, описанные затем обезличенным языком следовательских протоколов и СМИ, я накладываю то, что слышал и о нём, и о его семье от Алины, и то, что вынес от общения с ним самим. Получается следующая картина.

Сергей был русским человеком того нового поколения, или новой формации, в которой не осталось ничего советского. Неожиданная для некоторых характеристика этого “не-совка” — отсутствие каких-либо предрассудков в отношении религии. Многие молодые люди в России с подозрением относятся к Церкви, но это — не черта какого-либо одного поколения. Как бы мы индивидуально ни относились к советскому прошлому и к Церкви, мало кто будет отрицать, что советская власть уникальным образом преломила у своих подданных восприятие религии, и не только христианской. Коммунизм мог её, религию, из человека вытравить, причём независимо от его отношения к самому коммунизму, а мог и подтолкнуть к полному в неё погружению. Но погружение это отличалось от “нормализованной” религиозности за пределами коммунистической сферы влияния. Такой особый взгляд на религию — и позитивный, и негативный — пережил распад СССР, но и он постепенно угасает. На смену идёт обычная, общепринятая в мире религиозность или общепринятый атеизм. Сергей был не по-советски религиозен.

Отец Сергея, Игорь Александрович, с которым я незнаком, был весьма загадочной и, видимо, интересной личностью. Алина сказала, что он был военным, который ещё призывником участвовал в Первой чеченской войне. Тяжело раненного, его чуть ли не отправили по ошибке в морг. Он провёл несколько месяцев в госпиталях, последним из которых был наш питерский Окружной военный госпиталь у Смольного. Видимо, там он познакомился со своей будущей женой, врачом, на несколько лет его старше. Поселившись в городе, отец Сергея сделал карьеру преподавателя в военных учебных заведениях, защитил диссертацию по истории Русско-японской войны. Оба супруга, родители Сергея, православные и воцерковлённые, воспитывали сына в вере с детства.

Весной 99-го НАТО бомбило Югославию. Игорь Александрович написал письмо президенту Ельцину, министру обороны Сергееву и своему непосредственному начальнику в Суворовском училище, где он преподавал, что считает политику руководства России, игнорирующего даже требования Госдумы в отношении нападения НАТО на Югославию, предательской. Не получив ответа, он опубликовал статью в газете “Завтра” под названием “Когда в Кремле — предатель”.

“Когда наш брат, истекая кровью под ударами оравы — тринадцать на одного — наглых, жестоких, хотя и трусливых бандитов, молит нас о помощи, мы стоим в сторонке и делаем вид, что ничего не видим и не слышим. Что должно произойти, чтобы наш якобы демократически избранный правитель обратил внимание на это побоище? Сколько ещё мирных жителей, женщин и детей, должно быть разорвано на куски, сколько ещё журналистов на своих рабочих местах должно быть с холодным намерением убито ОПГ “НАТО”, чтобы в Кремле очнулись от забытья и хотя бы внятно предупредили головорезов о возможных последствиях? Все знают, что Первая мировая война началась, когда Сербия подверглась нападению, а Россия заявила, что не даст в обиду братскую страну. Бойтся ли Запад повторения такой войны? Ничуть. Имея такой страшный опыт, как та бойня, что началась всего-то восемьдесят пять лет назад, Запад уверен, что сейчас можно безнаказанно уничтожить Сербию. Россия покорно утрётся. Позор, господа новые как бы русские! Позор, перекарасившиеся партийцы! За такую Россию — стыдно. За мою любимую Россию — страшно. Потому что предательство вошло у вас в привычку, и с такими, как вы, у власти нам и ядерный щит не поможет”.

Читал я и ещё одну заметку Игоря Александровича — о Второй чеченской войне, когда она была в самом разгаре:

“Чеченский вопрос, по сути, неразрешим. Я там был и чувствовал себя одновременно и оккупантом, и жертвой их ненависти, но ненависти не только оттого, что мы — оккупанты, а потому, что мы просто не такие, как они. То есть они так же ко мне относились бы в России без всякой оккупации. Но мне тогда было восемнадцать, и я многого не понимал. Российская империя была отсталой ещё и потому, что у неё не было чётких естественных границ между колониями и метрополией и ей, по сравнению с британской, можно было как бы “лениться”, не надо было создавать сложную систему администрирования заморских владений, сложную и технически, и культурно. При этом, управляя империей удалённо, англичане могли интенсивно развиваться политически и экономически у себя на маленьком, сравнительно изолированном острове. У нас другая судьба, её нужно осознать и перестать удивляться, что у нас всё не как у людей. Когда наши либералы говорят, что колонии надо отпустить, как это сделали англичане и французы, они просто хотят выглядеть лично, персонально людьми первого сорта, тонко чувствующими, что советские республики — это колонии и что колонии — это старомодно и неполиткорректно. Они это, понимаешь, чувствуют, а совки не чувствуют. Либералов не интересует, что у нас совершенно иная политическая география, что мы не маленькая густонаселённая высокоразвитая территория, окружённая себе подобными союзниками и опутавшая бывшие колонии современными финансово-экономическими путями. Туда, откуда мы уйдём физически, придут, виртуально, по крайней мере, а где-то и физически,

в виде того самого НАТО, наши конкуренты и враги. Трагедия России в том, что самосознание народов на её нечётко выраженных границах может выливаться в обиду и враждебность. На этих чувствах недобросовестные враги за океаном могут строить всю антирусскую идеологию, раз больше нет жупела коммунизма. С этим нам теперь жить. И русскому солдату, простому русскому человеку, остаётся лишь его Вера, Надежда и Любовь. Его будут называть оккупантом, сравнивать с захватчиками вермахта, с теми, кто хотел конкурировать с англичанами и американцами в господстве над миром. Русский солдат должен будет эту несправедливость терпеть, защищая свою родину. Он должен это терпеть, как вооружённый святой, уважающий своего врага-чеченца, который защищает *свою* родину. В трагедии этого русского солдата отразится судьба всей России”.

Ясно, что в средней перспективе Игорь Александрович ошибся в прогнозах по Чечне, но, возможно, предсказал Украину. Как бы то ни было, осенью 2014-го он уехал добровольцем на Донбасс. Когда я познакомился с Сергеем, его отец, как я понял, проводил большую часть времени в Крыму. Говорили, что кто-то пытался ещё в его бытность в Питере привлечь его к политической деятельности, но Игорь Александрович посчитал, что ни одна партия не соответствует его видению будущего страны.

Сергей как-то сказал Алине, что высказывание Ортеги-и-Гассета, которое однажды процитировал отец, стало его девизом: “Вера в то, что бессмертие народа в какой-либо мере гарантировано — наивная иллюзия. История — арена жестокой борьбы, и многие нации сошли с неё, перестав существовать как независимые целостности. Жить в истории — не значит плыть по течению, жить как вздумается; жить — значит очень серьёзно заниматься жизнью, как если бы это было твоей профессией. Осознавая это, мы обязаны здесь и сейчас озаботиться будущим нашей нации”.

И вот такой Сергей, сын такого отца, Сергей, для которого его невеста была его Россией, узнаёт, что она переспала с режиссёром Гройсом, а затем сделала аборт! О разговоре с Сергеем Алина мне рассказывала сдавленным голосом в такси. Я должен был улететь в Лондон, и она, как когда-то я, испововала время поездки для передачи информации.

Реакцию Сергея на свой рассказ Алина описывала так:

— Он не повышал голоса и вообще довольно долго молчал, выслушав меня. Необычным было лишь то, как он дышал, громче и чаще обычного. При этом он как-то странно щурился, как будто пытался что-то вспомнить или решить какую-то логическую задачу. И потом настал самый тяжёлый для Алины момент. Сергей вдруг быстро заморгал и отвернулся.

Тогда Алина сказала, что режиссёр её изнасиловал. Сергей потребовал, чтобы они тут же поехали в полицию. Несмотря на то, что прошло много времени. Если Алина говорит правду, она сможет и должна повторить это в полиции. Алина отказывалась, потому что была уверена, что её обвинение будет использовано в целях политического преследования Вадима. Мол, на него и так уже убийство повесили. Она не хотела добивать человека. Сергей заявил, что это отговорка. Когда им выгодно, женщины не жалеют мужчин и обвиняют их, это теперь очень даже модно. Изнасилование — тяжкое преступление, и не сообщать о нём нельзя. Безотносительно того, кто его совершил, какие у него политические взгляды и насколько государство, с его точки зрения, ущемляет его право на свободное самовыражение.

Алина не знала, что ответить начинающему юристу. Он с неумолимой педантичностью продолжал:

— От жертвы сексуального насилия нельзя требовать какого-то особого бесстрашия во время совершения насилия над ней. Часто подозревающие жертву в добровольном участии в акте, который она потом называет насилием, требуют свидетельства её активного физического сопротивления. Это, разумеется, совершенно неправомерно. Но если при последующей возможности заявить и рассказать о преступлении в безопасности предполагаемая жертва колеблется, она должна чётко изложить причины такой нерешительности. Как бы неприятно ей ни было привлекать внимание к некоторым деталям, даже у жертвы, наряду с правами, есть обязанности.

Алина на это, в конце концов, ответила, что юридическая логика не всегда отражает сложность реальной жизни и человеческой психики. Алина назвала то, что произошло, насилием, так как она действительно сказала Вадиму: “Нельзя”. И он действительно её не послушал. Но не в качестве жертвы вообще, не как “официальная” представительница женского пола, не как пример для назидания — она как отдельный человек в отдельном случае не чувствует, что смысл слова “насилие” в жёстком юридическом смысле, имеющем серьёзные последствия для Вадима — жертвы насилия политического, — точно определяет то, что с ней произошло.

На это Сергей ответил вопросом:

— А что, кроме “нельзя”, ты сказала ему?

Алина решила говорить всю правду:

— Я сказала: “Сегодня нельзя”.

Это, разумеется, оказалось очередным ударом для Сергея. Помолчав, он промолвил:

— Это далеко не то же самое, что сказать просто “нельзя”, как ты сама прекрасно понимаешь. Тем не менее, что касается действий этого человека, режиссёра, технически, юридически это его вины это не умаляет. Поехали!

На это Алина сказала, что хочет, чтобы Сергей знал всю правду, как бы тяжела она ни была. Она очень сожалеет о том, что произошло, искренне раскаивается и просит его простить её. Правда заключается в том, что её поведение в той ситуации не было однозначным, и, хотя Вадим, действительно, должен был остановиться, брать теперь на себя роль его обвинителя ей не позволяет совесть. Так поступают манипуляторы, и хотя это может ненадолго заглушить боль у Сергея, в конце концов, он как честный человек не сможет терпеть возле себя манипулятора.

Правда заключается в том, что после того как она сказала Вадиму: “Сегодня нельзя”, — он продолжал просить, и скорей всего на это она уже ничего не ответила. И причиной тому не был страх, не была физическая невозможность остановить его. Даже если причину можно было бы описать как “психологическая невозможность”, Алина не считает приемлемым выносить разбор таких вещей на суд общества, государства и СМИ.

\* \* \*

После похорон Душина от Алины неделю-другую не было новостей. Я занимался очень трудной темой — российско-американской пропагандистской войной, много летал, в том числе и в США. Всё началось с моего фильма о деле Магнитского. Я обнаружил враньё в той версии этого дела, которая была распространена на Западе и в либеральных кругах России. Согласно этой версии, бухгалтер Сергей Магнитский раскрыл преступление российских милиционеров, был ими посажен в тюрьму и убит. На самом деле, Магнитский помогал своему американскому боссу уходить от налогов, был арестован, заболел в тюрьме, где его плохо лечили, и там умер от сердечного приступа на фоне диабета и гепатита.

С тех пор как я ещё подростком услышал о сталинских лагерях, я возненавидел государство за его жестокость. В постсоветские времена я не мог смириться с тем, что наши спецслужбы считают себя продолжателями традиций КГБ, которые преследовали инакомыслящих. Но Магнитский не был ни инакомыслящим, ни разоблачителем коррупции. Он был, по всей вероятности, жертвой бесчеловечного отношения тюремщиков и наплевательского — врачей. Об этом я и рассказал в фильме. Но я не повторил слово в слово западную, ошибочную версию событий. И в одночасье стал врагом либералов. Хуже было бы только замахнуться на пророка Мухаммеда среди мусульман.

На мою сторону встало совсем немного авторов, и в основном (как это ни парадоксально) на Западе. Каково же было моё изумление, когда я понял, что самую красноречивую статью в мою защиту “Кто кого предал” написал отчим Алины, с которым я к тому моменту не был знаком.

“Эх, вы, — писал он, — защитники прав и свобод! “Один за всех, и все за одного!” — кричите вы на митингах. А когда один из вас проделал работу, которую образованное общество обязано было сделать давным-давно, — беспристрастно проверил факты, вы назвали его предателем. А ведь всё, на самом деле, наоборот. На самом деле, вы его предали. Вы же все вместе решили бороться за свободу и демократию. Журналистское расследование — важная часть этой борьбы. Он делал это дело, он был за вас, за всех. А что сделали вы? Предали не только “одного”, вашего товарища, предали свои же принципы. Кто после этого будет вам верить?”

Вы ещё не у власти, но уже действуете, как авторитарный режим, который проталкивает удобную информацию и подавляет неудобную. А если у вас к тому же будет государственная и финансовая власть? Положим, что нынешние правители не брезгают откровенной пропагандой, но мы знаем её границы, наше непредвзятое восприятие и свободное мышление научилось кое-как выживать в этой капиталистической системе, которая отличается от западной, по сути, лишь тем, что там у них пропаганда несколько изящней, но и гораздо мощнее. И почему вы считаете, что большинство в России готово рискнуть и позволить вам инсталлировать ваш новый неизведанный тип авторитаризма? Если не менять саму капиталистическую систему (а этого вы, конечно же, делать не собираетесь), её авторитарная составляющая на новом этапе может быть только страшнее тех, что действовали на предыдущих. Вы успешнее и тоньше в дискредитации оппонентов. И вы будете эффективней, да, в надзорном капитализме. Поэтому-то ваша пропаганда и ложь в деле Магнитского — такой важный урок для общества; надо надеяться, что он будет усвоен, и к власти вас не допустят”.

\* \* \*

Вскоре я получил подробное письмо от Алины с новостями из её жизни. У них с Сергеем всё прекрасно, писала она. Он много читает, вник в содержание текстов “Разговора с Богом”. У него возникла идея YouTube-канала, с Алиной в главной роли, где будут обсуждаться темы личных отношений, а также веры, греха и атеизма. Алина поначалу отнеслась к идее скептически, но затем задача говорить о таких вещах просто и понятно для молодой аудитории ей показалась интересной. Они собирают деньги и готовятся к запуску. Сергей считает, что первой темой должен быть Алинин “запрещённый текст” к “Разговору с Богом”, но Алина в этом не уверена.

Вадима Гройса отпустили из тюрьмы под расписку о невыезде, а прокурор смягчил обвинение, согласившись с тем, что драку начал Душин.

На конец письма Алина приберегла сюрприз: приглашение на свадьбу, с венчанием в Роцинске, в церкви, где служил Аркадий, отныне — отец Аркадий. Оказывается, уже четыре года, как он был рукоположён в сан священника.

Я, разумеется, сделал максимальное усилие, чтобы освободиться от дел для такой поездки. Мне было удобно прилететь в Ригу, взять там машину напрокат и по прямой доехать до Роцинска через пропускной пункт Шумилкино.

План сработал, дорога была хорошая, с погодой повезло, система резервирования переезда границы, мне доселе неведомая, оказалась очень удобной, и я прибыл в этот живописный русский городок раньше запланированного времени. Поселился в “Гостевом доме” и вышел погулять.

Начало июня, пожалуй, лучшее время года. Было прохладно, но ясно и как-то по-особенному лучезарно в девятом часу вечера. Откуда-то доносился шум воды, я пошёл по направлению к нему и, к большому удивлению, набрёл на настоящий водопад. Вернувшись в гостиницу, я заказал ужин и прочёл новые сообщения в телефоне. Алина спрашивала, добрался ли я, отец Аркадий приглашал на ужин. Я ответил, что уже сижу в ресторане. Он спросил, можно ли ему ненадолго зайти ко мне, когда мне будет удобно.

Казалось, что он не постарел с того времени, когда был сделан снимок, который мне показывала Алина, но нажил себе с тех пор немного седины.



Он всё ещё выглядел на тридцать с небольшим, хотя ему было сорок. Очень худой, довольно высокий, хоть и слегка сутулый; пронизательный взгляд с проницательным прищуром при очень приветливой белозубой улыбке.

Я пил пиво, он — чай. Вскоре мы заговорили о моём фильме и его заметке в мою защиту.

— Вы попали в перекрёстный огонь, — сказал он, — между правдой и мирскими, или... общественными, если угодно, идеалами. Во-первых, это шок, шок от того, что общественные идеалы и правда — не одно и то же. Пока вы оправляетесь от шока, вас забивают. Обратите внимание, я не сказал “между правдой и ложью”. Понятие “ложь” в данном случае мало что объясняет, потому что мало кто лжёт сознательно, как это ни странно. Сознательно говорят, в основном, то, что почитают за правду. И в большинстве случаев ошибаются. Неслучайно среди заповедей Божьих вы не найдёте предписания “не лгать”. Это не значит, что нам разрешено лгать. Но можно сказать, что человек, прежде всего, лжёт самому себе. То есть лжёт бессознательно. Я не знаю, православный ли вы, но православная вера способна вытащить такую ложь на поверхность, себе на обозрение, так сказать. Как это с оговорками пытается делать психоанализ. Но психоанализ, развооружив подсознание, бросает человека на произвол судьбы, а Православие его спасает.

Я был удивлён. Не самой мыслью, а тем, что отец Аркадий вот так, с места в карьер, мне её захотел высказать. Но удивление было скорее приятное: я имел дело с интеллектуалом, который меня понимал и принял мою сторону в споре с большинством.

Я сказал ему, что часто думаю о причинах неспособности людей с твёрдыми, так сказать, политическими убеждениями к беспристрастному анализу, если он чреват конфликтом с тем, что давно принято за некую партийную аксиому. На секунду забыв о том, что говорю со священником, я сравнил такие политические убеждения с “исступлённой верой в Бога”. Отец Аркадий и глазом не моргнул. Как бы поправляясь, я заметил, что “исступленно” верующих в Бога я на самом деле в своей жизни не встречал; а вот политических фанатиков вокруг хоть отбавляй. Притом, что если в Советском Союзе кто-то фанатично верил в социализм и коммунизм (хотя среди моих знакомых таких не было), в сегодняшней России таким кумиром является капитализм.

Сам я, крещённый православный, не считал себя каким-то дерзким антиклерикальным бунтарём, хотя нередко возмущался “мракобесием” и “ретроградством” Церкви. Я занимал распространённую в России “компромиссную” позицию. Да, Русская Церковь слишком консервативна, подчас реакционна, но она не управляет умами, как тоталитарная идеология. Воцерковлённость может сосуществовать с интеллектуальной свободой и политической независимостью.

Я не помнил случая, когда батюшка в церкви не показался бы мне достойным того благоговения, которое я к нему интуитивно, рефлекторно заранее испытывал. И пусть многие священники — не самые великие интеллектуалы, мне всегда доставляло какое-то необъяснимое удовольствие в конце службы слушать проповедь любого из них.

При этом многое у Фрейда и его последователей всегда казалось мне убедительным. Но это не заставляло меня в реальной жизни избочничать на каждом шагу ложь и лицемерие, например, в традиционных семьях моих знакомых, в том, как они воспитывают детей, патриархально и традиционно, неправильно с “прогрессивной” точки зрения. Как бы ясно я подчас ни видел (на примерах из собственного детства, среди других), что семья — ячейка авторитарного государства, я никогда серьёзно не задумывался, с чего можно было бы начать что-то в этом менять на практике.

Опыт исповеди и психоанализа, заметил Аркадий, имеет много общего для исповедуемого и “анализируемого”, притом, что у этого последнего остаётся ощущение греховности того, что он вспоминает и вербализует, несмотря на отсутствие греховности в психоаналитической картине мира. Эту проблему психоанализу не разрешить по той простой причине, что греховность есть, так сказать, “объективно”.

— Набоков, как известно, — продолжал отец Аркадий, — терпеть не мог психоанализа. Он относился к тому типу людей, которые активно или агрессивно вытесняют не только собственно подсознательный материал для психоанализа, но и, условно говоря, сам институт психоаналитической исповеди.

Я опять немного удивился про себя: “Набоков? Хм-м...” А вслух произнёс:

— Ему всё это было не нужно. Он писал и писал — это был его психоанализ. И неслучайно одна из книг называется “Память, говори”. Он в этом своём отношении к психоанализу неуникален, согласитесь. Рильке, узнав о психоанализе, понял, что это не для него, и сказал — неагрессивно, в отличие от Набокова, — что если он подвергнется психоанализу, то перестанет писать.

— Так-то оно так, — ответил отец Аркадий, — но эти, казалось бы, очевидные утверждения связаны с аполитичностью. В аполитичности для многих ничего дурного нет, но она, аполитичность, идёт от равнодушия перед лицом несправедливости...

На этом глубоко за полночь мы расстались.

Засыпал я долго, тягуче, несмотря на усталость; впечатления от длинного дня роились в голове. Аркадий — какой необычный тип! Повороты нашего разговора мелькали параллельно с извилинами дороги в моём лобовом стекле... Но затем чувство радости за Алину заполнило всё. Я радовался тому, что оказался способен искренне и сильно желать человеку счастья, которое сам никогда не смогу разделить. Я полюбил её, и любовь эта была у меня первой в своём роде, та самая, что “милосердствует, не завидует, не ищет своего и не радуется неправде”.

\* \* \*

Я думал было встать и начать день, но почувствовал, что совсем не выспался, отодвинул от себя телефон, закрыл глаза и проспал до десяти. То есть опоздал к началу венчания, которое было назначено на десять.

Этот день предстаёт в памяти — скачкообразно, эклектичным монтаже кадров, будто бы снятых безумным оператором в разных стилях, от бесконечных статичных общих планов до нарочито болтающихся, фокусирующихся на произвольных деталях...

Храм находился на холме, в километре от гостиницы, я бежал туда почти всю дорогу и вошёл внутрь, изрядно запыхавшись.

Снаружи сияло ослепительное солнце, а своды храма как бы подчиняли свет своим древним формам, так что образа, священник, дьякон, пономарь, хор, венчающиеся и даже вся пёстрая толпа находились в некоем зримом созвучии. Единственным диссонансом стала откуда ни возьмись появившаяся большая видеокамера и микрофон на удочке с привязанными к ним проводами телевизионщиками.

Народу собралось довольно много. Большинство явно приехало из обеих столиц, что неудивительно. Погода стояла прекрасная, место живописное, гостиницы сносные, вечером всех ждал банкет. Не говоря о том, что венчались два незаурядных молодых человека, у которых, видимо, было много друзей. Иногда отвлекаясь мыслями от церемонии обручения, я думал о том, что стены храма ещё застали эпоху независимости двух демократически обустроенных русских земель, Пскова и Новгорода. Англию тем временем раздирала гражданская “война роз”, но в Германии уже работал книгопечатный станок Гутенберга... Я почему-то запомнил эту произвольную цепочку мыслей.

Помню знаменный распеv, помню быстрый взгляд Алины из-под платка куда-то в сторону, её правильный профиль, позолоченный отблеском свечного пламени, помню, как она, чуть замешкавшись, протянула Сергею руку. Этого ждал от неё отец Аркадий, который затем повёл венчающихся по направлению к алтарю. “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе...”

— Имеешь ли ты искреннее и непринуждённое желание и твёрдое намерение быть женою Сергея, которого видишь перед собою?

— Да, имею, честный отче.

— Не связана ли обещанием другому жениху?

— Он ни разу не честный! Он педофил! Поп — педофил! Игнатьеву позор!

Время потекло с той относительностью, какая бывает во сне, когда, например, за короткое время реального звучания какого-нибудь сигнала — будильника, телефона, автомобильного гудка — в полусонном сознании может пронестись длинная и сложная история, этим сигналом спровоцированная.

Мало кто из присутствующих успел разглядеть выкрикивающую обвинения в адрес отца Аркадия женщину, гортанно, забористо, но ровно, без спонтанности в интонации. Так кричат на демонстрациях. Впоследствии я видел её лицо на фотографии в СМИ: сорокалетняя правозащитница, член питерской оппозиционной организации. Староста и пономарь повели её к выходу. Телевизионщики, как оказалось, были на идеальном съёмочном расстоянии от правозащитницы пока та скандировала, а затем прытко выбежали наружу и уже снимали, как её выводят. А она продолжала кричать:

— Он с ней спал, с ребёнком! Педофилу — позор!

Оказалось, что у правозащитницы был коллега, молодой парень, которого староста также вывел из храма. Тот вырвался и попытался забежать внутрь. Пока его останавливали, правозащитница обежала здание церкви справа и внеслась обратно в храм через открытую боковую дверь. Снова заорала:

*— Поп слащавый педофил  
падчирицу полюбил,  
да так сильно вождеделл,  
что по полной отымел.  
Ну, а время-то идёт,  
теперь замуж выдаёт!*

Педофилу позор! Преступника в тюрьму! У меня доказательства! Эй, журналисты, интервью, давайте...

Если после первых выкриков казалось, что можно не обращать на них внимания и продолжать церемонию, то теперь настроение людей необратимо изменилось. Я разыскал взглядом Алину и заметил, что Сергея возле неё не было. Она застыла, погружённая в себя. Отец Аркадий читал из Писания и молился. Правозащитницу на крыльце интервьюировали телевизионщики. Мне на мгновение показалось, что Сергей появился возле них, и правозащитница обратилась к нему. Храм постепенно опустел. Но и расходиться люди не хотели. Люди разбились на небольшие группы, у паперти и подальше на лужайке, кура и разговаривая вполголоса.

Стало жарко, я был одет не по погоде тепло, донимали мухи и осы. Не находя себе места и тщетно пытаюсь понять, что происходит, я вдруг почувствовал ту же самую тяжесть во всём теле, что сморила меня в шесть часов утра. Наверное, я всё-таки выпил лишнего в предыдущий вечер за разговором с отцом Аркадием. Или накопилась усталость от особо длинных рабочих дней в тот период, не говоря о путешествии из Лондона на перекладных накануне. Как бы то ни было, в момент, когда где-то рядом у кого-то в душе происходили самые главные, самые решающие, роковые движения, когда где-то решалась судьба Алины, я находился под наркозом нервного истощения и думал лишь о том, как бы обзавестись бутылкой воды и таблеткой парацетамола в придачу.

Неожиданно до меня донёсся резкий, хоть и не вполне членораздельный мужской голос, что-то вроде: “Эй эй!” Потом прервались все разговоры в группах, и наступила странная тишина, продолжавшаяся несколько секунд. В это время из-за угла появился отец Аркадий, но сразу же, развернувшись, исчез. И тут раздался выстрел. Потом второй. Одна за одной начали страшно кричать женщины.

Произошло вот что: Сергей выстрелил в отца Аркадия, но не попал. Вторая пуля попала в Алину, неожиданно оказавшуюся между двумя мужчинами.

Кровь выплескивалась из раны на шею ритмичными толчками, попадая при этом в горло и в дыхательные пути, так что Алина захлебывалась и задыхалась, но уже минуты через три, посинев, замерла.

\* \* \*

Дженни пыталась получить финансирование на фильм об Алине, и хотя воз, как говорится, и ныне там, у нас имелись небольшие средства на “развитие проекта”, исследование, и так я провёл недели три, целиком погрузившись в это дело.

На следующий день после похорон Алины Аркадий прислал мне имэйл с несколькими приложениями. Из этих текстов и документов вырисовывается следующая история. Её началом можно считать отъезд отца Алины из России. Узнав о болезни жены, муж Ирины Михаил объяснил ей, что лечение в США, где он оказался, будет стоить сотни тысяч долларов и что, разумеется, таких денег у него нет, и добыть их неоткуда.

Ирина не знала в жизни особой бедности, но после того, как было заведено уголовное дело в связи с деятельностью мужа, она осталась без регулярного дохода. Имелись какие-то сбережения, готов был помочь, чем мог, отец (мама умерла, не дожив до шестидесяти), но о полном частном лечении такого заболевания, как у неё, речи не шло. Она стояла в очередях на квоты, и в поисках помощи, хотя бы психологической, ходила на встречи в различные организации и группы. На одной из таких встреч она познакомилась с Аркадием.

Месяц спустя после их знакомства он попросил её стать его женой. Ирина оказалась первой женщиной, с которой он хотел связать свою жизнь. К тому же он собирался принять сан священника, после чего женитьба на разведённой оказалась бы невозможна. Ирина объяснила ему, что всё ещё формально замужем, но считает, что муж её бросил, и она больше не любит его. То есть, Ирина сказала Аркадию “да”.

Развод, если описывать в двух словах, был средней сложности. Квартира на Екатерининском канале, где Ирина жила с дочерью, была записана на обоих супругов, и Михаил настоял на сохранении своих пятидесяти процентов собственности, но не требовал, чтобы Ирина квартиру немедленно продавала или платила что-то помимо текущих платежей и налогов. Всё остальное — дача в Токсово, гараж, машина и деньги в банке — принадлежало ему, и из этого Ирина не получала ничего, если хотела быстрого развода. Михаил обязался перечислять деньги Алине до достижения ею совершеннолетия. Перечислял он, в результате, мало и нерегулярно.

Смысл Алининой короткой жизни и её трагической смерти нельзя понять, если не погрузиться в мир идей, которые её окружали и волновали. По всему видно, что она очень рано начала мыслить парадоксально и независимо. Когда родители объясняли ей, восьмилетней, что такое философия, и перечисляли знаменитых философов, она спросила, почему среди них нет ни одной женщины. Чуть позже она сказала им, что не может обсуждать вопросы, которые её волнуют, со знакомыми девочками, а с мальчиками может.

— Какие вопросы? — спросила мама.

— Ну, например, вот я пошла погулять, поглядела на то, как дети качаются на качелях во дворе, прошла дальше, увидела машины на улице, потом какую-то стройку, слышала грохот. Потом я вернулась домой, легла на диван и закрыла глаза. И подумала. Когда я вспоминаю прошлое, бабушку, например, с закрытыми глазами или глядя в потолок, детей на качелях и машин на улице нет. И я не знаю, что происходит, когда я их не вижу и не слышу. Может, они все ждут, пока я выйду и начну на них смотреть, и ничего не делают. Может, прячутся. Может, чтобы они вообще там были, надо, чтобы я пошла и на них глядела. Так вот, когда я рассказываю об этом

моим друзьям мальчикам, они меня понимают, ну, хоть чуть-чуть, а девочки крутят у виска, и говорят: “Алина у нас ку-ку”.

Отец похвалил Алину за “философское рассуждение”, сказав, что большинство людей не способны так мыслить, а рассуждают лишь в границах обыденного сознания. Это словосочетание Алина запомнила и часто употребляла впоследствии. Мама добавила, что обыденное сознание свойственно мужчинам в такой же степени, как и женщинам, а если среди философов женщин меньше, то это результат того, что в течение столетий или тысячелетий женщине отводилась роль подсобной работницы и предмета мужских забав, и у неё не было досуга для праздного созерцания и доступа к научному знанию. Как только условия изменились, среди женщин появилось большое количество интеллектуалов. Но стереотипы поведения и восприятия очень глубоко укоренены, и к тому же российская культура более консервативна и традиционна, чем, в общем и целом, европейская.

Всё это произвело большое впечатление на Алину, и она стала культивировать в себе интеллектуальную независимость. Повесила у себя в комнате портрет Мари Кюри, упорно занималась точными науками, особенно математикой, играла в шахматы со старшеклассниками, а начав читать в тринадцать лет “Доктора Фаустуса”, решила сочинять “математическую музыку”, вследствие чего её чуть не выгнали из музыкальной школы.

Внезапное исчезновение отца и вскоре после этого открывшаяся тяжёлая болезнь матери сбили Алину с пути, который казался ей ясно прочерченным. До той осени у неё было всё — благополучие в семье, миловидность, ум, отвага, уверенность в себе. В течение двух-трёх недель исчезло почти всё — ей даже стало казаться, что она подурнела. Во всяком случае, у неё появилась экзема на руках и на шее.

Алина любила и понимала свою мать, осознавая, что такие доверительные и равноправные отношения между мамой и дочкой, как у неё с Ириной, были редкостью, по крайней мере, среди её знакомых. Ирина могла бы быть старшей сестрой Алины, и тому причиной были не только мамина молодость и красота, но и её интеллект, и современное образование. Единственная и любимая дочь своего отца, потакавшего всем её прихотям, Ирина воспользовалась главным: его готовностью обеспечить ей то образование, о котором она мечтала. Кроме английского в хорошей “английской школе” в Петербурге, Ирина учила французский с лучшими частными преподавателями в городе, и после окончания школы отправилась напрямик в Париж. Там пришлось ещё подучить язык, но ей не было и двадцати, когда сбылась её мечта, и она стала студенткой Сорбонны. Впрочем, Ирина быстро поняла, что те предметы, которые её интересовали, — современная философия, психоанализ — преподавались не в самой Сорбонне, в центре Парижа, а в подразделении университета, называемом Paris VIII, в предместье Сен-Дени. Там она познакомилась со знаменитой Юлией Кристевой, философом и психоаналитиком, которой восхищалась. Позже, узнав, что Кристева являлась агентом болгарской госбезопасности, Ирина обсуждала это с Аркадием и Алиной. По мнению Аркадия, зазорно это было лишь в том случае, если Кристева сделала это ради личной выгоды, что, к сожалению, вероятно и типично для восточноевропейской интеллигенции. “Идеалистов”, сотрудничавших с коммунистическими разведками, Аркадий уважал. Алина добавила, что её дед работал в КГБ по убеждению.

Доверяя матери, Алина спокойно отнеслась к тому, что у мамы будет новый муж. Зная, что Аркадий понимает, насколько тяжело больна Ирина, невозможно было не любоваться этой парой, казавшейся подчас всё ещё молодой и беспечальной.

Но время, отмеренное Ирине, бежало неумолимо; все приблизительно знали его длительность — об этом можно прочесть в интернете, — но никто не произносил никаких чисел вслух.

После курса химиотерапии Ирину готовили к операции. Кончался июнь, и Аркадий предложил Алине отправиться на каникулы на дачу в Финляндию к его друзьям, у которых был сын, ровесник Алины. Она согласилась, но сказала, что поедет, только когда маме станет лучше после операции.

В день операции Алина и Аркадий просидели рядом несколько часов в больничном коридоре на твёрдых пластмассовых стульях. Отец Ирины, у которого, как назло, обострилась своя хроническая болезнь, тем не менее пришёл в больницу незадолго до того, как Ирину вывезли из операционной, и все трое близких смогли дотронуться до её руки. Как ни странно, она уже находилась в сознании, хоть и в полудрёме, и смогла слегка улыбнуться в ответ.

Тем вечером, насколько я мог восстановить последовательность событий, между Алиной и Аркадием произошёл большой разговор. Она сказала ему, что не верит в Бога, но ей очень интересны и вера, и Бог с точки зрения психологии и культуры. Может ли он как верующий и как образованный человек рассказать ей о своей вере в Бога?

Он начал с того, что его мать — православная, из старой православной семьи, которая никогда не жила в Советском Союзе, и он был воспитан в православной традиции, которая не прерывалась революцией. Понятно, что на роль религии в российском обществе, в российской семье влияет драматическая история страны в XX веке. Но Господь, в конце концов, сглаживает общественные и географические различия религиозности по сравнению с сутью веры.

Когда Аркадий вырос, и его детская религиозность, привитая в семье, преобразовалась в осознанную веру самостоятельного молодого человека, Бог стал ассоциироваться у него главным образом с понятием справедливости.

О справедливости говорят много и страстно, и она сама по себе есть некий предмет культа безотносительно к какой-либо религиозности. Французские социалисты, Маркс и марксисты, большевики, коммунисты, Че Гевара и Фидель Кастро — они же все были за справедливость! Равенство также написано на их знамёнах, и оно, по своей политической сути, — синоним справедливости. В своей аргентинской юности, кроме православной родни, Аркадий был окружён коммунистами разных оттенков и национальностей. Но от Бога он не отошёл. Его героями стали католические священники-марксисты, особенно знаменитый колумбиец Камило Торрес Рестрепо, погибший в вооружённой борьбе с проамериканской военщиной. Его портрет и плакат с его крылатой фразой “*Si Jesús viviera sería guerrillero!*” (“*Был бы жив Иисус, он стал бы партизаном!*”) украшали комнату Аркадия. Иногда, впрочем, Аркадий называл себя анархистом, цитируя Уинстели, Багунина, Мигеля Игуалада, Маркузе.

Поражение Советского Союза в “холодной войне”, — а Аркадий был тогда ещё подростком, — выбило у многих почву из-под ног. Аркадий помнил, как его родители вместе с другом семьи, журналистом с Кубы, смотрели выступление Ельцина в американском конгрессе, прославляющее капитализм и клеймящее коммунизм.

— Это конец, — сказал тогда кубинец. — И не только потому, что не будет больше советской помощи и советской защиты. Россия, которая столько сделала, и интеллектуально и физически, столько выстрадала во имя социальной справедливости, и не только во время самой советской власти, но и все предшествующие ей десятилетия, вот так просто, в нескольких ходячих выражениях открестилась от себя самой, распинаясь перед надменным, насмешливым, самодовольным врагом!

Юность Аркадия проходила на фоне социального пессимизма, и, вероятно, поэтому он видел надежду на справедливость, прежде всего, в христианстве. Христос оставался для него революционером, но революционером, конечно же, совершенно уникальным. Тот идеал справедливости, что был целью его восстания, не ограничивался социальными и национальными аспектами. Несправедливость может быть понята очень широко. Она может включать вещи, которые принято называть по-иному и которые приходится проживать в обстоятельствах, очень далёких от революционных. То, что называется ударами судьбы, роковыми ошибками, той жестокой лотереей природы, в которой кому-то выпадает умирать в муках раньше времени. Неизбежное одиночество, ужас, который неумолимо гложет человека изнутри и который можно заглушить лишь на время... Против всего этого тоже восстал

Христос. И имя этому невозможному и обречённому, казалось бы, восстанию было любовь.

\* \* \*

Алина уехала в Финляндию и продолжала разговор с Аркадием по электронной почте. Они обсуждали, среди прочего, крестовые походы — то, как один из них, называемый народным, и был уже собственно холокостом, когда, и не приблизившись к земле обетованной, христиане принялись у себя дома, в Европе, убивать и грабить евреев. Да, всё это горькая правда, писал Аркадий. Более того, когда говорят о коррумпированных режимах, о власти, которая скомпрометировала великую и светлую идею, имея в виду, в первую очередь, Советский Союз, — было бы честно привести в пример, прежде всего, историю самой христианской Церкви с проделанным ею путём от катакомб до имперских дворцов, парчи и злата...

“Христос ведь был за бедных, а Церковь хоть и повторяет за Ним, что “легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное”, но сама является воплощением консерватизма, в том числе консерватизма социального и экономического. А Христос был революционером, как мы говорили, помнишь? И хотя Его революция была шире и выше чисто социальной и экономической, она включала, а не исключала, эти как бы более приземлённые вещи. “*Не хлебом единым*” — не значит “*не хлебом*”.

Я не знаю, насколько понятны были эти выкладки Аркадия Алине тогда, когда ей было четырнадцать — почему бы и нет? — но они явно нашли отражение в её “Разговоре с Богом” пять лет спустя.

Алина много читала в это время и, видимо под влиянием Аркадия, погружилась в историю радикального революционного движения второй половины XIX — начала XX веков. Она составила список “женщин-революционерок”, достойных, с её точки зрения, восхищения и подражания. Однажды ночью Алина позвонила Аркадию, и явно сдерживая слёзы, описывала, как Зинаида Коноплянникова, застрелившая генерала-убийцу революционных рабочих, героически приняла смерть в Шлиссельбургской крепости. “До последней минуты она держала себя с полным самообладанием, последней своей воли не объявила, от напутствия священника отказалась. Выслушав приговор, она отстегнула от платья белый крахмальный воротничок, обнажила шею и дала связать себе руки. Палач быстро управился с нею. Но перед смертью она успела выкрикнуть: “Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья!” — процитировала Алина воспоминания очевидца.

“Эх, — добавила она, — а есть сегодня такие русские девушки? И есть ли такая цель? Мне кажется, если бы была бы цель, то я бы могла, как Зинаида...”

Два дня спустя Алина прислала такое сообщение:

“Читаю “Лолиту”, дошла до места, где они переспали. Стиль ужасно старомодный. Тебе нравится этот роман?”

“Это — значительное литературное произведение. Но я лично — небольшой поклонник Набокова”, — ответил Аркадий

Алина не оставляла тему: “Но вообще много интересного. Америка того времени, юмор. Кое-что пролистываю. Но читаю дальше”.

Несколько позже Алина написала: “Пытаюсь представить себя на месте Лолиты. Хотя я постарше”.

Затем Алина заинтересовалась вопросом возраста сексуального согласия. Она спросила, как получается, что даже в соседних странах с общими культурными традициями он может быть разным. Упомянув Лолиту, она пишет Аркадию, что роман ей не понравился тем, что “Лолита выставлена полной дурой”. “С ней можно развлекаться и развлекать читателя, у неё есть и ножки, и ручки, и писи и сиси, но вот только великий писатель забыл вставить ей в голову головной мозг”. И далее:

“Что такое возраст согласия? Это такой возраст, до которого, если я даю согласие, оно не считается. Это сделано для моей защиты. Спасибо.

Действительно, полно мерзких дядек, у которых от меня слюнки текут. Но я никогда сама не соглашусь к ним и близко подойти. Охраняйте меня от них, пожалуйста, да получше, до всех возрастов согласий и после. Когда говорят о согласии, мне лично это как раз Лолиту напоминает. То есть девушку без мозга. Если мозга нет, то действительно, согласна она или не согласна — не имеет значения. А если мозг есть?

Я знаю ещё пару людей кому “Лолита” (книга) не нравится. Они говорят, что это мужские фантазии. Как и вся порнуха (почти). Согласна. Но тогда и законы про возраст согласия — тоже мужская фантазия. То есть за меня кто-то там фантазирует. Я, мол, даю согласие, но на самом деле, это только половина меня согласна или четверть. Каким-то боком согласие. Ну, и вообще, что я думаю и чувствую — это всё никому не интересно. Обратная сторона мужской фантазии это. Потому что я такая же кукла для них безмозглая, меня никто не спрашивает. Но при этом, если это немка моего возраста (я с одной тут в Финляндии познакомилась) думает и чувствует, — это другое дело. Её согласие, её решение имеет значение. Там у них, в Германии, другой возраст и другое согласие. Там у них, наверное, другие мужские фантазии. Но она вообще что, умнее меня или чем-то круче?”

Аркадий так скомпоновал цитаты из Алининых писем, сообщений и постов, что в них образовалась тематическая последовательность, притом, что не всегда было понятно, когда она всё это говорила и писала. К теме возраста согласия и детской сексуальности Алина, по-видимому, вернулась позже, когда ей исполнилось семнадцать.

“Ты мне про Фрейда объяснял, я потом хотела сама почитать, не нашла, но не в этом дело. Найти можно, но дело в принципе. Такая литература это типа детям до восемнадцати или до шестнадцати, как фильмы? Это ведь вроде не эротика, а исследование. Мне просто интересно, а можно детям, ну ладно, не детям, но тинейджерам, преподавать про детскую сексуальность? Это же вроде давно признано, что она есть! Если нельзя, то получается, что нам, детям, о детской сексуальности знать нельзя, можно только после 18-ти? Так тогда может и поздно будет! У Фрейда ведь про подавление говорится, значит, действительно подавляется, не только сексуальность, но и знания!”

Аркадий отозвался о своей реакции на её замечания следующим образом. На многое он не отвечал письменно, но в разговоре с Алиной он не согласился с её “ироничной оценкой” возраста сексуального согласия, установленного в России. Идеального решения этого вопроса нет, и, вероятно, быть не может. Разные страны в обозримом будущем будут продолжать по-разному интерпретировать возраст согласия, потому что это вопрос политики. В политике многое нелогично, и это неизбежно. Именно поэтому, кратко говоря, он лично пришёл к Богу. Кто-то может сказать, что и в религии много нелогичного, но он с этим не согласен. Что касается половой жизни до брака, то позиция Церкви по этому вопросу известна, и он эту позицию поддерживает. При этом он лично считает, что вопрос сексуального образования не такой простой, как его представляют, и во власти, и в Церкви. От такого образования, возможно, была бы польза. Во всяком случае, тезис бывшего детского омбудсмена о том, что ответы на вопросы полового воспитания нужно искать в русской литературе, с его, Аркадия, точки зрения — страшная глупость или страшный цинизм.

Аркадий признал, что у него не было ответа на все вопросы Алины, но он сказал ей, что даже если какой-то отдельный ребёнок в четырнадцать лет достаточно развит и интеллектуально, и физически, чтобы принимать некоторые решения, общество в целом не может обойтись без механизма защиты детей от манипуляции их сознанием и психикой. А это предполагает определения “возраста согласия”. Злоупотребляют доверием детей не только противные, как Алина выразилась, дядьки, предлагающие ребёнку конфетку или щенка. Есть люди, обладающие властью и даже обаянием, жертвами которых становятся уязвимые подростки. Возможно, Алина и способна была бы сказать такому человеку “нет”, а кто-то, кого уже и так унижали, кто родился в неблагополучной семье, не способен.



Аркадий добавил, что сказал Алине, что не считает возраст согласия “обратной стороной мужских фантазий”, хотя ему кажется, что, с чисто логической точки зрения, это интересный парадокс. Думая об этом Алинином выражении, он ещё раз убедился, насколько оригинально Алина мыслит.

А в августе того года неожиданно, раньше “положенного срока” умерла Ирина. У неё были метастазы в лёгких, и в них вдруг образовалось большое количество жидкости. Говорили, что срочная операция могла бы Ирину в тот момент спасти и оттянуть конец, но операция по каким-то причинам сделана не была.

Описывая последующие три года, Аркадий в основном фокусировался на своих мыслях и реакциях на политические события. О жизни в семье он написал немного. Алина училась в школе, Аркадий проводил большую часть времени в Роцинске, где у него имелась небольшая квартира возле церкви. При этом он договорился с бывшим мужем Ирины о цене за его долю питерской квартиры и выплачивал её по частям.

Алина часто оставалась одна в этом просторном, но мрачноватом (все окна на север, хоть и с видом на канал) четырёхкомнатном жилище. Иногда её навещал дед, и изредка она проводила время у него на Комендантском. У Алины ещё была бабушка, мать Михаила, но она безвыездно жила в Усть-Нарве. Алину навещали друзья и одноклассники, кто-то оставался ночевать, но в соцсетях отметили, что Алина “замкнулась в себе”.

В заметках Аркадия того времени интересным мне показалось следующее: “В сегодняшней мировой политической борьбе позиции всё ещё определяются в таких терминах XX века, как правый, левый, консервативный, прогрессивный, реакционный, либеральный и т. п. Ограниченность и противоречивость этих определений никого не смущает. (Впрочем, кто-то, отчаявшись, привёл в политику термин “Ambidexterity” — “оба правые”, — чтобы дать название тому, что двухпартийная система превратилась в неоконсервативный монолит.) Мыслящие люди тоже используют такие термины в своих наблюдениях и оценках политической действительности и исторических событий. В каком-то контексте *своей* мысли они могут, например, защищать традицию от догмы прогресса. В “приличном” обществе это небезопасно, и примеры для критики прогресса лучше брать из прошлого, чем из текущих событий. В Великобритании, как известно, в 60-х понастроили “доступного” жилья, которое до сих пор является бельмом на глазу британских городов, если только оно быстро не разрушилось или не воспламенилось. Насколько хорош этот конкретный пример, не столь важно. Важно то, что ни “традиция”, ни “прогресс” не имеют монополии на истину в непредвзятой дискуссии, хотя и постоянно берутся на вооружение в политической демагогии.

Настоящая (*authentisk*, на языке Кьеркегора) жизнь, предполагает, что человек доверяет таким своим чувствам, как возмущение несправедливостью и восхищение самоотверженностью, воспитывая в себе при этом способность мыслить диалектически. Нет противоречия, например, в том, чтобы видеть в наших революционерах — в Засулич и Перовской, Каляеве и Спиридоновой — героев России, и вместе с тем считать развал государства и армии Временным правительством злом (а именно этим Временное правительство и занималось, несмотря на то, что призывало к войне до победного конца). Опять же, в чём цель? Что есть ценность? Из государства может исходить зло, и честный человек будет ему противостоять. Но и развал государства может противоречить интересам народа, притом, что делать такое заявление можно, лишь чётко определив понятия в отдельно взятом случае, в контексте конкретных обстоятельств. Иначе получается демагогия, пропаганда, “групповое мышление”.

Так как мы все: и политики, и профессиональные пропагандисты, и “частные” люди (как про себя сказал Бродский) — находимся в одной лодке языка, мы постоянно судим друг друга за то, как мы этим языком пользуемся. Как если бы та языковая программа в компьютерах и телефонах, что угадывает слово, которое вы только начали писать, вам заодно тут же присваивала политический “тэг” — консерватора, либерала, про-лайф, про-чайс и т. п., а затем всё в вашем компьютере и в вашей жизни определялось тем,

как вас идеологически окрестили. На самом деле, мыслящий человек в течение своего рассуждения несколько раз переходит из одного политического лагеря в другой. Оставаться преданным лишь одной партии удаётся только фанатику или боту. Преданным можно быть только диалектике.

Но именно диалектика и напоминает нам о том, что, как только мы превращаем какое-то понятие в догму, возникает риск того, что оно предаст саму суть своего содержания. Смирение, например, — очень важная христианская добродетель, которая, конечно же, не означает лишь манеру поведения, эдакую внешнюю покладистость. Смирение — ценнейшее состояние или даже тяжёлый труд души. Оно прокладывает путь от рутины стяжательства, тщеславия, продажности, мстительности и прочих подобных пороков, которыми мы поражены в большей степени, чем нам кажется, к истине. Это важно помнить, потому что об истине говорят все, и многие пытаются нас убедить, что она достижима как раз не вопреки, а благодаря нашим “амбициям”, то есть тому самому стяжательству.

Но во всех ли случаях смирение добродетель? Ведь смирением можно оправдывать и молчание перед лицом явной несправедливости, насилия. Христианин восстал против Гитлера, он *не смог смириться* с погромами и захватнической войной. Сам Христос не смог смириться с ложью, лицемерием и продажностью мира, в который пришёл. Добродетель смирения может превратиться в свою противоположность, и в обличии смиренности нам явится антихрист.

Опять же, необходимо прояснять значения слов. Поэтому Церковь, по крайней мере, та, которую я знаю и люблю, Православная Церковь, не может быть догматичной. Одна из её ключевых функций — это прояснение языка, то, что Витгенштейн требовал от философии (единственное, что он от неё требовал). Причём такое прояснение — процесс, который никогда не останавливается, как производство непрерывного цикла. Ни один гениальный теолог и даже ни один великий отец Церкви не способен всё растолковать раз и навсегда. Святое Писание имеет такую силу и влияние именно потому, что поддаётся бесконечному количеству богатейших по смыслу интерпретаций.

Настоящая вера ничего не боится. Она не боится интеллекта, ибо крепко дружит с ним, зная при этом, что она его сильнее. Но она не использует свою силу для того, чтобы затыкать интеллекту рот. Вера не терпит цензуры, в отличие от разнообразных “демократических государств”. Вера всячески способствует знанию и образованию. Один умный капиталист сказал, что если бы граждане сегодня поняли, как работает финансовая система, на следующее утро началась бы революция. Хорошо, что они совершенно этого не понимают, заключил он. С точки зрения веры — настоящей веры, а не “опиума народа”, — плохо, что граждане не знают, как финансовая система их обводит вокруг пальца. И революции настоящая вера не боится. Она не ущемляет интеллект в его правах и даёт ему, своему другу, делать свою работу, как, например, расследовать коррупцию и решать, стоит ли обездоленным людям прибегать к таким крайним мерам, как неповиновение власти.

Интеллект и вера — крепкие друзья, потому что с полуслова понимают друг друга и не боятся признавать свои слабости. И, как бывает в настоящей дружбе, один из друзей сильнее, и это негласно признаётся обоими, коль скоро сильный не подвергает более слабого унижению. Но наш интеллект достаточно силён, чтобы понимать свои ограничения. Он видит, что со временем человечество нуждается в вере не меньше, а больше. И дело не только и не столько в том, что наука и техника, при всех своих ошеломляющих успехах, не вольны на практике освободить большинство людей от лишений, страданий и страха. Дело ещё и в том, что количество мучительно неразрешимых общественно-политических “пазлов”, количество разрушительных для психического здоровья угроз, *количество лжи* вокруг не уменьшается, а растёт. Интеллект не справляется. Но рядом с ним — вера.

Все знают, что “в начале было слово”. Слово, язык, логос, логика — это и есть наше божество. Но Бог ещё и дух. Логос и дух — две, так сказать, составляющие того, в кого мы верим, того, кто живёт и в нас самих. Когда

дух — дыхание, душа, наше щемящее чувство прекрасного, наше желание любить, — вдруг лишается спутника в лице логоса, то есть, в широком смысле слова, языка, что-то идёт не так. Мы всё ещё уверены, что нам всё ясно, душа подсказывает, что хорошо, а что плохо, но какое-то тонкое равновесие потеряно. Вышедшая из берегов интуиция кажется праведностью и даёт нам право судить. Без логоса мы не видим ошибок в суждении за пафосом осуждения.

Но и логос может потерять свою “половинку”. Логика может вывести нас на важный рубеж осознания себя и общества, но без духа мы, в конце концов, потеряем ориентир, не справимся с внутренней противоречивостью доказательств, уничтожим главное в своём послыле “дружественным огнём” своего же собственного языка.

Вот я и моллю Бога о равновесии логоса и духа”.

А вот что годом с небольшим позже, уже поступив в университет, написала Алина:

“Христианство для меня — это такое духовное пространство, где тебя не подавляют, а позволяют быть честным во всём, в том числе и в осознании собственной сексуальности. При этом грех и греховность — есть, разврат — есть, и в этом я отличаюсь от так называемых либертарианцев. Но на то мы и христиане, что мы *верим*, — да, мы верим в Бога, но и Бог верит в нас, доверяет нам — верит, что мы найдём в себе силы, настоящую, чистую силу распознавать грех, гниль без указания начальства. Расскажу одну историю из жизни. Молодая женщина однажды поздно вечером вышла на улицу себя продавать. Подъехал молодой человек, спросил, сколько это стоит, договорились. Пока ехали в “укромное место”, он спросил, почему она этим занимается. Она сказала, что это её первый раз, что завтра утром ей кровь из носу нужно отдать долг, который она взяла микрокредитом на операцию дедушке, с которым живёт без родителей, и хотя она работает продавщицей, из-за того, что накопились другие долги, завтра отдать этот срочный долг денег нет. Тогда молодой человек спросил девушку, где она живёт, отвез её домой, дал ей необходимую сумму и сказал: “Я тебе верю. Запиши мой номер и позвони, если тебе будет совсем плохо”.

Этого человека я знаю лично. И история на этом не кончается. Мой знакомый вовсе не чувствовал себя героем. У него поначалу мелькнула мысль, что история про дедушку запросто могла быть фальшивой, но затем он сказал себе, что даже если бы вероятность, что девушка говорит правду, равнялась одному проценту, то он перестанет себя уважать, если воспользуется ею, как собирался. Он вдруг понял, — вот так, неожиданно, — понял, что такое грех. Сначала он подумал, что он как минимум такой же грешник, как эта девушка; ну, а если есть хотя бы маленькая вероятность, что то, что она продаёт своё тело, потому что нет другого выхода, правда, весь грех исключительно на нём.

Эпилог: он на этой девушке женился, они исповедовались, венчались, и у них через месяц будет ребёнок. Есть, конечно, другие, менее красивые истории, но мораль в том, что ярлыки мирской жизни, как, например, “блудница”, “блуд”, не всегда соответствуют внутреннему понятию греха. Блуд и блудницы обоих полов есть, конечно, хоть отбавляй, проституция в широком смысле слова — двигатель нашей экономики и культуры, но и в узком смысле она очень даже может быть грехом. Критерий всегда в деталях. Англичане говорят, что дьявол в деталях, а надо сказать: нет, Бог в деталях! В любом деле, событии, факте есть видимость и есть суть. Есть разница между тем, что ты делаешь ради наживы, и тем, к чему тебя привела безвыходность. Первое — грех, последнее — нет. Бог в деталях, а детали, на самом деле, в экономике. Поэтому, вы уж меня извините, но для меня между христианством и марксизмом противоречия нет. Более того, в огульном осуждении “блудниц” при активном нежелании войти в такие обстоятельства, о которых здесь шла речь, Церковь проявляет аморальность и беспощадность. Осуждайте тех, кто создал условия, которые не оставляют девушке выбора, прежде чем клеймить её”.

К моему большому удивлению, молодым человеком в этой истории с девушкой, продававшей себя на улице, оказался тот самый мой старый

приятель, который нашёл “дочь правозащитника” по моей просьбе. Более того, он сыграл роль в том, как Алина познакомилась с Сергеем, своим будущим женихом. Моего приятеля тоже зовут Сергей, он юрист, специалист по авторскому праву и преподаёт в университете. Однажды Сергей (Алинин) подошёл после лекции к преподавателю Сергею (моему приятелю) и предложил ему работу — представлять своего отца Игоря Александровича в тяжбе с какими-то националистами, укравшими у Игоря Александровича фотографии и куски текстов. У Сергея (моего приятеля) Алина познакомилась со своим женихом.

А вот то, как познакомилась с моим приятелем Алина, — история совсем безумная. Алина, кажется, слегка “экономила”, как говорят в Англии, на правде, рассказывая историю о молодом человеке и девушке, продававшей себя на улице, чтобы заплатить за операцию бабушки. Алина, оказывается, сначала сама повстречалась с девушкой, которая затем познакомила Алину с моим приятелем.

Всё, что произошло до того момента, как он довёз её до дому и дал ей денег, он подтвердил. Однако затем девушка пошла не к бабушке, а в кафе. Дело было на Васильевском, недалеко от университета, и в кафе сидела Алина, одна, с компьютером и бутылкой вина. Девушка была очень голодна и заказала себе целый ужин. Алина обратила на неё внимание и стала наблюдать за явно изголодавшимся человеком. Она угостила девушку вином. Так они распили бутылку и заказали ещё. Девушка рассказала Алине о своей жизни, в которой история о бабушке отсутствовала (хотя сам бабушка существовал, где-то в Заполярье). Но главное — она рассказала Алине, как соврала “мужчине в машине”.

Отчасти и девушка, и Алина в своём блоге с самого начала говорили правду. Девушка действительно запуталась в долгах, хотя и покупала на займы только самое необходимое. Но что значит сегодня самое необходимое? Алина была права в том, что до проституции довёл девушку не холодный расчёт, а отчаяние. Основная часть занятых денег была украдена людьми, продававшими девушке комнату в коммуналке. В результате девушке — приезжей — было буквально негде жить, и Алина приютила её у себя. Вскоре девушка позвонила молодому человеку (моему приятелю) и призналась, что соврала ему. Ну, а всё остальное, про свадьбу и ребёнка — правда.

Молодая жена моего приятеля, возможно, под влиянием Алины, с которой она подружилась, несмотря на беременность, начала серьёзно заниматься фотографией и, кажется, весьма в этом преуспела. Особенно хвалили цикл её работ о жителях её родного города Никеля. Алина написала к этой публикации предисловие.

А вот ещё отрывок из Алининого блога, следующего сразу за историей “молодого человека и девушки”.

“Если бы Православие хотело по-настоящему облегчить участь наших людей, оно бы со всей серьёзностью ставило перед собой просветительские и социальные задачи. В XIX веке в Церкви было много реакционного, зато интеллигенция старалась что-то делать для народа. Сегодня интеллигенция явно занята только собой, и буржуазность воспринимается как добродетель. Вся моральная энергия направлена на осуждение коммунизма, Сталина и постсоветских наследников “гэбни”. Оппозиционно настроенное общество одержимо политическими символами второй половины XX века, такими как “авторитарная власть”, считая, что вопрос экономических интересов населения разрешится сам собой, если изменится стиль политического правления. Капиталистическая система ни при чём. В этом отношении гораздо глубже и ближе к западной интеллектуальной традиции была наша революционная интеллигенция XIX века. Вот что писал Степняк-Кравчинский в 1870-х: “Мы социалисты. Цель наша — разрушение существующего экономического строя, уничтожение экономического неравенства, составленного, по нашему убеждению, корень эконо страданий человечества. Мы считаем, что не политическое рабство порождает экономическое, а наоборот. Наши настоящие враги — буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной (то есть за спиной правительства). Так посторонитесь же! Не мешайте нам бороться

с нашими настоящими врагами! Вот чего мы требуем от вас, господа правительствующие. Большого от вас мы не требуем, потому что большего вы дать не в силах”. Гениально! Можно было бы сегодня Путину написать”.

Прошло три месяца, Алина забеременела и сделала аборт на седьмой или восьмой неделе. Аркадий был первым, кто об этом узнал. Он был крайне огорчён и сказал Алине об этом. Она ответила, что осознаёт, что совершила тяжкий грех, хочет покаяться и надеется на прощение. Аркадий посоветовал ей исповедоваться у любого священника в городе. О том, что беременность наступила в результате, со слов Алины, изнасилования, он узнал позже. При этом она ему сказала, что не упомянула об изнасиловании в первом разговоре потому, что знала — Церковь в своем неприятии абортот не делает различия между обстоятельствами зачатия.

Сразу после исповеди Алина рассказала об аборте Сергею. Ему было особенно больно; он был знаком с Алиной несколько месяцев и, сделав ей предложение, мечтал после венчания начать жить с ней, как муж с женой. В конце концов, он ей простил, а она обещала каяться, молиться, отговаривать женщин от абортот, быть ему верной женой и образцовой матерью их детям в будущей православной семье.

После отпевания и похорон Алины Аркадий исчез. Я не знаю всех деталей его формальных взаимоотношений с РПЦ; Церковь, как, впрочем, и государство, его ни в чём официально не обвинила. Ходили слухи, что он стал монахом, но не в России, а где-то в Европе. При этом кто-то якобы видел упоминание о нём в Твиттере крайне правой партии *Alternativa Española*. Как бы то ни было, после того имэйла с приложениями известий от Аркадия Игнатьева я не получал.

У его врагов — другая версия событий, предшествовавших кровавой развязке. Кто-то взломал почту Аркадия и опубликовал отрывки из его переписки с Алиной. Этих текстов не было среди тех, что Аркадий процитировал в приложениях к своему имэйлу, посланному мне.

“Возвращаюсь я сегодня с прогулки поздно вечером — тут допоздна светло, — вижу: Петя у крыльца стоит (сын хозяев дома). Я тут уже неделю живу, но ещё ни разу с ним не была наедине. Он говорит: “Беспокоюсь за тебя, в лес ходить небезопасно, несколько лет назад медведь задрал там местного жителя”. Я ему говорю: “Я не в лес, я по дороге, на озеро”. Короче, он ещё минут двадцать про медведей, а потом набрался смелости и выпаливает: “Ты мне очень нравишься”. Я молчу и думаю, что делать. Потом протягиваю ему руку, жму: “Увидимся завтра, Петя. А сейчас пора спать”.

Два дня спустя Алина написала: “Петя очень хочет со мной переспать. Я всё никак не решу, надо мне это или нет. Это грех?”

Аркадий ответил: “Алина, ты сама прекрасно понимаешь, что это грех. Побереги себя для настоящей любви”.

Алина вернулась из Финляндии и написала Аркадию, который был в тот момент в Роцинске: “Я берегла себя для настоящей любви, как ты сказал. Что теперь?”

На это он ответил: “Всё зависит от тебя”.

Правозащитники считали это доказательством того, что Аркадий был готов “вступить с четырнадцатилетним ребёнком в преступные интимные отношения”. Вскоре после того, как он написал эти слова, он приехал из Роцинска, они съездили вместе с Алиной на кладбище обсудить установку плиты, и вечером между ним и Алиной якобы возникла физическая близость. Эти отношения продолжались якобы несколько лет. Говорили, что забеременела Алина вовсе не от Гройса, а от Аркадия, но он убедил её свалить всё на Гройса, равно как и сделать аборт.

Правозащитники утверждали, что Аркадий женился на Ирине, зная, что она скоро умрёт, чтобы завладеть Алиной, как Гумберт завладел Лолитой после смерти её матери в романе Набокова. Более того, операция, которая могла “спасти” Ирину, не была сделана по вине Аркадия.

У меня не было возможности проверить, основаны ли такие обвинения на фактах. Многое явно было из разряда домыслов. Одно утверждение правозащитников резануло, как фактически неверное. Они утверждали, что

Аркадий специально “подсунул” Алине роман Набокова, чтобы спровоцировать её на обсуждение секса взрослого мужчины с несовершеннолетней девушкой. Из того, что писала и говорила Алина, у меня сложилось впечатление, что она наткнулась на книгу случайно, в библиотеке друзей Аркадия в их финском доме, и начала её читать без всякой подсказки.

Правозащитники не уставали подчёркивать, что Аркадий не просто взрослый человек, а священник, что, во-первых, компрометирует в данном случае Церковь, а во-вторых, создавало в восприятии ребёнка образ морального и интеллектуального авторитета. То, чему Аркадий учил Алину, девочка считала истиной, и определяло “что такое хорошо, а что такое плохо”.

Для меня наиболее шокирующим из обвинений правозащитников было то, что Аркадий якобы сам написал большинство текстов от имени Алины. Много перекочевало в её “Разговор с Богом”. То, что автором текста был Аркадий, а не Алина, хоть и удручает (меня лично, если это правда), не является, в конце концов, чем-то аморальным. Но речь шла и о других текстах. Поняв, что он “клянул на фишинг” и его почта взломана, Аркадий создал, сославшись на взлом, новые адреса и для себя, и для Алины. Зная пароль Алининой почты, он якобы принялся писать тексты от её имени, отсылал их себе и сразу стирал их у неё в папке отправленных. Делал он это, по утверждению правозащитников, с целью показать, что Алина сама интересовалась “рискованными темами”. Когда кто-то возразил, спросив, как Аркадий мог не опасаться реакции Алины на такой обман, правозащитники отвечали, что он — монстр, который помешался на Алине и вообще потерял разум.

Есть ли правда в этих и других обвинениях, я не знаю. Вне зависимости от этого, надо сказать, что у правозащитников, атакующих Аркадия, был мотив. В качестве обоснования своей критики современного капитализма и его российской “тефлоновой” разновидности, которая, в отличие от западных, пользуется большим уважением у интеллектуалов и правозащитников, Аркадий провёл и начал публиковать целое расследование о том, как корыстные, а то и незаконные действия прикрываются правозащитной активностью, чаще изображаемой, нежели реальной, для отвода от себя правоохранительного удара. Алинин дед якобы передал Аркадию документы, доказывающие, что организации, перечислявшие деньги отцу Алины, были связаны с той крупной корпорацией, о которой группа оплачиваемых экспертов составляла необъективно позитивные заключения. Документы были на флешке, забытой отцом Алины, в спешке уехавшим из России. Опять же, я не составил своего окончательного мнения по поводу этого дела. И хотя оно расследовалось следственным комитетом, никто не был ни осуждён, ни даже, насколько я знаю, судим.

Судили, разумеется, Сергея. Его защита строилась на том, что он, глубоко верующий человек, подвергался постоянным потрясениям в отношениях с любимой девушкой, и когда он столкнулся с правдоподобным рассказом о священнике, ему знакомом и близком по духу, который на самом деле всех обманывал и жил с его, Сергея, будущей невестой, в то время несовершеннолетней, Сергей вошёл в состояние полного аффекта. Помню, как прокурор задал Сергею вопрос:

— Считаете ли вы, что Аркадий Игнатьев находился в интимной связи с Алиной Игнатьевой?

Адвокат Сергея рванулся по направлению к нему, но Сергей ответил, не дожидаясь совета адвоката:

— Я не знаю всего, но я не верю, что у неё была связь с ним.

Адвокат не преминул добавить:

— В данный момент, имеется в виду. Мы продолжаем утверждать, что состояние аффекта подзащитного было вызвано правдоподобным предположением, что такая связь была.

— Когда вы изменили своё мнение по поводу существования или несуществования интимной связи между Игнатьевым и Игнатьевой? — спросил прокурор Сергея.

— После того, когда она закрыла его своим телом.

В зале ахнули, кто-то вскрикнул. Последовала длинная пауза. Прокурор, как, впрочем, и адвокат, и судья с присяжными, были в недоумении.

— Вы имеете в виду, что после того как Игнатьева Алина Михайловна закрыла своим телом Игнатьева Аркадия Валерьевича, вы решили, что между ними не было интимной связи?

— Да, я так решил. Я поверил ей.

\* \* \*

В процессе расследования выяснилось, что в изучении деятельности сбежавшего за границу Алининого отца и его коллег-экспертов, кроме Аркадия и деда Алины, участвовал ещё и Сергей, и его отец, Игорь Александрович. Их всех объединяла неприязнь к “профессиональным либералам”, оплачиваемым из-за границы. “Антилибералы” были в результате разгромлены; все их идеи и планы лежали в руинах, не говоря о невероятной, неопишуемой трагедии — гибели девятнадцатилетней Алины, вина за которую, в глазах общества, лежала на “левацком еретике, крымнашистах и прочей гэбне”.

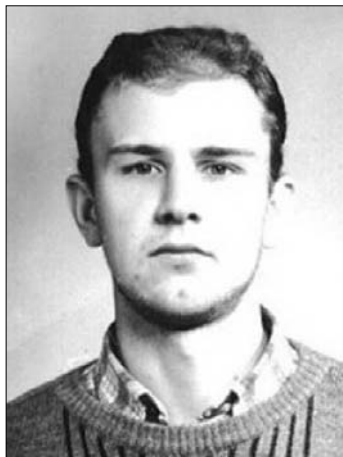
Когда-то очень давно, в киношколе, нам было дано задание снять короткий, минутный фильм на тему “Мир будущего”. Мои сокурники, вдохновлённые любимыми шедеврами сай-фай, творили чудеса. Я не придумал ничего лучшего, как найти пейзаж без каких-либо признаков цивилизации и снять одну длинную панораму — лес, река и на другом её берегу — холмистая степь до горизонта, на закате. Я не знаю, доживу ли до того времени, когда сотрётся в памяти образ девушки с зелёными, слегка раскосыми глазами, с быстрой, ироничной и вдруг сразу приветливой, как бы всепрощающей улыбкой, — но я всегда почему-то думаю о ней, когда оказываюсь один там, где не видно признаков цивилизации, как в моём коротком фильме о будущем.

Алина, растворившись в этой вечной природе, напоминает мне, что красота мира полна трагизма. Этим она будто бы пытается вырваться из пределов одного страшного факта своей смерти и ещё раз поведать о том, что потрясло и ранило её в течение её короткой жизни: безжалостность этого мира по отношению к уязвимым, наивным, влюблённым, ищущим справедливости.

Всё это — слова, логос, как сказал бы отец Аркадий. Но где-то рядом ещё и дух. Пока он разъединён с логосом, слова — лишь *только* слова. Но как только логос и дух соединяются и находят своё равновесие, смысл слов становится сопереживанием с ближними, и мы остро понимаем, что самоотверженные поступки, безнадежный идеализм, отчаянная искренность могут излучать красоту так же, как великолепие природы, завораживающие лица и гениальные произведения искусства. Более того, оторванная от красоты самоотверженности “чистая” эстетика, в конце концов, удручает и ведёт к тому странному, но вполне смертному греху, называемому унынием.

На Западе интеллектуалы иногда на полном серьёзе спорят, есть ли Бог или нет. В России атеист догадывается, что говорит на языке, который истинно верующий просто не в состоянии понять. Вера рождается там, где нет ничего нормального, рационального, членораздельного. И там же по-настоящему открывается человеку красота. Не светским праздником является она нам, а бездной, звёздной, манящей, но и бесконечно жуткой. Но страх отпускает, взгляд из ироничного делается всепрощающим, и смысл, вкладываемый в слово “Бог”, овладевает всем нашим существом, озаряет собой нашу память и наши надежды, и мы готовы любить той самой любовью, которая всегда бескорыстна.

ОЛЕГ КУЛАГИН



## ОГРОМНОЕ НЕБО ДОНБАССА

ПОВЕСТЬ

Над степью в прозрачно-голубом небе сияло яркое солнце августа. Даже когда оно уходило в облака, краски не тускнели. Листочки на придорожных кустах изумрудами светились сквозь пыль.

Только никто давно не замечал этой красоты. Кого-то уже мутило. Другим хотелось есть. А кого-то клонило в сон, но задремать не выходило — слишком взвинчены были у всех нервы. Да и дорога не давала расслабиться.

Старый “КрАЗ” трясся на ухабах грунтовки. Амортизации никакой, под нагретым тентом — как в печке, деревянные скамейки — расшатанные и неудобные, тем более что поставили их поперёк кузова: так больше удаётся затолкать внутрь этой колываги. Паскудное творение украинского автопрома.

И ещё не давали расслабиться два голоса, в которые все вслушивались, стараясь разобрать каждое слово сквозь шум мотора и скрип скамеек на дорожных колдобинах. Один звучал резко, иногда — почти каркаяще. Другой — низкий и приглушённый. Наставник и заместитель комбата обсуждали обстановку на фронте. Хотя в общих чертах хлопцы и сами знали. Не та ситуация, чтоб продолжать бегать с “калашами” на полигоне. Два батальона, сформированных при участии Движения, ещё с мая на “передке”, но таких потерь не было даже под Карловкой. Да, батальоны наступают — только наступление обходится слишком дорого. Казалось бы, уже разгромленные, давно бежавшие из Славянска банды Стрелка бешено огрызаются на донецких окраинах, зубами цепляются за каждый дом Иловайска.

---

*КУЛАГИН Олег Павлович — известный украинский прозаик в жанре фантастики и фэнтези. Физик по образованию. Первоначальную известность приобрёл как сетевой автор. Публикуется с 2001 года.*



А значит, каждая сотня украинских бойцов — теперь на вес золота.

— ...Если поднажать — максимум за месяц всё будет кончено, — сказал Ворон. И морщинки у глаз весело пролегли по его обветренному лицу, — Отрезать “сепаров” от границы — тогда, без снабжения и боеприпасов, их гнилые городишки станут их большими могилами!

— Було б добрэ, — кивнул заместитель комбата, тощий, седой, как снег, ветеран Мамалуй, резавший москалей ещё в Чечне. — Мени б твою виру... Дружэ, ты даже уявыты не здатэн, скільки тут гнили та зрады!

— Здатэн. Стыльки ж — скільки в тылу! Просто здесь она ярче видна...

Эти двое продолжали говорить. А хлопцы слушали, обдумывая. Всем было о чём поразмыслить. Ведь многие давно общались со сражавшимися побратимами или с теми, кто вернулся по ранению. Там, в тылу, рассказы раненых звучали, как страшилки. Загнанный в угол враг — самый опасный.

Но если Наставник так уверен — значит, перелом действительно близко. Ведь Луганск почти взят в кольцо. Самозванные “сепарские” республики висят на волоске. Последнее усилие, и победа сама упадёт к ногам...

— Можэ, ты й правый, — сказал Мамалуй, — А щэ було б добрэ, як бы нам пидигналы тэхники та “арты”... ВСУшники, гниды, годяться тилькы, щоб квасыть и драпать. Но чомусь вси “коробочки” у них, а не у нас.

— А что ты хочешь? — вздохнул Ворон, — Киевская шваль боится, что мы станем чересчур сильными.

— Угу. Кого ни запытаешь — що у “Айдари”, що у “Донбаси”, — катаються и воюють на всякому лайни, ни нормальной “арты”, ни брони. Одна радисть, що у “сепарив” з цым — ще гиршэ...

Грузовик подпрыгнул на выбоине, и Мамалуй расплескал воду из открытой фляги. Чертыхнулся, завинчивая крышечку, и мхуро добавил:

— Зря вы зирвались. Мэни волонтеры максимум черэз тыждэнь общылы пьять майжэ новых “хамерив” — зи справжними штатовськымы кулэмэтами. Прыйихалы б на своей брони!

— Неделя? — прищурился Ворон, отбирая у него флягу. — Считай — это вечность! — жадно глотнул воды и уточнил: — Без нас эти сволочи опять всё просрут — можешь не сомневаться!

На следующем коротком привале Мамалуй выбрался из грузовика, вернулся в ехавший впереди, сразу за головным БТРом колонны, новенький джип Land Cruiser, отжатый у какого-то мариупольского богатея, с кондишном, мягкими сиденьями и амортизаторами. В таком и тысячу километров не слишком ощутишь.

Только Ворон не пошёл с заместителем комбата. Продолжил ехать с хлопцами — в душном, набитом до отказа, провонявшем людскими испарениями кузове, где жёсткие скамейки уже успели набить синяки на их задницах, пока они с самого утра тряслись по разбитым дорогам и просёлкам. Легкие немецкие куртки под бронезилетами давно взмокли от пота и противно липнут к телу. А кевларовые шлемы сняты, сброшены под ноги и на ухабах подпрыгивают, стучат о доски кузова, как пустые котелки. То, что на рассвете начиналось, как приключенческая игра, лихой квест, уже к полудню стало бесконечным муторным ожиданием.

Нет, их нельзя назвать трусами! И всё-таки здорово, что в этой жаркой, пыльной бесконечности Наставник остаётся рядом. Среди лидеров Движения он из тех, кто и тяготы, и отдых всегда делит с простыми бойцами. Вместе с ними ест на привале подгоревшую гречку с тушёной, пьёт тёплую противную воду и режет на всех каравай свежее испечённого хлеба, который командир взвода раздобыл специально для него в ближайшей деревне.

Вместе с ними Ворон едет в самое пекло.

А потому слова его имеют теперь особое звучание — даже для заморенных, припорошённых пылью хлопцев:

— Эй! Что за фигня? Почему кислые рожи?

— Серого убили, — тихо сообщил кто-то, глядя в экран смартфона. — Побратим из третьей сотни. Пишут, что накрыло миной под Иловайском...

— Гэрои нэ вмырають, — вздохнул Наставник.

— Нэ вмырають... — пробормотал чей-то голос. Остальные молчали.

Нет, никто из них ни за что не признается в щемящем холодке где-то возле сердца никому, даже самому себе. И разве можно назвать это страхом? Просто усталость, просто хочется блаженно расслабиться, вытянуть тело где-нибудь на травке, не думая о том, что ждёт впереди. Это не страх!

— Да, мы не на прогулку едем, — сказал Ворон после долгой паузы. — И будут ещё погибшие, не сомневайтесь... Но эта война — наше благословение!

— Почему? — удивился один из парней. Кажется, Фродо его позывной, новичок из Запорожья.

— Потому, что она то горнило, в котором мы выплавим своё оружие. Думаєте, что у Украины есть армия?

Наставник обвёл их взглядом — никто не осмелился ответить. И тогда он ответил сам — с кривой усмешкой:

— Ни хрена у неё нет! Грусливые толпы, не способные выдержать минимальный огневой контакт, пригодные лишь, чтоб за десятки километров лупить из “Градов” и пушек. Без костяка из добробатов они бы разбежались ещё в июне.

— Но как же тогда... — пробормотал кто-то из глубины кузова.

— А вот так! Всё, что сейчас есть у нэньки Украины, — только вы, хлопцы. Больше никому она по-настоящему не нужна.

Ворон сплюнул через задний борт на убегающую дорогу:

— Считайте, новая армия Державы рождается прямо сейчас, а мы её зародыш. Да, теряем побратимов, но одновременно становимся сильнее с каждым днём. Пока что у нас нет ракет? Будут! Нет нормальной авиации? Будет! Знаешь, почему?

— Не-ет...

— Потому что воля бойца заново творит мир. Кажется, что мы слабы, нас слишком мало по сравнению с равнодушной и враждебной массой. Но масса — это лишь материал, из которого идея создаёт нацию. Нас мало, зато мы скелет, обрастающий мясом, заготовка для новой могучей силы.

Наставник проводил взглядом ржавый остов легковушки, мелькнувший в кустах у обочины. И хладнокровно добавил:

— Пусть у нас не хватает опыта, зато есть вера и злость. Огонь очищает, сжигает весь мусор, рождает из праха стальные ряды новых бойцов. И однажды наступит день, когда эта армия пойдёт не только на Донбасс и Крым... на Москву!

Он умолк. И все тоже молчали, обдумывая сказанное. Кашляли, сопели, скрипели скамейками на очередной дорожной колдобине, но не говорили ни слова. Так, будто в эту минуту им открылось грядущее — великое, сияющее, — возможно, то, до которого не все из них доживут. Великий мираж будущей Державы, которая неминуемо вознесётся на руинах Москальщины... И первым нарушил молчание опять Ворон. Кажется, он ощутил настроение подопечных и захотел отвлечь их от пафосных мыслей. Ведь пафос — скоропортящийся товар, особенно здесь, у самого “передка”. Ворон привстал, небрежно перебросил ногу через скамейку, разворачиваясь к хлопцам, и обвёл их жёстким взглядом:

— Только не думайте, что война состоит из одних подвигов и захватывающих приключений. Нет, она — грязная штука, а эта — грязная вдвойне. Помните хохмы, которые рассказывал Мамалуй?

Угу, ещё на прошлом привале — о прапорщике, толкнувшем “сепарам” целый грузовик РПГ и боеприпасов. Мамалуй вычислил ублюдка и его помощников уже на обратном пути, расстрелял их из ДШК и списал “двухсотых” на вылазку “лугандонов”.

А ещё была история о нескольких дезертирах, которых прикончили и закопали в свежей воронке без всяких церемоний. Мамалуй рассказывал всё, как хохмы, почти выдуманные байки. Никакая контрразведка не подкопается... Но всем было ясно, что это правда.

Ворон кивнул:

— Да, не рыцарский натиск, а подлая, бестолковая, вялотекущая херня. Я не стану вам лгать — даже в мелочах. И всё-таки есть ещё причина,

из-за которой мы должны радоваться именно такой войне... Помните Крым? Как за считанные дни рассыпалась там “украинская” власть? Я говорю, “украинская” в кавычках, потому что им, разжиревшим на воровстве тварям, без разницы было, под какими флагами сидеть в креслах. Думаете, в Киеве, Харькове и Одессе всё сложилось бы иначе?

Повисла пауза. Хлопцы ждали, затаив дыхание. И Ворон улыбнулся:

— Нет, все они одинаковы, эти правящие барыги, — от Львова до Владивостока, наследие совковой империи! И если бы путинская армия хлынула через границы в апреле — кто бы её остановил? Наши тупые и продажные генералы? Наши солдаты — вечно синюшные “аватары”, которым плевать на всё, кроме водки и собственных шкур? Да они сдали бы Левобережье и Юг ещё быстрее, чем Крым! Там, в Крыму, были лучшие части, и то ни один командир не осмелился отдать приказ... Думаете, у кого-то хватило бы духу воевать за Киев? А знаете, что в аэропорту уже ждали чартеры и личные самолёты? Элитная шваль, которая сейчас жопу рвёт “за Украину!” — первая дала бы дёру! Сражались бы только мы с вами...

— И мы бы показали москалям — они бы кровью умылись! — горячо выпалил один из юных побратимов.

Но Ворон отечески хлопнул его плечу:

— Да, показали — правда, мало и недолго. Нас перебили бы максимум за пару недель. И сил для этого потребовалось бы ненамного больше, чем в Крыму. Война открыла всю слабость Украины... Но главное, в чём нам повезло, — она открыла гниль и трусость наших врагов! Нас могли бы раздавить малыми силами, за считанные дни. Но верхушка Москвы — такие же шкурники, как и киевские барыги. Хватило одного окрика от реальных хозяев мира, одного визита швейцарского главного бухгалтера — и они отыграли назад! Отозвали разрешение на ввод войск. И “красавый кондитер” вдруг оказался “лучшим выбором для Украины”!

Наставник глумливо прищурился:

— Считайте, что история дала нам бесплатный урок — только настоящий воин способен диктовать свою волю. А барыги останутся трусливыми чмырями даже во главе огромной империи... Сейчас они пытаются вымолить Крым у Запада. И шлют сюда толпы своих ненужных отморозков на списанной в утиль технике. Надеются, что мы сами разбежимся и развалимся? Но время работает на нас — пока дохнут и разбегаются в основном обмоскаленные “лугандонские” ватники. А мы учимся, убивая их, — тренируемся, как волчата на слабой добыче. Набираемся опыта и сил. Чтoб однажды вцепиться в глотку настоящему зверю!

Он умолк, рассматривая деревья, пронесившиеся мимо на обочинах. Потом придорожная посадка вдруг поредела, почти закончилась. Открылась зеленовато-жёлтая степь и бескрайние поля налившейся, но так и не сжатой пшеницы. В эту минуту солнце опять выглянуло из-за облака. И, несмотря на жару под раскалённым тентом “КраЗа”, несмотря на вонь от потных тел, сияющая, уходящая в бесконечность картинка августовского дня стала чудесна. Так чудесна, что захватывало дух. Хлопцы веселее стали переговариваться — многим понравилось сравнение с волчатами. И развеялась тревога, словно “волчьи крюки” на их руках теперь придавали им уверенности, — недаром во время остановки под Мариуполем местные со страхом смотрели на эти шевроны.

Ворон приказал достать из ящика пару пакетов сока, открыть их и пустить по скамейкам. После глотка апельсиновой “Джаффы” настроение ещё улучшилось. Словно они не в трясущемся “КраЗе” ехали, а сидели в 3D-кинотеатре, и летний день вокруг был огромным аттракционом, уникальным эффектом для набившихся в кузов вооружённых юнцов. В эту минуту всё казалось им волшебным нереальным. Ещё вчера, вырвавшись с полигона в Днепропетровск, они гуляли по мирным улицам, цепляли девчонок, тусовались в ночных клубах. А сегодня, как настоящие герои, с “калашами” и РПК едут на войну!

Кто-то из парней через смартфон вошёл на Фэйсбук и радостно показал Наставнику свежую картинку — подбитый БТР “лугандонских” террористов,

кажется, из-под пограничной Мариновки. Рядом угадывался почернелый труп.

— Хорошо им врезали! — хихикнул кто-то.

— Вот добьём уродов — и двинем через границу! — поддержал второй.

— Обязательно двинем, — кивнул Ворон. — Но не всё так быстро... — Пригладил чёрные вислые усы, озирая своих подопечных, и добавил почти ласково: — Сперва нам предстоит перегрызть не одну глотку. Враг впереди, но враг и за нашей спиной. И часто среди тех, кого мы считаем побратимами.

Хлопцы притихли, возбуждённо зашмыгали носами, ожидая продолжения.

Только Хлуст, привалившийся к борту в глубине кузова, не особо напрягся. Наставник не его имеет в виду... Да хоть бы и его?

Сейчас без разницы. Собравшиеся здесь, в этой машине едут на войну, для них уже решено главное. Значит, к дьяволу сопли и сомнения! Без разницы — как, без разницы — где. Хлуст отдал Украине всё; если надо, отдаст и жизнь. И ему всё равно — в одиночку или вместе с этими бестолковыми хлопцами, с которыми он успел познакомиться лишь на днепровском полигоне. Большинство из них приблизительно его ровесники, но почему-то ему кажется, что он старше на целую вечность.

Выбор сделан. Именно это наполнило всё смыслом. Помогло обрести хоть какую-то точку опоры среди мерзости и пустоты. Половина из его сотни — те, с которыми он стоял на Майдане, — уже месяц воюют. Есть и погибшие. Хлуст будет достоин их памяти. Значит, на остальное — плевать. И можно не особо вслушиваться в голос Ворона:

— ...Бросать обвинения легко. Я противник любых распрей среди своих. Только сами подумайте: шестой месяц идёт война, с сильнейшим врагом — пусть пока и не напрямую. Но москальскими ордами уже захвачены целые области, и каждый день гибнут побратимы! А что в тылу?

— Бардак... — кивнул кто-то.

— Это ещё мягкое слово. Чем заняты вожди украинских патриотов? Воюют за должности, пресмыкаются перед олигархами и поливают друг друга грязью. Вместо того чтоб объединиться, в самый трудный для державы час ведут себя, как оголодавшие псы, рвущиеся к кормушке!

Он вздохнул:

— Всё, как я объяснял Мамалую, — гниль и зрада... О чём говорить, если единства нет даже в Движении! Вы знаете, что оно родилось в пламени Майдана, из нескольких партий и групп. Но общего кулака так и не вышло! Всё равно, каждый пан — сам себе атаман. И каждый тянет одеяло на себя!

— Бабло делят? — уточнил белобрысый киевлянин по кличке Ариец. И в глазах у него мелькнула лёгкая зависть. А по лицу Наставника пробежала гримаса:

— Они называют это политикой. И на деньги кацапских и жидовских богачей плодят новые карманные группировки. Вместо того чтоб выдвинуть общего вождя.

— Москальские посипаки!

— Именно. Вместо того чтоб готовить разгон проститутского шапито, которое сейчас зовут “украинской элитой”, сами становятся клоунами на подхвате у властных пидорасов! — Голос Ворона дрогнул, так что последняя фраза прозвучала приглушённо: — И украинские герои опять расплачиваются кровью за весь этот цирк... — Он опустил голову, провёл по лицу ладонью, будто глаза устали от яркого солнца. А когда заговорил вновь — интонации звучали другие, отдающие холодной сталью:

— Теперь главное — победить. Раздавить “сепаров”, зачистить гнездо мятежа... Но потом придёт время навести порядок в тылу. Разогнать царство кондитеров и клоунов! Кому это под силу? Уж точно не слизнякам, отсидевшимся в тылу. Вы наша надежда, хлопцы, единственные чистые люди на этой грязной войне! Кому, как не вам, принадлежит будущее? И только на ваших плечах поднимется Вождь Нации, способный повести её против северной Орды!

“Единственные чистые люди?” — почти с удивлением подумал Хлуст. Но разве стоило теперь спорить о словах? Зато хлопцам понравилось. Наверное, многие из них совсем недавно открыли для себя это удивительное

чувство — быть частью целого. Могучей силы, великого братства. Безжалостной стаи, рвущей врагов на куски...

Конечно, ради Украины. Ради её нового гетмана — будущего белого вождя, способного покончить с империей.

И кто-то даже включил на смартфоне песню — ту, которая лучше всего подходила к этой минуте — свежий, “атошный” хит гурту “Шабля”:

*Люби мои диты, мыла, мамо й тату,  
Я йду на вийноньку нашу зэмлю захыщаты.  
Не плачтэ за мною, якщо в поли згыну,  
Всэ виддам за любу нэньку, нашу Украину!*

*Еднаємося, браття, в цю лыху годину,  
Нэхай ворог знае — мы за Украину.  
Богу душу нашу виддамо едыну,  
За нашу зэмлю, Священну Украину*

*Ми за ции стэпы, за лисы и горы,  
За ланы широки, за Чорнэе морэ,  
За Нэбэсну Сотню, за Тараса брата,  
За нашу свободу мы поборолы ката!*

Низкий, хриплый голос даже из слабенького динамика, казалось, проди-рал до мурашек по спине. Побратимы начали подпевать, раскачиваться, вы-стукивая ритм подошвами ботинок:

— Гэй, на-на-най! На-най! На-на-най!

Они неплохо попадали в мелодию. “А якщо з вийною — тоди начувай-тэсь!” — звучало почти трогательно в исполнении не нюхавших пороха юн-цов. Но Хлусту почему-то стало муторно. И совсем другие строки возникли из памяти...

*— Я буду искать тебя, слышишь,  
Но как я тебя узнаю?  
Быть может, по шуму моря,  
А может, по звёзд мерцанью,  
По песням ветров на просторе,  
По звуку шагов, по молчанью...*

...Он всё-таки приехал к Двум Столбам. Не сразу, а где-то спустя месяц после встречи с Володькой Беловым, после долгих поисков и бессмысленных разговоров, после проклятий и плевков в лицо от казавшихся раньше таки-ми милыми одесских бабушек. Он сам не знал, зачем ему туда, когда садил-ся в 280-ю маршрутку. Когда долго ехал вдоль промзон и одноэтажных до-мов на городской окраине, мимо длинных павильонов строительного рынка. Когда смотрел на выглянувшую в просветах между домами и посадками цве-тущую степь.

Это было глупо — без всякого смысла притащиться сюда через весь го-род. Просто слишком жутко сидеть в квартире на Генерала Ватутина — там, где никто уже не выглянет из-за зелёных занавесок на зреющую шелковицу во дворе. Никто не снимет книгу с полки, не протрёт от пыли икону в углу. И такое мертвящее безмолвие царит внутри, что почти оглушительным, не-выносимым чудится скрип старых половиц. Будто целый мир кричит от бо-ли, распадаясь под твоими ногами.

И на улицах тоже не найти покоя, словно во всей Одессе для него не осталось места. Больше не получается брести под деревьями по Комитет-ской — там, где он держал за руку ту, что звала его единственным. Где ас-фальт помнит её легкие шаги, и в запахах цветов на клумбе чудится аромат её духов. А различив вдали фигуру её матери, надо торопливо исчезать за кустами, сворачивать за угол, чтоб даже издалека не встретиться с ненави-дящим взглядом...

Поэтому он здесь, сам не зная, зачем. Выходит из маршрутки и долго, очень долго бредёт по аллеям — туда, где уже нет никаких домов. Туда, где вместо них — только кресты и каменные обелиски.

Но он проходит ещё дальше. В самый конец, где совсем не видно прохожих, а вместо асфальта тянется разбитая колея просёлка. Туда, где на границе со степью, рядами, почти сливаясь, бесконечно тянутся холмики или целые полосы свежей, коричнево-жёлтой глины. Нет, теперь они не совсем безмянные, как успел рассказать ему мёртвый депутат. Много дней прошло со 2 мая, и подобие порядка внесли даже сюда. Кое-где поверх холмиков неряшливо разбросаны таблички из облезлого серовато-белого камня с одной и той же коряво нацарапанной надписью.

Хлуст низко склоняется, будто у него помутилось в глазах и ему слишком трудно разобрать такой простой термин “хирургические отходы”.

Почему-то начинает кружиться голова. И он падает на колени, дрожит, как от озноба. Наверное, потому что в памяти опять оживают бессмысленные слова Володьки: “Там поговоришь со всеми...”

И по щекам сами собой начинают бежать слёзы. Наверное, потому что бывший друг солгал. Ведь здесь не с кем разговаривать. Разве можно говорить с холмиками глины, с проросшей кое-где травой и луговыми цветками, с огромным прозрачным июньским небом у тебя над головой?

И значит, остаётся закрыть глаза, чтоб не видеть этой земли и этого неба. Минуту, другую. Пока не станет совсем больно и отчаянный крик не вырвется из пересохшей глотки:

— Я не верю!

Вскочить, бежать отсюда, не оглядываясь, не разбирая дороги. Споткнуться, рухнуть, упасть лицом в траву. И, не поднимая головы, хрипло повторять:

— Не верю... не верю!

Перевернуться и посмотреть в небо. Теперь, когда не видно ни свежей земли, ни табличек из грязно-белого камня, повторить простые доводы: “Конечно, ничего не было! Конечно, они просто испугались, уехали из города... Как и сотни других ватников, как предатели и “сепары”!”

Это разумно и логично. От этого должна кончиться глухая боль в груди... Только ничего не проходит. И Хлуст опять кричит — осипшим неузнаваемым голосом, будто пытаясь заглушить голоса из памяти:

— Предали и бежали!

Дыхание перехватывает. Он умолкает и медленно, пошатываясь, встаёт. А кругом — всё та же степь, то же небо. И где-то вдалеке — та же жёлто-коричневая глина.

Ничего не изменилось. Ничто уже не может измениться. Он отворачивается и шепчет — куда-то в огромное небо, куда-то в дышащую горьким мёдом степь:

— Нет, вы не просто Украину предали... Вы меня предали!

Он стискивает зубы, он должен быть сильным. Только слёзы — грёбанные, проклятые слёзы всё так же текут по щекам.

*Заоблачный шепот всё тише...*

*— Лети, я тебя отпускаю...*

Ещё один вынужденный привал. Хотели дожидаться отставшую БМПшку, которая раньше плелась в хвосте колонны. Но после ругани по радиации ясно, что ветхая “броня” окончательно сломалась и ждать бесполезно.

— По машинам! — скомандовал Мамалуй.

И хлопцы опять начали запрыгивать в кузова “КраЗов”. Хлуст занял своё старое место в глубине, ближе к кабине водителя. Он думал, что сумеет забыться сном, привалившись плечом к бортику. Но ничего не вышло.

Наверное, заместитель комбата приказал ускориться, потому что они сильно опаздывали. И теперь “КраЗы” летели, выжимая километров восемьдесят, часто подпрыгивая на выбоинах: они опять свернули с главной магистрали на старый, разбитый асфальт донецкой глубинки.

Кое-где это были уже не просто дефекты дорожного покрытия — свежие трещины от попадания осколков, один раз у обочины мелькнула воронка — след от мины. Но хлопцы будто ничего не замечали — по новой, сразу на двух смартфонах крутили гурт “Шабли”. И били каблуками в такт мелодии:

— Гэй, на-на-най! На-най! На-на-най!

Ворон одобрительно посмеивался. Ему нравилась перемена в настроении подопечных. Ведь музыка — ещё одно средство превратить толпу в единое целое, связать невидимыми нитями кое-как обученных юнцов. Если просто переодеть их в немецкий камуфляж и дать автоматы — это не сразу сделает их военным отрядом. Тем более что половина из них познакомилась друг с другом только в последний месяц на полигоне.

— Гэй, на-на-най! — раскачивались парни с “волчьими крюками” на рукавах.

*З нами свята вира, з нами Бог и правда,  
И мы проты того, щоб брат ишов на брата.  
А якщо з вийною тоды начувайтэсь,  
Нас нищо не зупыньть! Слава Україні!*

Хлуст тоже старался проникнуться этим настроем. И раскачивался вместе с остальными, пытаясь подпевать. Только где-то внутри, глубоко в сердце, не проходил муторный холодок. Этому не было объяснения, в этом не было логики. Но с каждой секундой отчётливей было странное желание — пролезть, расталкивая побратимов, к заднему борту машины и на полном ходу сигануть вниз, на убегающий из-под колёс разбитый асфальт...

Хлуст закрыл глаза и хрипло подтянул вместе со всеми:

*Не плачтэ за мною, якщо в поли згыну,  
Все виддам за любу нэньку, нашу Україну!*

В это мгновенье что-то раскатисто грохнуло. Завизжали тормоза, и сбрасывающий скорость “КраЗ” резко дёрнуло, хлопцы в кузове повалились один на другого. А снаружи уже било:

— Бум-бум-бум!

— Сдавай назад! — крикнул кто-то. Но машина не двигалась. Звенело чем-то по металлу и стеклу, летели отчаянные вопли.

— К машинам! На обочины! — заорал Ворон. — Ползком!

И хлопцы посыпались наружу через задний борт. Кто-то успел натянуть кевларовый шлем, кто-то так спешил, что просто бросил его в кузове. Прыгали, падали и отползали в придорожные канавы.

Сидевший ближе к кабине Хлуст выскочил одним из последних, когда лучи солнца уже ярко били через свежие дыры в зелёном брезенте. Повезло: пулёмётная очередь, свалившая парня рядом, его совсем не задела. Дополз до канавы, пару секунд вслушивался в злой, раскатистый треск, потом осмелился приподнять голову. И с удивлением понял, что пулёмёт и несколько автоматов лупят откуда-то из руин на холме за рекой — как раз из тех, над которыми маячил жёлто-голубой флаг. Такой же, как развевался на их головной машине.

— Может, это свои перепутали? — растерянно спросил кто-то.

— Какие, на хер, свои?! — выругался комвзвода.

— Твари, — простонал Ворон. — Там же ещё вчера был наш блок-пост... Работать прицельно, одиночными, экономить патроны!

Да, “волчата” уже всю палили по развалинам, а у каждого — только по одному запасному “рожку”. Хлуст глянул по сторонам и обнаружил, что их взвод мало пострадал — если не считать водителя и мёртвого хлопца в кузове. Даже раненых почти не было... А что это за жёлтая струйка сочится через щели между досками борта? Тьфу, да это же просто апельсиновый сок! Наверное, одна из пуль пробила картонный ящик с пакетами “Джаффы”. Не велика потеря. Можно сказать, их машине вообще повезло: дорога чуть

изгибалась перед мостом, и последний “КрАЗ” оказался прикрыт остальными. Большая часть “сепарских” пуль досталась “лендкрузеру” и ещё двум грузовикам в середине колонны. А ехавший первым БТР не отвечал врагу — сейчас, как-то странно накренившись, он дымился на другом берегу неширокой речушки с болотистыми берегами.

— Подбили! — пробормотал Хлуст.

— Скорее, фугас сработал, — уточнил кто-то более опытный.

Да, что-то явно взорвалось под передними колёсами. В результате БТР почти заблокировал выезд с моста. И на самом мосту застряли две следующие машины — легковая и грузовик. Мамалуй уже успел распахнуть дверцу элитного джипа, ловко, по-кошачьи выкатился наружу, пополз к БТРу. А кабина грузовика так и осталась запертой — никто даже не пытался оттуда выскочить, очевидно, их всех убили ещё в первые секунды. Часть ехавших в кузове хлопцев попрыгали прямо в реку, те, кто не успел, лежали на мосту мёртвые или раненые.

Даже не верилось, что совсем недавно эти скорченные фигурки были молодыми, весёлыми парнями, которые тоже, наверное, напевали что-то боевое, задорное.

Уцелевшие из следующего, не доехавшего до моста “КрАЗа” вжимались в землю, прятались за машиной и палили из всех стволов по развалинам. Но делали это так же хаотично, как и взвод Хлуста. Можно сказать, что вся их колонна превратилась в толпу смертельно напуганных и слабо управляемых юнцов с автоматами.

— Ну, куда он лезет... дурак! — пробормотал Ворон. И было понятно, что речь о Мамалуе.

Заместитель комбата вместо того, чтоб пытаться кем-то командовать, продолжал ползти к БТРу — с той точки, где находился Хлуст, отлично было видно его седую голову. Наверное, Мамалуй рассчитывал проникнуть внутрь взорванной “брони” — ведь башня-то целая, а значит, и автоматическая 23-миллиметровая пушка вместе со спаренным пулемётом. Хорошее средство, чтоб вдребезги разнести позиции “сепаров”!

Только как под огнём вскарабкаться к приоткрытому верхнему люку?

Ворон вызвал кого-то по радию — без особого успеха. Выругался, достал из кармана обычный мобильник — древнюю поцарапанную Nokia — и куда-то позвонил. Со второй попытки разговор состоялся, в основном из матерных выражений. Но было понятно: в штабе даже не догадываются, откуда здесь, на блок-посту ВСУ, грёбаная “сепарская” засада!

А ещё оказалось, что воздушной поддержки, которую запросил Ворон, точно не будет. Максимум, что возможно в ближайшие несколько часов, — подъедет их БМПшка, которая встала на ремонт. Подъедет — если опять не сломается по дороге. “Зрада и гниль!” — всё, как говорили. Правда, никто не думал, что они так быстро ощутят это на своей шкуре.

Ворон спрятал телефон и хмуро глянул на развалины:

— Хотя бы пару РПГ сюда...

“Да!” — подумал Хлуст. Чтoб вырубить того меткого проклятого пулемётчика! “Сепаров” ведь немного. Но они заняли лучшую в округе позицию, “господствующую высоту” — так это называют? Прижали хлопцев к земле, а некоторых — тех, что сиганули с моста, — вообще до сих пор держат по пояс в воде. Голову не дают высунуть из прибрежных камышей! Хочешь жить — так и сиди, скорчившись, затаившись, как болотная тварь.

До чего ж унижительная картинка для первого в их жизни настоящего боя! Застрявшие в реке расцветкой камуфляжа и массивными кевларовыми шлемами похожи на огромных неуклюжих лягушек. Остальные — на трусливых, жмущихся к земле ящериц. “Не кланяться пулям” — есть такое книжное выражение... Не кланяться, а ползти на брюхе? Ведь тот, кто не ползёт, получает немедленную награду, как хлопец, осмелившийся перебежать ближе к мосту. Упал, словно подрубленный... Отсюда не понять — ранен или сразу “двухсотый”?

Что-то свистнуло рядом. Хлуст торопливо опустил голову. Угу, пара РПГ могла бы всё изменить. Но их нет. И боеприпасов тоже, кроме двух “рожков”



на нос. Даже гранат для подствольников — ни одной! А машины, забитые до отказа подобным добром, ушли в батальон ещё вчера вечером, не дожидаясь отправки пополнения. Из-за горячей обстановки на фронте... А может, тоже часть зрады?

Никому уже не хочется верить. Нельзя верить!

Хлуст сморщился и выстрелил в сторону развалин — несколько раз, не прицельно, потому что не видел врага. А что он может ещё? Разве что броситься под пулемёт. “Да, зрада!” Только не ему кого-то упрекать. Ведь он сам — трус, слабак и почти предатель. Из семьи предателей...

— Несколько РПГ остались в БТРе, — донеслось откуда-то из высокой травы рядом. — И пара ящиков гранат.

Голос командира взвода? Ворон скривился. Наверняка, ему и так всё известно. Но какой смысл в этой информации сейчас?

— В первом “КраЗе” тоже были гранаты! — вмешался кто-то по-юношески звонко. Хлуст повернул голову. И под нахлобученной на глаза каской узнал того самого запорожского новобранца с дурацким позывным “Фродо”. “Вот ещё, блин, вояка!” Только Наставник, кажется, воспринял всё серьёзнее:

— Откуда знаешь?

— Мне хлопцы хвастались, — сообщил мелкий, похожий на школьника боец, ближе подползая по канаве. И добавил с какой-то детской радостью: — У них земляк на складе — поделился с ребятами. Целый ящик!

— Со склада? — усмехнулся Ворон, — Дело пахнет трибуналом... А с другого боку, хай йому грэць! Кто ж выручит, если не земляки?

Наставник опять достал рацию и попробовал связаться с первым взводом. Ответа не было. Наверное, их командира подстрелили ещё в первую минуту, а те, кто был рядом — просто сбежали, не догадавшись захватить рацию, такой же новенький Datron, из кармана убитого. Ведь никто их к такому не готовил. Никто не думал, что смерть окажется настолько близкой — внезапной, как поцелуй девушки...

Ворон приподнял голову, сквозь мрачный прищур рассматривая “КраЗ” на мосту. Все молчали, тоже вематриваясь между стеблями травы. Разбитый пулями грузовик, — кажется, совсем рядом. А толку?

— Если к ним придёт подкрепление, даже без брони — нам звездац. Бо-еприпасов у нас на пятнадцать минут нормального боя, — зачем-то сухо объяснил Ворон. — А будут РГДэшки — пустим людей в обход. Пока одни отвлекают — другие подбираются ближе и забрасывают ублюдков гранатами...

Но это было ясно и без рассуждений. Весь вопрос — кто осмелится достать чёртов ящик? Только безбашенный псих. Или тот, кому нечего терять... Гремели выстрелы, но сейчас они казались просто фоном для натянутого, как струна, безмолвия.

— Я пойду! — вдруг твёрдо сказал Хлуст.

Ворон повернул голову и несколько секунд его рассматривал — будто впервые увидел. Да, много чего накопилось за эти месяцы, чтоб вот так запросто они могли друг другу доверять. Хлуст помнил своё чувство — вчера, когда стало известно, что Ворон поедет с ними. Мучительно острое чувство, заставившее крепко стиснуть цевьё автомата. Вдруг ясно представилось, что там, на линии фронта, это же оружие будет у Хлуста в руках. А где-то рядом окажется знакомая фигура в чёрной военной куртке. И всё, что надо, — один раз нажать спусковой крючок! Единственный раз — где-нибудь в горячей боя, когда никто и не заметит...

Ему было стыдно за эти мысли. За ничёмные желания слабака и почти предателя. И ворочаясь без сна, он проклинал себя за трусость.

Но теперь, когда перед ними был общий враг, — всё это больше не имело значения. Главное, чтоб умолк проклятый меткий ублюдок, засевший в руинах с пулемётом!

— Хорошо, попробуй, — кивнул Ворон.

— Я тоже иду! — подползая, выпалил Фродо — так торопливо, почти обиженно, словно без него собрались на пикник с девчонками.

А никто и не думал спорить.

— Без вопросов, ты идёшь тоже... Только каски снимайте.

— Зачем? — удивился юный запорожец.

— От пули все равно не спасут, — вздохнул Ворон. — А обзор — лучше, и ползать без них удобнее. Да, и ещё без них — не так жарко.

Хлуст стащил шлем, пригладил взмокший ёжик волос. Полуденное донбасское солнце жарило на всю катушку. Может, и “броник” снять? Нет, тогда уж совсем почувствуешь себя голым. Он расстегнул ещё одну пуговицу на камуфляжной куртке. Осталось мысленно сосчитать до трёх. И двинуться, вжимаясь в нагретую землю, воображая себя незаметной ящерицей. Тем более что младший напарник уже рвётся вперёд. Но Ворон сказал:

— Стоп! — и добавил сухим деловитым тоном. — Геройствовать ни к чему. По-пластунски, как учили, вперёд до конца канавы. Не высовываетесь и ждёте. Я организую отвлекающий манёвр — отправлю хлопцев через реку подальше от дороги. Приблизительно туда! — махнул он ладонью. — Когда услышите там пальбу — выдвигаетесь. По мосту — тоже ползком, и можете не дышать, чтоб вас не отличили от “двухсотых”! Доберетесь до грузовика — считайте, дело сделано. Хватаете ящик и бросаете с моста — внизу поймают.

Фродо округлил глаза: наверное, ему показалась удивительной эта мысль — швырять вниз целый ящик с гранатами. Но вслух он ничего не сказал. А Хлуст помнил, что РГД в складской, ещё “совковой” таре, с отдельно упакованными в коробку и завернутыми по отдельности в толстую бумагу запалами — ненамного опаснее обычных патронов. Главное, чтоб внизу было кому принимать. Даже если намочат в реке — не страшно. Вытащат на берег, сольют воду, вставят запалы и — держитесь, “сепары”!

— Вопросы? — по-военному коротко уточнил Наставник.

— Никак нет, — пробормотал Хлуст, усваивая эту краткость.

— “Калашки” тоже оставьте.

— А как же мы... — удивился Фродо. И умолк, не закончив вопроса. Наверное, сам сообразил, что в “забеге ползком” автоматы им точно никак не помогут. Тем более этого добра немало разбросано среди скорчившихся на мосту тел. Захочешь пострелять — есть выбор из богатого ассортимента.

— Вперёд, — сухо скомандовал Ворон и зачем-то добавил: — Аккуратнее, сынки!

Хлуст двинулся первым. Вжимаясь в землю, сливаясь с травой, почти просачиваясь между толстыми, заматерелыми стеблями сорняков и колочек. Хаотичный, раскатистый треск автоматов продолжал рвать воздух. Но кажется, уже не так часто. Может, до бойцов дошёл приказ Наставника, или отхлынул первоначальный ужас, и пришла ясность — ни хрена они не сделают засевшим на холме “сепарам”. Зато у особо активного стрелка — куда больше шансов поймать пулю...

Где-то за спиной доносилось возбуждённое сопение. Фродо не отставал. Страшно ему не было. И это даже плохо — ещё по Майдану Хлуст усвоил, что такие грёбаные энтузиасты легко попадают под удар. А главное — вместе с собой подставляют товарищей. Надо было идти в одиночку!

Мост всё ближе. Но Хлуст не поднимает головы, чтоб проверить, пока сквозь зеленовато-жёлтую, выгоревшую на солнце траву вдруг не угадывает стальное ограждение. Ещё несколько метров. Облезлая краска на синих перилах и столбиках маячит уже совсем рядом.

Стоп! Дальше — голая земля. Пора затаиться в ожидании.

А Фродо продолжает ползти вдоль канавы, пока Хлуст молча, со злостью, не бьёт его кулаком по плечу. Вот дурень! Ещё и улыбается... Неужели до сих пор не понял? Здесь не компьютерная стрелялка, и не будет дополнительных жизней!..

Хлуст ладонью показывает ему — прижмись к земле, олух! Не дышать, не шевелиться. И ждать.

Скоро должно начаться. Всё, как обещал Ворон... Ведь кажется, что прошла целая вечность. Хлуст закрывает глаза, успокаивая удары сердца. Саднит кожа на ладонях — там, где он ободрал их о колочки. Но это сущие пустяки. Куда хуже проклятые запахи — сейчас, когда он лежит в густой

траве, ему ясно начинает мерещиться тот самый оттенок горького мёда. И опять горячее дыхание степи отзывается мурашками по спине. Будто и не проехал он полтысячи километров от Одессы. словно так и не смог убедать от безымянных глиняных холмиков с проросшими на них голубыми и красными цветками...

К чёрту! Он стискивает кулаки, отгоняя наваждение. Открывает глаза, пытаюсь вернуться в реальность. Только легче от этого не становится — ведь то самое, огромное прозрачное небо распаивается над ним, как опрокинутая бездна.

Нет, не смотреть вверх! Судорожно вцепиться в траву и землю слабеющими пальцами — будто эта чужая трава и земля способна его удержать.

О, Господи... Почему же его так знобит? Колотит, несмотря на пот, стекающий по спине под курткой и бронежилетом — словно даже от солнца веет холодом. Хоть бы Фродо ничего не заметил! Младший напарник что-то шепчет, но нельзя разобрать из-за гулких ударов сердца. Хлуст пытается улыбнуться в ответ. Но, кажется, ещё пара минут, и он просто встанет из этой травы, поднимется во весь рост и бросится бежать, не обращая внимания на пули...

Зелёный кузнечик прыгает ему на рукав. Хлуст смотрит на него почти со страхом — он уже не верит в простоту и безмятежность, он знает, что тёмная изнанка есть даже у ясного дня.

А спустя несколько секунд резкий грохот очередей начинает рвать воздух. Опять заработал пулемёт! Фродо возбуждённо приподнимает голову. И Хлуст, наконец, понимает: кто-то в стороне от моста пытается отвлечь внимание “сепаров” — как раз там, где обещал Ворон.

Началось! И лучше сдохнуть, чем подвести побратимов! Хлуст делает знак напарнику — предостерегающе взмахивает ладонью. Ещё больше вжимается в землю. И первым выползает из канавы.

Несколько метров до моста по серой пыли — на ощупь это почти приятно, куда лучше, чем ползать по колючкам. Сейчас, на этом отрезке, его отлично видно из развалин на холме. Но почему-то страх отступает. Может, потому, что нет больше запаха горького мёда? От моста несёт бензином, горячим асфальтом и ещё чем-то... Когда Хлуст оказывается за десяток шагов от грузовика, становится ясно, чем, — свежей кровью.

Издали скорченные фигурки смотрелись, будто декорация для кино. Или картинка из компьютерного шутера. Теперь, вблизи, всё становится отчётливым — до подступающей к горлу тошноты. И раздробленные головы с оскаленными в беззвучном крике ртами, и выбитые пулями куски мозга, и лужи крови, до сих пор не свернувшейся на асфальтовом полотне моста... Вместо людей — изуродованные куски плоти. А всего полчаса назад они были живыми и весёлыми. И мало чем отличались от Хлуста.

Стоп! К дьяволу эмоции! Он здесь не для того, чтоб остаться рядом с ними. У него простая, конкретная задача. Несколько метров ползком до машины, спрятаться под её днищем, переместиться вправо — туда, где он полностью будет скрыт от “сепарского” пулемётчика. Дальше вскарабкаться на колесо, распороть брезент ножом — со стороны, которая не видна с холма, — пролезть внутрь, разыскать в кузове ящик с гранатами и подать его Фродо.

Они справятся. Просто надо добраться до машины. А у него совсем нет сил — будто он одолел на брюхе уже целый километр. Наверное, это из-за взглядов — неотрывных, внимательных. Ему кажется, он чувствует их справа и слева, впереди и сзади.

Там, на дне мутноватых пристальных зрачков, застыл один и тот же вопрос: “Эй, парень, что ты здесь забыл? Почему улёса между нами, скользи в крови, как гребанный тюлень?” — “Не ваше дело...” — “Сперва заработай это право!” — “Вас нет, вы — трупы!” — мысленно повторяет Хлуст, протискиваясь между телами.

Но комвзвода в дырявом бронежилете почти дружески советует: “Это не так уж трудно. Раскинь мозгами по бордюру — как он. Или получи пулю в грудь — как я!” — “Отвали...” — “Будь мужиком и сдохни!”

В пустых, выбитых глазницах и оскаленных ртах один и тот же беззвучный крик: “Сдохни, как мы!” Лицо белобрысого киевлянина по кличке Ариец застыло в гримасе ненависти и кажется совсем живым. А губы приоткрыты, будто шепчут: “Сдохни!”

На последнем привале Ариец пересел в головной грузовик — к побратимам из первого взвода. И теперь эти побратимы лежат рядом — одинаково неподвижные, залитые кровью, внимательно следящие за уцелевшим, который пробирается через мост.

Хлуст вздрагивает и торопливо — слишком торопливо — отворачивается. Мертвецы говорить не умеют — ему ли не знать эту простую истину? Бояться надо живых. Но почему-то, проползая вперёд, он почти отталкивает убитого Арийца. “Не я виноват в том, что с вами сделали!”

А “КрАЗ” уже рядом — осталось всего пару метров, чтоб спрятаться под машиной от “сепарских” глаз и пуль. И Хлуст, серый от пыли, красный от чужой крови, сам едва отличимый от мертвецов, наполовину одолевает это расстояние, когда кто-то хватается за руку...

Сердце на миг останавливается, потом бешено начинает колотиться. Хлуст медленно поворачивает голову. Нет, это не киевлянин. Всего лишь здоровяк Валет из Кировограда. На полигоне они всегда смеялись над его шутками. Высокий, весёлый парень, он запомнился на стрельбище, когда поспорил на целую упаковку “Хайнекен”, что выбьёт “сто очков” за десять попыток. И действительно, патрон за патроном точно укладывал в “десятку”. Лишь последний выстрел оказался “семёркой”. “Что, сегодня не фартит?” — подколот его спорщик. А Валет, опустив АКМ, белозубо улыбнулся, кивая в сторону мишени с отметиной в районе пояса: “Ни фига! Это “сепару” не фартит — не сразу околет, ещё помучается!”

Хлопцы тогда захохотали. А сейчас... Непохожий на себя Валет скорчился посреди дороги, зажав правой рукой дырку в животе. Левая судорожно уцепилась за рукав Хлуста.

— Помоги... — чуть слышно хрипит Валет.

Но чем? Судя по луже крови, которая натекла под кировоградцем, он давно должен был умереть. И только каким-то чудом крепкое тело ещё не упускает тонкую нить, которая держит его на этом свете. “Не десятка, а семёрка...” У кого-то тоже дрогнул прицел?

— Потерпи, друг, — шёпотом выдавливают Хлуст.

На самом деле, они так и не успели стать друзьями. Но ему, правда, жаль этого весёлого парня. Он помнит шутки Валета, пару раз они даже сидели рядом за общим застольем.

И здесь, на этом проклятом мосту, опять оказались рядом!

— Пожалуйста, потерпи... — успокаивающе шепчет.

Ведь единственное, чем можно теперь помочь, — скорее прикончить грёбаных “сепаров”. Может, тогда и Валета успеют довести до госпиталя?

Но сперва отпусти мою руку, парень!

— Отпусти, — тихо бормочет Хлуст.

Сейчас они оба отлично просматриваются. Нельзя делать резких движений. И нельзя бесконечно торчать на виду у “сепаров”.

Пока что ему везло. Глупо надеяться, что так будет вечно.

— Помоги...

— Отпусти руку! — негромко, но внятно говорит Хлуст.

Наверняка высланные Вороном хлопцы скоро займут позицию под мостом, чтоб принять ящик с гранатами. Он тяжеловатый, больше тринадцати килограммов. Но это пустяки, технические детали. Главное сейчас зависит от Хлуста. Только как это объяснить едва соображающему от кровопотери Валету? Придвинуться ближе, заглянуть в расширенные от боли глаза и умоляюще повторить:

— Отпусти!

В эти секунды Хлуст почти физически чувствует, как сверху, с холма кто-то пристально следит ними — сквозь планку прицела. Кто-то раздумывает, прежде чем вдавить тугой крючок...

Хлуст опять пытается выдернуть свою левую руку, но Валет сдавливает её ещё крепче. Так, словно его большое тело вкладывает в сжатые пальцы все оставшиеся силы, будто именно рука Хлуста — единственно, что даёт раненому надежду.

Глупо. Так глупо — умереть здесь сейчас вдвоём. Остаться рядом, пропитыми одной очередью. А значит, продолжая всматриваться в тускло блестящие, голубые глаза Валета, надо нащупать торчащую из ножен рукоять. Вот она, здесь, под курткой на боку — словно сама удобно легла в ладонь... Это невозможно и жутко. И, перевернувшись чуть набок в сторону побратима, Хлуст выдавливает, как в бреду:

— Не надо!

Будто до сих пор надеется всё исправить. Только Валет не может его ульшать. И ещё громче хрипит:

— Помоги! Помо...

Короткий удар всё обрывает. Лезвие глубоко входит в мягкое, и что-то тёплое течёт по правой руке Хлуста, крепко сжимающей наточенный “боуи”. Несколько секунд они, не двигаясь, лежат рядом. И продолжают смотреть друг другу в глаза. Кажется, что в зрачках Валета застыло удивление. И кроме растерянного лица Хлуста там отражается небо. Огромное, прозрачное, нестерпимо голубое небо — то самое, что и раньше. Похожее одновременно на купол храма и на сияющую бездну. С которым он уже пытался говорить — у безымянных глиняных холмиков, — но так и не дождался ответа...

Зачем оно опять смотрит сверху — неотрывно, пристально? Как судья и свидетель. Зачем, если ему все равно нечего сказать?

Хлуст мучительно морщится, опуская веки, проваливаясь в спасительную красноватую тьму. Но какой-то шорох угадывается рядом. И это опять возвращает его в реальность. Он поворачивает голову и видит перекошенное, застывшее лицо Фродо.

Да, кроме неба есть ещё один свидетель. В глазах, которыми тот смотрит на окровавленный нож в руке Хлуста, ясно читается страх. Что, уже не так весело? Это правильно. Пусть боится, пусть считает его психом. Пусть расскажет всем о том, что случилось... Не имеет значения. Единственно, что теперь важно, — нависающий рядом кузов грузовика.

Чуть дыша, стараясь не делать резких движений, Хлуст одолевает последнюю пару метров. И проползает между колёсами. Всё! Теперь его не видно с холма.

А пулемёт продолжает грохотать, и очереди рвут воздух. Где-то там, за десятки шагов левее моста, пули выбивают клочья травы и целые фонтанчики земли. Кто-то до сих пор умело отвлекает “сепаров”. “Спасибо, хлопцы!” Хлуст выбирается из-под “КраЗа” — с той стороны, которая не видна вражескому пулемётчику. Залезть на колесо, двумя взмахами ножа распороть дыру в брезенте и протиснуться внутрь кузова — на это уходит меньше минуты. Но здесь он цепенеет, рассматривая несколько скорченных фигур — двое из них до сих пор шевелятся. Раненые, как и Валет... Кто-то хрипит и зовёт на помощь.

Нет, не сейчас! Хлуст хладнокровно отодвигает тела, отталкивает протянутые руки. Ящик! Где-то здесь должен быть чёртов ящик? Плоский, зелёный, с металлическими защёлками и стальными ручками по бокам — надёжная, ещё “совковая” упаковка с надписью “УДЗ РГД”, цифровыми индексами и чуть ниже: “20 шт. брутто 13,5 кг”. Хлуст отлично помнит, как она выглядит. Только в кузове нет ни хрена подобного! Всё хорошо можно рассмотреть — через дыры в брезенте бьют яркие лучи солнца. Но внутри — лишь побитые пулями рюкзаки со шмотьём, пакеты из супермаркетов со жратвой и соком, разбросанные каски и автоматы. Неужели дурачок Фродо что-то напутал? И тогда — всё зря?!

Хлуст ошалело смотрит на окровавленный “боуи” в своей руке. Дрожащими пальцами прячет его назад в ножны. Хватает ближайшего раненого за воротник, встряхивает, приводя в чувство, и хрипло произносит единственное слово:

— Гранаты?

Тот выдавливает что-то неразборчивое, и Хлуст опять нетерпеливо, почти жестоко трясёт умирающего:

— Где?

Тот слабо взмахивает рукой. Хлуст поворачивает голову, недоумевающе всматриваясь в груды цветастых пластиковых пакетов. Потом лихорадочно начинает их потрошить, разбрасывая по кузову куски сала, банки с консервами и яркие пачки печенья “Юбилейное”...

Стоп! Кажется, что-то есть. В точно таком же пакете из супермаркета, среди упаковок чипсов и банок с безалкогольным пивом — неряшливый свёрток из кое-как обмотанной скотчем газеты. Кажется, “Комсомольская правда” — с ярким заголовком “Куда пропали сокровища Межигорья?”

Хлуст разрывает её сбоку. Да это лучше сокровищ! Сквозь дыру — коричневатозелёные, округлые бока, приятно охлаждающие руку...

Только слишком мало! Всего десять штук. Он продолжает рыться в пакетах — и находит ещё десяток. А запалы лежат рядом — аналогично, небрежно завернутые в газету. Хлуст торопливо собирает все двадцать гранат в один пакет. Ставит его во второй, перевязывает ручки в плотный узел — упаковка не слишком безопасная, запалы выпирают через разорвавшуюся бумагу и тонкий пластик, но ведь никто уже не собирается везти их за десятки километров!

Он высовывается через дыру в брезенте и сталкивается со взглядом Фродо. Наверное, точно так же, с испугом, тот таранился бы и на “сепарского” пулемётчика? Хлуст выдавливает угрюмую ухмылку: “Ну, прости — обломал тебе героический квест!” И плевать — пусть думает, что угодно. Он подает напарнику тяжёлый пакет с гранатами:

— Осторожнее, хлопчик!

Сам выбирается через дыру в брезенте. А из-под моста уже долетает плеск воды, приглушённые голоса.

Хлуст перелезает через ограждение, берёт пакет у Фродо и, балансируя на краю моста, свешивается вниз. Несколько пар глаз ожидающе на него смотрят.

— Принимайте груз! — выдыхает он, разжимая пальцы.

Гранаты летят вниз. Несколько рук одновременно к ним тянутся. Но в горячке побратимы только мешают друг другу. И выпускают пакет с высоты двух метров. На глазах застывшего Хлуста, гранаты падают в реку — совсем мелкую в этом месте. Он успевает шёпотом матернуться.

К счастью, всё обходится нормально. Вот уже выловили пакет, тащат к берегу... Хлуст перебирается назад через ограждение и тяжело опускается на пыльный бордюр — так, будто ноги перестают его держать. Несколько секунд отдыхает, вслушиваясь в почти привычный треск очередей.

Да, теперь остаётся ждать. Но застывшее тело Валета опять попадает ему на глаза. Хлуст торопливо вскакивает, меняя позицию в безопасном секторе за машиной — чтоб не видеть. И Фродо от него шарахается, как от зачумлённого. “Вот дурак...” — Хлуст морщится, ничего не говоря вслух.

Юный напарник уходит к разбитой пулями кабине, делая вид, будто что-то ищет. Шире распахивает дверцу “КраЗа”. И, очевидно, становится заметным с холма, потому что пули начинают звенеть по металлу, разбрызгивать ещё уцелевшее в кабине стекло.

Фродо неуклюже падает на бок. Хлуст бросается к нему. И видит расширенные от ужаса глаза. Кровь стекает по рукаву юнца, но, кажется, сейчас он боится не “сепарских” пуль. Торопливо бормочет тонким срывающимся голосом:

— Я в порядке! Я буду в порядке...

— Эй, да что с тобой?

— Пожалуйста, только не надо меня добивать!

Хлуст растерянно на него смотрит. Хочет выругаться. А вместо этого достаёт из кармана длинную резинку и протягивает её напарнику:

— Руку... перетяни жгутом, как учили.

Они заползают в укрытие, под “КраЗ”. Рядом, сразу за мостом, начинается настоящий хаос. Пальба резко усиливается. Ведь заместителю комбата

почти удалось проникнуть в подбитый БТР — сейчас машина стоит с распахнутым боковым люком. Открыть его можно лишь изнутри. Наверное, кто-то там всё же уцелел, очнувшись, откликнувшись на стук Мамалуя?

И когда замкомбата уже был на стальной подножке, его прошла очередь. Так и остался ногами наружу БТРа. Левый ботинок до сих пор дёргается... Ещё жив?

С холма его не могли бы достать — бокового люка оттуда не видно. Зато из ближних кустов кто-то вовсю палит и по БТРу, и по крутому берегу, на который попытались вскарабкаться несколько хлопцев.

Правее тоже идёт яростная перестрелка. Неужели, как предсказывал Ворон, к “сепарам” подошла подмога?! Или те, окопавшиеся в развалинах, заметили возню рядом с БТРом и выслали несколько человек, чтоб ликвидировать угрозу?

Хлуст стискивает зубы, вспоминая о РПГ и паре ящиков гранат, оставшихся внутри подбитой “брони”. Да, это могло бы всё изменить! И так ли уж важно теперь остальное?

— Я пошёл, — сухо сообщает напарнику.

— Куда?

— Туда. А ты лежи здесь, — для лучшего убеждения надо криво улыбнуться. — И не высывайся... Если не будешь мешаться — тебя уж точно никто не добьёт!

Фродо моргает — в эту секунду он реально похож на испуганного ребёнка. А Хлуст проворно выбирается из-под “КраЗа”.

Сейчас удачный момент! Хлопцы с того берега буквально выкашивают очередями ближние кусты — и, наверное, не все пули летят мимо, — потому что “сепарский” огонь оттуда заметно ослабел. “Молодцы!” — мелькает в голове. Хотя ясно, что в таком темпе скоро они вообще останутся без патронов. Хлуст не собирается этого ждать. Короткой перебежкой он пронесётся до конца моста, здесь падает, прячась между колёсами БТРа, ползёт под его темно-зелёным, провонявшим соляжкой и гарью брюхом.

Хлуст помнит, что в днище танков обязательно имеется люк... А тут есть что-то похожее? Ему стыдно признаться, но он забыл. Несколько секунд без толку вглядывается в нависающее сверху дно машины и, кажется, не может ничего рассмотреть. Протягивает руки, нащупывает какие-то небольшие выступы, — вероятно, просто технологические люки? Всё не то! Значит, остаётся единственный вариант...

Хлуст ритмично стучит в дно машины рукояткой ножа — просто, чтоб предупредить, а то ещё начнут в него палить с перепугу. Проворно выбирается из-под БТРа рядом с опущенной подножкой — нижней частью бортового люка. Заместитель комбата торчит из него животом вниз. Хлуст склоняется над телом, касается его плеча — никакой реакции. Осторожно тянет тело на себя. Но тут из полумрака показывается залитый кровью затылок. Хлуст всё понимает и, не церемонясь, одним рывком выдёргивает умирающего наружу, отталкивает в сторону, чтоб не мешал. Этому всё равно уже не помочь...

Внутри БТРа — едкий, застилающий глаза дым. И вообще мало что видно. Свет попадает только через бойницы и пару распахнутых верхних люков. Где эти чёртовы ящики и РПГ? По логике, должны быть недалеко от бортового люка, чтоб удобно было выгружать.

Хлуст набирает в лёгкие воздуха, прежде чем нырнуть головой в дым. Вперёд! Щурясь, он шарит руками. Но вдруг наталкивается на что-то мягкое... Чёрт! Торопливо отдёргивает ладонь, коснувшуюся мёртвого лица. Продолжает искать и нащупывает-таки деревянную крышку ящика, проводит по ней пальцами. Вот здесь сбоку должна быть стальная ручка. Он почти её находит, когда рядом кто-то надсадно кашляет.

Хлуст застывает.

— Ребята... я здесь! — долетает откуда-то снизу сильный, чуть слышный голос. И опять кашель. — Помогите! — совсем рядом.

Хлуст морщится, но не от дыма. Почему-то последний, удивлённый взгляд Валета, как живой, встаёт из памяти — отчётливо, до мороза по коже. Будто именно голос мертвеца сейчас послышался из сумрака.

И это заставляет сделать глупость. Хлуст бросается внутрь БТРа, нащупывает раненого, скорчившегося рядом с бойницей. Хватает того за плечи, за бронезилет и, не обращая внимания на стоны, выволакивает наружу. Ровно за секунду до того, как нестерпимый грохот оглушает и отшвыривает их обоих...

Очнувшись в высокой прибрежной траве, Хлуст поднимает голову и растерянно смотрит на объятый пламенем БТР. Всё расплывается перед глазами, но даже сквозь пелену ясно, что силуэт машины странно изменился.

Потом он понимает: башни с автоматической пушкой — уже нет. “Наверное, сорвало взрывом...” — мелькает в голове. И кое-что ещё вдруг осознаётся с мучительной ясностью.

Двух ящиков с гранатами — тоже нет. Нет больше спасительных РПГ. Всё, что ему осталось, — стонущий рядом раненый. Позывной “Циклоп” — из второй сотни, потерявший глаз ещё во время одесских событий, а сейчас обожжённый, переломанный и хрипло твердящий:

— Не бросайте... не бросайте меня, хлопцы...

Хлуст ясно может различить это бормотание сквозь слабеющий звон в ушах. Но больше не оборачивается на голос. Мрачно смотрит на догорающий БТР, внутри которого с сухим треском рвутся патроны. Как всё случилось? “Сепарский” РПГ или просто что-то детонировало в подбитой машине?

Какая теперь разница? В эту секунду он почти ненавидит спасённого им “Циклопа”. И себя ненавидит — за никчемную слабость, за удивлённый взгляд Валета... За шеренги безымянных глиняных холмиков. Сжимает зубы. И вдруг встаёт с травы — во весь рост. Делает шаг к телу заместителя комбата, выдёргивает у того “Глок” из кобуры. Обходит остатки БТРа и дальше движется напрямик на холм, к развалинам. Идёт навстречу пулемёту — размахивая, как грозным оружием, лёгонким пистолетом, сделанным больше чем наполовину из пластика. Сейчас этот чёрный, тускло блестящий на солнце “Глок” кажется нелепым, почти игрушечным. Хлуст сам не знает, зачем его взял. Может, чтоб просто не выглядеть глупо с голыми руками? Ведь в сущности, не имеет значения, сколько патронов там, в пистолетном магазине. Неизвестно, успеет ли он вообще выстрелить хоть раз.

Единственное, что важно, — огромное прозрачное небо над головой. Как судья и свидетель. И Хлуст смотрит в него поверх развалин, будто именно оттуда ждёт ответа...

Он одолевает почти половину расстояния, когда пулемётчик, наконец, его замечает. Очередь раскалывает воздух, фонтанчики земли взмываются на пути. Всё ближе...

Но вдруг выстрелы умолкают. Это так странно, что Хлуст тоже останавливается на целую секунду. Недоумевающе смотрит на развалины. И продолжает идти.

А пулемёт до сих пор молчит. Это кажется почти нереальным — будто всё происходит во сне. И Хлуст начинает смеяться, глядя в небо.

Но огромная, сияющая синева кажется равнодушной.

Неизвестно, сколько времени он бредёт к развалинам на холме. Ему грезится — почти целую вечность. А в реальности, вероятно, считанные секунды. Всё обрывается несколькими гулкими хлопками. Гранаты? Пулемёт опять оживает — только раскатыстые очереди летят куда-то совсем в другую сторону. И после ещё одного взрыва захлёбываются.

Трещат автоматы — где-то среди развалин. Хлуст замирает, вслушиваясь. И снова продолжает идти к вершине холма.

Бред и явь странно мешаются. Ему чудится, что вокруг по-прежнему лютует прошлогодний июльский шторм. Валы вертят, захлёстывают угловую лодку. И знакомый голос кричит: “Держи по ветру!” Это так трудно. Хлуст пытается, изо всех сил налегая на вёсла. Но лодку всё равно опрокидывает в мокрую бездну. И судорожно схватив воздуха, он бросается вглубь, через зеленоватую тьму, чтоб спасти захлебнувшегося друга.

Только неожиданно оказывается среди развалин, в толпе ликующих побратимов. Их крепкие американские ботинки топчут убитых врагов. Крики,



запах смерти и пороха, какие-то кровавые клочья, разбросанные по пыльным камням...

А трупов оказывается совсем немного — только двое, правда, одного сильно изувечило гранатой. Плюс троих подстреленных удаётся найти в кустах ближе к реке: когда “сепаров” выбили с холма, этих накрыли огнём с тыла. Того, который дышит, сразу добивают.

Спустя несколько минут, после пальбы и погони, из ближайшей “зелёнки” выволакивают ещё двоих, взятых живём. И зычный голос Ворона предупреждает разгоряченных хлопцев:

— Не трогать! Сперва поговорим...

Две фигуры — под прицелами автоматов и сверкающих ненавистью зрачков. Побратимы обступают “сепаров” со всех сторон и пока просто рассматривают. В этом ведь тоже есть странное облегчение — так близко видеть уцелевшего, но беспомощного врага. Того, чья паскудная судьба отныне в твоих руках.

Одного из пленных, вероятно, посекло осколками, его “горка” разорвана и залита кровью, он едва держится на ногах, лишь опираясь на плечо товарища. Часть побратимов недоумевающе переговариваются — это кажется им странным. Второй пленный, пусть и избитый, со свежими синяками и ссадинами, выглядит здоровым и крепким. Почему он не спасся сам, не сбегал через “зелёнку”?

Ведь всем известно, что “сепары” — трусливые человеческие отбросы.

— Вот дурнык, — смеётся львовянин с позывным “Ганс”.

Конечно, самое простое объяснение! Наверное, этот вообще с головой не дружит.

— Думал, мы вас не догоним? Идиот! — презрительно щурится бывший крымчанин Найф.

— Ты ошибаешься, — вдруг твёрдо обрывает его Ворон. И в наступившей тишине уточняет: — Спасать товарища — не глупость, а доблесть. Мы привыкли считать их быдлом, двуногими скотами. Но это было бы слишком просто.

Побратимы растерянно переглядываются. Многие точно знают, что в подобной передраге не стали бы тащить на себе раненого. Да, они давали клятву, вступая в Движение... Но ведь сильный должен жить, а обречённому лучше сдохнуть. Глупо рисковать ради того, чтоб нарушить этот вселенский порядок!

И теперь... Выходит, что предатели, москальские наёмники, хоть в чём-то могут быть круче большинства из них?

Но кажется, Ворона такие подробности не беспокоят. Он мрачно щурится, окидывая взглядом притихших побратимов:

— Разве мы — дикари? Нет, законы войны — выше любых предрассудков. Можно уважать и врага, если он по-настоящему смелый и сильный!

Поворачивается к пленным, пристально на них смотрит. Уточняет:

— Что при них было? Вещи, телефоны, документы?

— Ничего, — сообщает сержант. — Только складные ножи и “макаров” — до того, как их скрутили, успели расстрелять по нам все патроны. У меня царапина, у Сохатого — дырка в ноге...

— А где их “калаши”?

— Наверное, тут бросили.

— Во всех — пустые рожки, — уточняет хлопец, обыскавший развалины.

Ворон кивает, словно он ждал такого ответа. Взмахивает рукой:

— Дайте им воды! Раненого уложить — найдите какое-нибудь тряпье под голову. А ты... — кивает уцелевшему “сепару”, — садись сюда, — подвигает ему ногой один из старых ящиков, разбросанных среди развалин. — Нам есть о чём потолковать!

Пока хлопцы дают напиток пленным, Хлуст ковьялет ближе, прихрамывая. Кажется, ему ушибло ногу при взрыве БТРа, но чувствовать боль он начал только теперь. Наставник его замечает и одобрительно подмигивает. Ну да, ведь именно гранаты всё решили. И искалеченный враг, которому

сейчас подсовывают под голову снятую с мертвеца куртку, сейчас такой безобидный, до ужаса беспомощный лишь благодаря Хлусту.

За спинами побратимов трудно разглядеть лицо врага. И Хлуст, раскачиваясь, пытаясь не ступить на больную ногу, движется вилотную к толпе. От этой качки ему опять начинает казаться, что вокруг шторм, что набегавшие валы захлестывают утлую лодку.

Ничего, пройдет. Надо лишь остановиться, перевести дух, рассматривая пленных. Он делает ещё шаг и вдруг судорожно опирается на полуразрушенную стену. Моргает растерянно.

Только шторм никак не утихает. Кажется, что вот-вот и опрокинет его в бездну. А ещё, ясно, как наяву, чудится ему голос:

— Держи по ветру... — повторяет он за ним, как молитву.

Будто это поможет разогнать мираж и бред. Избавит от ползущего по спине холода...

— Ну, и кто из вас был за пулемётом? — внимательно щурится Ворон.

— Я! — сипло отвечает раненый.

— Держи по ветру!”

Налетающий вал опрокидывает лодку. Но Хлуст не уходит вместе с ней во тьму. Едва дыша, он пристально смотрит на того, кто тяжело, медленно поворачивает голову.

— Ты — с самого начала? — будто не веря, спрашивает Наставник.

— Только я, — почти равнодушно отзывается пленный.

Зовут его Володька Белов. Огромное, чистое небо смотрит на него сверху. И трава вокруг шелестит на лёгком ветерке.

А Хлусту это дуновение кажется ураганом.

Нет, Володька пока его не видит. В ответ на хмурое молчание Наставника, изучающего покорёженный ПКМ, Белов вдруг выдавливая презрительную усмешку:

— Что... неужели не понравилось?

Ворон тоже улыбается, но морозом веет от его улыбки:

— И где ты такому научился, хлопчик? Кто тебя готовил?

— Никто. Только я сам.

— Никто? Значит, самородок, вундеркинд... Или просто повезло?

— Почему же повезло? Нетрудно и повторить, — пленный произносит это негромко, зато отчётливо. Так, словно опять готов стрелять из пулемёта, даже заклинившего от взрывов.

Прямо в их неподвижные лица.

На несколько секунд повисает звенящее безмолвие. Прежде чем кто-то из побратимов в сердцах выпаливает:

— Ах ты ж, гнида!

Сразу несколько голосов бормочут ругательства. А стволы автоматов по новой вскидываются, смотрят чёрными зрачками на двух захваченных “сепаров”. Но Ворон успокаивающе поднимает ладонь. Делает шаг ближе к Володьке, склоняется над ним и подмигивает:

— Что, торопишься умереть? — сожалеюще качает головой. — Нет, такой подарок надо ещё заработать!

Поворачивается ко второму пленному — тому, которого усадили на ящик, и с ухмылкой добавляет:

— У нас есть на это время — поговорить с каждым... И у кого-то из вас — впереди может быть целая жизнь!

В эту секунду в кармане у Наставника совсем буднично звенит телефон. Он торопливо достаёт из куртки свою исцарапанную “нокию” и отходит в сторону:

— Слушаю!

Пока он говорит, обсуждая какие-то военные подробности, Хлуст продолжает смотреть на Володьку. И ладонями цепляется за шершавую стену, будто тонущий за обломком кораблекрушения. Бред и явь намертво срослись. Ему уже никогда их не разделить.

А бывший друг теперь мало похож на весёлого парня, с которым они когда-то ходили в море, — повзрослевший и тощий, с горькими складками

у рта, с наметившимися морщинками у глаз. Разве это он беззаботно шутил на берегу, улетаая жирную кефаль? Разве с этим угрюмым чужаком когда-то они по-братски обнимались?

Кто он теперь? Просто “сепар”. Враг, стиснувший зубы от боли. Тёмно-смуглый, словно высушенный на донбасском солнце, с очень светлыми, будто выгоревшими волосами. В разодранной осколками, залитой кровью “горке” с проклятой оранжево-черной лентой на рукаве.

Что там у него в глазах? Только ненависть?

Хлуст хочет отвернуться. Но вдруг цепенеет от ясной мысли. Ведь кое-что сейчас понимает. И сам себе кажется наивным дураком. “Бестолочь! Возомнил себя великим воином, которого не берут пули?”

А всё слишком просто... И нет сомнений, отчего ещё до взрывов гранат умолк пулемёт, рубивший траву у самых ног Хлуста. Когда, контуженный, он ковылял к вершине и вглядывался в огромное небо, ожидая ответа. “Вот, получи!” На все свои дурацкие вопросы. Муторно ясный ответ.

И Хлуст болезненно морщится, опуская глаза.

— До связи, — сухо заканчивает Ворон. Прячет телефон в карман, подвигает второй ящик и садится напротив уцелевшего пленного:

— Имя, фамилия, позывной?

— Зовите просто Митяй, — слишком легко отвечает тот, будто вспоминая первое попавшееся имя.

Наставник пожимает плечами:

— Что ж, Митяй, кое-что прояснилось... Ты честно пытался спасти товарища. Но вы оба заранее были обречены. Ваши москальские командиры тупо послали вас на убой! Никто и не думал идти к вам на выручку, и пока вы здесь подыхали, основные ваши силы ушли на Грабовку... Вас просто использовали и бросили, как расходный материал, как дешёвое мясо!

Он умолкает, рассматривая лицо сидящего перед ним парня. Будто ждёт реакции после своих слов. Но на губах пленного — только скупая усмешка.

— Я думал, ты умнее своего поделника. Тебе что, нравится быть мясом? — раздражённо спрашивает Ворон.

— Скажи, а под кем Грабовка? — простодушно уточняет Митяй.

Наставник молча хмурится. И пленный понимающе кивает:

— Значит, ваших оттуда выбили... Обойти Иловайск с запада у них не срослось? Наши смогут удержать город, а засевшие там нацбаты не получат подмоги.

— Для тебя это что-то меняет, глупыш? — Ворон сплёвывает на траву. Кивает в сторону вражеских трупов. — Или для них что-то изменилось? Для тех, кто бессмысленно подох в заранее проигранном бою?!

— Проигранном? А ты ничего не попутал? — шурится Митяй. И твёрдо качает головой. — Если вы так и не смогли добраться к своим в Грабовку — значит, мы не проиграли. Значит, смысл есть!

Ворон скалится — только улыбка выходит какая-то натянутая. И кто-то из побратимов не выдерживает:

— Командир, это что, правда? Наши отступили?

Наставник смотрит куда-то в траву. А Митяй так же спокойно окидывает взглядом притихших хлопцев:

— Нас было семеро. Вы уже знаете, сколько у вас “двухсотых”? И кто здесь “мясо”? Пересчитайте и тогда сами поймё...

Фраза обрывается, потому что пленный получает удар в лицо — такой сильный, что он падает с ящика на траву.

— Ну, хватит, — говорит Ворон, аккуратно поглаживая костяшки пальцев. И медленно встаёт, нависая над пленным: — Не вам хвастаться победами. Спрятавшись под украинским флагом, подлю атаковать в тылу колонну на марше — это не война, а бандитский наскок! Расскажи, что вы сделали с нашим блок-постом?

— Извини, я не разбираюсь в тактике... — бормочет Митяй, приподнимаясь. Вытирает кровь с губы и как-то совсем буднично добавляет: — Наверное, это было некрасиво — нападать на вас исподтишка. Вы ведь просто ехали — и не хотели ничего плохого, да? — Окидывает взглядом угрюмо

молчащих хлопцев: — А утожить города из пушек и “Градов” — это же не по-бандитски. Когда женщин и детишек потом собирают по кускам...

— Я задал тебе вопрос!

— Конечно. Но я простой солдат. Когда нас привезли, блок-поста уже не было. Думай сам: может, они в плену. За шо им подыхать? А может, ваши побратимы просто ушли — за скромную плату...

— Врёшь! Зрадники нам не побратимы, — сухо перебивает его Ворон. — Предательство — это по вашей части!

— Разве я кого-то предал?

— Никого, кроме Украины. Ты ведь не москаль? Откуда ты, хлопчик? Местный? Или из Харькова, Одессы? А может — из славного Днепра? — Наставник щурится почти ласково. Но рука, нервно приглаживающая усы, выдаёт его раздражение.

— Откуда? Разве это имеет значение? Можешь считать, шо отовсюду...

— Кто сообщил вам о нашем выдвижении? Откуда вы узнали маршрут и время?

— Понятия не имею. Я ведь не командир, а рядовой... И вообще невоенный — на гражданке работал охранником в супермаркете, — пленный снизу вверх смотрит на Ворона бесхитростными прозрачно-голубыми глазами.

Тот молчит. Да, у Митяя простое и доброе лицо. И выговор простецкий — так гёкают и шокают не испорченные образованием хлопцы из рабочих окраин и пригородов на половине Украины. И часть людей Ворона — именно такие. Если бы не “горка” с приколотой георгиевской лентой — Митяя вообще не отличить.

Крепкий, честный и не слишком умный? Такой ведь не станет врать... А если не скажет правду, то как её вырвать? Хлуст холодеет от этой мысли. Но Ворон словно забывает о пленных. Отдаёт распоряжение комвзвода, который отправил людей на разведку в ближайшее село. Разговаривает по радиции с механиками, пытающимися починить разбитые пулями, застывшие на мосту “КрАЗ” и “лендкрузер”. Другое отделение до конца прочёсывает лесополосу — ту, в которой и поймали пленных. Правда, не ясно, что они там должны найти; если б кроме этих двоих были ещё беглецы, вряд ли они сумели бы затеряться в кустах.

Раненых перевязывают и колот им промедол, своих мёртвых собирают и аккуратно складывают на берегу. В штаб уже дозвонились — оттуда обещали прислать машины для эвакуации.

А ещё Ворон приказывает развести костёр — прямо тут, недалеко от развалин. Для тех хлопцев, которым довелось почти полчаса торчать в реке. До вечера ещё далеко, солнце греет на всю катушку, но, вероятно, Наставник слишком дорожит здоровьем бойцов:

— Пусть обсушатся и отдохнут у огня!

Он сбрасывает куртку, сам лично берёт в руки топор и начинает рубить сухое дерево, которое притащили из ближайшей посадки.

Хлусту начинает казаться, что сегодня худшее позади. Разве после жуткого боя они не заслужили передышку? Неловко подогнув ушибленную ногу, он садится на траву. Молча смотрит на Володьку. Тот наконец-то чувствует его взгляд. И поворачивает голову. Долгую минуту, не говоря ни слова, они смотрят друг на друга.

В глазах Володьки нет удивления. Ведь, конечно, он уже видел Хлуста — через прицел. Метров на десять они сблизились — хватит, чтоб узнать старого друга, даже заляпанного грязью и кровью. И остановить палец на спуске пулемёта...

“Что, Лёшка, — живой?”

“Спасибо!”

Едва уловимая тень улыбки появляется на губах Белова. Будто он без слов говорит: “Когда-то ты меня вытащил... А теперь мы квиты!”

И Хлуст отводит глаза. Потому что опять чувствует муторную ясность. Словно на краю бездны.

Да, сейчас они не в бою. Но разве от этого что-то изменилось? Ведь война может идти и без выстрелов.

До победы. Или до смерти...

Кто-то трогает Хлуста за плечо. Он вздрагивает, оборачиваясь. Но это всего лишь Фродо — бестолковый, юный его напарник, с уже перевязанной рукой. Единственный свидетель того, что случилось с Валетом... Какого лучшего теперь надо этому молокососу, тогда испугавшемуся Хлуста сильнее “сепарских” пуль?

А может, и не зря испугался? Интересно, успел он уже наступать на Наставнику?

Хлуст непонимающе смотрит на мальчишку. Тот протягивает ему открытую “минералку”, — похоже, успел сбежать к грузовику.

— Спасибо, — бормочет Хлуст и делает жадный, длинный глоток.

Фродо терпеливо ждёт, потом кивает ему на большую пластиковую бутылку с чуть мутноватой водой, — наверное, сам притащил её из реки:

— Умойся... А то вид у тебя, как у “двухсотого”.

— Что, правда?

Хлуст растерянно моргает:

— Со стороны виднее, да...

Запёкшаяся кровь — в основном чужая, плюс размазанная пыль, от которой кожа становится грязно-серой. Почти как у хлопцев, в ряд аккуратно уложенных на том берегу...

“Фродо” держит бутылку, поливая его ладони, и Хлуст, сорвавший с себя бронжилет и куртку, торопливо, лихорадочно хлопает на себя водой. Будто вместе с грязью и кровью надеется смыть из памяти удивлённый взгляд Валета, оскаленные в беззвучном крике лица мёртвых.

Так, словно не умывается, а с головой ныряет в тёмную реку. Вода воняет болотом, но сейчас этот запах кажется ему простым и мирным, дарящим забытьё не хуже конопляного дыма.

Он слишком хочет этого забытья. И, наверное, поэтому не сразу замечает, как что-то меняется — там, у костра. Ворон перестаёт рубить сухое дерево, сержант что-то ему докладывает — у командира взвода встревоженное лицо. Наставник кивает и негромко говорит в рацию. Интересно, в чём дело? Хлуст торопливо вытирается чистой футболкой, которую из брошенных рюкзаков притащил ему Фродо.

“Неужели опять бой?” — сейчас у Хлуста тревожное чувство. Почти как было на дороге, перед началом обстрела... Он оглядывается и замечает, что на мосту прекращается возня. Хлопцы уходят от машин, садятся на берегу, словно им отдала приказ срочно оттуда убираться.

А через несколько минут к развалинам возвращается отделение, которое прочёсывало лесопосадку, кажется, лишь несколько человек осталось в кустах, чтоб контролировать оттуда дорогу.

Но странно — Ворон кажется абсолютно спокойным. Он усаживается на ящик у самого костра, взмахивает рукой уцелевшему пленному:

— Митяй! Хватит скучать — садись-ка сюда, ближе к огню...

И два хлопца, взяв “сепара” под руки, швыряют его на траву перед Наставником.

Несколько секунд тишины. Ворон щурится, рассматривая пленного колючим пристальным взглядом. А когда начинает говорить, голос кажется обманчиво мягким:

— Извини, что я тебя ударил. Сам понимаешь, нервы... Не в обиде?

— Нет.

— Скажи, а почему ты не сообщил, что мост заминирован? — как бы между делом уточняет Ворон.

— Но ты ведь не спрашивал, — простодушно пожимает плечами Митяй.

— Ну да... И взрывчатка сразу в нескольких местах, — чтоб наверняка. Тут вы не поспешили. Если б сработало — машины бы тоже разнесло. И “двухсотых” у нас было бы раза в три больше.

Он умолкает выжидающе.

Хлуст, опять натянувший куртку и “броник”, подходит ближе. Ворон ему кивает:

— Оказывается, мы недооценили наших новых знакомых. Представляешь эту картинку? Мост разлетается вдребезги, по остаткам отряда работает пулёмёт, колонна разгромлена за считанные минуты. А диверсанты быстро, безопасно уходят — невредимые, весёлые...

— Вот гниды! — злится Найф.

— Паскуды, — соглашается Ганс.

Собравшиеся у костра с ненавистью смотрят на пленного. Ещё вчера многие из них с трудом представляли — как это, убить человека. А сегодня большинство осознали — не так уж и сложно. И если даже своя судьба чересчур мало весит на войне, то жизнь какого-то уroda, погубившего их побратимов, вообще не стоит копейки.

Если б приказывал не Ворон, плевали бы они даже на приказы. Разорвали бы “сепарского” ублюдка на куски!

Пусть, кроме ленточки и “горки”, внешне мало что его отличает, пусть ещё недавно у всех собравшихся у костра, почти ровесников, могли быть общими города и улицы, музыка и мечты, — этот бой чётко провёл границу. “Мы” и “они”. И “они” должны сдохнуть!

— Да, это террористы, предатели, — кивает Наставник. — Однако согласитесь, что с военной точки зрения — план был разумный.

Опять смотрит на Митяя и оскаливается в улыбке:

— Нет, вы не собирались умирать... Но что-то пошло не так?

Пленный молчит.

— Кстати, — уточняет Ворон, — Детонаторы армейские, а взрывчатка — самодельная... Но ты же в этом не разбираешься, да, Митяй? Ты просто рядовой ополченец, бывший охранник супермаркета...

Наставник взмахивает рукой, и сержант подаёт ему маленькую пластиковую коробочку с короткой антенной.

— У вас в супермаркете не рассказывали, что это такое? Я могу объяснить — радиопередатчик для активации детонатора. У нас в Чечне были такие. Мощности сигнала хватает до пары километров... А знаешь, где его нашли, Митяй? В лесопосадке, в траве — чуть вбок от того места, где вас поймали.

Лицо пленного кажется непроницаемо равнодушным. Ворон усмехается, почти ласково:

— Детонаторы не взорвались, но ты не бросил передатчик. До самого последнего момента надеялся — вдруг сработает?

И Митяй глухо отзывается:

— Да, надеялся...

— Взрывчатку тоже ты делал?

— Какое это теперь имеет значение?

— Всё в этом мире имеет значение, — качает головой Ворон. — Мы нашли спрятанную “Газель” — в лощине за кустами. Пару десятков шагов вы до неё не добежали...

Митяй смотрит куда-то в пустоту.

А Наставник пожимает плечами:

— Вы способные и смелые. Но всё-таки не профессионалы. В машине надо было оставить водителя, тогда он успел бы её подогнать и забрал выживших... Ещё одна ошибка. Первую вы сделали, когда понадеялись на армейские детонаторы. Разве вы не знали, что Москва посылает сюда всякий утиль?

Пленный молчит. А Ворон сочувственно вздыхает:

— И вы для них — такой же утиль... Который тысячами, без особых эмоций, удобно списывать в расход.

Митяй выдавливает кривую усмешку:

— Не старайся. Главное, что задачу мы выполнили — остановили вас здесь. А болтовню побереги для своих “зомбаков”.

Наставник с показным удивлением разводит руками:

— Какие смелые речи — для простого охранника супермаркета! Значит, мои хлопцы — зомби. А вы, нацепившие колорадские ленты, — просто борцы за народное счастье? Сознательные и неподкупные... Дурачок, ты хоть

понимаешь, откуда взялись эти грёбаные ленты? Знаешь, что в Москве их повязывают на собак?!

Пленный сухо кивает:

— А желто-голубые цепляют даже на бешеных волков.

— Ты думал нас этим оскорбить? Да, мы готовы стать волками — кем угодно, любыми чудищами, — чтоб выгрызть, вырвать зраду и москальщину из Украины! А ради чего вы цепляете свои ленточки — какой в этом смысл, кроме сдачи родины врагу?

— Родина? — презрительно щурится Митяй. — Чтó есть ваша родина — бандеровский хутор? А моя — от Бреста до Камчатки, от Одессы до Курил, под знаменем Победы... Ты спрашиваешь, какой смысл? Был когда-то отважный воин, всадник Георгий, который убивал драконов и чудищ, — вот тебе простой смысл... Но драконам его не понять!

Ворон расплывается в ухмылке:

— Какие слова! Сопливые, восторженные дурачки... За что подыхаете — за Расею? А знаешь, откуда у нас техника и оружие, которым мы вас убиваем? С апреля по июль больше, чем на миллиард баксов отправлено из Крыма! Ты говорил, после “Градов” — собирают куски женщин и детишек? А знаешь, откуда везут горючку для этих “Градов”?

Наставник презрительно слёвывает:

— И Знамя Победы им не мешает... Молчишь? Правильно, нечего ответить. А однажды наступит день, когда они станут стрелять вам в спину, выдавать вас на расправу — прямиком в украинские подвалы и на эшафоты! Не веришь? А ведь так будет... Россия всегда предаст тебя, сынок!

Митяй качает головой:

— Начнут сдавать — будем мстить. Разве это изменит главное? Враг останется врагом — хоть в Киеве, хоть в Москве. А предатели — это не страна...

— Ложь — удобная штука, пока она тебя не погубит. Запомни, сопляк: мир — не чья-то фантазия, это грёбаная помойка! А реальная история — просто дерьмо и кровь, разбавленные пошлыми анекдотами. Не было и не будет никакой другой России. К чёрту красивые мифы! Она всегда была и останется именно такой — продажной деспотией, азиатской ордой... Не жалеющей никого, — в первую очередь, тех, кто в неё поверил!

Митяй всматривается в лицо Ворона. И вдруг спрашивает:

— Ты поверил?

— Что? — тот непонимающе хмурится.

— Считаешь, она тебя предала? Один человек сказал: так ненавидеть свою страну умеют только русские... Ты ненавидишь. И мстишь? За что?

— Не болтай чепухи! — вздрагивает Ворон. — Она — не моя...

— Где — в Афгане, в Средней Азии? Или просто безнадёга и криминал?

Ответа нет. Вместо него повисает безмолвие — такое длинное, загадочное, что хлопцы у костра начинают переглядываться. И Наставник выдавливает усмешку:

— Ватный глупыш... Думаешь, так трудно научиться её ненавидеть? А может, ты ещё веришь в русский народ — в тупое стадо, которое уже завтра проклянёт вас за обвалившийся рубль и собственную нищету?

— Те, кто проклянут, — не народ.

— Тогда и Рашка — не страна... Америка, Европа, целый мир сейчас против дряхлой, зловонной империи, включая половину Москвы и Питера. И когда она рухнет, всем легче станет дышать!

— А мне плевать на такой мир, — спокойно, почти безразлично говорит Митяй. — Если целая вселенная начнёт твердить, что тьма — это свет, разве тьма перестанет быть тьмой?

Ворон нервно приглаживает усы:

— И кто вы такие, чтобы спорить с целой вселенной?

— Просто люди, которые помнят правду.

— Что есть правда? — Наставник небрежно улыбается. — Только то, что мы сами выбираем, — воля сильных заново творит мир.

И хлопцы вокруг одобрительно моргают. Потому что чувствуют себя почти такими — древними героями, прогибающимися под себя реальность. Разве не куют они сегодня великое будущее Украины? Им не понять, откуда скрывающаяся безгласность в голосе москальского наймита:

— Это вы-то — сильные? Почему же служите чужой воле? Говоришь, что “сами выбираем”, но выбор уже сделан — за вас!

Ворон смеряет его колючим взглядом. А Митяй вдруг добавляет:

— И настоящей правды ты боишься потому, что однажды она тебя убьёт...

Нет, не ему такое произносить! Что-то вроде гримасы пробегаёт по лицу Наставника. Он поднимается с ящика, смотрит на оцепеневшие физиономии хлопцев. И подмигивает:

— Хватит бессмысленных слов!

Взмахивает рукой сержанту:

— Поддай-ка ту фотографию, что вы нашли в траве.

Берёт измятое фото, размером меньше открытки, аккуратно расправляет и показывает Митяю:

— Красивая девушка, да? Такая юная и беззащитная... А где это снимали — рядом с “градусником”?

Лицо пленного застывает, будто примороженное. И всё-таки он равнодушно пожимает плечами:

— Откуда мне знать — где? Первый раз вижу.

— И точно, откуда? Ты ведь не стал бы делать этой глупости — таскать с собой на задание её фото? Да, не телефон, не документ, но слишком многое можно узнать из такой мелочи... Когда я сказал, “рядом с градусником” — ты не удивился, не задумался, вспоминая. То есть ты харьковский или учился там явно не один год — все местные хорошо знают подобную деталь пейзажа... Политех, факультет органической химии? Судя по возрасту — закончил максимум пару лет назад? Небось, отличник — сработать шесть мешков взрывчатки из азотного удобрения — вообще не вопрос, да?

Ворон нависает над пленным:

— Узнать твою фамилию — хватит пары часов. Узнать её адрес в Харькове — максимум несколько дней. Навестись к ней в гости — легче, чем передёрнуть автоматный затвор. И поверь, куда приятнее... — Подмигивает, кивает: — Думаю, хлопцы отлично проведут время — ночь или две? С такой красавицей... чтоб хватило исполнить самые смелые фантазии... — Выдерживает паузу и почти дружески хлопает “сепара” по плечу: — Ты ведь хотел настоящей правды — вот, возьми! Неужто не нравится — а, Митяй?

Повисает молчание — натянутое, плотное, едва не физически осязаемое, будто “броник” на плечах. Побратимы таращатся на пленного. Здорово Наставник его обработал — теперь точно расколется и выложит всё, как миленький! Но где-то в глубине души многие чувствуют странную жуть, когда примеряют ситуацию на себя.

Хлуст опускается на траву, словно ноги подкашиваются.

А Ворон задумчиво чешет подбородок:

— Вот как бывает — грубая жизнь сильнее высоких фраз...

Пленный поднимает глаза и глухо выдавливает:

— Что вам от меня надо?

— Ничего, — вздыхает Ворон. — Кроме истины. Ты ведь и сам ненавидишь обман?

Окидывает хлопцев весёлым взглядом:

— У этой истины много ветвей. Ты пытался о ней рассуждать, а не уловил элементарного. Так и быть, мы с тобой поделимся — слушай сюда! Тьма — это свет, который не дано узреть тупым ватникам. Пустота — это свобода, которой вы боитесь. А Украина — великая, тысячелетняя держава, про которую будет написано в каждом учебнике — от Перемышля до Кавказа! — Насмешливо приглаживает усы: — Если увидишь эти очевидные вещи — у тебя есть шанс выжить. И не только у тебя!

Ворон опять опускается на ящик, пристально всматриваясь в неподвижное, будто маска, лицо пленного:



— А теперь, в благодарность за эту истину, за нашу честность, ты тоже кое-чем поделишься... Из какого ты подразделения?

— Ты и сам уже догадался. Из “Сомали”.

— Кто сливает вам информацию?

Митяй молча смотрит на Ворона. Пауза длится недолго, но Хлуст чувствует, как муторный комок подкатывает к горлу: “Не будь дурнем — расскажи ему всё! И пусть это уже закончится...”

— Сперва для ясности надо изложить одну историю, — тихо говорит пленный.

— Давай! — радостно соглашается Ворон. — Только желательно с фамилиями и точными адресами.

— Один из тех, кого вы сегодня убили, жил на Луганщине, в маленьком городке. Отец его раньше работал на шахте, но как раз перед Майданом уволился по инвалидности. Мать была учительницей, а старшая сестра тоже кончила педагогический, только не работала, ждала второго ребёнка. Первому в этом году исполнилось шесть лет. И муж её трудился старшим техником на той же шахте, где когда-то спускался в забой её отец.

— Как трогательно — образцовая “лугандонская” семья!

Хлопцы хихикают. А Митяй, будто не замечая смешков, кивает:

— Да, это была очень дружная, очень счастливая семья, и когда летом сын приезжал с учёбы, они в своём саду накрывали стол — такой большой, что помещалась вся семья, и хватало ещё места для друзей и соседей. Там, за этим столом, были песни и смех, надежды и мечты...

— А можно без лирики?

— Можно. Когда в Киеве победил Майдан — все в городке, конечно, возмутились, но никто не поверил, что начнётся война. А когда Россия взяла Крым под защиту — появилась мечта, что мы опять будем жить в дружной, большой стране...

— Когда Москва оккупировала Крым — так будет точнее!

— Да, украинские СМИ каждый день твердили про оккупантов. Но 2 мая случилась беда в Одессе. 9 мая — в Мариуполе. И всем стало ясно, откуда придут настоящие враги. В городке ещё быстрее начали готовить референдум — и провели его 11 мая, в той самой школе, где работала учительницей мама моего друга. Она была председателем комиссии, а его сестра — одним из членов...

— Москальски посипаки! — выпаливает Ганс. — Сучьи выродки!

— В этой школе всегда был избирательный участок — на президентских, на парламентских выборах, так что мать и сестра не первый раз участвовали в комиссии. Но никогда не было таких толп. Почти весь городок пришёл на референдум — старики и молодые целый день готовы были ждать в очередях...

— Пропагандистская брехня, — сухо комментирует Ворон — Но ты начал отвлекаться. Что там с ватной семейкой твоего друга?

— Когда провели референдум, думали, что война остановится, — Россия защитит русских, а Киев не посмеет. Но все ошиблись, и однажды в июле война пришла в городок. Ополченцы пытались его оборонять — с “калашами”, СКСами и охотничьими ружьями. Но украинская армия подтянула артиллерию и нанесла несколько ударов — один из них пришёлся по шахте. Там не было ополченцев, но никто особо не вникал — били по площадям. Муж сестры так и не вернулся с работы...

— Угодил в замес?

— Говорят, его сильно изуродовало. И врачи два дня пытались собрать его буквально по кускам. Пока очередным залпом не накрыло больницу... Едва удалось его оттуда вывезти. Кладбище на окраине простреливалось, поэтому хоронили прямо в саду — в том самом, где они так любили вместе собираться.

— За что голосовали, то и получили!

— Почти у забора, между кустами смородины и старой яблоней выкопали яму — неглубокую, на метр, не больше. Думали, когда закончатся обстрелы, перенесут гроб на кладбище и сделают нормальную могилу. Сестра

потеряла сознание, когда тело опускали в землю, а шестилетний Даня стоял спокойно — он уже знал, что мужчины не должны плакать. И на самом деле, он так и не поверил, что в длинном деревянном ящике лежит его папа...

— Тупой москалёныш! — смеётся “Ганс”.

Митяй морщит лоб, будто что-то вспоминая. Но голос по-прежнему кажется равнодушным:

— Ночью ополченцы ушли из городка. Многие бежали вместе с ними. Только мать и сестра остались — они не считали себя какими-то особенными активистами. Да, обе были в комиссии референдума, но ведь они просто исполнили волю народа. Тем более что сестра была уже на седьмом месяце — боялись, что она потеряет ребёнка. Главная дорога простреливалась, из городка можно было выбраться только трясками, разбитыми просёлками. Машины не было, автобусы не ходили, сосед предлагал их вывезти, но они решили подождать, пока появится другая okazия. Мать думала, что за эти дни не случится ничего страшного — ведь бои переместились за пределы городка.

— Какая лажа — “воля народа”! — сплёвывает Наставник. — И чем всё закончилось у этих тупых ватных сук?

— На следующее утро сестре стало лучше. И уже договорились с другим водителем. Но в городок вступили солдаты с жёлто-голубыми и красно-чёрными нашивками. Они шли по дворам — у них был длинный список с адресами и фамилиями. Кто-то предал и заранее снабдил их точной информацией — обо всех активистах антимайдана, об организаторах референдума...

— Вот, правильно! — улыбается Ворон.

Митяй замолкает. Несколько десятков пар глаз на него таращатся: кто-то — нетерпеливо, кто-то — раздражённо, а некоторые — растерянно. Хлусту кажется, что больше ничего они от него не добьются. И всё-таки пленный продолжает — медленно, будто с трудом подбирая слова:

— Солдаты пришли и к ним во двор. Как это случилось, известно только по рассказу шестилетнего Дани...

Голос Митяя звучит буднично, почти без интонаций. И всё равно Хлуст отчётливо представляет эту картину — так, словно сам может увидеть её глазами испуганного ребёнка.

Ясное, теплое утро. Капельки росы уже почти высохли на траве. Солнечные лучи играют среди ветвей старой яблони. В малиннике чирикает какая-то пичужка. Большой, красивый стол под навесом — жёлтый, гладкий, накрытый белой клеёнчатой скатертью. На ней только самые простые блюда — варёная молодая картошка, яйца, зелёный лук, свежие огурцы из своей маленькой теплицы. Семья садится перекусить перед трудной дорогой.

Стук в железную калитку: “Проверка документов!” Бабушка кидается открывать, — наверное, боится, что они начнут стрелять прямо сквозь забор, хочет, чтоб они увидели: здесь нет вооружённых людей.

Но едва она распахивает калитку, офицер в чёрной балаклаве бьёт её кулаком в лицо. Бабушка падает, как подкошенная, дедушка бросается к ней, и кто-то из солдат пускает в него автоматную очередь. Мама кричит, вскакивая, заслоняя Даню, — малыш прячется под стол и отползает в кусты малины. Ему так страшно, что он закрывает глаза. Поэтому он не видит, а только догадывается по крикам и звукам ударов, что солдаты избивают маму и бабушку.

Гремят подошвы по крыльцу, звенит разлетевшееся стекло — ворвались в дом. Наверное, хотят проверить, чтоб там никто не спрятался. Бабушка плачет, говорит, они ни в чём не виноваты. Но равнодушный голос отвечает: “Виновны в том, что до сих пор не подошли!” Мама просит вызвать дедушке врача, а офицер смеётся и стреляет ещё несколько раз...

Когда Даня открывает глаза, бабушка и дедушка лежат у ворот рядом, ему кажется, на каком-то тёмно-красном покрывале. Но потом он понимает, что это растёкшаяся по асфальту кровь. А ещё он видит, как солдаты выносят из дома телевизор, компьютер и новую пуховую куртку, которую папа только однажды успел надеть.

Маме связывают руки за спиной и волокут к выходу. Один из солдат напоследок разворачивается и даёт длинную очередь по саду — пули летят

низко, перерубая ветки малины, смородины, сбивая листья. Но Даня — слишком маленький, а солдат не знает, что в кустах прячется ребёнок. Поэтому очередь проходит выше — только одна пуля по касательной задевает голову, вырывая кусок кожи вместе с волосами. Это больно, очень больно и страшно, когда тёплая кровь заливает лицо. Но всё-таки, прижавшись к земле, мальчик не издаёт ни звука, чтоб его не услышали. И не добились.

Мама вскрикивает, рвётся из рук солдат. Офицер с размаху бьёт её ногой в живот — прямо туда, где спит неродившийся младший братик. И в эту секунду Даня не выдерживает, он начинает плакать. Но солдаты не успевают его услышать — потому что громко хлопают железной калиткой.

Шаги удаляются. Взрывает мотор машины, а потом тоже растворяется где-то в пространстве.

Мальчик остаётся один. Солнце всё так же играет в ветвях яблони. Пичужка опять щебечет в малиннике. Два тела, раскинув руки, неуклюже изогнувшись, остаются лежать на красном, растекающемся покрывале.

А завтрак до сих пор ждёт на столе. Только молоко из расколотой банки капает со скатерти на траву.

— У дедушки пуля выбила глаз, разворотила череп. Он был слишком жуткий, не похожий на себя. А бабушка лежала, как живая. И Даня ещё долго пытался её разбудить. Потом ему стало страшно, и он убежал...

Ополченец умолкает.

“Врёт? Или правда? Хотя... какая разница?” — Хлуст стискивает зубы, отворачиваясь. А побледневший Фродо продолжает смотреть на пленного расширенными глазами.

В наступившем безмолвии раздаётся резкий звук — Ганс трясётся от смеха. Это кажется Хлусту настолько необычным, что он оглядывается по сторонам. И обнаруживает вокруг ещё усмешки и ухмылки: много, слишком много — издевательских, презрительных или просто недоверчивых.

Ворон шурится, рассматривая пленного:

— Тебе-то откуда известны такие подробности?

— Я был там, когда через неделю другу удалось вернуться, и сам слышал рассказ Дани, помогал его перевязывать. Солдаты его не искали, наверное, потому что кто-то забыл внести Даню в список. Большую часть этой недели мальш прятался в подвале с несколькими женщинами на дальнем конце улицы — шли тяжёлые бои, ополченцы попытались отбить городок, украинская артиллерия снарядов не жалела...

— Для тварей, вроде тебя, нам ничего не жалко! — перебивает его Зак, командир второго взвода. И склоняется к Ворону: — Наставник, на пару слов.

Они отходят в сторону. Шуршит трава на ветру, трещит костёр, заглушая их беседу. И только Хлуст, сидящий ближе других, улавливает обрывки шёпота:

— ...авиация засекла — “сепары” под Новым Садам.

— Глупости, максимум разведгруппы.

— ...перережут дорогу — не пробьёмся, с боеприпасами у нас швах. Надо успеть проскочить!

— На чём проскакивать?

— Два “КрАЗа” на ходу.

— ...а раненые?

— ...бросить. В Новом Саду — горючка, боеприпасы. Поддержим наших с левого фланга. Хотите допросить “колорада” — сделайте это там!

— А по дороге опять угодить в западню? Сперва выпытаем всё у нашего “друга”, пока тёпленький.

— ...урод тянет время.

— Считаешь меня глупее, чем этот сопляк?

— Конечно, нет.

— Тогда заткнись и не мешай!

Ворон возвращается к костру и, опять присаживаясь на ящик, резко уточняет у Митяя:

— Ты говорил, что оказался в том городке... кстати, как он называется?

— Неважно.

— Допустим. Значит, ты проник туда, на украинскую сторону, тоже в составе диверсионной группы?

— Нет, я тогда ещё не был в ополчении. Просто на пару дней наступило затишье, городок оказался в “серой зоне”, и мы вместе со знакомыми ребятами из “Призрака” смогли туда проехать.

— Зачем?

— Чтобы вывезти оттуда родных... родных друга. Мы ведь не знали, что вывезить почти некого. Там, на месте, всё оказалось иначе...

— Это как?

— Я увидел, что осталось от дома после попадания крупного калибра. А стол под навесом в саду уцелел. Тот самый, за которым собиралась большая, дружная семья, но сейчас мой друг сидел за ним один.

— В чём был смысл — ждал связного? — кажется, Ворон начинает терять терпение. Но “сепар” качает головой — почти безмятежно:

— Не было смысла. И пора было уходить, Дания дёргал его за рукав: малышу чудилось, что вот-вот придут солдаты с жёлто-голубыми нашивками. Опять придут, чтобы нас убить...

— И что же твой друг там делал?

— Просто смотрел на три свежих холмика в дальнем конце сада — их тоже не тронули снаряды. А стол, за которым он сидел, казался огромным... Слишком огромным и пустым, как крышка большого гроба.

— Очень занимательная история, — раздражённо щурится Ворон. — Только я не уловил, как она связана с той “крысой”, которая сливает вам информацию?

— Никак, — пожимает плечами Митяй. — Я не знаю, кто в вашем штабе работает на ополчение. — Он в первый раз поднимает голову, всматриваясь в лица окружающих. И сухо добавляет: — Но если бы и знал — не сказал. Теперь я объяснил — почему.

Взгляд пленного задерживается на Фродо и тех немногих, кто кажется растерянным, кто не улыбался всё это время. А они отводят глаза и молчат, чувствуя странное, муторное оцепенение. Вместо того, чтобы плюнуть ему в лицо или ударить прикладом в челюсть, как мерзкому зраднику и лжецу.

Ведь из того, что Митяй здесь озвучил, половина — наверняка пропаганда. Иначе и быть не может! Разве солдаты с жёлто-голубыми нашивками пришли на Донбасс как садисты и мародёры? Чтобы мучить и казнить? Как в такое поверить? Ведь это страшнее пуль!

Ведь они сами — эти солдаты...

Хлуст встаёт с травы и пятится, на шаг отступая от костра. В эту минуту ему вообще хочется оказаться по ту сторону холма, словно это может защитить от таких мыслей.

А Ворон кривится, угрюмо рассматривая пленного:

— Очень смело. Хотя я так и не уловил, почему не рассказал бы?

Митяй кажется спокойным. И голос его звучит обыденно, как о совсем скучных, простых вещах:

— Потому что малыш Дания этого бы не понял, он бы подумал, что я не лучше тех мразей, которые погубили его семью. Нельзя, чтоб он так думал, дети должны верить в хорошее... Даже если хорошего уже не будет!

Что-то вроде судороги пробегает по лицу Наставника. Но он быстро овладевает собой и аккуратно приглаживает усы:

— Тогда зачем было столько слов? Ты, правда, думал нас разжалобить?

— Нет, — усмешка появляется на губах Митяя. — Я не настолько наивный. Жалость — это точно не твой конёк. Считаю, что я поставил небольшой опыт.

— Над нами?

— Над вами, — он опять окидывает хлопцев взглядом. — Когда вы падали — там, на мосту и рядом... На несколько секунд я испугался. Я ведь никогда раньше не убивал. И мне подумалось — вдруг я ошибаюсь и делаю что-то не так?

— Раскаяние? — презрительно морщится Ворон.

— Почти. Это ведь невыносимо, если окажется, что я напрасно погубил столько душ. Убить человека — это не пустяк... И потому я хотел найти ответ... хотел узнать — сколько же среди вас людей?

— Узнал?

— Мало, — вздыхает пленный. — Слишком мало...

— Значит, не жалко?

— Жалко, — сухо кивает Митяй. — Но всё было не зря.

— И твоя девчонка тоже будет умирать не зря? — хладнокровно уточняет Ворон. — После того, как её изнасилует десяток крепких хлопцев и медленно, аккуратно, чтоб не задеть артерии, вспорют ей живот и вытаскают наружу кишки?

Кажется, в эту секунду обрываются все звуки, кроме треска веток, недавно подброшенных в пламя. Даже те, кто курил в сторонке, небрежно перегариваясь, застывают, как примороженные. И побратимы, с автоматами на изготовку дежурящие на огневых точках, сейчас поворачивают головы в сторону костра.

— Он ведь не всерьёз... просто пугает? — чуть слышным, мертвеющим шёпотом уточняет Фродо.

Ещё недавно Хлуст бы кивнул. Но теперь, после того, как он сам разговаривал с трупами на мосту, после остановившегося взгляда Валета ни в чём нельзя сомневаться, даже в самом худшем.

Нет запретов для этой войны...

А Ворон и Митяй молча смотрят друг на друга. И вдруг пленный выдавливая усмешку:

— Спасибо.

— За что? — удивлённо вскидывает брови Наставник.

— За то, что укрепляешь мою веру.

— В чём же твоя вера, идиот? Сдохнуть самому и погубить близкого человека за тварей, которые торгуют вашей кровью?

— Тебе не понять... А девушка с фото — она сильная, умная и, я надеюсь, давно уже выбралась из Харькова. Вам её не найти!

— А если всё же найдём? Разве ты ещё не понял, что искать будет целое государство?

Выдержав долгую паузу, Ворон криво улыбается, глядя на лицо пленного:

— Когда ты рассказывал про семью друга... Это ведь было про твою семью?

Митяй молчит. А Наставник пожимает плечами:

— Ты сказал, что жалость — это не про меня? Ты ошибся. Мне жаль, что так случилось с твоими родными. Но ещё больше жаль тех хлопцев, что остались лежать здесь, на берегу. Увы, это война, и не я её развязал... Зато я делаю всё, чтобы скорее её закончить.

— Как?

— Победой Украины, естественно. Или ты всерьёз думаешь, что возможен иной исход? Неужели ещё веришь тому, кто в марте гарантировал вам защиту, а сам до сих пор продолжает стоять за спинами ваших женщин и детей?

Митяй невидящим взглядом смотрит куда-то сквозь чёрную куртку Ворона. А тот вздыхает — совсем по-отечески:

— Ты много утратил, парень. Но ещё можешь сохранить самое главное — жизнь для себя и любимой девушки.

— Мне нечего вам сообщить.

— А знаешь... я ведь тебе верю!

Пленный поднимает на него удивлённые глаза. Нет, Ворон не шутит. Он окидывает взглядом притихших хлопцев. И ещё раз утвердительно кивает:

— Это был жестокий бой. Мы потеряли много славных ребят. Но потеряли бы ещё больше, если бы против нас были российские наёмники, а не зомбированные “лугандонские” соплики! Именно “профи” спланировали западню, а этих просто использовали, как дешёвое “мясо”... Конечно, “мясу” не станут рассказывать детали операции.

Наставник со своего ящика склоняется в сторону Митяя, сидящего на траве за шаг от него, и добавляет тихо, почти вкрадчиво:

— Я даже могу тебя отпустить. У Дани больше не осталось близкой родни? Значит, теперь ты у мальчика — единственный защитник. Поверь, я знаю каково это — расти без родителей. Когда пришьют машины за ранеными — ты прямо отсюда поедешь домой!

— У меня больше нет дома.

— Зато ещё есть два самых близких человека. С ранеными тебя довезут в Мариуполь, а дальше сам, куда хочешь. Просто надо доказательство, что ты не врешь. Не для меня... — он взмахивает рукой, — для этих хлопцев, которые сегодня потеряли много друзей и побратимов!

— Доказательство?

— Почти формальность. Но это подтвердит твою искренность. Тогда ни у кого не останется сомнений, что ты честный малый, которого из-за его личного горя просто использовали, втянули во всё это дерьмо!

— И что я должен сделать?

— Суший пустяк. — Ворон поворачивает голову.

Куда он смотрит? Хлуст удивлённо оглядывается. И, с растущим где-то внутри холодом, понимает.

Володька Белов лежит на траве с закрытыми глазами — так же, как и раньше. На том самом месте. Только голова сползла набок со свёрнутой куртки, которую ему подложили. Может, потерял сознание от кровопотери? Жив ли он вообще?

Да. Грудь чуть колеблется от дыхания.

— Тот человек, из-за которого ты попал в плен. Тот, кто из пулемёта убил куда больше, чем ты с помощью взрывчатки. Совсем не жертва обстоятельств, а обученный, убеждённый фанатик... — слова Ворона звучат, как приговор. Но зачем он рассказывает об этом Митяю?

Зачем берёт топор, которым сам недавно рубил сухое дерево для костра, и рукоятью подаёт пленному? Указывает в сторону раненого:

— Он ведь всё равно уже не жилец. Так что можешь и ему, и себе!

Хлуст цепенеет, будто до сих пор не хочет верить. А Ворон подмигивает “сепару”:

— Поверь, это совсем не трудно. Просто посильнее размахнуться и точно попасть. Справишься за минуту?

И приказывает сержанту:

— Достань свой смартфон — будешь записывать одно короткое, но увлекательное видео.

Безмолвие повисает в воздухе. А глаза Наставника, нацеленные на Митяя, блестят совсем дружески:

— Не бойся, мы не собираемся делать из тебя звезду Ютуба. Считай, это просто закладка в памяти — для нас, и для тебя!

Даже те из побратимов, кто продолжает издевательски ухмыляться, сейчас не издают ни звука. И все смотрят на походный немецкий топор с чёрным, хорошо заточенным лезвием и удобной рукоятью, протянутой к Митяю. Почему тот до сих пор её не взял?

И побледневший даже сквозь загар, стиснувший зубы, он всё ещё смотрит куда-то в пустоту.

— Максимум два-три удара, — улыбается Ворон. — Убежать он не может, неподвижная мишень... Чего тут думать?

Пленный кусает губы. И глухо выдавливает:

— А можно ещё взглянуть на фото?

— Она тебя вдохновляет? Возьми. — Наставник протягивает ему измятую карточку. — Да бери, не бойся! Видишь, я тебя доверяю.

Митяй дрожащими пальцами сжимает край фото. И несколько секунд смотрит на запечатленное лицо девушки в очень светлом, будто свадебном платье. Там у неё за спиной проглядывает кусочек летнего города. Будто фото — это окошко в прежнюю, довоенную реальность. Туда, где все были живы, где ещё оставались мечты и надежды...

Но вдруг резким движением он швыряет фотографию в недогоревший костёр. Пламя почти сразу глотает измятый прямоугольник.

— Это глупо, — пожимает плечами Ворон. — Во-первых, у меня отличная память на лица, а во-вторых, хлопцы уже успели снять её на телефоны. Двадцать первый век на дворе, технологии сейчас важнее морали. Человека легко найти в любой точке мира. И сделать с этим человеком можно всё, что угодно, — медленно, по капле вынуть из него душу, и снять весь процесс на видео с прекрасной цветопередачей и высокой чёткостью.

— Ты... ты...

— Я чудовище? Нет, я тот, кто даёт тебе шанс выжить и начать заново — в возрождённой и светлой украинской державе. Ну, не заставляй думать, что я в тебе ошибся!

И Митяй действительно берёт топор, сейчас почти уверенной рукой.

— Вот, молодец... Не забывай, что, в первую очередь, сделаешь это для неё и для Дани. Ещё немного усилий — и свобода! А я прямо сейчас пишу записку моему хорошему другу, начальнику мариупольского СБУ, по его приказу тебе за считанные часы сделают любые документы.

Ворон достаёт из кармана блокнот, ручку и, правда, начинает что-то писать, положив блокнот на колено. А Хлуст смотрит на походный топор в руках Митяя, следит за ним, как замороженный.

И матовый блеск давит на сердце. Подкатывает комком к горлу. Так, будто Хлуст сам лежит за несколько шагов отсюда, на месте приговорённого. Словно именно ему по голове или шее резким взмахом прилетит лезвие с серебристой заточенной кромкой.

Сержант со смартфоном уже наготове. Зрители тоже на местах. Ждут только актёра для решающей роли в этой проклятой пьесе.

И тот медленно, неуклюже, начинает подниматься с травы.

В зрачках Митяя застыло что-то тёмное, определившееся. И слипшиеся от пота тёмные волосы не вздрагивают на ветру — как и рукоять топора в его пальцах. Ведь всё не так уж трудно, когда мишень неподвижна...

Хлуст стискивает зубы. Словно и на расстоянии может ощутить холодную тяжесть заточенного лезвия.

Почти два месяца назад, в Одессе, он пообещал Володьке, что они ещё встретятся. И сам верил в эту встречу.

Но разве в такую?

“Лучше бы мы вместе утонули!” — мелькает в голове. Вместе с лодкой пошли ко дну в налетевшую бурю — ещё год назад, в то последнее счастливое лето... Ведь грёбаный мир — как вонючее казино, которое всегда оставит тебя в дураках. Как огромная, злая насмешка.

Сегодня Хлуст поставил на кон единственное, что у него было, — жизнь. И казалось, что он выиграл, победил... Но теперь, здесь, у костра, нет никого роднее, чем Хлуст и его враг с топором — ведь у них обоих всё осталось в прошлом.

А настоящее — одно на двоих. Точнее, на троих — вместе с Володькой.

Никто не даст им нового шанса. Ни толпа побратимов. Ни Ворон, который, склонившись над блокнотом, уверенно кривит уголки губ.

“Он сказал, хватит и минуты?” Враньё. Ведь зрители в любом случае будут довольны. Даже если неумелому новичку придётся возиться дольше. Удар за ударом... Если кто-то не остановит это чёрное лезвие.

И Хлуст торопливо смахивает пот. Задыхаясь от жары, но уже чувствуя холодок неизбежности. Ведь единственное, что осталось, — унаследованный от мертвеца “Глок”, который надо нащупать у себя в кармане.

Да, Митяй — это враг, но ему бы он точно не желал смерти. Если бы мог выбирать...

Рукоять пистолета уже легла в ладонь, пока Хлуст, как зачарованный, следит за топором в руках пленного. Пока медленно отступает, чтобы встать между ним и Володькой.

Одна секунда — долгая, как вечность. Можно услышать чей-то растерянный кашель. Краем глаза увидеть небо, ощутить горький аромат степных

трав. Рвануть пистолет из кармана. И изумлённо оцепенеть — в миг, когда острое лезвие начинает рубить воздух.

Быстрый разворот, короткий замах, тусклый блеск.

Только топор летит совсем не туда!

Наставник сидит без “броника”, в одной расстёгнутой и широко распахнутой на груди лёгкой куртке. И нет преград на пути к загорелой коже — удара не хватит, чтоб снести голову, но сталь рассечет плоть и артерии. Брызнет красная струя — Ворон захрипит, ваяясь набок, за считанные секунды истекая кровью...

Страх успевает вспыхнуть в его глазах — пополам с удивлением. Ведь всё пошло не так! И кажется, ничто не спасёт Наставника.

Ничто, кроме приклада АКМа, который вдруг невероятным чудом мелькает в воздухе — стоящий сзади хлопец отбивает лезвие. И скользнув по прикладу, топор летит вниз, задевая Ворона по ключице, почти растратив смертельную силу.

Митяй замахивается ещё раз — отчаянная ярость угадывается в зрачках. Но сразу пятеро налетают со всех сторон, хватают за руки, за топориче, бьют прикладами и кулаками, валят на землю и остервенело молотят ногами.

Они бы убили его — прямо сейчас. Если бы рёвом раненого зверя не раздалось:

— Стойте!

Ворон, скорчившись на ящике, ладонью зажимает рану. Ему больно, и кровь струится из-под пальцев, но это не смертельно, вероятно, даже кость цела. Это лишь добавило ледяной злобы в глазах.

Кто-то из хлопцев уже тащит аптечку. Рану кое-как заклепляют ватой и пластырем, сделать аккуратнее не успевают, потому что Наставник отпихивает помощников. Медленно, тяжело встаёт с ящика. Хрипло приказывает:

— Дайте топор!

И другого не ищут — ему подают тот самый, уже испробовавший его крови. Ворон касается лезвия пальцем, смахивает оттуда красную каплю. Делает шаг вперёд, нависая над Митяем:

— Руку! Держите ему руку!

Хлопцы наваливаются сверху, придавливая пленного к земле. Ворон несколько секунд угрюмо смотрит ему в глаза, небрежно играя чёрным лезвием. Вдруг оскаливается в ухмылке:

— Ця рука вбивала украинцев — вона тобі бильш нэ потрібна!

И одним сильным, точным ударом отрубает Митяю правую кисть. Кровь хлещет из перебитого предплечья. Пленный хрипит от боли. А Ворон приказывает:

— В огонь!

И тело тащат к костру, суют обрубок в пламя, прижигая рану, почти останавливая кровь из разрубленных сосудов.

Митяй теряет сознание, обмякнув в руках палачей. Но Ворон хлопает его по щеке, приводя в чувство:

— Не так быстро! У нас ещё многое впереди...

Поднимает с травы отрубленную кисть и бьёт мертвой, пожелтелой ладонью по лицу пленного:

— Я подарю это твоей суке — прямо перед тем, как хлопцы её оприходуют! Ей будет приятно, обещаю...

В эту секунду долетает тревожный голос Зака, командира второго взвода:

— Прошу прощения, срочная информация!

Только что в стороне он с кем-то говорил по телефону, а сейчас застыл выжидательно. Но Ворон отмахивается:

— К чёрту! Докладывай — у меня нет секретов от побратимов.

— “Сепары” заняли Берёзовку и Светличное!

— Это значит...

— Дорога на Новый Сад отрезана. А из соседней деревни вернулась разведка — с окраины наблюдали две “коробочки” на ближайшей высоте. И это не наши!

— Глупости, у страха глаза велики...



— Командир, — голос Зака звучит почти умоляюще. — Пора уходить!  
— Бежать? — недобро хмурится Ворон.  
— Отступать. Пока нас тоже не отрезали... РПГ нет, даже патронов — почти голяк.

— Подвезут, мне обещали.

Зак нервно кривит рот. Делает шаг ближе и, склонившись вплотную к Наставнику, выдавливает чуть слышно:

— Когда? Если сюда доберутся их танки, мы не продержимся и минуты!

Ворон не отвечает, но и не спорит, лишь мрачно щурится. Всё-таки Зак — не зелёный “салага”, на Донбассе он ещё с мая. У него среди остальных самый большой опыт в этой войне. Конечно, если не считать заместителя комбата, но с тем уже не посовегуешься, тот сейчас отдыхает на берегу вместе с прочими “двухсотыми”.

— Отступать... — мрачно повторяет Ворон, окидывая взглядом застывшие физиономии хлопцев. Они смотрят угрюмо, а некоторые — испуганно: бежать после такой трудной победы, когда полегло столько побратимов? Неужели всё реально плохо?

Ворон хмурится — да, им придётся многое объяснять. Например, что раненых надо бросить, вместе с трупами. Даже кому-то из здоровых не найдётся места в оставшихся на ходу двух машинах. И кто-то из этих, растерянно моргающих юнцов уже обречён.

Наставник кашляет, собираясь сказать несколько правильных ободряющих слов. Но вдруг он замечает подобие улыбки — там, у своих ног, на залитом кровью лице пленного. Этот истерзанный обрубок человека, даже зная, что вот-вот подохнет, ещё смеет радоваться?

Физиономия Ворона искажается, словно в кривом зеркале:

— Не тебе праздновать, тварь...

Он склоняется над Митяем, чтоб тот мог разобрать каждое слово:

— Ты думаешь, что меня перехитрил — подарил своим лишнее время? Запомни, ублюдок, твоя жертва напрасна — она меньше, чем ничто! Так же, как и ты — ничто, просто пешка, расходный материал... Даже если мы проиграем под Иловайском — это ни хрена не изменит для вашего “Лугандона”. Никто не даст вам победить — ни в Киеве, ни в Москве!

— Мы уже победили — все семеро... потому, что вы не прошли, — чуть слышно выговаривает пленный.

— Да, я передам это твоей шлюхе, когда мы придём к ней в гости. Это её здорово успокоит! Идиоты, самоубийцы...

— А вы — мусор... способный воевать только с женщинами и детьми!

— Как же вам засрали мозги! Вы ведь не против Украины идёте — против законов, на которых стоит этот мир. Всё, что вы можете, — просто на годы затянуть агонию! И знаешь, рано или поздно именно мы будем воспитывать ваших детей. Слышишь, урод? Именно я буду учить твоего Даню, лепить заново, как из глины, дрессировать, как щенка... И у москалей не будет худшего врага!

Ворон с ухмылкой смотрит в глаза Митяя, будто наслаждаясь реакцией. Но что-то вроде презрения отражается на разбитом лице пленного:

— Полагаешь себя великим стратегом... вождём? А на самом деле ты “шестёрка” для своих хозяев. Пёс, притравленный на “ватников” и “москалей”. И однажды волчата, которых ты дрессируешь, тебя же и прикончат, когда это поймут.

Ухмылка Ворона кажется приклеенной. Всё ещё судорожно растягивая губы, он отбрасывает топор и вытаскивает сверкнувший на солнце “боуи” из ножен у себя на поясе.

А Митяй улыбается, будто не замечая этого:

— Да, перегрызут тебе глотку, когда сообразят, что для тебя они тоже “мясо”...

— Держите его крепче, — глухо командует Наставник.

Хлопцы наваливаются на пленного, но голос до сих пор звучит:

— Служите ему... верно служите! Как покорные зомби... по головам которых удобно взбираться к власти!

Ворон бьёт его кулаком в лицо. И всё равно кажется, что Митяй продолжает улыбаться, может, это из-за раны на щеке?

— Ничего, скоро тебе будет не так весело...

— Командир, — напоминает Зак, — у нас мало времени.

— Хватит, чтоб кое-что завершить, — отмахивается Ворон.

Он играет ножом, всматриваясь в лицо Митяя, ждёт, когда там появится страх. Так уже бывало во времена разборок в Движении — тогда Ворон лично отправил к Бандере нескольких непонятливых побратимов. И каждый раз он ловил этот миг, читая нарастающий ужас в зрачках приговорённых — миг, делающий его реальным вершителем своей и чужой судьбы, высшим существом, познавшим законы смерти и жизни.

Он будто приоткрывал двери туда, где раньше бродили только древние жестокие боги.

Но сейчас в направленных на него глазах нет страха, лишь ненависть... а ещё презрение. Словно там, в зрачках этого фанатика, украинский воин правда превращается в шелудивого, обречённого пса... И, ощутив внутри необъяснимую жуть, Ворон отшатывается, цепенеет.

Но пауза длится недолго. Десятки хлопцев следят за ним — внимательно, а некоторые насторожённо. Глупо лишать их зрелища, нельзя показывать слабину!

Сегодня они потеряли своих товарищей, друзей. И некоторые из них, по сути, тоже приговорены, хотя пока и не догадываются. Надо, чтоб эти минуты намертво отпечатались в их памяти, чтоб не осталось даже тени сомнения в его, Наставника, праве отдавать приказы и выносить приговоры.

Если они — волчата, то он — их вожак, готовый рвать врагов на куски.

Значит, он добьётся ужаса в глазах этого “лугандонского” изменника, любой ценой, но добьётся! Тот ещё будет умолять его о быстрой смерти, будет кричать: “Слава Украине!” — лишь бы заслужить милосердный удар в сердце или взмах лезвием по горлу.

Да, это займёт больше времени, чем планировалось.

Но оно того стоит!

Ворон сбрасывает с себя куртку, почти не обращая внимания на свежую рану возле ключицы. Удобно опускается на траву рядом, словно для работы. Хотя... Это ведь и есть важная, необходимая для нации работа. И плевать, если лицемеры не одобряют!

Рукоятка “боуи” уже подрагивает в его руке, как живая, будто стали не терпится попробовать людскую плоть. Ударить в левую глазницу, чтоб этот возомнивший себя героем москальский выродец заплакал кровавыми слезами?

Нет, рано и слишком просто. Во всём должен быть порядок — особенно в смерти!

И одним росчерком острого, как бритва, ножа Ворон вспарывает “горку” и футболку распятого на земле пленного. Говорит с хриплым смехом: — Скоро ты ощутишь свою зраду каждой клеточкой тела...

Побратимы замирают, чуть дыша, — как замороженные, они следят за пляской “боуи” в ловких пальцах. Сверкающее лезвие вот-вот поцелует кожу.

И тогда...

Они ещё не до конца представляют, что будет тогда. Но ждут этого со страхом и нетерпением.

Только Хлуста уже нет там — на вершине холма, рядом с костром.

После удара топора, после отрубленной кисти нахлынувшая паника затуманила разум, она будто гнала его прочь, бешеными ударами сердца толкая в грудь. И сейчас, очнувшись, Хлуст обнаруживает себя почти у развалин — там, где под охраной двух парней с автоматами лежит на траве Володька Белов.

До сих пор с закрытыми глазами? Как сморенный сном... Или забыть-ём? “Да, пусть так...” — мелькает в голове Хлуста. Он садится на траву рядом и вдруг с ужасом понимает, что действительно желает Володьке больше не очнуться. Будто самое лучшее, самое светлое, чего можно пожелать другу, — умереть, не приходя в сознание?

“Нет... Нет!” — бессмысленно бьётся в висках.

Разве о таком они мечтали всего год назад, когда Хлуст вытаскивал товарища из штормового моря?

А в голове мелькают нелепые идеи, как отыскать выход из тупика. И чем больше Хлуст думает, тем сильнее чувствует холодноватую неизбежность: “Разве нет его — этого грёбаного выхода?” Неужели совсем нет?! И Хлуст опять украдкой смотрит на лицо товарища, словно боится потревожить того даже взглядом.

Ещё утром подобное показалось бы безумием. Ведь можно было надеяться, что когда-то они простят друг друга. И худшее останется позади, больше не разделяя их невидимой стеной.

Неужели “когда-то” теперь не наступит?

Хлуст облизывает пересохшие губы и торопливо озирается.

Глухой стон долетает от костра — оттуда, где за спинами хлопцев хищно склонился силуэт с ножом в руке. Тело Митяя почти нельзя рассмотреть. Лишь по неясным звукам и нервному смеху Ганса, по вкрадчивому голосу Ворона можно догадаться, что там происходит.

Что-то запредельно муторное и непоправимое.

Пару раз Наставник намекал о вещах, которые им приходилось делать в Чечне, — слишком плохих, чтобы до конца в них верить. Ведь люди не могут, не должны творить такое над другими людьми! И раньше, в ещё не разлетевшейся на тысячу осколков мирной жизни всё это казалось просто чёрными сказками, военными байками.

Кто знал, что однажды сказки заменят жизнь?

Хлуст стискивает зубы, отворачиваясь. Ему не дано это остановить. Если б он был один, давно убежал бы отсюда хоть на берег, к аккуратно выложенным трупам. Мертвецы лучше живых — сейчас он понимает! “Прости, Володька... Всё зашло слишком далеко. Теперь не исправить. Разве что молиться о том, чтоб с тобой было не так!”

Но Володька не может слышать его мысли. Он продолжает лежать неподвижно, и сейчас именно это лучше всего...

Какой-то шорох? Хлуст вздрагивает, шурясь.

Рука Белова, правда, шевельнулась? Или ему мерещится?

“Нет... Пожалуйста, не просыпайся!”

И Хлуст тише начинает дышать — только бы не потревожить чужого забвения. Но через минуту ещё один стон долетает от костра — от места, где худшее спрятано за спинами побратимов. А следом раздаётся глумливый вопрос:

— Чувствуешь раскаяние за погубленных украинских героев?

Это звучит негромко — куда тише разрубающего кость топора. И всё-таки Володька открывает глаза. Невидяще моргает.

Хлуст цепенеет. И сам себе кажется беспомощной тенью.

А Белов что-то шепчет, пытаясь повернуть голову в сторону сгрудившихся хлопцев. Туда, где раздаётся короткий крик, а следом летит фраза — отчётливая, как взмах ножа:

— Видишь, тебе уже не под силу терпеть!

И опять долетает смех — резкий, как сталь, рассекающая людское мясо. Несколько мгновений тишины.

“Пусть это оборвётся!” — успевает подумать Хлуст. Без разницы чем — хоть “сепарскими” танками, вдруг возникшими на горизонте, снарядами, перемальывающими в кашу землю и тела... Что угодно, лишь бы это прекратилось!

Но всё только начинается. И голос Ворона кажется почти удушливо ласковым:

— А будет ещё хуже... Хотя я могу проявить милосердие — даже к ничёмному зраднику и отбросу. Отрекись от своих москальских родителей, скажи, что они заслужили сдохнуть от руки украинского солдата. Прокляни их кровью! И боль закончится...

Какой-то влажный звук. И опять голос:

— Ты ведь их проклинаешь? Просто скажи: “Да”!

Молчание. И что-то там происходит. Неторопливое, как работа механика. Умеющего разбираться в начинке людских кукол.

А потом долетает крик — почти умирающий, не похожий на человеческий. Отсюда не видно, что сейчас делают с распятым на земле Митяем. Просто некоторые из сидевших у костра хлопцев не выдерживают — начинают отворачиваться или закрывать глаза. А кто-то отскакивает в сторону и, согнувшись, мучительно блюет на траву. Кажется, это Фродо.

Если встать и сделать шаг, наверное, можно рассмотреть больше? Несколько секунд Хлуст борется с соблазном, как ребёнок, замерший на краю обрыва.

И торопливо опускает глаза. Нет, он не желает знать!

Зато двум охранникам интересно — они идут ближе к костру. И один из них смеётся, оборачиваясь к Володьке Белову:

— Ты следующий!

Именно так. Скоро у хлопцев, которые наблюдают за бесплатным шоу, будет продолжение. Словно шире распахнётся дверь в сияющую огнями тьму. И сами себе они покажутся наследниками древних, жестоких богов, рождёнными, чтобы вернуть себе эту землю. Разве слишком большая цена за это — смертные муки даже для тысяч “ватников” и москалей? Для тех, кого и так уже объявили низшими существами...

Чувствуя, как колотится сердце, Хлуст закрывает глаза, будто сияющая тьма совсем близко и кто-то огромный пристально смотрит оттуда.

“Может и тебе, сыну предателей, пора избавиться от всего, что мешает?” Забыть прошлое. И научиться смеяться над чужой болью и смертью... Он вздрагивает от чьих-то приближающихся шагов. Открывает глаза, хватаясь за спрятанный в кармане “Глок”. Но это всего лишь Фродо — шатающийся, бледный, испуганный. Чёртов сопляк смотрит на Хлуста, будто задавая беззвучный вопрос. Но у того нет ответов. Ведь выбор уже сделан, когда они решились ехать на войну. А может, ещё раньше, — когда Хлуст зажжёт ту проклятую спичку. И глупо теперь рассказывать, что ты не знал или не понимал. Даже тысячи слов отныне утратили смысл.

Всё, кроме раздающихся от костра слов:

— Ну, повторяй за мной: “Отрекаюсь от отца и матери, проклиная их как москальских вырождаков!”

А в ответ — едва слышное:

— Проклинаю... бандеровских убийц.

Неясные звуки и разочарованный голос Ганса:

— Вот тварь! Отключился...

— Давайте его руку в огонь!

Снова какая-то возня и долетающий с порывом ветра запах горелого человеческого мяса. Хлуста начинает мутить от этого аромата, он отворачивается и сталкивается взглядом с Володькой. Несколько секунд смотрит на старого друга. В зрачках у того — что-то задумчивое и печальное.

Оба не говорят ни слова. Но почему-то кажется, что они опять в одном судёнышке. И тёмные волны готовы его опрокинуть. Над этой бездной им не проскочить... Сколько же им осталось? Пару минут, не больше, прежде чем Ворон, наконец, поймёт, что с Митяем кончено. И решит заняться вторым пленным.

Прошло едва четверть часа с того момента, когда Зак сообщил о донесении разведки. На войне это много, и всё-таки слишком мало, чтобы Ворон передумал. Чтобы отказался от главной задачи — прописать в мозгах у хлопцев веру в свою абсолютную власть.

Кто приведёт их к триумфу нации? Уж точно не слабак и не спонтяй, падающий врагов. Скорее тот, кто целый ад готов обрушить на землю ради мести за погибших побратимов!

Разве это не логично?

И значит... по всем понятиям, Ворон делает правильно. Даже если Хлуст разнесёт из пистолета его башку, всё равно не удастся этого отменить. Ведь Ворон вместе с его простой логикой — уже в десятках голов. И “волчата”, собравшиеся вокруг костра, теперь ничуть не лучше их вожака.

Да и сам Хлуст — разве намного лучше? Разве не он сегодня помог им победить?

Только мёртвые лучше живых — лишь они могут не играть по правилам этого грёбаного мира.

Значит, придётся играть по правилам.

Хлуст всматривается в зрочки Володьки — будто беззвучно пытается подсказать: “Если сделаешь, как велит Ворон, он не станет тратить время, убьёт тебя быстро. Главное, подчиняйся!”

Но бывший друг лишь щурится презрительно. А ещё — вместе с крохотной фигуркой Хлуста в зрочках отражается небо.

То самое — огромное, молчаливое...

Проклятая голубая пустота!

Хлуст медленно поднимается с травы, запрокидывает голову, всматриваясь в бесконечность. Он знает, что там не будет ответа, и всё-таки ждёт чего-то. Но в сияющей высоте лишь чёрная птица, раскинувшая крылья, беззвучно парящая над степью. Где-то рядом с солнцем и облаками.

И такими мелкими, незначительными кажутся голоса двуногих здесь, на земле.

— ...Похоже, этому кранты, — недовольно выпаливает крымчанин Найф.

— Слабак! — комментирует кто-то.

— Пора взяться за второго? — нетерпеливо спрашивает Ганс. — Того пидора, который расстрелял хлопцев из пулемёта!

И головы поворачиваются, а кто-то встаёт и делает шаг — десятки пар глаз смотрят туда, где лежит Володька. В одних читается ненависть, в других — беспокойная, неуголённая злоба, третьи просто ухмыляются. А из-за их спин выглядывает Ворон, солнечный зайчик блестит на лезвии его ножа, и что-то вроде доброй усмешки играет на губах.

Теперь его лучше видно — Наставник голый по пояс, с руками, запачканными в красном по самые локти, и тоже смотрит на второго пленного, а ещё — на замершего, как изваяние, Хлуста. Так, что тому хочется закричать. Хотя нет ничего угрожающего в выросшей над побратимами фигуре. Наоборот, она кажется расслабленной, почти умиротворённой. Будто лежащее у ног Ворона распятое тело с вырезанными лоскутами кожи — вовсе не его работа. Словно там, на залитой красным траве, это и не человек вовсе, а лишь нелепая кукла в ошмётках одежды...

Один из “волчат” встаёт, шире открывая обзор. И Хлуст вздрагивает.

Да, просто неуклюжая кукла из старого фильма, когда совсем не умели делать спецэффекты. Ведь у того, кто отдалённо напоминает Митяя, нет глаз, ушей и носа. Просто залитая кровью маска вместо лица.

Всего лишь обучающее пособие для неопытных побратимов...

Кажется, Ворон улавливает реакцию Хлуста, и улыбка становится шире. Но фигура по-прежнему кажется расслабленной. И правда, больше ему не надо напрягаться: хлопцы закончат всё сами, будто молодые зверёньши, почувшие вкус добычи.

Человек тридцать сидели вокруг костра, а сейчас десяток из них поднялись, разминая ноги, делая первый, пока неуверенный шаг.

Митяй рассказывал о всаднике, который сражался с чудовищами. Но разве похожи на монстров эти крепкие парни в натовском камуфляже? У многих правильные черты лица, здоровый румянец на щеках и аккуратные стрижки “гитлерюгенд”, сделанные в лучших салонах Днепра.

Есть даже какая-то грация в их движениях, когда хлопцы идут сюда от костра.

Конечно, “сепар” солгал. Они не чудовища из легенд. “Мы все не чудовища! Мы намного хуже...”

Хлуст судорожно сжимает рукоять пистолета в кармане. Сколько раз он успел бы выстрелить, прежде чем упасть, скошенный очередями? Но всё равно бы ничего не изменил. И Хлуст опускает глаза на бывшего друга: “Прости...” Что ещё он мог бы ему сказать? Только бессмысленные глупости.

— Тащите пулемётчика поближе! — с весёлой злостью выкрикивает кто-то от костра. — Пусть порадуется за своего кореша!

Зеленовато-серые фигуры надвигаются, они почти рядом. Но Володька упрямо продолжает смотреть на Хлуста, словно остальное не имеет значения. И горькая усмешка проступает на его губах.

А времени остаётся на один взгляд.

Хлуст вздрагивает, покачнувшись, как от налетевшего шквала. Будто опять слышит: “Держи по ветру!” И резко выдёргивает пистолет из кармана.

Нажимает спуск — единственный раз.

Всё, как во сне. И звук выстрела кажется глухим, невзаправдашним. Словно дыхание шторма гасит звуки. Солнце погасло. Берег скрылся в дымке...

“Неужели я сделал это... Неужели?!” — гулко стучит в висках. Рука с пистолетом задервенела, как чужая.

Он хочет опять посмотреть на Володьку, но не осмеливается. И всё начинает плыть перед глазами.

Что это — неужели слёзы?

А рядом, как сквозь вату, долетают рассерженные вопли побратимов. “Значит, не промахнулся...” — машинально мелькает в голове.

Но мысль кажется чужой, как и задервенелая рука. Будто всё это происходит не здесь, не с ним, а где-то далеко, в дурацком, нелепом сне.

Что-то сверкает через туман перед глазами.

Лезвия ножей.

Обступили его со всех сторон, как изготовившаяся к нападению стая. Сейчас поймут, что он не будет в них стрелять. И тогда кто-то первый его ударит — с размаху воткнёт сталь в беспомощную плоть. “В живот, в грудь... или в спину?” — думает Хлуст почти равнодушно, едва вслушиваясь в летящие кругом яростные вопли:

— Кацап! Зрадник!

— Я никогда этому пидору не верил...

— Из Одессы вообще одни “колорады”!

Но громкий ясный голос вдруг перекрывает этот хаотичный хор:

— Тише!

И Хлуст, словно очнувшись, моргает, разгоняя солёную пелену перед глазами. А Ворон подходит ближе, отстраняя побратимов со своего пути левой, запачканной в красном рукой.

Что, решил заняться им лично? Хлуст цепенеет от этой мысли, чувствуя холод по спине. Но его рука с пистолетом всё так же безвольно свисает вниз. А Ворон делает ещё шаг, приближаясь почти вплотную. И Хлуст опускает глаза, ожидая увидеть блеск “боуи” перед тем, как заточенное лезвие коротко, без замаха ударит...

Только ножа почему-то нет. Просто ладонь с запачканными кровью, длинными пальцами. И эта ладонь вдруг ложится на плечо Хлуста — крепко, почти по-дружески:

— Вам не нравится, что он выстрелил? Он имел на это право!

Обступившие их парни затихают, недоуменно хлопают глазами. А Наставник сурово, веско уточняет:

— Погибших было бы куда больше, если бы не он. Любой сопляк может ругаться, а он первым вызвался на задание, для которого у крикунов кишка оказалась тонка. Значит, у него есть особое право: тот, кто сам готов умереть — имеет право убивать!

“Убивать?” — растерянно мелькает в голове у Хлуста. Разве такого он хотел? Нет! Ни за что... И не нужно ему это проклятое право! Он хочет выкрикнуть всё в лицо разгоряченной толпе. Но язык будто прилипает к нёбу. И вокруг несколько секунд тоже царит молчание. Пока Ганс не начинает виновато бормотать:

— Да мы ж нэ проты Хлуста. Тильки вин миг бы спочатку якось поясныты...

— Нет больше Хлуста! — перебивает его Ворон, — Сегодня наш боевой брат заслужил новое имя. То, которого он по-настоящему достоин... —

Наставник умолкает, глядя в прозрачную синь над степью, где до сих пор одиноко кружит большая тёмная птица. — Слушайте и смотрите! Эта священная, политаая кровью героев земля сама помогает нам сделать выбор. Отныне нарекаю тебя Ястребом — в честь гордой и сильной птицы! По-украински произносится “Яструб”. Запомните, хлопцы, новое имя нашего побратима!

Сначала все кажутся чуть растерянными. Потом одобрительно начинают кивать головами — и первыми именно те, кто ещё минуту назад глядел на него с ненавистью:

— Да, достоин... Яструб!

Хлуст молчит, словно до сих пор не веря, не понимая. А Ворон улыбается:

— Всё к лучшему... Мы и так уделили недочеловекам многовато времени. Считайте, это были несколько минут отдыха! А теперь пора заняться делами — сами знаете, без нас некому выиграть эту войну. Слава Украине!

— Гэроям слава!

Наставник уверенно начинает отдавать распоряжения — и воцаряется привычная суeta сборов. Второй и третий взводы начинают грузиться в уцелевшие машины, не забывая собрать оставшееся от “двухсотых” и “трёхсотых” оружие. Конечно, это не бегство — обычная на войне перегруппировка. А большая часть первого взвода размещается вместе с ранеными на блокпосту — ждать, когда ещё пришлют грузовики. Их ведь обязательно пришлют — Наставнику в штабе точно обещали. Никто никого не бросит... А “сепары” сюда не скоро заявятся — наши хорошо их бьют под Иловайском, именно там гибнут лучшие вражеские части!

Пока все убегают выполнять приказы, Ворон остаётся на вершине холма. И запачканная красным ладонь до сих пор покоится на плече у Хлуста... Или всё-таки уже Яструба? Он и сам толком не осознал.

А ещё он боится повернуть голову, чтоб не встретиться взглядом с Володькой. Ему кажется, тот смотрит... до сих пор смотрит на него широко раскрытыми глазами...

— Командир, вот, — пыхтит сержант, взбегая на холм с пятилитровой бутылью речной воды. — Чтоб умыться!

— Спасибо, сейчас, — но прежде чем отойти в сторону, Ворон склоняется к самому уху Хлуста, и голос звучит совсем мягко:

— Я знаю, он был твоим другом. Я следил, ждал твоего шага. Ведь иногда сущие пустяки заставляют нас делать огромные ошибки...

Хлуст вздрагивает. Но тот же голос вкрадчиво добавляет:

— Расслабься. Ты поступил верно. С друзьями лучше разбираться собственными руками!

И Наставник уходит. А Хлуст оседает на траву, будто именно тяжёлая горячая ладонь Ворона до сих пор удерживала его на ногах, словно целая Земля, бешено вращаясь в сияющей пустоте, теперь куда-то из-под него выскальзывает.

Он падает навзничь, смотрит в небо, и кажется, что голубоватая бездна тоже мчится, убегает из-под взгляда. “Поступил верно...” — эхом отдаётся где-то внутри. Он чувствует, что “Глок” до сих пор в его руке. И если обратиться с силами, можно поднять пистолет, донести его до виска и нажать спуск.

Но сил хватает, только чтоб повернуться набок.

В эту секунду он встречается глазами с Володькой.

Наверное, кто-то из хлопцев тормозил, бил тело и нечаянно развернул его в сторону Хлуста.

Сейчас они лежат друг напротив друга.

Лицо Володьки почти не изменилось, и та же усмешка на губах. Просто добавилась красная отметина на лбу и немного растёкшейся, засыхающей крови.

Минута тянется. Колышется на теплом ветерке трава. И всё вдруг преобразается, будто через пелену миража. Хлусту начинает казаться, что они лежат на берегу под Одессой, чудом вырвавшись из штормового моря.

А значит, Володька скоро обязательно встанет, вытрет лоб и подмигнёт лукаво: “Ну, и попали же мы в передрагу!”

Они обнимутся, оставляя ошибки в прошлом. И всё будет, как прежде.

Вернётся Катя. Яркие дни начнут сливаться в сверкающие недели. Жизнь опять станет прозрачной, лёгкой, как воздух над морем в горячий полдень.

Всё ещё будет — и свет, и надежда, и близкое, только руку протяни, счастье. Обязательно будет...

Единственное, что для этого надо, — чтоб сейчас Володька поднялся.

Почему же он не встаёт? Неужто до сих пор обижается?

“Прости, — беззвучно выговаривает Хлуст. — Я не удержал лодку...”

Но друг лишь молча, не мигая смотрит. Будто главное давно сказано. И горькая усмешка — всё, чем Володька может ответить на любые слова.

От этого становится жутко и мутно. Хлуст хочет крикнуть во всю глотку: “Хватит дурачиться! Пожалуйста, вставай!”

Пожалуйста...

Но кто-то равнодушно говорит рядом:

— Уберите эту пададь! Закопайте — вон в той воронке будет удобно.

“О чём это?” — мелькает растерянная мысль. А несколько хлопцев подхватывают Володьку, куда-то тащат.

Что за глупость?!

Хлуст вздрагивает, порываясь вскочить следом: “Куда? Зачем?!”

И вдруг холодеет, безвольно оседая на траву, когда вспоминает...

Когда чувствует в своей руке тёплый, как живой, “Глок”, из которого успел сделать лишь один выстрел.



МИХАИЛ ДЕЛЯГИН

д. э. н.

## КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

### 1

Современному человечеству (и тем более нам, России как его мыслящему и чувствующему авангарду) как минимум на протяжении всей жизни нынешнего поколения предстоит действовать в условиях небывало (как минимум, за все время с эпохи Возрождения) высокой неопределённости.

Новые технологии творят новое общество, пусть и с болезненно большим опозданием относительно ожиданий их провозвестников и адептов.

Информационная революция 1991 года (когда в наиболее передовой тогда в технологическом, а значит, и социальном отношении стране – США – расходы на приобретение информации и информационных технологий впервые в истории превысили затраты на приобретение производственных технологий и основных фондов) открыла новый этап развития человечества. На костях нашей, советской цивилизации, на вырванных из нас Западом технологических, людских и финансовых ресурсах человечество перешло из индустриального в информационный мир. Но уже в 2020-м под прикрытием коронабесия и с его помощью произошёл второй, не менее, а во многом и более значимый переход: в мир социальных платформ, то есть социальных сетей, ставших инструментом массового управления.

Оба перехода были беспрецедентно революционны, так как меняли сам характер массовой деятельности, её направленность: с преобразования окружающего мира на изменение его восприятия (и, соответственно, сознания) с началом информационной эры и на выработку цифрового следа для тренировки искусственного интеллекта с началом эры социальных платформ.

До того на всём протяжении истории человечества характер массовой деятельности в принципе не менялся: психофизиологически мы сформированы эволюцией как инструменты преобразования окружающего мира.

Конечно, с точки зрения мироздания функции человека иные – мы инструмент его самопознания и генерирования эмоций, – но их исполнение категорически требует от нас именно изменения окружающего мира.

Точнее, требовало – до 1991 года.

С того времени мы занимаемся не свойственным себе делом, так что рост извращений, и не только сексуальных, есть просто реакция на противоестественный для нас характер нашей жизни в целом.

Есть чего пугаться, но удивляться нечему: это диктуется самой сменой определяющих общественное устройство технологий.

До начала информационной эры основной технологической базы человечества была индустрия, организованная, в первую очередь, на основе конвейера (впервые применённого относительно недавно – в 1911 году). Да, сам конвейер и в США, и в Японии, и в СССР трансформировали под работу бригад, да, развились не требующие его индустрии, начиная с химии, но принцип оставался прежним: большие коллективы промышленных рабочих, пусть и всё более интеллектуальные и гибкие.

Таблица технологических базисов

	Индустриальная эпоха	Информационная эпоха	Эпоха искусственного интеллекта
Период	До 1991	1991–2019	С 2020
Ключевая для организации общества технология	С 10-х годов XX века — конвейер	Телевидение, интернет, социальные сети	Социальные платформы как среда обучения искусственного интеллекта
Основной предмет труда	Окружающий мир	Восприятие мира человеком	Искусственный интеллект и, вероятно, ноосфера
Соответствие психофизиологической природе человека	В целом соответствует	Противоестественно	Разрушает природу человека; глубоко преобразует её без гарантии сохранения
Основной продукт деятельности человека / цель её организаторов	Материальные блага / прибыль	Состояние сознания / власть	Цифровой след для тренировки искусственного интеллекта / эффективность искусственного интеллекта
Основная среда обитания человека	Техносфера		Социальная платформа (цифровая экосистема)
Основная форма организации деятельности / ключевой фактор суверенитета	Крупное конвейерное производство / развитый ВПК	Финансовая биржа / эмиссия национальной валюты по потребностям экономики	Социальная платформа (цифровая экосистема) / собственный искусственный интеллект, базирующийся на собственной соцплатформе
Ключевая группа капитала	Промышленный	Финансово-спекулятивный	Капитал социальных платформ
Ключевая форма организации капитала	Производственная транснациональная корпорация	Глобальный инвестиционный "фонд фондов"	Социальная платформа (цифровая экосистема)
Формула основного обмена	Труд за материальные блага	Труд за состояние сознания	Эмоции за внимание
Доминирующий тип экономики	Монополизированный рынок		Распределительная
Ключевой тип личности	Член трудового коллектива	Спекулянт	Фрилансер (живёт случайными заработками)
Основной тип сознания	Коллективистский	Индивидуалистичный	Частичный
Основной (движущий) общественный конфликт	Капитала и наёмного труда	Глобального финансового спекулятивного капитала с национальным капиталом реального сектора	Владельцев социальных платформ с их обитателями; со временем — искусственно созданной в маркетинговых целях картины мира с реальностью
Основные классы	Буржуазия, специалисты, пролетариат	Организаторы финансовых спекуляций и их жертвы	Хозяева социальных платформ, специалисты (салиариат), люмпены (прекариат)
Доминирующий тип управления	Административный	Направление поощряемой инициативы на решение нужных задач при разрушении остальных сфер	Самостоятельное принятие решений, детерминированных жёстко контролируемой информацией
Доминирующий тип поведения	Индивидуальное логическое	Стайное логическое	Стайное эмоциональное

Бог строго по Наполеону являл себя движением “больших батальонов”.

В 1991 году этот казавшийся единственно возможным мир рухнул вместе с его носителями: главными стали информационные технологии — тогда ещё примитивные. Сначала телевидение определяло, что человек думал и как себя вёл, затем главной коммуникативной средой стал интернет, затем — социальные сети.

А в 2020 году произошла новая революция: власти потребовали от человека отказаться от разума – и в целом он подчинился, причём легко и очень часто – с энтузиазмом.

В самом деле: содержательный характер требования властей к управляемому в связи с коронабесием заключался, прежде всего, в требовании отказа от разума, отказа от критического мышления, даже от попытки оценить управляющие сигналы в их хаотичности и противоречивости, и в беспрекословном и бессознательном подчинении им.

По сути дела, по всему миру власть потребовала от людей стать роботами, поставить на себе совершенно непонятный эксперимент, демонстративно нарушающий все привычные нормы науки и медицины, – и, за исключением России и некоторых других мест, это не встретило сколь-нибудь заметного сопротивления.

И, раз люди массово и с охотой отказываются от главного завоевания эволюции, выделяющего их из животного мира, – от разума, – возникает вопрос: в чём причина?

Ответ прост: принципиально новая модель управления, основанная на принципиально новых технологиях и на принципиально новой среде обитания человека, созданной этими новыми технологиями.

Сделаем маленькое отступление: первобытный человек жил в природе. Создание технологий переместило нас во вторую природу – техносферу: в мир, созданный технологиями. Это наша вторая среда обитания, это почти всё, что мы видим вокруг себя. Но социальные сети стали нашей третьей средой жизни: что бы мы ни делали, наши действия, – если они достаточно эффективны и, соответственно, подкреплены современными технологиями цифровизации, – отражаются в социальных сетях.

Естественно, они используются для управления нами: всё, что человек видит, он использует для власти, это сильнейший рефлекс. Facebook, помнится, признался в экспериментах по управлению своими пользователями ещё в 2008 году, через 5 лет после своего создания, когда он был ещё в колыбели. Но в том же году Обама уже воспринимался как “президент соцсетей”.

Став инструментом постоянного управления большими массами людей, соцсети стали социальными платформами – это нынешний этап их развития. Это управление без насилия, без принуждения – формально человек принимает решения абсолютно свободно и самостоятельно, – инструментом управления им являются не какие-то организации, а сама информация и эмоции, которые он получает в основном в соцсетях. И он свободно и самостоятельно, без внешнего давления в целом принимает именно те решения, которые от него требуются.

Это принципиально новое управление, качественно более эффективное, потому что человек чувствует себя не объектом принуждения, а полностью свободным творцом собственной жизни. Эффективность этого управления, его специфика проявилась именно в 2020 году, когда люди массово и формально свободно, да ещё и с гордостью, отказывались от способности думать, отказывались от собственного разума.

Именно поэтому 2020 год стал рубежом, этапом: мы создали принципиально новый тип общества – общество социальных платформ. Или, если угодно, “цифровых экосистем”.

Их объективная задача – сбор наших цифровых следов для обучения искусственного интеллекта – главного фактора конкурентоспособности.

## 2

Таким образом, на одно поколение уже пришлось две революции, каждая из которых по своей глубине превзошла всё, происходившее за всю историю человечества. И это, скорее всего, не конец революционного технологически-социального процесса, а лишь его начало.

До 1991 года ключевой для организации общества технологий был конвейер, до 2020 – телевидение, открытый интернет и соцсети, а теперь – социальные платформы.

Основным предметом труда был окружающий мир, с 1991-го по 2020 год – сознание человека, а теперь, – вероятно, искусственный интеллект.

Если с точки зрения нашей психофизиологической приспособленности к изменению окружающего мира переориентация на трансформацию нашего сознания означала переход к противоположному образу жизни, то жизнь в социальных сетях с её эмоциями, сконструированными маркетинговыми алгоритмами для удержания нашего внимания, уже просто разрушает природу человека. Ну, как минимум глубоко её преобразует без каких-либо гарантий сохранения.

И, кстати, возникла экзистенциальная проблема: для удержания нашего внимания соцплатформы создают нам максимально комфортную среду. Причём, поскольку она создана специально для нас, она намного удобней и приятней обычной среды. Не надо упрощений – в ней свои конфликты, но сами эти конфликты максимально комфортны для нас: мы видим не только тех, с кем приятно дружить, но и тех, кого нам приятно ненавидеть.

А комфорт исключает развитие: ведь оно как раз и вызывается-то дискомфортом и стремлением его преодолеть. Непосредственно это ведёт к психическим расстройствам, потому что человек не может жить без цели так же, как без гравитации или электромагнитного поля Земля, – а в повседневности цель задаётся именно дискомфортом. Но главное – мы лишены стимула к развитию, и это уже грозит гибелью самому человеческому роду.

Что, собственно, мы и видели в коронабесии: если нет дискомфорта, невозможна постановка устойчивой, значимой цели, а тогда не нужен и разум (его самое ёмкое определение – “способность к целеполаганию”), и от него легко и даже приятно отказаться – просто из экономии энергии: думать – это ведь ужасно энергозатратно.

С другой стороны, нынешняя объективная, технологически обусловленная цель человечества – выкармливание своим “цифровым следом” искусственного интеллекта – впервые оказалась вне его, и он поэтому потерял её как что-то, что ранее всегда являлось его неотъемлемой частью.

Если материальные блага до информационной эпохи как основной продукт деятельности человека создавались для прибыли, которую люди в принципе массово могли получить, а состояние сознания в эту эпоху формировалось для власти, к которой мы теоретически могли быть причастны, то сейчас мы производим “цифровые следы” для обучения искусственного интеллекта, который нам в принципе чужд и нами даже не ощущаем непосредственно.

Конечно, он необходим как главный фактор конкурентоспособности и независимости (при индустрии критерий суверенитета – ВПК, в информационную эпоху – эмиссия своей валюты по потребности своей экономики, а сейчас – свой искусственный интеллект, обучающийся на своих соцплатформах), но находится вне нас и, более того, носит принципиально внечеловеческий характер. Это порождает массовое ощущение сиротства, брошенности, усиливает отчуждение от собственной деятельности и жизни.

Да, конечно, формы организации капитала остаются материальными. Промышленный капитал индустриальной эпохи, организованный в производственные ТНК, уступил место финансовому спекулятивному капиталу, организованному в инвестиционные “фонды фондов”, а те сейчас меняются капиталом социальных платформ. Всё это корпорации, мы их видим, у них есть офисы и производственные мощности, но реальная, а не провозглашаемая и даже осознаваемая цель их существования оказалась вынесена не только за их, но и за наши пределы – за пределы всего человечества.

Тем более что основная форма обмена – эмоции из соцсетей за наше внимание – принципиально не предусматривает изменения окружающего мира, то есть осязаемого, вещественного результата. А ведь не только доинформационный обмен труда на материальные блага, но и информационный обмен труда на определённое состояние сознания, эмоции и поведение такой наглядный результат своих усилий предусматривали. Теперь же человеческие усилия, приносящие результат, как таковые просто выпали из воспринимаемой большинством людей картины повседневности.

### 3

В результате происходящего пусть и монополизированный, но всё же рынок постепенно всё более заметно сменяется распределительной экономикой. И распределение сухих пайков в карантинном Китае и пособий в карантинной

Европе – не случайные флуктуации, а первые ласточки “новой нормальности”, нового общественного устройства, в которой, как убеждают нас проповедники “инклюзивного капитализма”, у большинства людей не будет ни сколь-нибудь значимого имущества, ни сколь-нибудь значимых прав. Для тех, кому повезёт, будет распределение минимального набора дешёвых суррогатов.

Уже сейчас ключевой тип личности – не индустриальный член профсоюза и даже не спекулянт информационной эпохи, а фрилансер – человек, заведомо перебивающийся случайными заработками и в принципе уже не способный на организацию системного заработка. Это по сути люмпен, только с дюжиной сортов кофе, на которые ему пока, – хотя даже в развитых странах уже далеко не везде, – оставляют средства социальные платформы.

Понятно, что такой тип заработка формирует и строго определённый тип восприятия мира и себя в этом мире.

Если у заводского рабочего неизбежно, просто в силу повседневного характера его деятельности формируется коллективистский тип сознания, у финансового спекулянта и его жертв – индивидуалистический, то у личности, являющейся просто ячейкой социальных платформ, формируется частичный тип сознания. Клиповое мышление сменяется кликовым, мысли “коротенькие-коротенькие”, даже не как у Буратино, а как нажатие на клавишу.

Но это изменение сознания лишь маскирует движущий конфликт нового общества. Это не конфликт капитала и наёмного труда, как в капитализме, не конфликт глобального финансового спекулятивного капитала против национального капитала реального сектора, как в информационную эпоху, – это конфликт владельцев социальных платформ и их обитателей. Каким бы полным и эффективным ни был искусственный комфорт, он всё равно неизбежно периодически будет “жать”, и коррекция личности будет происходить слишком резко.

А со временем движущим конфликтом общества может стать конфликт искусственно созданной в тех или иных маркетинговых целях картины мира с реальностью – вроде того, который мы наблюдаем у хипстеров, выломившихся в ходе агрессивной самореализации из тех социальных ячеек, в которых они вызрели.

Ведь ослабление разумности даром не проходит, как и примитивизация структуры общества. В поздней индустрии (уже эпохи НТР) основными классами были буржуазия, специалисты и пролетариат; в информационную эпоху – организаторы финансовых спекуляций и их жертвы, но даже последние в принципе могли защищаться от господствующего класса. В эпоху искусственного интеллекта и капитала социальных платформ подавляющее большинство общества составляют полностью беспомощные и потому бесправные люмпены с отключённым социальным самосознанием (прекариат); господствующий класс – хозяева социальных платформ – ничтожен количественно, а необходимые специалисты – салиариат – также крайне немногочисленны.

Для сохранения, не говоря уже о развитии, необходимых даже для простого существования общества знаний может просто вульгарно не хватить людей, и тогда знания будут потеряны, причём вместе с технологиями жизнеобеспечения. Понятно, что это вызовет внезапное массовое вымирание населения, лишённого способности к адаптации.

Ведь и индустриальная, и информационная эпоха так или иначе тренировали личные способности человека: первая – вынужденным сопротивлением административному управлению, вторая – направлением поощряемой инициативы на решение нужных управляющей системе задач, пусть даже при разрушении остальных сфер. Сейчас же человек принимает решения, детерминированные жёстко контролируемой информацией; он не имеет навыков сопротивления и собственной инициативы, его самостоятельность фиктивна, причём он не в силах осознать это. В результате он в целом, несмотря на совершенно фантастический уровень самооценки, ощутило менее жизнеспособен и более “частичен”, чем даже работник конвейера, всю жизнь приворачивающий одну гайку и не способный ни на что больше: тот ещё может освоить что-то новое, а нынешний люмпен не способен даже осознать потребность в этом (ведь он – такой как есть – является подлинным “венцом творения”, и сам факт приспособления к обстоятельствам может стать для него морально-психологической катастрофой, так как разрушит всю его держашуюся на самолюбании картину мира).

В результате, если в индустриальную эпоху доминирующим стилем поведения было – даже в рамках коллектива и коллективного типа сознания – индивидуальное логическое, а в информационную эпоху – стайное логическое (то есть человек действовал под влиянием эмоций, сбивающих людей в стаи, но был ещё способен посмотреть на себя со стороны и принять логически обусловленное решение), то сейчас мы идём к стайному эмоциональному поведению как новой доминанте. Разум отключается, люди подчиняются коллективным эмоциям, генерируемым индивидуальными гаджетами.

Резюмирую: нынешняя революция неизмеримо глубже предыдущих, так как заканчивается не просто прежний способ организации людей – выработана сама цель их существования, прибыль. А вместе с ней уходят и средства её достижения: капитализм и в целом рыночная экономика.

#### 4

Таким образом, новые технологии трансформируют наше общество с невероятной быстротой и калейдоскопическим разнообразием: на протяжении жизни одного поколения произошло аж две кардинальных смены технологического базиса! Между тем практически все используемые нами нормы, правила и навыки выработаны для старой реальности и как минимум нуждаются в тщательнейшей проверке и уточнении (а как максимум могут смертельно навредить).

Категорическим условием выживания человечества (а значит, и русской цивилизации, ибо без нашего уникального сочетания гуманизма, способности к абстрактному мышлению и мессианства человечество выродится за поколение) в современных условиях являются:

- выработка русской цивилизацией (больше никому) стратегического комплексного мышления;
- выявление новых взаимосвязей общественного развития и, что исключительно важно,
- преодоление старых структур знания (относящихся не только к индустриальной эпохе, но и к информационной эпохе 1991–2020 годов, ушедшей так же окончательно и бесповоротно, как и индустриальная, но по иронии истории всё ещё воспринимаемой многими “вечно вчерашними” кликушами и провозвестниками случайных банальностей как манящее откровение скорого будущего).

Наиболее универсальна марксистско-ленинская диалектика (разумеется, в виде не иссохшей схоластики и начётничества, а исторического материализма, изучающего закономерности созидания обществом правил собственной деятельности). Применение ею к общественной жизни трёх законов Гегеля – единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и отрицания отрицания – представляется таким же фундаментом социального прогнозирования и планирования, каким для физики являются три закона Ньютона.

Однако не вызывает сомнений, что эти законы сами по себе слишком общи и являются инструментами, прежде всего, осмысления реальности, в то время как непосредственная задача заключается в её преобразовании. Поэтому реальное, практическое значение имеют не сами они, а их частные, прикладные проявления. Многие из них уже сформулированы и воспринимаются специалистами как самоочевидность, но за пределами узких кругов практиков они всё ещё известны недопустимо плохо, что до сих пор довольно часто оборачивается совершенно ненужными ошибками и жертвами.

#### 5

Из указанных прикладных законов развития и трансформации общественных систем следует выделить прежде всего **закон сохранения рисков**. Его суть довольно проста: при минимизации рисков отдельных элементов системы общая сумма рисков не сокращается и тем более не исчезает вовсе (как иногда кажется непосредственным участникам процесса, регулярно грезящим о Золотом веке), а возгоняется на общесистемный уровень, где может привести к качественному изменению (включая полное разрушение) системы.

По сути дела, это частная иллюстрация одного из механизмов перехода количественных изменений в качественные, однако объективно обусловленное стремление участников любого процесса минимизировать свои собственные риски (то есть риски отдельных элементов любой системы), как представляется, придаёт этому закону универсальное значение и исключительно высокую значимость.

Выдающийся отечественный историк А. И. Фурсов выделил четыре исключительно важных с практической точки зрения закона общественного управления, неуклонно реализуемых на всех социальных уровнях, — от небольшой группы до целой цивилизации.

**Закон Винера – Шеннона – Эшби** постулирует, что управляющая система для обеспечения не только эффективности управления, но и для простого самосохранения должна постоянно превосходить управляемую по мощности и по сложности. Превосходить управляемых по мощности необходимо для того, чтобы вообще иметь возможность управлять (ведь в противном случае на управление могут попросту не обращать внимания), а по сложности — для того, чтобы иметь возможность осознавать объект управления в полной мере в необходимой полноте его внутренних и внешних связей и, соответственно, управлять осмысленно.

**Закон Анохина – Бира** (выведенный на основе идеи опережающего отражения действительности Анохина и модели жизнеспособных систем Бира) предусматривает, что условием эффективности управляющей системы является опережающее прогнозирование развития не только управляемой системы, но и изменений внешней среды. В противном случае прилетит “чёрных лебедей”, как политкорректно именуются современной образованщиной традиционные “жареные петухи”, приобретёт хронический характер и будет продолжаться до полного саморазрушения как управляющей системы, так и объекта её управления.

**Закон Седова – Назаретяна** устанавливает, что в сложной иерархической системе необходимое для её функционирования относительное разнообразие на верхнем уровне может обеспечиваться за счёт принудительного ограничения разнообразия на нижних уровнях, то есть антиэнтропия на верхнем уровне может обеспечиваться сознательной “энтропизацией” (хаотизацией, упрощением) верхами нижних уровней. Более того, такое упрощение является наиболее простым, очевидным, комфортным и малозатратным для управляющей системы методом поддержания своего доминирующего положения.

На примере позднего Советского Союза действие этого закона предельно ярко и убедительно описано С. Е. Кургиняном; в настоящее время он наглядно проявляется во всеобъемлющей и исключительно последовательной примитивизации глобальным управляющим классом практически всех наблюдаемых нами уровней общественной жизни по всему миру.

Важное следствие этого закона является одним из механизмов практической реализации принципа “созидательного разрушения” Шумпетера: столкнувшись с чрезмерно высокой для своих познавательных способностей неопределённостью, что, как правило, имеет место в периоды качественных изменений (“на переломах истории”), управляющая система сталкивается с почти неодолимым соблазном примитивизировать управляемое общество, драматически и внезапно для сторонних наблюдателей снижая тем самым его конкурентоспособность (а значит, и свою жизнеспособность) и повышая вероятность развала и обновления (хотя отнюдь и не обязательно “созидания”) через разрушение.

Наконец, четвёртый прикладной закон общественного развития, неустанно напоминаемый А. И. Фурсовым, — это **закон Баррингтона Мура**: “Революции (в значении нового общественного устройства, а не социального катаклизма, ломающего отжившее. — М. Д.) рождаются не столько из победного крика восходящих классов, как считал Маркс, сколько из предсмертного рёва тех слоёв, над которыми вот-вот сомкнётся волна прогресса”.

Страх смерти (а жёсткость политической конкуренции такова, что эта смерть весьма часто и для многих является не только социальной, но и непосредственно физической), пробуждая инстинкт самосохранения, является могучим и вечным инструментом общественного творчества, причём именно тех социальных групп и структур, которые в силу своего если и не доминирующего, то как минимум влиятельного положения в отживающей системе

обладают необходимыми для такого творчества ресурсами, включая организационные, интеллектуальные, технологические и финансовые.

Закон Баррингтона Мура представляется частным проявлением закона отрицания отрицания: в практике общественного развития будущее рождают, создают и оформляют не его восторженные романтические адепты, а убиваемые этим будущим влиятельные социально-политические группы (разумеется, не все, а лишь своими наиболее адаптивными элементами): будущее создают умирающие и приговариваемые им к смерти, причём создают, перерождаясь в него.

Это парадоксальный и суровый урок, частное проявление которого мы имеем возможность наблюдать в последние годы в умирающем финансовом спекулятивном капитале, наиболее передовая часть которого уже создала капитал социальных платформ и весьма энергично трансформируется в него на наших глазах.

В результате прошлое (капитал реального сектора) становится верным союзником будущего (капитала социальных платформ, так как они оба заинтересованы в максимальной стабильности, а значит, и в максимально возможном укрупнении обществ) через голову и в прямой борьбе против настоящего (финансового спекулятивного капитала, заинтересованного в строго противоположном – максимальной волатильности и, соответственно, всемерном раздроблении обществ).

Важным следствием закона Баррингтона Мура, традиционно и фатально игнорируемым большинством революционеров (по вполне понятным психологическим причинам), является то, что будущее, как правило, реализуется и сражается в борьбе с отживающим общественным устройством не своими собственными, а старыми же силами и интересами. Это происходит потому, что, с одной стороны, оно ещё попросту не успело развить собственные структуры и даже в полной мере осознать само себя, а с другой (и это представляется главным) – будущее создается не “с неба упавшими провозвестниками”, а именно самими старыми элитами (точнее, их наиболее адаптивными элементами), пусть даже и в ходе их агонии.

Классическим примером практической реализации этого следствия представляется Первая мировая война: финансовые спекулянты, в лице американской ФРС овладевшие глобально значимым государством второй раз после конца XVII века в Англии, сражались за уничтожение империй как таковых и максимальное раздробление мира в интересах максимальной свободы финансовых спекуляций руками, прежде всего, самих империй – да так успешно и малозаметно, что даже гениальный современник этой войны Ленин увидел в ней не более, чем самоубийственную борьбу отживших своё империй “за передел рынков” в мировом масштабе.

Исключительно важным для понимания глобальной конкуренции (и для интеллектуальной гигиены в условиях массового распространения конспирологических фантазий и тотального мемуарного воя о всеобщем предательстве) представляется **закон Смирнова**.

Он устанавливает (на основе тщательнейшего изучения советской политической практики 60-х годов XX века), что для сохранения стабильности сложных конкурирующих систем необходимо их устойчивое структурированное взаимопроникновение при помощи специально выделенных коммуникаторов, которые впускают чужеродный элемент в свою систему для взаимодействия с его системой и проникают своим элементом в чужую систему для взаимодействия с ней.

Устойчивость системы таких коммуникаторов, в том числе институциональная (позволяющая обеспечивать преемственность поколений и реализовывать стратегические принципы, несмотря на смену конкретных разработчиков и исполнителей), является категорическим условием устойчивости макросистемы, объединяющей конкурирующие системы (в периоды биполярного мира это Советский Союз и США, а в настоящее время – Китай и США).

Исключительно важное практическое следствие закона Смирнова заключается в том, что конкуренция между системами ведётся, прежде всего, за перевёрбовку указанных коммуникаторов – за то, чтобы чужие коммуникаторы начали служить вам, а в идеале и стали вашими по своей системе ценностей и самоидентификации. Борьба за эту “смену идентичности” представляет собой ключевой элемент, зерно, ядро всей конкуренции огромных и порой



даже мало представимых по своим масштабам и сложности общественных систем, – и, соответственно, залог победы в этой конкуренции с разрушением враждебной системы и неконтролируемым переходом всей ситуации в качественно новое состояние (часто крайне дискомфортное и для счастливого лишь некоторое время победителя, как это было по завершении “холодной войны” и с началом распада Советского Союза).

Поскольку в биполярной конкуренции такая победа одной из сторон представляется в принципе неизбежной, вторым крайне важным практически (и при этом в глобальном масштабе!) следствием закона Смирнова является неустраняемая, объективная неустойчивость биполярных макросистем и необходимость для достижения динамической устойчивости активного и самостоятельного третьего элемента. (Понятно, что в современных условиях это открывает России дополнительные, хотя и преходящие стратегические перспективы, которые крайне важно не упустить.)

Наконец, шестым и важнейшим прикладным законом общественного развития является то, что главным фактором глобальной конкуренции является длительная, превышающая жизнь поколения воля управляющей системы к победе.

Как это ни прискорбно для экономиста, главное содержание этой конкуренции, являющейся сегодня конкуренцией глобальных проектов, стала **конкуренция “длинных волей”** – и, соответственно, (внутри)общественных организаций, способных постоянно и без перерывов вырабатывать, поддерживать и своевременно и адекватно модифицировать волю к борьбе.

Именно в создании, совершенствовании и обеспечении самостоятельности (в том числе саморазвития) таких организаций видится в настоящее время главная задача социальной инженерии, – ключевой прикладной общественной науки, находящейся, несмотря на все свои бесспорные успехи, как и в целом все обществознание нового мира, в зачаточном состоянии.

## 6

В настоящее время вновь, как на излёте “эпохи застоя”, в России расширяется применение математических методов моделирования для управления общественными процессами. И, соответственно, вновь возрастает и становится критически важным понимание объективной ограниченности применения этих методов, игнорирование которой неизбежно ведёт к абстрагированию от существенного и к срыву в не столько люто смешную, сколько крайне разрушительную схоластику.

Ключевой принцип прост: математические модели по своей природе полностью формализуемы, а общество – нет. Ни в один момент времени ни одна часть общества, включая управляющую систему, не может обладать о нём полным знанием, хотя бы потому, что часть, даже управляющая, всегда менее сложна, чем включающее её целое.

Данная закономерность в полной мере проявилась при крахе самой хулиганской науки – исторического материализма, всерьёз взявшегося за изучение того, каким образом, при каких условиях и до какой степени общество может самостоятельно изменять закономерности своего собственного развития.

Появление истмата было вполне закономерным, так как, последовательно и с нарастающим успехом применяя диалектику к лишённому разума природе, марксизм вполне естественным образом не мог не применить его в конечном итоге и к разумной части природы, включая его вершину – человеческое общество.

Часть попыталась познать целое в его полноте, причём познать сразу, в целях непосредственного практического действия, и была естественным образом смыта подлинным цунами обратных связей (выражаясь языком теории управления), так как даже простая попытка познания управляющих систем вызывает у последних немедленную и крайне бурную реакцию (вплоть до убийства по подозрению в шпионаже).

В результате исторический материализм в целом выродился в схоластику, перемежаемую редкими примерами гениального применения его основных закономерностей, так и оставшимися по указанным объективным причинам на уровне уникальных образцов искусства, а не массовых стандартов науки.

Стоит сразу отметить, что Сталин с его “без теории нам смерть, смерть!” не является частным случаем этой закономерности, так как теоретическое осмысление уже построенного в Советском Союзе общества в принципе было возможно и не удалось по совершенно иной причине, хотя и также объективной, — из-за перенапряжения этого общества в борьбе за выживание.

Это перенапряжение, во-первых, направило на текущие задачи борьбы за самосохранение все силы, не дав отвлечь их на стратегические задачи осмысления собственного существования (феномен Ленина, создавшего в 1918-1919 годах десятки НИИ, из которых выросла затем советская наука, не служит упрёком, ибо эти НИИ были сугубо практическими, прикладными), а во-вторых, не позволило управляющей системе стать достаточно терпимой для возникновения возможностей к анализу её достижений и провалов “со стороны”.

Изложенная аксиома о постоянной неполноте познания обществом себя самого нисколько не противоречит даже позитивистской доктрине познаваемости мира: он, конечно, познаваем, но лишь в принципе. На деле он бесконечен в своей сложности и, соответственно, бесконечен процесс его познания. И при принципиальной его познаваемости в каждый момент времени есть вещи, которые мы уже знаем, и есть вещи, которые мы познать не можем, — ни сейчас, ни в сколь-нибудь приемлемом для нас будущем.

Кстати, то, что эти не познаваемые для нас в обозримом будущем вещи и явления во многом воздействуют на нас, является (строго по Фейербаху) постоянным фактором, порождающим религиозно-мистическое мышление и превращающим атеизм всего лишь в одну из великих мировых религий.

На практике знания об обществе не могут быть своевременными и полными одновременно. Полной информацией (в исключительно благоприятных случаях) о той или иной ситуации могут владеть лишь историки — после того, как все значимые решения приняты, реализованы и принесли свои последствия.

В процессе управления управляющая система (если она разумна) понимает две фундаментальные вещи: что принятое решение в случае его ошибочности уже нельзя будет исправить (в лучшем случае можно будет частично компенсировать потери) и что информация, на основе которой его предстоит принимать в разумные сроки, будет заведомо неполной.

Именно этот inferнальный ужас повседневного управления, не отменяемый, а лишь несколько сглаживаемый самыми изощрёнными общественными институтами, является причиной особого отношения самых разных обществ к своим лидерам — от жрецов и вождей до президентов и премьеров.

Именно понимание (или, чаще, ощущение) невозможного логически корректного управления создаёт объективную потребность в идеологии, ставящей дальние цели общества и определяющей ценностные форматы действий по их достижению. Вслед за Станиславским идеология формулирует и навязывает народу вряд ли достижимую сверхзадачу, создаёт “силовое поле смыслов” и этим компенсирует объективно недостающие знания.

Математика по своей природе не способна заменить идеологию. Её миссия строго противоположна и сугубо инструментальна, вспомогательна: за счёт расширения возможностей логики сократить сферу неизвестного, единственным компасом в которой является идеология.

Подмена цели средством, попытка использовать вместо идеологии математику (обычно не по недомыслию, а просто потому, что в реальной идеологии правящей тусовки даже ей, со всем её цинизмом, невозможно признаться вслух — и даже самой себе, перед зеркалом) обречена, как и любой чрезмерно интенсивный онанизм, на бесплодие, а в перспективе — на крах и распад занимающейся этим системы.

Мы это проходили во времена позднего Союза — и вполне можем из-за одного лишь засилья механистических (а то и религиозно-мистических) подходов к общественным процессам (не говоря о более циничных причинах вроде интересов господствующего класса офшорной аристократии и её олигофрендов) заново пройти и сейчас.

Кстати, вывод из этой закономерности применительно к американской политической жизни можно в честь его наиболее известных выразителей называть “следствием Линкольна-Рузвельта”: “можно обманывать некоторую часть общества всегда, можно обманывать всех некоторое время, но обманывать всех и всегда — невозможно”.

*В статье использованы материалы книги М. Г. Делягина “Мир после информации: стабильность (с) той стороны”.*

НАТАЛЬЯ ИРТЕНИНА

## ВАССИАН РОСТОВСКИЙ ПРОТИВ “ПАЦИФИСТОВ”

*Освобождение Руси от колониального ига в 1480 году*

В тот год последнего нашествия хана Большой Орды на Московскую Русь перед страной и государем Иваном III встал великий выбор: бесславно погибнуть, впасть в ничтожество, как прочие уже завоеванные “агарянами” державы, или же через трудную военную победу обрести величие, славную высокую судьбу на века вперёд. Выбор был сделан, но не без колебаний со стороны немалой части элиты общества.

Знаменитое Стояние на реке Угре, когда русское воинство с боями удерживало татарскую рать, пытавшуюся переправиться через пограничную реку, стало финальной точкой в освобождении Руси от ордынского гнёта, в обретении ею независимости и цивилизационной самостоятельности. В школьной программе по истории эта масштабная оборонительная операция осени 1480 года подаётся как невнятное “топтанье” русского войска на берегах Угры, не стоящее большого внимания. В действительности же на Угре произошло событие грандиозной исторической значимости для дальнейшей судьбы России. Начало превращению Московского княжества в Русское царство было положено именно там и тогда. После двух с половиной столетий существования в качестве ордынского улуса, по сути, колонии, из которой регулярно выкачивали людские и материальные ресурсы да столь же регулярно наказывали её карательными ратями за строптивость, Русь обрела наконец-то долгожданный, выстраданный суверенитет.

Решиться на столь грандиозное деяние было непросто. Веками и поколениями русские люди свыкались с этим иноплеменным ярмом, платили дань, терпели разорения от татарских набегов, оплакивали тысячи угнанных в плен. Приноровились жить в узде и неволе. Ладно простой народ – крестьяне, городские тяглецы, не они принимают судьбоносные решения. Но столпы государства, вельможная аристократия, боярское окружение великого князя Московского!.. В природе человеческой, наряду с тягой к риску и “жаждой бурь”, есть и противоположное: противление переменам, нежелание ломать и рушить устоявшийся порядок, даже если этот порядок зол, тесен, несправедлив и безобразен. Страх лишиться нажитого имения и статусного положения, когда есть, что терять, малодушие, трусость, наконец, – эти свойства людские точно такие же участники исторических событий, как и бесстрашие, героизм, величие души.

История выносит таковым боязливым себялюбцам приговор, который, Впрочем, могут озвучить и современники событий. Применительно к тем, кто мутил воду во время Стояния на Угре, русская летопись лаконично враждебна и обличительна: “люди злые, сребролюбцы богатые и брюхатые, предатели христианские и угодники басурманские... Сам дьявол их устами говорит”.

Осенью 1480 года, судя по летописям, высшее общество Руси раскололось на две “партии” и их сторонников: тех, кто ратовал за военное противостояние нашествию ордынцев и желал победы, и тех, кто, словами летописца, “не думал против татар за христиан стоять и биться, а думал бежать прочь, помышляя о своём богатстве, жёнах и детях”. В какой пропорции разделилась тогда русская знать на “партию войны до победы” и “партию пораженцев-пацифистов”, кого было больше, кто преобладал в динамике процесса – нам неизвестно. Но оппозиция планам великого князя Ивана III скинуть окончательно ордынское ярмо была сильной, влиятельной и жёсткой. Настолько серьёзной, что борьба с нею выплеснулась в “информационное пространство” того времени и потребовала немалых усилий со стороны идеологов освобождения Руси от ига.

Ох, уж эти “пацифисты”... Предрекают поражение своей стране, а то и прямо мечтают о нём, призывают его на головы соотечественников. Приходите, завоевывайте нашу землю, грабьте и насилуйте её, губите, разделяйте и властвуйте над нею – мы не станем сопротивляться, мы хотим мира! Под лозунгом мира – позиция злейших врагов мира. Ибо мир на этой грешной земле, во зле лежащей, завоёвывается в кровавом бою. Так было от века, так будет и до века, пока не настанут апокалиптические “новая земля и новое небо”.

В русской истории этот кривой, однобокий “пацифизм” отметился не раз. Адепты его звали к поражению собственной страны и в Крымской войне, и в Русско-японской, и во Второй Отечественной (она же Первая мировая). Те же “пацифистские” силки расставляют и ныне России, вновь воюющей за свой суверенитет и свободное бытие. Как же всё это знакомо...

\* \* \*

В освобождении Руси от ордынского ига одну из главных ролей сыграло русское духовенство. Высшие церковные иерархи ясно сознавали, что нависавшая над русскими землями уже более двух веков татарская сабля не даёт стране и народу подняться, распрямить хребет, расправить плечи, выйти на путь свободного развития. И когда Руси представился очевидный шанс покончить с притязаниями Орды – когда хан Ахмат, возмнив себя вторым Батыем, двинулся ратью на русские земли, – духовенство наше составило ядро “партии победы” в окружении великого князя Московского.

В нерасторжимой связке действовали митрополит всея Руси Геронтий и Ростовский архиепископ Вассиан, духовник государя, пастырски побуждавшие Ивана III дать жёсткий отпор губительной ордынской угрозе. Кроме этих двух явных лидеров, “партию победы” составили мать великого князя Мария Ярославна (в монашестве Марфа), его двоюродный дядя Верейско-Белозерский князь Михаил Андреевич, московский наместник князь Иван Юрьевич Патрикеев и игумен Троице-Сергиева монастыря Паисий Ярославов. В противовес придворной же “партии коллаборации”, олицетворяемой в летописях именами бояр Ощеры и Мамона, патриотически настроенные представители русской элиты буквально умоляли великого князя действовать решительнее против полчищ Ахмата. Убеждали его отринуть колебания и сомнения, смело и мужественно выйти на бой с вековечным врагом и поработителем Руси. Как повествует летопись, осенью 1480 года Иван III приехал из Коломны в Москву “на совет и думу к своему отцу митрополиту Геронтию и к своей матери, великой княгине Марфе, и к своему дяде князю Михаилу Андреевичу, и к духовному своему отцу архиепископу Ростовскому Вассиану, и ко всем своим боярам, которые были тогда в Москве в осаде и молили его великим молением, чтобы стоял крепко за православное христианство против бесерменства. Князь же великий послушал моления их и, взяв благословение, пошёл на Угру...” Громче всех в этом хоре звучал голос вдохновенного проповедника и пламенного публициста Вассиана, возвысившийся до трубного звучания,

до раскалённых нот в самый пик Стояния на Угре, в октябре 1480 года. О нём и пойдёт речь.

Ставший духовником великого князя в середине 1460-х годов в сане настоятеля одного из кремлёвских монастырей, Вассиан продолжал неофициально оставаться в этом статусе до конца жизни, будучи Ростовским архиепископом. Со рвением и усердием он исполнял роль государева пастыря, собеседника, ближайшего советника. Почаству наезжал из Ростова в Москву, навещаясь в великокняжеские палаты и, очевидно, вёл с Иваном Васильевичем долгие беседы. О прошлых и будущих судьбах Руси, о величии и ничтожестве государей и государств, о добродетелях правителей, о древних исчезнувших и об уцелевших царствах, о причинах возвышения и падения великих держав. Между великим князем и его духовником сложились отношения взаимной приязни, глубокого почтения, дружбы – насколько возможна дружба в обычном понимании между светским лицом и духовным. В Иване III Ростовский владыка видел мощную политическую фигуру, человека недюжинных государственных способностей и нравственной силы. Несомненно, Вассиан возлагал на Ивана Васильевича надежды, что рано или поздно тот примет на свои плечи царское достоинство, перенеся его от погибшей греческой (Византийской) империи, а Русь Ивана III и его ближайших преемников расправит царственные орлиные крылья, как на эмблеме Константинопольских императоров. Оттого-то “Послание на Угру” Вассиана, написанное им в разгар событий осени 1480 года, красноречиво изобилует царским титулованием великого князя Московского. И очевидно, что своими публичными речами, церковными проповедями, тихими задушевными разговорами Вассиан готовил князя к этой высокой судьбе, к великой исторической роли. Личность горячая по характеру, темпераментная, Ростовский владыка, надо думать, умел зажигать внутренний огонь даже в таком хладнокровном, сдержанном, осторожном, скрытном человеке, каким был Иван III.

Ныне Вассиана Ростовского помнят именно как автора “Послания на Угру”. Вдохновенное его творение сверкнуло на небосводе русской истории яркой кометой: донныне это произведение древнерусской мысли знает широкий круг образованных людей. Оно сделалось визитной карточкой Вассиана Ростовского в столетиях. Но следовало бы чтить этого человека, прежде всего, как того, кто готовил Московского князя Ивана III к грандиозной исторической роли русского самодержца, создателя единой, независимой, сильной Руси. К той судьбе и к тем деяниям, которые стяжали Ивану Васильевичу прозвание Великого...

Ахматово нашествие, великое противостояние Руси и Орды 1480 года, разворачивавшееся на южных рубежах Московского государства, застало и удержало Вассиана в столице. Летом Иван III лично отправился с резервным войском к Коломне, и, очевидно, его отъезду предшествовала напутственная беседа великого князя с духовным пастырем. Не возбраняется предположить, что по духу и по категоричности Вассиана она напоминала напутствие древней спартанки сыну-воину: “Со щитом или на нём”, – то есть “возвращаясь с победой или погибни в бою”. В поход Ивана Васильевича, несомненно, сопровождало благословение не только митрополита Геронтия, но и Ростовского владыки на одоление супостатов.

Безусловно, Ростовский архиепископ остался в Москве для поддержки великого князя Ивана в этой тяжелой ситуации. Хотя столица Руси в ближайшее время могла – если бы татары прорвались через русский ратный заслон – оказаться под прямым ударом ордынцев. Могла быть взята в плотное кольцо осады, как семь десятилетий назад войсками темника Едигея. Могла вновь обратиться в пепел, как в год нашествия на Русь хана Тохтамыша, почти сто лет назад.

Можно представить, как не находил себе места от нетерпения духовник великого князя – от пламенных, обжигавших патриотических чувств, от неизвестности, на чью сторону склонится чаша весов, от желания быть в тот момент рядом с государем Московским там, где решалась судьба Руси. Вассиан сознавал, что час пробил, что Руси даётся шанс на окончательное освобождение от владычества Орды. Или она воспользуется этой возможностью, действуя решительно, дерзновенно, положившись на помощь Господню. Или упустит своё спасение и ещё на долгие годы останется пребывать под дамкловым мечом хищных ордынских ханов.

Вассиан был настроен на победу и никакой иной исход в расчёт не брал. Русская держава Ивана III – это уже совсем иная страна, нежели Московская Русь его отца, Василия II, а тем более деда или прадеда. Эта Русь милостью Божией – преемница Константинопольской империи, центр мирового Православия, без пяти минут царство, страна богоизбранная, с великой миссией хранения и распространения в мире Истины Христовой. Эта новая Русь не раз уже становилась темой разговоров великого князя и его духовника в прошлые годы. Настало время доказать делом, что Русь достойна статуса великой державы. Что она не смалодушничает, не предаст саму себя в роковой час, когда совершаются судьбы Божьи.

\* \* \*

В конце сентября 1480 года Иван III неожиданно для всех вернулся с окского рубежа в Москву. Ахмат, которому русская рать заградила путь через Оку, со своей ордой двигался на запад, к удобным бродам на реке Угре. Наше войско тоже перегруппировывалось. Великий князь воспользовался передышкой, чтобы организовать и укрепить оборону столицы, посоветоваться с боярами и церковными иерархами, как быть дальше. Уже в московском предместье Иван Васильевич с малой свитой попал в водоворот людской сумятицы. Посадские жители, бросая дома, по выражению летописца, “ношахуся в город в осаду” – перебирались под защиту городских стен. Но их страх моментально превратился в ужас, когда они узрели великого князя. По толпе тотчас пошёл ропот, в князя полетели злые выкрики: “Сам царя ордынского разгневал, дань ему не платишь, а нас теперь отдаёшь татарам!” Это бурление негативных человеческих эмоций, взбудораженность масс, ничего не понимающих, но чующих смертельную опасность, быстро распространились по Москве. Не был ли этот стихийный протест толпы подогрет и подготовлен заранее толками о том, что “война с татарами нам не нужна”, “лучше бы всё оставалось как было”, “платили бы дань хану, как раньше, и жили в мире, не рисковали бы сейчас животами и добром своим”; толками, сознательно распускаемыми среди простонародья агентами “партии пацифистов”?

Вассиан в тот день и час, очевидно, пребывал в Кремле. Дошедшие вести всполошили церковных иерархов. Мысль о малодушии, если не трусости великого князя огорчила и ошеломила их. Вместе с митрополитом Геронтием и прочим духовенством Ростовский владыка вышел навстречу государю. Некоторые летописи рисуют весьма экспрессивную картину этой встречи. Можно представить яркую драматическую сцену: первые мгновения напряжённого молчания; Иван III, сойдя с коня, кланяется архиереям. И даже не успевает взять у них приветственное благословение, как Ростовский архиепископ, шагнув вперёд, бросает ему в лицо резкие, гневные, обличительные слова. Называет князя бегуном, едва ли не трусом. “Выдаёшь людей на расправу хищнику, бежишь прочь, боя с врагом не принявши, не сразившись с татарами! Знай, что вся кровь невинная христиан загубленных падёт на тебя. Отчего боишься смерти на поле боя? Никто не бессмертен, смертного рока не избежать ни человеку, ни зверю, ни птице. Если ты, князь, не хочешь защитить своих людей, дай мне, старику, в руки оружие, и я пойду биться против татар!”

Подобных слов Иван III, которого позднее, как и его внука, называли Грозным, вероятно, ни от кого другого не потерпел бы. Но Вассиан всегда был прям, рубил, когда надо, сплеча, никогда не лукавил, не льстил. Был чист и прозрачен, как алмаз. Проникновенным словом докапывался до чужой совести, до потайных глубин, словом мог жечь или, напротив, залечивать раны. Вероятно, Иван Васильевич любил своего пастыря, во многом ему покорялся, многое от него терпел.

Но надо представить себе и состояние Вассиана в те мгновения. Волнение, сильнейшее недоумение, крепкая досада, разочарование, глубокая тревога. Вокруг – толки о страхе государя, о брошенном на Оке войске, об идущих на Москву вслед за Иваном татарах. Все великие надежды, упования едва не рухнули в одночасье. Неужели всё напрасно, неужели Русь ещё не заслужила свободу и Господь не даёт русским победы над “агарянами”?

Всегда скрытый, себе на уме, не спешивший объяснять даже ближнему окружению собственные действия и мотивы, Иван Васильевич вынужден был

терпеливо отчитаться о причинах приезда в Москву, успокоить священноначалие и всех прочих: вернулся не страха ради, а устроить дела. Москву государь распорядился затворить для осадного сидения на случай, если татары прорвутся. В осаде велел быть князю Белозерско-Верейскому Михаилу Андреевичу и Московскому наместнику князю Юрию Патрикееву. На осадном положении в столице остались и иерархи – митрополит Геронтий, Вассиан Ростовский, епископ Сарский (Крутицкий) Прохор. Но жену, княгиню Софью, сыновей и всех их светских людей Иван отправил из Москвы на север, подальше, чтобы схоронились там и с собой увезли государеву казну.

В последующие дни, вплоть до отъезда великого князя к войску, владыка Вассиан весьма активен (имя его раз за разом выводят перья летописцев). Он не перестаёт всеми способами убеждать Ивана III в необходимости дать отпор Орде. С митрополитом Геронтием и прочим духовенством непрестанно напоминает князю евангельское слово: “Подобает тебе, государю, положить душу свою за людей своих”. И, пожалуй, главное, чего добивается Вассиан в эти дни, – чтобы великий князь перестал внимать дурным советчикам из своего боярского окружения, из придворной “пораженческой партии”.

Осторожность Ивана в его стратегической “шахматной игре” с ханом Ахматом, его кажущаяся нерешительность и медлительность, выжидательная позиция, его настрой тянуть время и тактика изматывания врага в преддверие время – всё это создавало острое и неприятное впечатление трусоватых колебаний великого князя. В чём, к слову, Ивана III обвиняли и позднейшие историки. Мнение это несправедливо, основано на тогдашних слухах, на обыденском толковании действий великого князя. Ни о каком смирении перед Ахматом Иван Васильевич не помышлял, разрабатывая свои военнодипломатические хитрости. Но патристическое окружение государя, пребывавшее в неведении относительно его замыслов, подозревало, что он поддаётся внушениям “злых человек сребролюбцев богатых и брюхатых”. А те – придворная партия “мира с Ордой” – “глаголаху великому князю, ужас накладываючи”: живописали Ивану жуткие последствия вероятного разгрома русских татарами. Преувеличивая мощь ордынского войска, изливали князю в уши словесный яд: “Отведи войско и сам беги из Москвы, схоронись на стороне, пережди бурю. Нет у тебя сил, государь, биться с татарами, не можешь стать с ними на бой. Откупись от них русским серебром, помирись с Ахматом, яви покорность царю ордынскому. И сам цел останешься, и Москву, да и всю Русь от погибели убережёшь”.

Современный историк Д. М. Володихин в очерке об Иване III так комментирует эту ситуацию: “Подобными советами осаждают государя два великих “столпа державы” – бояре Иван Васильевич Ощера и Григорий Андреевич Мамон. Оба имеют значительные заслуги перед престолом правителей московских, просто так от них не отмахнёшься. И за спинами двух крупных государственных деятелей стоят, надо полагать, иные, помельче, но в большем количестве... Бог весть, сколько их. Бог весть, как они поведут себя, если правитель не приклонит ухо к их советам. Бог весть, не куплены ли они Ахматом. Значит, в тылу – элемент ненадёжности”. В том числе и потому Иван Васильевич так осторожен, тщательно продумывает и выверяет каждый шаг, внимательно наблюдает за реакцией на свои действия ближнего окружения. Наточивая меч на врага иноплеменного, не пропустить нож в спину от своих – одна из стоящих перед ним задач.

Драматизм, нагнетавшийся в те дни и недели не только в великокняжеских палатах, но и в домах московской знати, передаёт летопись: “Тогда же были многие размышления у многих людей, одни стремились до крови и смерти с нечестивыми бороться, другие же о бегстве помышляли, щадя свою жизнь, земли же Русской предателями желая явиться, а басурманам помощниками”.

Провожая Ивана III в начале октября к войску на Угру, Вассиан и митрополит Геронтий оставались в уверенности, что государь “не подведёт”. Он сам прилюдно, после молебна в Успенском соборе заверил их, что будет “крепко стоять и оборонять отечество”. Миновала пара недель. В Москве были получены ободряющие известия о многодневной схватке русских с татарами на берегах Угры, завершившейся в пользу православных. Упорный натиск ордынцев отбили с минимальными потерями в собственном войске. В столице радость и веселье.

Однако радость немедленно сменяется тревогой и негодованием от доходящих до столицы слухов. Патриотически настроенные москвичи удручённо толкуют меж собой, что великий князь повёл с хищным волком Ахматом переговоры о мире, шлёт ему дары. Опять поддался льстецам, которые нашёптывают Ивану предать народ свой, плюя на все его, государя, обещания биться с врагом до конца. Опять он колеблется и даёт слабину, униженно подставляет Русь ордынцам – нате, грызите дальше! Потому как итогом переговоров станет обновлённое ордынское иго над Русью, новые выплаты огромной дани и не будет конца-краю “татарским ратям” на русской земле – так и будут ходить волки по овцы.

“Ныне же слышали мы, – гласит “Послание на Угру”, передавая Вассианову печаль, – что... ты перед ним (Ахматом. – Н. И.) смиряешься и молишь о мире, и послал к нему послов. А он, окаянный, всё равно гневом дышит и моления твоего не слушает... А ещё дошло до нас, что прежние смутьяны не перестают шептать в ухо твоё слова обманные и советуют тебе не противиться супостатам... Что советуют тебе эти обманщики лжеиерейные, мнящие себя христианами? Одно лишь: побросать щиты и, нимало не сопротивляясь окаянным сыроядцам, предав христианство и отечество, изгнанниками скитаться по другим странам”.

Если б мог, Вассиан тотчас помчался бы в ставку великого князя – исправлять шатающуюся, как ему казалось, ситуацию. Но дело было не в одном лишь князе Иване. Судя по всему, мнение “партии пацифистов”, имея вид благоразумной и трезвомысленной идеи, получило довольно широкое распространение и поддержку в боярско-аристократических кругах Москвы. И Вассиан опасался, что на великого князя будут давить не только “смутьяны” из ближнего круга, но и всё это трусоватое “общественное мнение” корыстолюбцев и шкурников, для которых позорный мир с ханом был способом сохранить в целостности свои вотчины и дома с рухлядишкой.

Какие только доводы не приводили эти “угодники басурманские”. И русские-де слабы против Орды. И князя Дмитрия Донского после победы над Мамаем покарал хан Тохтамыш, спалив Москву. И отца великого князя, Василия II, татары побили и в плену держали. Всех православных государей, не только на Руси, “агаряне” теснят и давят, бьют и вынуждают к бегству. Царьград и тот погиб под их мечами! Видно, такова воля Божья, и надо смириться. Но особенно Вассиана поразил и возмутил самый “благочестивый” аргумент из сего вздорного набора. Мол, на ордынского царя нам, русским, руку поднимать нельзя, мы издревле, от наших прародителей – его слуги и данники; князья русские, получая ярлык на княжение, давали клятву верности ханам. Мол, не следует христианам рушить свои клятвы и идти против законного, пускай и басурманского царя. Всякая власть от Бога!

Доводы эти следовало разбить в пух и прах. И сделать это было необходимо не один на один с великим князем, а во всеуслышание, в публичном пространстве. Поэтому “Послание на Угру”, которое немедленно взялся писать Вассиан, адресовано не только Ивану III. Это литературный приём – обращение к широкой аудитории под видом личного письма к конкретному лицу. “Послание на Угру” – полемическая манифестация “партии патриотов”, широко-вещательное воззвание, призванное прекратить в высших слоях служилого московского общества кривые пораженческие толки.

В конце концов, кому, как не церковным иерархам, с “общественной трибуны” той эпохи призывать к защите веры и отечества? Кому, как не превосходно образованному, эрудированному архиерею, опровергать все эти как бы благочестивые глупости о клятве “царям”-иноверцам и непротивлении злу силой? Вассиан исполнил свою задачу с блеском.

Некоторые историки даже высказывали сомнения: а было ли послание отправлено в ставку Ивана III? Или сразу пошло распространяться в списках, переходить из рук в руки? Может, Иван Васильевич лишь позднее ознакомился с ним, когда победа на Угре уже отгремела? Но думается всё же, великий князь послание своего духовника получил вовремя и не без воодушевления прочёл его.

“Куда же ты уходишь, кому оставляешь нас?...” – горестно адресуется к князю автор “Послания”. Намерений бегства Иван III не выказывал, и, конечно, это в большой степени риторическая фигура речи, преувеличение, чтобы подчеркнуть остроту ситуации. Вассиан берёт широкий исторический



контекст, современный его эпохе и, естественно, хорошо знакомый и великому князю, и боярам — “злым советчикам”. Турецкая экспансия одно за другим поглотила все южные православные страны, включая крымские греческие княжества и балканские земли. Правители их были убиты или стали изгнанниками-скитальцами, находившими приют в том числе на Руси. “Такие тьмы народа погибли!” — сокрушается Вассиан. Но Русь должна стоять! Именно потому, что все другие погибли, и должна она выстоять, давая отпор натиску “басурман”. Вот что хочет сказать автор послания. “Кольцо фронтов” сжимается, “агаряне” теснят отовсюду, и Русь осталась единственной православной державой, которая должна спасти свою государственность, сохранить Церковь Христову.

Не о бегстве князя речь, а о том, что бежать Ивану некуда и отступить невозможно — позади Москва, новый Рим, новый Царьград, последний оплот православной Истины в мире. И хотя Русь ещё недостаточно сильна в военно-политическом плане, а кому-то кажется и вовсе слабой, Господь ей поможет, восполнит её силу. Вассиан напоминает, великому князю, что не в силе Бог, а в правде, напоминая известное высказывание Александра Невского, цитируя Священное Писание, обильно приводя исторические примеры.

В русской традиции издревле воинские подвиги, совершённые в защиту отечества, стоят в одном ряду с подвигами во имя веры и Христа. Православный, положивший жизнь свою на поле брани “за други своя”, “за веру и за Церковь Божию”, считается мучеником за святое дело. Приводя в пример Ивану III его прадеда князя Дмитрия Донского, русское воинство на Куликовом поле, Вассиан пишет, что они “от Бога получили оставление грехов и мученическими венцами почтены были, так же как и древние мученики, которые за веру пострадали от мучителей, за исповедание веры Христовой умерли”. К этому наивысшему христианскому подвигу зовёт автор послания Ивана III.

Но тут и встаёт поперёк прямого пути самый “убойный” довод “партии примиренцев”: о клятве верности ханам, которую давали русские князья ордынской эпохи. Как справедливо заметил историк Ю. Г. Алексеев, “к 1480 году Русское государство ни фактически, ни формально не признавало старую традицию зависимости от Орды... Невозможно себе представить, чтобы великий князь, вступивший на престол без ярлыка, ни разу не побывавший в Орде, в течение ряда лет не плативший “выхода”, тщательно готовившийся к борьбе с Ахматом и уже имевший опыт боевых столкновений с ним (под Алексином), мог реально, всерьёз считаться с этой “клятвой”. Однако Вассиан, рассуждая о “клятве”, о смирении пред “царём”, о котором упрасивали Ивана III иные его бояре, подразумевает под этим словом нечто другое. А именно — апостольский завет “нет власти не от Бога”, вкривь и вкось толкуемый досужими умами из стана “примиренцев”. Разбить их аргументы Вассиану было мало. Он должен был дать обществу, русской политической элите интеллектуальное обоснование независимости Руси. Почему не только де-факто, но и де-юре она смеет говорить о своей свободе от ордынских “царей” и практически реализовывать эту свободу, то есть воевать с Ордой, когда та угрожает русским землям?

Да, Русь два с лишним века назад стала улусом татаро-монгольской державы и вынуждена была повинаться ханам, как “царям”. Бог покарал русский народ и русских князей за грехи их. Да, христианин должен повинаться любой власти, но лишь до тех пор, пока она не покушается “на разрушение и истребление всему христианству, на святых церковей запустение и осквернение”. В этом случае верность безбожной власти будет прямым путём в ад. И если есть силы для отпора — следует их направить на борьбу с “разбойником, хищником и богоборцем”, как называет Вассиан Ахмата.

Да, всякая власть от Бога. Есть власть благоверных государей, дарованная народу Господом. Но есть и попущенная Им власть злых, скверных правителей, богомерзких самозванцев и беззаконных узурпаторов; власть, которая легитимируется лишь правом силы. И длится она ровно до тех пор, пока наказанный народ не прекратит гневить Бога и не покается от всего сердца, пока не искупит своими страданиями все совершённые прежде преступления. Тогда сила безбожной власти слабеет, и она утрачивает легитимность, основанную на принципе “кто сильнее, того и закон”. Библейская история древних иудеев полна подобных примеров, Вассиан перечисляет их. “Когда же казались они, тогда ставил им Бог от племени их правителей и избавлял их от рабства иноплеменников, и были иноплеменники у них в рабстве”.

Так будет и на Руси, уверен Вассиан. Русь освободится и покорит своих прежних завоевателей. В этом он пророк. Его предвидение будущего основано на христианской историософии, на знании сокровенных пружин, действующих в истории, — нравственного закона. Ростовский владыка далёк от мысли, что Русь вполне очистилась от своих грехов. Но всё говорит о том, что сроки наказания Божия истекают. Надо лишь сделать последний шаг — предъявить свою готовность к соработничеству со Всевышним. А это значит — отринув лукавые мудрствования, продемонстрировать крепкую веру, твёрдую волю и мужество.

По сути, освобождая именем Церкви Ивана III от “клятвы” ханам, Вассиан ставит точку в истории ордынского ига на Руси. Он заявляет: нет больше ига, оно расточилось, Бог его развеял по ветру. Есть только враг — ханская Орда, и её нужно побеждать. Каким способом побеждать — это государю и его воеводам виднее. Главное — не уклоняться от схватки.

О значении Вассианова послания Н. М. Карамзин высказался кратко и ёмко: “Прочитав сие письмо, достойное великой души бессмертного мужа, Иоанн, как сказано в летописях, исполнился веселия, мужества и крепости; не мыслил более о средствах мира, но мыслил единственно о средствах победы и готовился к битве”.

В начале ноября ордынское войско покинуло берег Угры, так и не воспользовавшись для переправы через реку льдом, рано сковавшим её. Ахмат несолоно хлебавши уходил обратно в степи. В русском стане ликовали, праздную бегство врага. “Отстояли Русь!” В тяжком противоборстве страна обрела вождевленную, выстраданную за два с лишним столетия свободу.

“О храбрые, мужественные сыновья русские! — восклицает современник событий, летописец из ростовского архиерейского дома, близкий по духу к владыке Вассиану. — Потрудитесь, чтобы спасти своё отечество, Русскую землю, от неверных, не пощадите своей жизни, да не узрят ваши очи пленения и разграбления домов ваших, и убиения детей ваших, и поругания над жёнами и детьми вашими, как пострадали иные великие и славные земли от турок...” Но потрудились не только воины и князья. В параллель летописцу церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) дополняет: “Беспристрастная история никогда не забудет, что в деле окончательного освобождения России из-под ига татарского русское духовенство принимало самое горячее и самое благодетельное участие”.

Бурная осень 1480 года стала для архиепископа Ростова Великого пиком его судьбы. Роль идеолога, философа освобождения Руси от власти ордынцев-поработителей стала его звёздной ролью в русской истории. Вложив всю душу в это действие, он прожил после того недолго — умер весной следующего года. Будто и впрямь отдал все свои жизненные силы русской победе, русской свободе.

МИХАИЛ СЕМЁНОВ

АКАДЕМИК ИГОРЬ КУРЧАТОВ:  
“Я СЧАСТЛИВ,  
ЧТО РОДИЛСЯ В РОССИИ...”

*Нет больше той любви, как если кто  
положит душу свою за друзей своих.*

Евангелие от Иоанна 15:13

*Человек есть тайна. Её надо разга-  
дать, и ежели будешь её разгадывать  
всю жизнь, то не говори, что потерял  
время; я занимаюсь этой тайной, ибо  
хочу быть человеком.*

Фёдор Достоевский

На северо-западе Москвы, на территории Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” находится небольшое двухэтажное здание, окружённое плодоносящим фруктовым садом. В этом особняке, построенном в 1946 году по проекту, разработанному под началом зодчего И. В. Жолтовского, прошли последние 14 лет жизни выдающегося физика-экспериментатора XX века, научного руководителя советского Атомного проекта академика И. В. Курчатова. Сейчас здесь находится его Мемориальный дом-музей, открытый 12 января 1970 года.

Многие люди разных поколений, профессий и национальностей, переступавшие порог этого здания, оставляли записи в книге посетителей. Некоторые из них просто невозможно обойти вниманием.

“Этот дом сохраняет образ великого Курчатова, человека родной истории. Кажется, что он сейчас выйдет навстречу, так всё живо вокруг... 24.02.1970. Сергей Герасимов, Тамара Макарова.

“Курчатовская палка намного тяжелее моей! А рояль госпожи Курчатовой хорошо звучит”. 08.08.1992. Эдвард Теллер (США).

“Здесь находится один из жизнетворных первоисточников величия и непобедимости России. Великое счастье быть причастным к этому и ответственным за то, чтобы Россия оставалась великой и могучей, каким был её славный сын Игорь Васильевич Курчатов, всегда!” 02.03.2001. Ж. Алфёров. Академик РАН, лауреат Нобелевской премии, г. С.-Петербург.

Игорь Васильевич Курчатov родился 30 декабря 1902 года (12 января 1903-го) в посёлке Симский Завод Уфимской губернии (ныне город Сим Челябинской области) и был крещён в Дмитриевской церкви. Отец его, Василий Алексеевич, выходец из крестьян, окончил Землемерное училище в Уфе и работал помощником лесничего; за многолетний добросовестный труд он был награждён четырьмя орденами, стал почётным гражданином и выслужил личное дворянство. Мать, Мария Васильевна (в девичестве Остроумова), принадлежала к духовному сословию и окончила Уфимское епархиальное женское училище.

В 1908 году семья переехала в Симбирск, а в 1912-м – в Крым, где Игорь поступил в первый класс Симферопольской мужской Александра I Благословенного гимназии<sup>1</sup>. История этого учебного заведения, основанного в далёком 1812 году, богата на имена и события. Достаточно сказать, что воспитанниками гимназии были такие известные люди, как художник-маринист И. К. Айвазовский, гидроэнергетик Г. О. Графтио, славяновед Н. С. Державин, радиофизик Н. Д. Папалекси, композитор А. А. Спендиаров.

Семейные предания позволяют нам представить образ жизни Курчатова-гимназиста. Он много читал (вначале это были детективы, позже – приключенческая и научно-фантастическая литература, а затем и произведения отечественной и мировой классики). Увлекался французской борьбой и футболом, играл в самодеятельном струнном оркестре на балалайке и мандолине. В старших классах, мечтая о профессии инженера, проштудировал книгу Томаса В. Корбина “Успехи современной техники” и самостоятельно изучил вузовский курс аналитической геометрии. Посещал уроки в вечерней ремесленной школе и, освоив слесарное дело, подрабатывал на литейно-механическом заводе Я. И. Тиссена.

В 1920 году Игорь Курчатov оканчивает гимназию с золотой медалью и становится студентом физико-математического факультета Таврического (Крымского) университета, который в ту пору славился высоким уровнем профессорско-преподавательского состава. Здесь работали выдающийся мыслитель и естествоиспытатель В. И. Вернадский, историк Б. Д. Греков, физик-теоретик И. Е. Тамм, математики Н. М. Крылов и В. И. Смирнов, ботаник и биохимик В. И. Палладин, геолог и географ В. А. Обручев.

На первом курсе юноша познакомился с Верой Тагеевой – 18-летней девушкой из Петрограда, оказавшейся в то время в Крыму. Между молодыми людьми вспыхнуло романтическое чувство (по-видимому, первое в их жизни) и несколько лет они переписывались; он называл её “Капеллой”, она его – “Блистательным Орионом”. Вот несколько строк из её писем:

“... В восторг меня приводите Вы Вашей бодростью, верой в прекрасную жизнь... во всё хорошее и красивое, и в себя! Игорь – Вы единственный среди тысяч”; “... Всею душой я могу откликнуться на Ваши переживания. Всё, о чём Вы пишете, понятно и близко мне самой и особенно то, что Вы говорите о детях, об Алёше Карамазове”; “Ваша отрешённость от сует этой жизни восхищает меня... уходя в науку, Вы собираете такие духовные силы, которые никогда не даст Вам жизнь. И выйдете в жизнь Вы сильный, неизломанный и богатый душою, ведь это самое ценное”.

Этому роману в письмах не суждено будет продолжиться. В 1926 году Вера выйдет замуж за В. В. Семёнова-Тян-Шанского – внука знаменитого географа. А спустя год Игорь женится на сестре своего друга – М. Д. Синельниковой, которая станет его ангелом-хранителем и будет стремиться “всемерно помогать любимому человеку”. А пока...

А пока Курчатov досрочно, в 1923 году, завершает учебу в университете и отправляется в Северную столицу. Там он снова становится студентом – теперь уже третьего курса кораблестроительного факультета Петроградского политехнического института, однако, проучившись один семестр, оставляет вуз. Его влечёт дух научного поиска: он работает наблюдателем в Магнитометeorологической обсерватории в Павловске, инспектором Гидрометеорологической станции Чёрного и Азовского морей в Феодосии, ассистентом кафедры физики Азербайджанского политехнического института в Баку.

Следует отметить, что за два года, прошедших после окончания *alma mater*, молодой человек выполнил ряд исследований и опубликовал полученные результаты в виде статей в научных изданиях. Среди них – “К вопросу

о радиоактивности снега”, “Опыт применения гармонического анализа к исследованию приливов и отливов Чёрного моря”, “Об электролизе при алюминиевом аноде”<sup>2</sup>.

## 2

В 1925 году Курчатов был приглашён академиком А. Ф. Иоффе на работу в возглавляемый им Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ). 18 лет, проведённые в этом научном центре, стали для Игоря Васильевича, пожалуй, лучшим временем его жизни.

Первый этап работы учёного в институте был связан с исследованиями физики твёрдых диэлектриков (в особенности кристаллов сегнетовой соли) и полупроводников – исследованиями<sup>3</sup>, за которые ему в 1934 году без защиты диссертации была присуждена учёная степень доктора физико-математических наук.

Ещё в 1932 году<sup>4</sup> Игорь Васильевич приступает к работам в области ядерной физики. Вместе с коллегами он открывает два явления: разветвление ядерных реакций, вызываемых нейтронной бомбардировкой (1934), и ядерную изомерию искусственно-радиоактивных изотопов (1935). В ходе дальнейших экспериментов (по делению тяжёлых ядер), проводившихся под научным руководством И. В. Курчатова, его ученики Г. Н. Флёров и К. А. Петржак обнаруживают новый вид радиоактивности – спонтанное деление ядер урана (1940).

Учёный внёс весомый вклад и в создание ускорительной техники. Примерами тому могут служить его деятельное участие в сооружении в ЛФТИ в 1933 году высоковольтного ускорителя протонов, а также в усовершенствовании в 1937–1940 годах и вводе в действие циклотрона Государственного радиевого института.

Научную деятельность Курчатов плодотворно совмещал с преподавательской. Так, в 1935–1941 годах он работал в Ленинградском городском педагогическом институте им. М. Н. Покровского, где, в числе прочего, читал учебные курсы “Электронные явления” и “Физика атомного ядра”, а также руководил научным семинаром и подготовкой кандидатских диссертаций. Воспоминания его бывших студентов и аспирантов свидетельствуют: Игорь Васильевич, безусловно, обладал незаурядным педагогическим даром и оставил в душах учеников неизгладимый след.

Отдельная тема – это высокая публикационная активность учёного. За время работы в ЛФТИ из-под его пера выходят в свет (отчасти в соавторстве) научные статьи, обзоры для реферативных отделов журналов, монографии, учебники, материалы для справочной литературы. Наиболее известными из этих работ являются:

“Сегнетоэлектрики” (1933) – первая в мире монография по сегнетоэлектричеству, сокращённый вариант которой в 1936 году был издан во Франции;

“Расщепление атомного ядра” (1935) – монография, в которой представлен критический обзор основных экспериментальных данных, полученных в области ядерных превращений.

В 1930-е годы начинает проявляться и организаторский талант Курчатова, причём не только в создании сплочённых групп исследователей, но и в проведении научных форумов и работе в составе высокостатусных комиссий. Учёный возглавлял оргкомитеты 1-й Всесоюзной конференции по физике полупроводников (Ленинград, 1931) и 1-й Всесоюзной конференции по физике атомного ядра (Ленинград, 1933). В 1938 году он был введён в состав постоянной Комиссии по атомному ядру при Физико-математическом отделении АН СССР, а в 1940-м стал членом Комиссии по проблеме урана при Президиуме Академии наук.

С началом Великой Отечественной войны Игорь Васильевич вместе с другими сотрудниками ЛФТИ включился в исследования по военной тематике. В августе 1941-го он был назначен научным консультантом Управления кораблестроения ВМФ СССР и в дальнейшем руководил работами по защите военных судов от магнитных мин<sup>5</sup> в Севастополе (август – октябрь 1941 г.), Поти и Туапсе (ноябрь – декабрь 1941 г.), Баку (первая декада января 1942 г.), Полярном и Ваенге (вторая половина февраля 1943 г.). Кроме того, в апреле 1942-го он принял руководство специальной лабораторией ЛФТИ в Казани, занимавшейся совершенствованием броневой защиты военной техники.

Оценка гражданской позиции и деятельности учёного в годину испытаний содержится в его характеристике, подписанной заместителем директора института М. С. Соминским. В ней, в частности, говорится:

“И. В. Курчатов подлинный советский патриот, беззаветно преданный нашей Родине. После начала войны с германским фашизмом он категорически отказался дальше работать в области чистой науки и хотел немедленно идти на фронт. Пришлось применить самые резкие меры, для того чтобы убедить Курчатова остаться в Институте; тогда он категорически потребовал от дирекции Института такой работы, которая может принести пользу Красной Армии. Эту работу он получил и буквально героически её провёл в условиях боевой обстановки.

И. В. Курчатов принадлежит к той категории людей, которые готовы по первому зову партии и правительства отдать свою жизнь за нашу Родину”.

### 3

28 сентября 1942 года И. В. Сталин подписал Распоряжение Государственного комитета обороны (ГКО) № 2352сс, которое обязывало Академию наук СССР возобновить прерванные войной “работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путём расщепления ядра урана”, а также организовать “специальную лабораторию атомного ядра”<sup>6</sup>. Вскоре И. В. Курчатов был вызван в Москву и по поручению первого заместителя председателя Совнаркома В. М. Молотова подготовил докладную записку с “анализом разведматериалов и предложениями об организации работ по созданию атомного оружия в СССР”. 11 февраля 1943 года Распоряжением ГКО № ГОКО-2872сс на Игоря Васильевича было возложено “научное руководство работами по урану”, а 10 марта того же года было подписано Распоряжение № 122 по Академии наук о его назначении начальником Лаборатории № 2.

Обратим внимание: в это время учёный ещё не являлся ни академиком, ни даже членом-корреспондентом и не состоял в ВКП(б). Кроме того, имел “проблемных” родственников: его отец в 1924 году был репрессирован (выслан из Крыма в Бугульму), а шурин был женат на Эдне Купер – англичанке по происхождению. Получается, что придраться было к чему. И тем не менее...

Здесь, чтобы предупредить возможные вопросы и споры, хотелось бы привести слова академика Л. П. Феоктистова – авторитетного специалиста, принимавшего участие в разработке ядерного и термоядерного оружия. В предисловии к трёхтомному изданию “Атомный проект СССР: Документы и материалы” он пишет:

“О И. В. Курчатове часто говорят, как об организаторе науки и атомной промышленности. В этом есть что-то недосказанное. Курчатов прежде всего выдающийся учёный, на которого страна возложила великую миссию. Почитайте его многочисленные письма в правительство, отчёты, обращения в разведку, и перед вами возникает образ человека, который уже тогда, на самой ранней стадии, всё понимал и очень чётко формулировал. На него и ни на кого другого была возложена ответственность выбора (тогда – далеко неоднозначного) того кратчайшего по времени пути, который ведёт к цели.

Совсем неслучайно ещё в 1940 г. А. Ф. Иоффе предлагает возложить общее руководство урановой проблемой на 38-летнего И. В. Курчатова “как лучшего знатока вопроса”.

После испытания ядерного оружия в США (полигон Аламогордо, 16 июля 1945 г.) и последующих бомбардировок Хиросимы и Нагасаки работы по урану в Советском Союзе приобретают первостепенную национальную значимость. Для руководства этими работами Постановлением ГКО № 9887сс/оп от 20 августа 1945 года создаются новые государственные органы, наделённые широкими полномочиями: Специальный комитет (СК) при ГКО и Первое главное управление (ПГУ) при СНК СССР (И. В. Курчатов входит в состав СК и функционирующего при нём Технического совета). С этого момента принимаемые меры начали носить мобилизационный характер, а вся деятельность участников Атомного проекта оказалась под жёстким контролем. “Начавшиеся отдельными лабораторными опытами работы охватили многие физические, химические, металлургические, военные и прочие организации, – отмечает доктор исторических наук Р. В. Кузнецова. – По размаху они превзошли строительство крупнейших сооружений, по важности – имели огромное стратегическое значение; в историческом плане – явились началом НТР, а по

материальным затратам – составили примерно столько же, сколько за всю войну”. Добавим: проект явился точкой приложения интеллектуальных усилий большого числа специалистов, составляющих цвет научной и технической мысли страны – физиков (И. В. Курчатов, И. К. Кикоин, Л. А. Арцимович, Б. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, К. И. Щёлкин, А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм), математиков (М. В. Келдыш, А. Н. Тихонов, А. А. Самарский), а также государственных деятелей и организаторов промышленности (Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, В. А. Малышев, М. Г. Первухин, Е. П. Славский).

Рассказ об отечественном атомном проекте выглядел бы неполным без упоминания о важнейших вехах на пути его реализации. К таковым, вне всякого сомнения, можно отнести следующие:

- пуск первого в СССР опытного физического уран-графитового реактора Ф-1 (Москва, 25 декабря 1946 г.);

- вывод на проектную мощность промышленного уран-графитового реактора “А” для наработки оружейного плутония (Челябинск-40, 19 июня 1948 г.);

- испытание первой в СССР атомной бомбы РДС-1 (Семипалатинский полигон, 29 августа 1949 г.);

- начало работы газодиффузионного завода Д-1 по обогащению урана (Свердловск-44, ноябрь 1949 г.);

- пуск реактора АИ, предназначенного для производства трития – “горючего” для термоядерных бомб (Челябинск-40, декабрь 1951 г.);

- испытание первой в мире термоядерной бомбы РДС-бс (Семипалатинский полигон, 12 августа 1953 г.).

Создавая оружие страшной разрушительной силы, Курчатов, вместе с тем, стоял у истоков рождения “мирного атома”<sup>7</sup>. В конце 1940-х годов в его лаборатории (а затем и в других научных учреждениях) были развёрнуты исследовательские и проектно-конструкторские работы в области атомной энергетики (в них большой вклад внесли А. П. Александров, Н. А. Доллежал, Д. И. Блохинцев и др.). Результаты впечатляют. Так, 27 июня 1954 года состоялся пуск Обнинской АЭС – первой в мире атомной электростанции опытно-промышленного назначения мощностью 5 МВт, а 31 декабря 1959 года был введён в эксплуатацию атомный ледокол “Ленин” – первое в мире невоенное судно с ядерной силовой установкой.

Начиная с 1951 года в ЛИПАН стали проводиться исследования по управляемому термоядерному синтезу (УТС), осуществление которого является заветной целью физиков-ядерщиков. Игорь Васильевич говорил: “Управляемая термоядерная реакция должна позволить получить энергию не за счёт её запасов, сосредоточенных в атомных ядрах редких элементов – урана и тория, а за счёт образования гелия из широко распространённого в природе вещества – водорода. Решение этой труднейшей и величественной задачи навсегда сняло бы с человечества заботу о необходимых для его существования на земле запасах энергии”.

25 апреля 1956 года И. В. Курчатов, находившийся в Великобритании в составе советской правительственной делегации, посетил атомный центр в Харуэлле. Там он прочитал две лекции: “Некоторые вопросы развития атомной энергетики в СССР” и “О возможности создания термоядерных реакций в газовом разряде”. Особый интерес у слушателей вызвала вторая из этих лекций. Она способствовала не только рассекречиванию работ по УТС, но и развитию международного сотрудничества по термоядерным исследованиям в мирных целях.

Разработка средств дальнего обнаружения ядерных взрывов, совершенствование системы обеспечения радиационной безопасности персонала АЭС, применение ядерных излучений в науке и технике, сооружение установки “Огра” для получения и исследования высокотемпературной плазмы, создание Объединённого института ядерных исследований в Дубне, подготовка докладчиков для участия в 1-й (1955) и 2-й (1958) Женевских конференциях по мирному использованию атомной энергии, борьба за всеобщее прекращение испытаний ядерного и водородного оружия – таков далеко не полный перечень важнейших вопросов, которыми занимался Игорь Васильевич в последние годы своей жизни. Он словно предчувствовал близость конца и спешил сделать как можно больше...

Сердце учёного остановилось 7 февраля 1960 года. Спустя два дня он был похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

И. В. Курчатов обладал редким набором человеческих качеств. Сокурсница Игоря Васильевича по университету А. В. Поройкова отмечала его “непостижимое трудолюбие”, кандидат физико-математических наук В. К. Крицкая — “абсолютную бескомпромиссность в вопросах научной этики”, контр-адмирал-инженер Б. А. Ткаченко — “колоссальную научную интуицию”, член Лондонского Королевского общества Дж. Кокрофт — “живой ум”, министр среднего машиностроения Е. П. Славский — “широчайшую эрудицию”, доктор физико-математических наук Н. А. Власов — “необыкновенную простоту”, член-корреспондент АН СССР В. С. Емельянов — “абсолютное бескорыстие”, академик А. И. Алиханов — “неистовость в работе”.

Приведём теперь подробные высказывания — они помогут читателю получить более полное представление об учёном.

Кандидат физико-математических наук А. В. Морозов:

“Игорь Васильевич был человеком высокого роста, имел превосходную фигуру, изящные тонкие руки, открытое приветливое лицо и красивый тембр голоса, весёлый характер. А в глазах его, полных ласки и приветия, всегда искрился вдохновенный огонь творчества — так обаятельна была внешность этого замечательного человека.

Жажда познания, интерес к тому, чего он ещё не знает, глубокая убежденность, что наука имеет огромное значение для человечества, горение, вдохновенное отношение к труду и полная всего себя отдача делу — вот чем руководствовался в своей жизни и деятельности Игорь Васильевич и чему он учил своих учеников и студентов”.

Доктор физико-математических наук Ю. В. Сивинцев:

“С моей точки зрения, лучше всего характеризует Курчатова как человека великолепный лесопарк, выращенный его трудами и заботами на территории бывшего артиллерийского полигона, где ныне расположены корпуса Института атомной энергии. Заканчивая в 3-4 часа ночи рабочие сутки (сказать “рабочий день” было бы архинеточно!) и начиная в 10 утра новый день, Игорь Васильевич ухитрялся найти время на новые посадки деревьев и на обстоятельную, со знанием дела беседу с садовником. Из-под Курска были завезены знаменитые соловьи, откуда-то — не менее именитые белки, на клумбах расцвели трогающие душу полевые и декоративные цветы. Между двумя первыми ядерными реакторами, расположенными на двух противоположных концах институтской территории, поднялись и стали плодоносить яблоневые и вишнёвые деревья”.

Историк-архивист Р. В. Кузнецова:

“Архивные документы рассказывают, как Курчатовы много раз передавали большие средства в детские сады и дома, 20 лет помогали обездоленным детям погибшего в Ленинграде во время войны сотрудника Педагогического института, лаборанта Курчатова в Физтехе Петра Ивановича Короткевича. Игорь Васильевич помнил всю свою родню с Урала. Никого не оставлял в нужде. Гонорары за книги и выступления в печати, поступления от премий перечислялись детям. Первый детский сад Института атомной энергии и детский дом на Пехотной улице в Москве были построены на Ленинскую, Сталинскую и другие премии Курчатова. Делали это супруги тайно, никому не говоря. Разделяя чувства супруга, Марина Дмитриевна помогала ему. А когда его не стало, она до конца своей жизни продолжала его благотворительные дела”.

М. Д. Курчатова:

“Игорь как в юности, так и позже был незлобивым человеком, умел прощать, никогда не мстил никому, был очень доброжелательным: умел отбрасывать плохое в людях. Один человек через головы всех писал на него страшные доносы, от которых Игорь мог погибнуть. Он знал, кто это делал, и тем не менее у него не было и тени недоброжелательства, он относился к этому явлению спокойно, только скажет, бывало: “Ведь он работает хорошо”.

В январе 1960 года, во время своего последнего посещения Украины, Игорь Васильевич поведал директору Харьковского физико-технического института К. Д. Синельникову о своей мечте: “Пешком с котомкой за плечами



отправиться в путешествие по странам и континентам, повстречаться с разными людьми, поговорить с ними о добром и вечном, — все свои дела оставив молодёжи”. Читая эти удивительные строки, можно только догадываться, какие духовные горизонты начали открываться на закате жизни перед нашим мудрецом.

\* \* \*

Академик И. В. Курчатов трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1949, 1951, 1954); он лауреат Ленинской (1957) и четырёх Сталинских премий первой степени (1942, 1949, 1951, 1954), награждён пятью орденами Ленина и двумя — Трудового Красного Знамени. Среди других его наград — медали “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, “В память 800-летия Москвы” и Серебряная медаль Мира им. Ф. Жолио-Кюри.

Память об Игоре Васильевиче увековечена в названиях основанного им института и Белоярской атомной электростанции. Его именем были названы город в Курской области, кратер на обратной стороне Луны, астероид 2352, научно-исследовательское судно, гимназия в Симферополе, международный аэропорт столицы Южного Урала. Памятники великому учёному установлены в Москве, Дубне, Челябинске, Озёрске и других городах России. Академией наук СССР была учреждена Золотая медаль имени И. В. Курчатова, которая присуждается за выдающиеся работы в области ядерной физики.

**P. S.** Автор выражает искреннюю признательность историку-архивисту, доктору исторических наук Р. В. Кузнецовой за проявленное внимание и ценные советы при написании статьи.

Раиса Васильевна 38 лет проработала директором Мемориального дома-музея академика И. В. Курчатова и внесла большой вклад в сохранение памяти о великом ученом и гуманисте.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> В настоящее время это МБОУ “Гимназия № 1 им. И. В. Курчатова”.

<sup>2</sup> Последняя из названных работ написана в соавторстве с З. Е. Лобановой.

<sup>3</sup> В проведении этих исследований участвовали П. П. Кобеко, Б. В. Курчатов, К. Д. Синельников и др.

<sup>4</sup> 1932-й иногда называют “золотым годом” в истории ядерной физики. Дж. Чедвик открывает нейтрон, Г. Юри — тяжёлый водород (дейтерий), К. Андерсон обнаруживает позитроны в потоке космических лучей, Дж. Кокрофт и Э. Уолтон впервые расщепляют ядра лития искусственно ускоренными протонами... Закономерно, что в декабре этого года в ЛФТИ создаётся особая группа по ядру, которая в мае 1933-го преобразуется в отдел ядерной физики во главе с И. В. Курчатовым.

<sup>5</sup> Эти работы основывались на предложенных лабораторией А. П. Александрова методах размагничивания кораблей.

<sup>6</sup> Эта лаборатория создавалась на базе казанской группы ЛФТИ, в 1943 году переведена в Москву и стала называться “Лаборатория № 2”. 12 апреля 1943-го “узаконена” в структуре Академии наук, а в 1944-м получила права академического института. В 1949-м переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН), а последняя в 1956-м — в Институт атомной энергии (ИАЭ) АН СССР. Ныне это Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”.

<sup>7</sup> В докладе И. В. Курчатова И. В. Сталину о ходе работ по использованию внутриатомной энергии, датированном 12 февраля 1946 года, подчёркивается: “Нет сомнения в том, что атомная энергия и радиоактивные вещества, которые будут получаться в атомных установках, найдут в недалёком будущем разнообразные применения в технике, химии, биологии и медицине. Возникнут, вероятно, возможности преобразования внутриатомной энергии не только в тепловую, но и в другие формы энергии (электрическую и химическую), будут разработаны конструкции двигателей, использующих энергию урана. Своевременно уже сейчас начать работу в перечисленных направлениях”.

АЛЕКСАНДР МОСКВИН

## НА ФОНЕ КАТАСТРОФЫ

*Елена Тулушева. Небо, любовь моя. — М.: АСПИ, 2022. 216 с.*

Редкое критическое высказывание о творчестве Елены Тулушевой обходится без упоминания, что она получила психологическое образование и долгое время трудилась психологом. Обычно писателю, работающему в русле реализма, профессия просто подкидывает какие-то сюжеты, идеи, характеры, но для Тулушевой психология становится надёжным инструментом, помогающим глубже проникнуть в душу персонажей. Речь идёт не просто о психологизме, который обнаруживается в любой хорошей прозе, — Тулушева чутко улавливает боль и тревоги, подмечает нюансы, которые сначала кажутся несущественными, но позже обретают невероятную значимость, без фальшивого оптимизма и назидательности прокладывает исцеляющий путь к свету. В повести “Уходи под раскрашенным небом” из сборника “Небо, любовь моя” взаимодополняющее сочетание писательского и психологического профессионализма оказывается особенно действенным, ведь речь там идёт о столь щепетильной теме как эвтаназия.

Смерть практически всегда оставалась важной, но не ключевой темой в отечественной литературе. В последние годы писатели проявляют к ней повышенный интерес и всё чаще смотрят на неё по-иному — этот взгляд не замутнён священным трепетом, не затуманен слезами скорби, не расширен от ужаса перед неизвестностью и неизбежностью. В нём, скорее, горит огонёк энтузиазма, с которым исследователь в области death studies (так за рубежом называют совокупность гуманитарного знания о смерти и умирании), сочетая любопытство с отстранённостью, пытается разобраться, как же выстраиваются наши отношения со смертью — как мы боремся и принимаем, надеемся и скорбим, ужасаемся и пытаемся отвлечься...

У истоков этой новой заворожённости смертью, по всей видимости, стоит роман Михаила Елизарова “Земля”, а точнее — его позиционирование как “первого полномасштабного осмысления русского Танатоса”. Заявленная цель так и осталась не достигнутой, зато Елизаров умудрился покопаться в грязных реалиях похоронного бизнеса, продемонстрировать, как тикают метафизические часики, а ещё и выплеснуть на страницы романа немало грубовато-чувственного Эроса. При этом он задал два тренда, которые прослеживаются у тех писателей, кто пытается если и не постичь русский Танатос, то хотя бы ненадолго затащить его в свой текст. Во-первых, каждая такая книга превращается в своеобразный танатологический ликбез. Большинство

писателей непременно срываются на познавательное отступление, где рассказывают о каком-нибудь малоизвестном аспекте, связанном со смертью – будь то экскурс в философию умирания или в практику ритуальных услуг. Вторых, авторы питают всё больший интерес к людям, которые профессионально связаны со смертью – сотрудникам крематориев, похоронных контор, хосписов... Обычный человек за всю жизнь хоронит несколько десятков родных, друзей и знакомых, а специалисты, чья деятельность связана со смертью, вынуждены как-то выстраивать с ней отношения, находить общий язык.

Все эти тенденции проявляются и в повести Елены Тулушевой. Главная героиня – русская эмигрантка Элизабет Шнайдер – работает в швейцарской клинике, специализирующейся на эвтаназии. В её обязанности входит или оформить отказ, или “разобраться и просчитать все варианты, попробовать пробить почти гиблое дело и, уж если получится, тогда сопроводить весь процесс от начала до...”. В клинику как раз поступают несколько довольно сложных запросов. Престарелый, но абсолютно здоровый профессор из Австралии хочет умереть – его решение продиктовано не отчаянием или депрессией, а осознанием “просто мне действительно пора”. Другой клиент, который из-за некоторых своих особенностей не может свободно жить в родной стране и обрести понимание у семьи, хочет “уйти в чужом саду, чтобы мой родной мог цвести спокойно”. Элизабет тщательно разбирается с каждым случаем. В её действиях и ответах даже сквозь бюрократические формальности проглядывает желание помочь – не просто посодействовать в выполнении запроса или сгладить недовольство от отказа, а по-настоящему помочь в принятии реальности.

Из повседневной рутины, в которую превращаются вопросы жизни и смерти, Элизабет выдёргивают ещё несколько специфических событий. “Переоценённый” молодой писатель Петричкин, основательно увязший в творческом кризисе, просит у неё подкинуть ему материала для будущего романа. Хотя девушка соглашается, из задумки ничего не выходит – тема оказывается слишком сложной, и тогда Элизабет сама берётся за перо. Вектор повествования смещается в сторону её творчества. Через попытку изложить на бумаге свой специфический опыт героиня переосмысляет собственное прошлое и взаимоотношения с давно покинутой родиной – после долгих лет, проведённых на чужбине, Россия кажется особенно далёкой и непонятной. Вместе с тем у девушки появляется новый начальник, с которым у неё возникает любовная связь. Амбициозный мужчина, чтобы сделать клинику более прибыльной, готов работать с новыми категориями клиентов и сделать эвтаназию более открытой для мира. Каким бы “продвинутым” ни казалось учреждение, где люди добровольно уходят из жизни под красивую музыку, созерцая нарисованное на потолке небо, простор для модернизации и роста прибыли остаётся всегда. Мало того, неудержимый руководитель даже всю свою жизнь готов превратить в своеобразную маркетинговую акцию, не задумываясь о чувствах любимой женщины.

Тема эвтаназии для отечественной литературы непривычна. В центр общественной повестки в России она вообще проникала крайне редко – лишь подкинула повод для нескольких десятков ток-шоу и громких публикаций, после чего потерялась на фоне более резонансных проблем, хотя за каждым таким случаем таятся нестерпимая боль и невыносимые страдания. Тулушева, будучи одним из первопроходцев этой темы в отечественной литературе, основывает сюжет на довольно неоднозначных кейсах – помимо двух случаев, о которых рассказывается подробно, упоминается ещё и молодая девушка, решившая уйти из жизни из-за многолетней тяжёлой депрессии. Именно эти ситуации (кстати, они основаны на вполне реальных историях), выбивающиеся из привычных представлений об эвтаназии и обостряющие этические дилеммы, подталкивают Элизабет к творчеству – именно к художественной прозе, а не к публицистике или научпопу. Элизабет не готова возвестить миру некую чётко сформулированную истину, но готова её искать. В отношении смерти и связанных с ней проблем важен уже сам факт разговора, преодолевающий замалчивание и избегание, и своеобразный автофикшн становится для героини действенным средством высказать свои переживания, сомнения и откровения.

Помимо повести “Уходи под раскрашенным небом” в книгу Елены Тулушевой вошли ещё четыре рассказа. Было бы опрометчиво считать их просто

“добивкой” для придания сборнику большего объёма – все они довольно интересным образом перекликаются с повестью. В каждом рассказе разворачивается какая-нибудь катастрофа – сходит с рельсов поезд (“Никогда не ходите на встречу выпускников”), разбивается самолёт (“Небо, любовь моя”), происходит землетрясение (“Посмотри на меня”), мужчина срывается со скалы (“Козы-провокаторы”). Само трагическое событие не находится в центре повествования – где-то оно разворачивается фоном, где-то постепенно проступает из воспоминаний, а где-то происходит внезапно. Однако в каждом сюжете именно оно помогает главным героям прояснить ситуацию, переосмыслить своё место в мире и принять судьбоносное решение. Оно становится своеобразным “раскрашенным небом”, под которым заканчивается прежняя жизнь. Масштаб действий разнится от отказа делать опрометчивый телефонный звонок до запоздалого решения не совершать убийство. Тот или иной выбор задаёт новую точку отсчёта в жизни персонажа, даже если ей суждено продлиться всего несколько мгновений. Приём, перетекающий из одного рассказа в другой, позволяет взглянуть под несколько иным углом и на повесть.

Критик Яна Сафронова (хотя и укрывшаяся под эффектным, но легко опознаваемым псевдонимом) на страницах журнала “Знамя” высказала мнение, что вместо одной повести “Уходи под раскрашенным небом” Тулушева “написала три отдельных произведения” (об эвтаназии, начинающей писательнице и эмиграции), которые “умело сверстаны в целое, но все-таки делимое”\*. Но если посмотреть на повесть Тулушевой с помощью оптики, заданной рассказами, то мнимая “разделимость” исчезает – все три линии намертво срастаются между собой. Работа в клинике становится тем самым катастрофическим фоном, который приводит к поворотному выбору. Изложив свой специфический опыт, такой чуждый и такой далёкий от нашей культуры, Элизабет впервые за много лет решает приехать в Россию, хотя и опасается, что натолкнётся там на “стерилизацию искусства, информации, мыслей”, стерилизацию “ото всего, кроме боли и проблем”. Казалось бы, ей ничто не мешает использовать для рассылки рукописи электронную почту, как и для рабочей переписки, но вместе с книгой появляется и необходимость хотя бы ненадолго вернуться.

---

\* Змеяна Капронова. Сложное сочетание. О книгах победителей Всероссийской мастерской “Мир литературы. Новое поколение” // Знамя. 2023. № 4.

КОНСТАНТИН ШАКАРЯН

## ЗДРАВСТВУЙ, СЛОВО, ЗДРАВСТВУЙ

*Григорий Князев. Живые буквы. — М.: АСПИ, 2022*

Мне радостно писать о новой книге Григория Князева, как всегда приятно видеть новые подборки его стихов в периодических изданиях. Это — светлый художник, поэт, наделённый даром непосредственности, добывающий лирику в недрах и рудниках традиции. Иными словами — идущий в наше время по пути наибольшего сопротивления. Слишком много вокруг псевдооригинального, бледного и просто любительского — что выдаётся то за свежесть и чуть не новаторство, то за “хранение огня” традиций (огня, поддерживаемого, как известно, чаще всею традиционно-“берёзовыми” поленьями).

Князев идет по пути традиции своей тропкой. Это не значит, что стих его свободен от влияний и интонационных промельков любимых поэтов. Но и здесь следует оговориться. Настойчивые обращения к душе, “томящейся” в теле, в чём-то сродни Ходасевичу, неуловимо пастернаковские ритмические переливы, схваченные дактилическими рифмами, кушнеровское любовное внимание к малым деталям быта, с неизменным отсветом чуда на них — всё это не столько интонационные заимствования, сколько органичное продолжение традиций и “вечных тем” поэзии, воспринятых в соприкосновении с опытом больших мастеров прошлого и настоящего.

Чувство жизни у Князева многослойно и значительно: это не сиюминутное чувство своего “я”, это глубокие корни бытия, питающие стих. Цветы у него “красивые тихие дети с корнями в Эдемском саду”. Отсюда и острое чувство рода, родного, своего “здесь, на земле, в кругу семьи”, и там, на кладбищах, стихов о которых в “Живых буквах” немало. В “Радонице”, одном из лучших стихотворений в книге, читаем:

Здесь, на границе двух миров,  
Работать трудно, но отраднo:  
Полоть, стирая пальцы в кровь,  
Траву забвенья рвать нещадно.

В подлинных стихах звук всегда тесно переплетён со смыслом. Ненарочитое попадание содержания в звуковую лузу залог подлинности стихотворного высказывания, поэзии как таковой. И здесь “р”, перекатывающиеся по

строфе, прекрасно иллюстрируют сказанное в ней: “работать трудно”, “стирая пальцы в кровь”, “траву забвенья рвать”... Таким стихам – веришь. Это – пульс “живых букв”. Так слово на глазах становится делом.

Хочется выписать наиболее удачные строки из книги попадания в лирическое “яблочко”:

А рифма, точно средство от тоски,  
Сама собой владеет мастерски.

Или:

Мой город-кроссворд, весь исхоженный мной  
По горизонтали и по вертикали...

Горизонталь и вертикаль уложены в одну строку, которая звучит протяженно и гармонично в мерном чередовании гласных и согласных. При этом мы не сможем прочесть её быстро, “проглотить”. Строка осмысленно динамична, сложивший её действительно *ходит* по городу-кроссворду, ходит уверенно и неторопливо, *человеческим*, а не просто метрическим шагом.

Ещё о звуковой гармонии. “Карандаши и кисти сосен / Рисуют небо на бегу”. В стихах речь о картинах, захваченных глазом проезжающего мимо них “лирического героя”. Как тонко и естественно удалось поэту перелить звучание одного слова в другое: “не-бо-на-бе”. Слова как бы зеркально отражают друг друга, звуковые образы в стихах стремительно сменяются, подобно картинам за окном.

Князев всматривается в каждую букву, в её осанку и расцветку: “Г” – мой голый угол. “Д” – мой дом. / В “Е” и в “Г”, как в лабиринте, бродишь. “Ж” – жужжит и жалит, “З” – звенит, / “И” – икает, “Й” – всегда с улыбкой...” Завершающим аккордом стихотворения, давшего название книге, поэт шлёт низкий поклон “загадочным предкам” своих букв. Тема рода переносится теперь и на язык:

Разомкнулся алфавита круг —  
И сомкнулся. Здравствуй, слово, здравствуй.

Как звучал подобный мотив в русской поэзии недавних лет? Вот как, к примеру, завершается стихотворение Глеба Горбовского “Забытое слово” (1983):

Мучительно весь день, весь век...  
Очнувшись, снова  
забытое искать...

И пусть наивен труд,  
но я вспомнил дух. первооснову слова,  
его судьбу!

А буквы придут.

Современный поэт идёт обратным путём. Он начинаем с “буковок”, сквозь них прозревая “первооснову слова” или, говоря его словами, “память великую праязыка”. Оба пути – благодарны, высоки и бесконечны в своём развитии. Главное – найти при этом сами “буковки”, “живые буквы”. Наличие их в книге Григория Князева несомненно.

ДАРЬЯ ИЛЬГОВА

## ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ КАК ПРИЁМ

*Рецензия на книгу Дениса Балина “Фрагменты”. М.: АСПИ, 2022, 132 с.*

Перед тем, как читатель познакомится с первым стихотворением в книге “Фрагменты” Дениса Балина, он и в аннотации, и в кратком предисловии будет предупрежден о провинциальном векторе книги и провинциальности поэтического мира автора, основными объектами которого являются “депрессивный райцентр, индустриальная ржавь, поселковые маргиналии, безвременье, тоска дорожная железная”.

И действительно, уже в первом стихотворении сам автор сразу рисует перед нами провинциальную унылую картину, добавляя провинциального говора даже калитке, которая поскрипывает: “Эти с города приехали”. Это неправильное “с города” позволяет герою чувствовать себя своим, проходя мимо, как будто он с калиткой говорит на одном языке, непонятном пришлым горожанам. Об этом особом языке автор говорит и далее в книге:

Городок потерялся в лесу, где исчез совсем,  
только призраки ходят родные в обличье живых.  
Так идешь в магазин и берешь сигарет на все,  
а на выходе/входе встречаешь кого-то из них.  
Перетрешь о своем на понятных тебе словах,  
о понятном без слов, потому что старо, как земля...

Но как бы ни пытался автор здесь и далее в книге выстроить образ провинциального героя и убедить читателя в своей провинциальности, у него это не получается в полной мере, и этот образ быстро рушится. Потому что автору недостаточно этого местного языка, этот местный язык ему тесен, как тесна и сама клетка маленького городка. И мечтает он и о другом языке, и о другом месте:

Пейзаж городской, к которому с детства привык,  
не радует глаз, сбежать бы к Балтийскому морю  
с бутылкой вина и, выучив птичий язык,  
беседовать с чайкой о рыбах, про горе и волю....

Но не успел автор пожелать Балтийского моря и чаек, как уже в следующем стихотворении, словно в сказке о золотой рыбке, ему и этого оказывается мало:

хорошо жить у моря если оно не балтийское  
на краю континента в южных краях  
пить тропические коктейли рисовать на песке

На первый взгляд может показаться, что автор сам не понимает, чего же он хочет. Но на самом деле, это просто попытка вывести наше трудное, бытовое, повседневное, среднечеловеческое на новую лирическую высоту. Потому что автор вовсе не пытается никуда сбежать, но пытается осмыслить свою реальную жизнь в реальном месте, примириться с ней и обрести в этом смысл и новую глубину:

Вот милая Родина — дом,  
вот церковь моя, а вот крест.  
Сыграй мне сегодня о том...  
Сыграй мне, военный оркестр.

И, как бы автор ни пытался иронизировать, но в этой внутренней работе он не одинок, с ним рядом идет как его личный опыт, так и опыт предшествующих поколений, запечатленный в русской культуре и литературе:

напишите (тут мне нужны запятые) “мертвые души”,  
“тихий дон”, “война и мир”, “отцы и дети”,  
“бесы”, “мы”, “котлован”, “дар”, “обитель”  
или на худой конец “доктор живаго”

И чем дальше читатель погружается в книгу, тем больше автор осознает себя не только как часть провинциального замкнутого мира, но и как часть большой вселенной:

Так крутится наша планета,  
судьба выдает виражи,  
а время летит, как ракета,  
в которой ты лишь пассажир.

А главный вывод, который может быть сделан из этого хитросплетения локального и глобального, заключается в том, что автор все-таки не боится экспериментировать и с языком, и со стихотворной формой, он чувствует свободу и право говорить и от собственного лица, и от лица поколения:

где смотрим на мир из себя  
и не можем понять ничего  
но не страшно  
<...>  
но если страшно  
то спроси у меня  
в чем истина и где искать  
а я отвечу — в том что рядом



ДАРЬЯ ФОМИНА

## ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, ИЛИ БИБЛИОТЕЧНАЯ ОДИССЕЯ

*Рецензия на повесть Сергея Петунина “Инклюзивный”.*  
*М.: АСПИ, 2022. 128 с.*

Сергей Петунин, молодой писатель из Новосибирска, в своей дебютной повести “Инклюзивный” продолжает гоголевскую традицию “маленького” человека. Он показывает читателю изнутри работу простого библиотечного служащего, рассказывает о его маленьких радостях: “Моей любимой работой была расстановка книг. Часами – книга за книгой – выстраивая свою ДНК, я думал, что восстанавливаю гармонию и порядок не только на стеллажах, но и в себе, и в запутанном мире вокруг меня... А еще я придумал забавную традицию – оказавшись в фонде, я открывал какую-нибудь книгу наугад и читал первое предложение. И книга обязательно что-нибудь рассказывала”.

Реализм С. Петунина – это отголоски творчества Г. Флобера, Э. Золя, М. Горького, а из наших современников, пожалуй, Р. Сенчина. В повести “Инклюзивный” можно заметить также черты автофикшна: мысли и чувства главного героя – это мысли и чувства самого автора. Петунин и не скрывает сходства со своим героем, называет его своим именем. “Инклюзивный” – это классический пример повести взросления и воспитания, в частности – сепарации сына от матери, стремления молодого человека найти себя и свое предназначение.

По сюжету молодой человек, окончив филфак и поработав немного журналистом, понимает, что ему нравится атмосфера библиотеки, поэтому он устраивается туда работать. Люди, которых он встречает, и разговоры с ними меняют героя: из инертного нерешительного маменькиного сыночка, плывущего по течению, не смеющего менять свою жизнь и мир вокруг (а вдруг станет только хуже?), он превращается в личность – в мужчину, который решается взять свою жизнь в свои руки, сделать выбор, вступить за слабого и, наконец, уйти из библиотеки – покинуть место, в котором ему душно и где нет развития.

Место действия повести “Инклюзивный” – Новосибирск. Время действия автор напрямую не называет, но можно догадаться, что на дворе 2010-е годы. Чтобы сделать повествование максимально реалистичным, автор использует яркие приметы времени: люди с высшим гуманитарным образованием и красным дипломом вынуждены работать за копейки; в стране проходят

политические митинги; молодые устраиваются в библиотеку; библиотека переживает реорганизацию, ее переделывают под маломобильных людей, строят пандусы и туалет для инвалидов.

Идея повести заключается в том, что перемен, всего нового не надо бояться. Если все время бояться “как бы чего не вышло”, то можно, подобно Беликову из известного рассказа А. Чехова, навсегда остаться в своем “футляре” и никогда не вырваться на свободу. Недаром в книге возникает образ инвалидного кресла. Героев охватывает страх при одной только мысли – попасть в это кресло навсегда: *“Там, в небольшой комнатке, в которой коротала последние дни и часы Юрина бабушка, стояло тяжелое инвалидное кресло, от вида которого в комнате становилось как-то неуютно. <...> Я ощутил радость, что могу уйти из постылой комнаты на сильных здоровых ногах и забыть эту коляску как кошмарный сон”*. Инвалидное кресло – это метафора. Провести всю жизнь в библиотеке, не вставая с места – своего рода такое инвалидное кресло. И перспектива остаться в этом кресле навсегда может быть у любого, кто боится нового.

Одно из достоинств повести – сильное начало. Оно сразу и мощно погружает в детские воспоминания Сережи и вызывает интерес читать дальше – калека-попрошайка без ног, с изуродованной рукой, во дворе умственно отсталый парень Валера, над которым издеваются местные мальчишки. Сначала калеки, особенные люди вызывают у героя только отторжение и страх. Но постепенно, общаясь с умственно отсталым Максимом, наш главный герой все больше замечает его чувства, а затем начинает понимать и жалеть его.

В повести “Инклюзивный” продуманная система персонажей. Прототип главного героя, как мы уже сказали, – это сам автор. Персонаж получился живым благодаря тому, что С. Петунин вложил в него свои, реальные мысли и чувства. У героя есть достоинства – он любит книги, начитанный и умный, и есть недостатки – он инертный, нерешительный, живет с мамой, боится самостоятельности, не решается высказывать свое мнение, не может заработать достаточно денег, не проявляет инициативу в общении с девушками и страдает от низкой самооценки. У героя есть желание и есть стремление. На протяжении повести он проходит путь становления и взросления: испытание любовью, испытание дружбой, испытание великой идеей.

Максим – очень значимый герой повести. Он умственно отсталый, и в свои 50 лет кажется большим ребенком, милым, безобидным и ранимым. Читатель видит его глазами Сергея: *“На вид ему было лет пятьдесят. Взгляд у него был таким, словно однажды он крепко задумался и до сих пор не пришел в себя”*. Через сострадание к Максиму герой становится добрее, отзывчивее, в нем зарождается та самая библейская любовь к ближнему: *“После того случая, когда я помогал Максиму, он стал называть меня по имени. А когда мы встречались в библиотечных коридорах, он странно, словно бы от сильной боли, кривил лицо. Grimаса эта оставляла двойное впечатление: боль? радость? смущение? И лишь однажды я понял – так Максим мне улыбался”*.

Сергею жалко Максима, которого незаслуженно обижают. Но он все не решается вступить за него: *“... я всякий раз ощущал сковывающую язык робость. Как будто в глотку мне закинули кусок льда из холодильника – противного, пузырящегося, с привкусом фреона (я воображал, что у фреона именно такой привкус). Ничего не говорил, здоровался и проходил мимо – а потом изо всех сил презирал себя за малодушие”*. В финале же Сергей меняется, горячо защищает Максима, не боится быть уволенным за это.

Сковородников Яков Константинович – еще один важный персонаж, лицо историческое. Он основатель библиотеки, в которой работает Сергей. Знакомство героя со Сковородниковым произошло так: *“Вечером, заинтересованный, я ввел фамилию Сковородников в поисковик. С вереницы черно-белых фотографий на меня смотрело круглое, почти как у Бабеля, но как будто чем-то смущенное лицо. Роговые очки, густые светлые волосы, зачесанные назад, и робкая, прямо-таки девичья улыбка. Какая-то обескураживающая беззащитность была в нем. Снимок 1928 года – сорок пять лет человеку, а выглядит как я. Такой же инфантил, наверное”*. Сергей читает дальше и узнает, что в 1927 году, уже будучи краеведом и библиографом, Сковородников был направлен работать над “Историей земли Сибирской”. Его арестовали как бывшего белогвардейца в 1932-м, он был отправлен в лагерь в Карелии, где и умер в 1938-м.

Через письма Сквородникова автор передает идеологическую позицию: Яков Константинович пишет своей жене, что ему в целом очень нравятся те перемены, которые происходят в стране, что он считает себя пострадавшим заодно в жерновах государственной машины: *“Как ты помнишь, когда-то все происходящее в стране вызывало у меня только восторг. Я и до сих пор не отказываюсь от идеалов и считаю, что в целом страна движется в нужном направлении. Как мне видится, мой случай – всего лишь роковая ошибка большого и нужного дела, невиданного в истории антропологического переворота – да, именно! Не только история, но и новая порода людей рождается в муках. Боясь вредителей, врагов, власти хватают, вынуждены хватать, брать за шиворот всех, кто даже просто стоял рядом”*.

История – непредсказуемая тайна, это тьма, в которую столько жизней кануло. Что может быть таинственней забвения и что может быть страшней, когда жизнь прошла и едва оставила канцелярские записи в архивах? Человек жив, пока жива память о нем. Написать о человеке повесть – сделать его бессмертным. Это интуитивно чувствует герой С. Петунина и поэтому стремится написать о Сквородникове книгу, увековечить память об этом человеке: *“Я не знаю, что из этого выйдет – роман? Статья? Брошюрка к вашему 150-летию, Яков Константинович?”*

Прекрасен сюжетный поворот в конце повести, когда при встрече с матерью Максима наш герой выясняет, что Максим – правнук того самого Сквородникова. Сергей узнает также и то, что сожженные письма, которыми он зачитывался, – всего лишь фикция, и написал их вовсе не Сквородников. Только тогда Сергею становится понятно, почему Сквородников словно упирался, не желал быть героем его книги.

В повести “Инклюзивный” есть мотив двойничества, часто встречающийся в русской и зарубежной классике. Двойники героя – Максим и его прадед Сквородников. С ними Сергея объединяет любовь к книгам и в целом к культуре, в которой все трое ищут и находят спасение. На вопрос Сергея, почему Максим читает про Сквородникова, Максим отвечает просто: *“Он очень хороший! Он книжки любит, прямо как я и прямо как ты, Сережа! Он все книжки собрал и сюда принес!”* И Сергей, и Максим – оба инклюзивные, по-своему особенные, не приспособленные к реальной жизни. Так кого же автор имеет в виду в названии повести, называя инклюзивным? Поначалу кажется, что речь идет о Максиме. Но потом правильный ответ становится очевиден.

Другие персонажи тоже несут определенную роль в формировании личности и мировоззрения Сергея. Так, мать не хочет отпускать Сергея в самостоятельную жизнь, ревнует к чудом появившейся девушке. Конфликт сепарации наиболее сложный в повести (впрочем, как и в жизни), и через него герою пройти тяжелее всего: *“Маленькая большеголовая тень на асфальте, которая крепко держит за руку чью-то большую. И везде – мама, мама, мама... Но наша с мамой одиссея кончалась”*.

Портрет матери мы видим глазами самого героя: *“Я увидел отросшую седину в крашенных рыжих волосах, да и саму как бы ужавшуюся мамину фигурку. Мамины глаза, почти не изменившиеся с тех пор, все еще зеленые и красивые, смотрели без того, что я им приписывал в последнее время, – без осуждения или злости, а с тем непередаваемо благородным выражением любви и доверия”*.

Девушка Сергея Катя – такая же инфантильная, как и сам герой, является его зеркальным отражением. Они оба еще не повзрослели, не умеют строить крепкие отношения и прощать, обижаются и ссорятся по пустякам. И в итоге, естественно, их пути расходятся. При этом герой даже счастлив, что снова возвращается к безусловно любящей матери и книге про Сквородникова. Истинную суть Кати и ее отношение к Сергею Петунин показывает через ее речь: *“Неловко склонившись к экрану, я, стараясь не задерживать людей, торопливо набирал цифры ПИН-кода, но ошибался, и Катя вдруг совершенно по-хабальски повысила голос.*

*– \*\*\*, ты че, совсем безрукий? Ничего не можешь. Ну и не начинал бы!”*

Еще один значимый персонаж повести – Юрка, коллега Сергея. Это своеобразный двигатель сюжета. Юра – антагонист, противоположность Сергея. Он относится к переменам легко, всегда рискует, не сидит долго на одном месте, не боится уйти и искать что-то новое, и в итоге добивается успеха. Характеристику Юры автор тоже делает через его речь: *“Выставка была не особо*

интересной – местный художник в очередной раз восторгался на холсте красотами природы: ученически строго рисовал пруды, озера, деревья. Видимо, так же показалось и незнакомцу.

– Провинция, \*\*\*, – вдруг обратился он ко мне. – Привезли бы какого-нибудь Никаса Сафронова – полный зал народу был бы”.

В повести мелькают и другие второстепенные персонажи, коллеги Сергея – начальница Татьяна Ивановна, пожилая Татьяна Владимировна, тридцатилетняя строгая Инна, Антон, так и не окончивший консерваторию, Женя по прозвищу Марксист, любитель жарких споров. Но они скорее просто как массовка в этом спектакле. Никакой особой роли для продвижения сюжета или изменения главного героя они не играют, но без них картина на сцене была бы неполной, безжизненной.

Открытый финал – естественный выбор для концовки повести о человеке, покончившем со старым и готовом к обновлению. Автор оставляет читателю самому догадываться о том, что будет дальше. Сергей уходит из библиотеки, начинает новую жизнь, и светлое чувство вместе с воздухом свободы вливается в легкие героя и читателя.

Несмотря на хорошо прорисованного, живого героя, прекрасно описанный библиотечный мир, отлично закинутый крючок в начале и эффектный поворот сюжета в финале, автору еще есть над чем поработать. Так, например, оказались резко обрублены сразу две важнейшие линии: отношения героя с матерью и отношения с девушками. Только читатель успел порадоваться, что Сережа наконец-то стал замечать свою маму, с которой до того они много лет жили как чужие... и тут автор начинает играть в молчанку. Конечно, можно догадаться, что после разрыва с Катей Сережа вернулся жить к маме. Но С. Петунин ни словом не упоминает, как мама его встретила, какие отношения сложились после возвращения, внимательнее ли он стал относиться к маме или все осталось так же, как было в начале? То же самое с Катей. Куда она делась из библиотеки после расставания? Уволилась? Если Сергей ее любил, то наверняка следил за ее дальнейшей жизнью. А другие девушки герою нравились, появлялись в его жизни? Но обо всем этом почему-то автор предпочитает умолчать. Таким образом, вместо дерева со множеством связанных друг с другом живых веток-глав читатель видит отрубленный мертвый сучок.

Вот какой он, герой нашего времени, портрет которого нарисовал Сергей Петунин. Этот герой, впрочем, как и лермонтовский Печорин, как и герой “Угловой комнаты” Т. Валитова, – “лишний” человек, и показан читателю честно, реалистично, со всеми недостатками. Он может вызывать или сильную неприязнь, или сочувствие, жалость, но уж точно никого не оставляет равнодушным. Надо ли было писать целую повесть о таком герое? Необходимо! Затем, чтобы зафиксировать реальность – такие молодые люди действительно есть. Затем, чтобы задуматься, почему герой вырос настолько безвольным, аморфным, и как можно было этого избежать.

АНТОН ЗВЕРЕВ

## ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ

Рецензия на сборник “Мир литературы. Юность”. М.: АСПИ, 2022. 332 с.

Современный читатель, выбирающий для чтения не роман или повесть, а сборник рассказов или стихотворений, в определенной степени рискует. Слишком разные тексты попадают на соседних страницах, и читатель, начавший перелистывать сборник, невольно садится на невидимые качели, которые то поднимают его на высоту детально проработанных текстов и яркому авторскому пониманию мира, то, наоборот, опускают вниз — к сухому реализму, описанному фразами врачебного эпикриза, в котором неуместны метафоры или эмоциональность. Сборник — это всегда внутренний вопрос, внутренняя оценка прочитанного и сравнение с тем, что было прочитано несколько страниц назад.

Подобным сочетанием разнообразных сюжетов и авторов представляется и сборник “Мир литературы. Новое поколение”. В предисловии к сборнику указано, что герои и авторы данного коллективного труда мучительно пытаются найти точку опоры — и житейскую, и мировоззренческую, и эстетическую. Возможно, стоит рассмотреть и еще один образ, в котором авторы и герои — это участники сериала, который в российском прокате был плохо переведен как “Остаться в живых”. Кратко описать сюжет сериала можно так: пассажиры после крушения самолета оказываются на необитаемом острове и понимают, что оказываются во временной петле. Именно такими при прочтении представляются авторы и герои этого сборника. О чем же они говорят?

В первую очередь они много говорят о прошлом. Причем их прошлое очень нелинейное, оно спорадическое: есть нулевые, есть послевоенное время, есть девяностые, есть персонифицированное “когда я был маленьким” или емкое “давно”. У героев есть “сейчас” и то, что было десять, двадцать лет назад, в школе, в институте. Например, у **Максима Кашеварова**:

...то мне хватит табличек  
выбитых возле парадных:  
родился — вот в этом  
арестован — в таком-то  
расстрелян — тогда-то  
реабилитирован — после.

Как будто прошлое для многих авторов закрыто плотным туманом, из которого проглядывают контуры зданий, неясные очертания людей, нечитаемые

Публикация осуществляется при поддержке Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

дорожные знаки, указывающие на трудно вспоминаемые события. Поэтому, возможно, прошлое в сборнике — это разрозненные эпизоды, которые читателю самостоятельно надо заполнить промежуточными событиями. **Надежда Келарева** пишет:

И в холле выцветшие фотоснимки наши.  
Все об ушедшем или о пропавшем.  
О ком ушедшем и о чем пропавшем?

Говорить о прошлом очень горько, но не говорить еще горше. Воспоминания о доме, своем районе находим и у **Вадима Шевякова**:

Я приезжал, но словно понарошку,  
Ныряя в память — стылый вязкий битум.  
Глядел, как превращаются в “Магниты”  
Знакомые разрушки и заброшки.

В прозаических фрагментах повествование о прошлом ничуть не менее наполнено тоской и печалью. Но авторы не ищут опоры, они уверенно проговаривают свои переживания. О прошлом могут говорить не только люди, но и предметы. Так, у **Надежды Куротченко** в “Цвете фуксии” порталом, переносящим нас в прошлое, является платье без оверлока. Платье как символ женственности, молодости и амбициозности. Платье, изменившее жизнь героини, страну проживания и, частично, переписавшее родословную. Каждый период жизни героини строится как аксессуар к платью или как что-то, принципиально не сочетающееся с этим платьем цвета фуксии. Эта связь перешла для героини в одержимость, одержимость — в зависимость. Первый шаг борьбы с зависимостью — это признание наличия зависимости. Поэтому героиня решает прекратить эту связь: “Свое платье я решила продать, весь его груз мне нужно было скинуть”. А далее срабатывает эффект ложной памяти, которая улучшает наши воспоминания, делает убогое платье нарядным, превращая наспех сшитый предмет одежды во вручную скроенную штучную вещь, наполняя линялый материал яркими и глубокими оттенками фуксии, называя владелицу платья не мошеницей, а девушкой с безупречным стилем. Реальность отрезвляет, проясняет наши смутные представления о прошлом, напоминает о боли, которая, кажется, то утихает, то вновь набирает силу.

У **Дмитрия Лагутина** во “Французе по длинному борту” воспоминание о школьной неразделенной любви догоняет взрослого героя обидными словесными пощечинами, которые раздадут мальчишки, даже не пацаны. Школьная симпатия, закончившаяся ничем, стала порталом, который отбросил на десятилетие, обнулив все достижения взрослой жизни. А у **Александры Максимовой** в “Разговорах” прошлое — это мутное воспоминание о соседском парне, который был молод и весел и на все руки мастак. Обычный парень, который и из воды вытащит тонущего, и домой принесет ослабленного. Но героиня не может вспомнить ни его лицо, ни его голос. Просто белое пятно в памяти, которая должна была все бережно сберегать.

Память в сборнике — это полноценное измерение, такое же как время и пространство, которое человек пытается покорить и постигнуть. В “Разговорах” героиня пытается сохранить свою родословную, правильно расположив вырезанные овалы лиц из старых фотографий. Но она разрушает пространство памяти, поскольку, вырезав овалы лица, с фотографий уходят и важные детали: одежда, край дома на фоне, маленький щенок в руках. Попытка сохранить память о чем-то трансформировалась в уничтожение фотографий прошлого, к которым нет негативов.

У **Александры Максимовой** в “Традиции” героиня вернулась в дом, в котором выросла. А в доме все как десятилетия назад: запахи, ощущения, скрип пола, шелест занавесок от ветра, но не осталось людей. Героиня ходит по дому, робко прикасается к предметам, мебели, пытается вспомнить те самые детские ощущения, когда в доме было так уютно. И вроде бы все живо и полно воспоминаний, но каких-то невнятных, тусклых, неполных. Как будто в каком-то причудливом языке перепутали все буквы и слова перестали быть похожими на слова, а стали звучать как отдаленное эхо настоящих слов.

Но если в “Традиции” грёзы о прошлом – это приятные воспоминания об уюте домашнего очага, то у **Антонины Малышевой** в “Победе Разы” воспоминания из прошлого – это забытое ощущение свободы и полета, которое было доступно всем и которое было отобрано. Кажется, эта аналогия самая понятная. Детство привлекает и пьянит своей свободой: ты – дитя, которое ничего не знает и ни о чем не переживает, поскольку твою руку крепко держат взрослые. Но именно в этом незнании сокрыт секрет детского счастья.

Если, возвращаясь к началу, провести аналогию текстов сборника “Мир литературы. Новое поколение” с сериалом “Остаться в живых” (который в оригинале назывался “Lost”, то есть “Потерянные”), может показаться, что авторы и герои их текстов похожи на героев сериала, которые случайно оказались вместе в одно время и в одном месте. Они пытаются общаться друг с другом, пытаются социализироваться, для чего рассказывают свои удивительные истории: какие-то более реалистичные, какие-то менее. Но в этих историях есть особое место для разговоров о прошлом. Это не полифония прошлых эпох, рассказываемая одновременно героями романа Мартина О Кайня “Грязь кладбищенская”. Сборник больше похож на сказки “Тысячи и одной ночи”, когда можно купить еще один день жизни, рассказав историю. И авторы, сменяя друг друга, ведут за собой по волнам своих воспоминаний.

Сборник показывает не только картину словесности ближайшего десятилетия, как об этом указано в предисловии, но также дает представление о тех проблемах, которые хотят обсуждать авторы. Важно осознавать, что авторов среди большого разнообразия тем волнует историческая память и связь поколений. И. В. Гёте писал о том, что, теряя интерес ко всему, теряешь и память. Поэтому помнить – это продолжать интересоваться, искать и находить свое место в контексте истории и времени.

КРИСТИНА ШРАМКОВСКАЯ

## УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

*Рецензия на книгу Леры Макаровой “Светотень”. М.: АСПИ, 2022, 240 с.*

Сюжетные линии прозы Леры Макаровой похожи на пульс сердца, который то замирает, то снова оживает даже от легкого дуновения ветра. Словно чужая душа, запертая в теле с точным расчетом времени на земные дела, вдруг незаметно ускользает на прогулку, и ты, следуя за ней, начинаешь видеть мир ее глазами. Не просто город и не просто людей, а частички интригующих историй, смыслов и образов, которые таятся за каждым зданием, человеком или событием. Даже если это просто путь из пункта А в пункт В. *“Оказалось, так мало нужно, чтобы жить, — одно лишь усилие, если его нет, то выпадешь из реальности”*.

Проза Леры Макаровой как касание. Словно птица задела крылом, и вот ты уже обернулся и следишь за ее полетом, не в силах оторваться от узора траектории. Будничные события становятся основой невероятных историй, которые есть в арсенале каждого — стоит только открыть собственный сундук со сказками. Не потому ли такими трогательными и щемящими кажутся персонажи — за каждым из них немного ты сам. Будь то мечтающая об Индии и привязанная к прадеду Анисья, или студентка Вороника, слышащая сны давно ушедших людей, или московский франт с саранскими корнями — Учай, а еще подруги, родители, бабушки-дедушки, соседи и родственники. Каждый из них несет свою историю, и, если прислушаться, она войдет в твой мир, и он озарится новым светом — ярким и легким, как весеннее солнце, или густым и плотным, как сумрак сквозь темные шторы. *“В этом самом мире, — качаюсь в ритм вагона и думаю, — очевидное и языкострашное, не боясь, и не мямля, только сумасшедший и может сказать”*.

Сказать о том, что едва заметно, — именно этим отличаются рассказы и повесть Леры Макаровой. Нет, не беречь раны, не делать больно, а просто окинуть взглядом, не привлекая нарочито внимания. *“Я глажу горгулий — тех, что загнузились на стенах и что попадали с них. Как же им, должно быть, не хватает нежности”*.

Нежность. К каждому персонажу Лера Макарова подходит с нежностью — тонкой, тактичной, неизбыточной. Нежностью, ничего не требующей взамен, но получающей в ответ нечто важное, без чего нет существования. *“Я люблю тебя” — кричат все кругом, и я им всем верю — иероглифам и буквицам всех мастей”*.

Нитевидный сюжет. Его линия идет по городу, теряется в толпе, ныряет под землю как линия метро, сидит на коммунальной кухне без стола, мелькает в вагоне скорого поезда до Саранска, оставляет следы на полях люцерны или в глубоких сугробах марийской деревни.

Пунктир, проложенный по жизни как по контурной карте. Обведи его взглядом, измерь шагом, воплоти в мысль — и ты откроешь новый мир, где каждый невзрачный уголок есть нечто большее, часть целого, и без него не постигнуть смысла. И нет иного сюжета.



МАРИАННА ДУДАРЕВА

## ВАЛЕРИЙ ДУДАРЕВ: ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА. СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Поэт всегда погибает до срока, и нам, воспринимающим жизнь по-филистёрски, кажется, что мало написал, мог бы ещё. В литературоведении, например, существовали даже целые концепции насчёт того, исписался бы великий А. С. Пушкин или нет, если бы пожил ещё. Но герой нашей статьи любил часто повторять строчки Александра Межирова: “Ибо всё, что суждено нам, / Вовремя приходит, в срок”.

Для близких, любимых – большая утрата: единственный сын с полузабытым именем в духе эстетики Серебряного века Валериан (был такой поэт-символист Валериан Бородаевский), покинутый заботливым отцом, и любовь, которая длилась по-чеховски всего три года... Но в этой единичности и оставленности есть большая трагедия и большая цельность, и уникальность одновременно – незабвенность для русской культуры, где Танатос и Эрос всегда идут рука об руку. На излёте дней дана большая любовь, большое творчество и, как земной откуп за великое, – болезнь. Но Логос всегда стучался в окно Валерия Дударева, до последних дней, когда писались стихи, преисполненные сакрального смысла: “Осталась жизнь, осталась тайна / Непостижимая одна”.

Этот человек, рождённый до срока, то ли в 1963-м, то ли в 1965 году, всегда отмерял жизнь стихом, а не количеством прожитых лет. “И тут кончается искусство, / И дышат почва и судьба” – любил он цитировать последние строчки известного стихотворения Б. Пастернака “О, знал бы я, что так бывает...”.

В ворохе рукописей, писем от благодарных читателей в редакцию журнала “Юность”, который Дударев возглавлял последние двенадцать лет жизни, в квартирке на Речном вокзале-канале можно обрести раннее:

А прошлых лет седые тени  
Всё тянут, тянут на канал...  
Я здесь живу почти с рожденья,  
Рукой подать — речной вокзал.

Здесь стены прочностью играют,  
И зданию выбиты под стать  
Две даты. Словно призывают  
Пришедших голову поднять.

Вот тридцать третий — год начальный,  
Тридцать седьмой — последний год.  
Но между ними звон кандалный  
Не каждый путник разберёт.

Здесь шпиль, торчащий, словно жало,  
Как будто тайну стережёт:  
Какое время даты сжали,  
Какая правда встречи ждёт...

В этом стихотворении с характерным названием “Канал” 1985 года уже ощущается трагедия эпохи, знак беды, который поэт чутким ухом улавливает, путешествуя по *каналам времени*, ныряя вглубь истории, со-переживая вместе с душами тех трудяг, которые строили с кровью и болью этот канал:

И кровью харкали в метелях.  
Лопаты вмёрзли в кулаки.  
И в наше время долетели  
Беды и горечи плевки.

Трагическому мироощущению молодого Валерия Дударева оказалось созвучно мироощущение всего русского народа, который скоро окажется *на пороге*, выброшенным, отброшенным, сброшенным на склон XX века (не случайно ранний, первый серьёзный сборник стихов поэта так и называется “На склоне двадцатого века”, 1994).

Стихи последних лет также пронизаны танатологической символикой, но это связано не только с предчувствием скорого собственного ухода, прекращением земного бытия, но и с метафизическим ощущением русской жизни в целом, для которой очень важна философия смерти, ибо для русского человека смерть — со-бытие, точка перехода в горнее и вечное. В своих зрелых стихах поэт утверждает онтологический статус смерти, восклицая “Господи, чего же людям надо?! / И любовь, и смерть в России есть”. За сто лет до этого Осип Мандельштам, которого Дударев очень любил цитировать в последние годы жизни, тоже говорит нам об этом: “Неужели я настоящий / И действительно смерть придёт?”

Вообще русские люди любят размышлять о смерти, у нас даже в детском игровом фольклоре есть игра в покойника / мертвеца, которого надо разбудить, налив рюмочку (свадебный обрядовый комплекс), пощекотав. Всё великое создаётся на грани жизни и смерти, когда феноменальное, то есть наше мирское, и ноуменальное, то есть идеальное, сходятся. Так рождались сквозь боль и кровь последние стихи Валерия Дударева, среди которых и поэма-путешествие “Петушки–Кохма, далее нигде. Новеллы без героев” (2018), являющаяся апофатическим диалогом с В. Ерофеевым, ему тайным ответом на поэму “Москва–Петушки”, которая, как считал Дударев, в первую очередь, произведение о любви, идеальной возлюбленной. Прочитаем строки этой поэмы вместе, отправляясь к последнему земному пределу для поэта, на малую родину его жены, в Кохму. Поэт-москвич всегда бежал из большого города, скитался по стране, искал свой отчий край и вот обрёл его в маленьком городе Ивановской области. Так, далёкое укрупняется, становится важным и духовно близким — в этом и есть *обратная перспектива* жизни.

*Иваново – Москва*

ВАЛЕРИЙ ДУДАРЕВ



ПЕТУШКИ–КОХМА,  
ДАЛЕЕ НИГДЕ

ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ

Новеллы без героев

*Моим Марианне Андреевне  
и малышу Ра посвящается*

КОХМА

*Новелла первая — изначальная*

Нам с тобой досталась  
малость,  
Но она важна —  
Кохма!  
Кохмой называлась  
Целая страна.  
Жили-были Чудь да Меря —  
Чудо племена!  
В семьях дружных в полной мере  
Мяса да зерна.

В речках тех водилась рыба,  
А в лесах — зверье.  
Вот уехал разве ты бы  
Из неё?!

Гром гремел, бывало, гневно —  
Молнии одне!

Поклонялись каждодневно  
Солнцу да луне.

Сочиняли сказки, оды,  
Плача да смеясь.  
Правил ими воевода,  
По-славянски: князь.

Краше не было на свете  
Женихов, невест...  
И над всем — над всем над этим  
Водрузили крест!

Всех земля перемолола,  
Всё пережила.  
И у Божьего Престола  
Новые дела.

Я и сам в иное верю:  
Разошлись пути.  
Только знают Чудь да Меря,  
Где меня найти.

## УВОДЬ

*Новелла четвёртая — русалочья*

Уходит Уводь к небесам,  
Качаясь и алая.  
Узришь и ты, качаясь сам,  
Как гаснет Лорелея.

Бурлаки идут бечевой —  
Все белые, как снега,  
Их нрав свирепо кочевой —  
Всё драки да набеги.

Ясон всё время за руном  
Спешит, от страсти млея.  
Но это всё не сон!

                                Не сон,  
А та же Лорелея.

Жаль рыбаков; их лодок тьма,  
Их невод крепче стали —  
Им оборвёт ночная тьма  
Дыханье рыбьей стаи.

В домишках выше — вдоль реки —  
Желтеют окон пятна.  
Вот костерки,

  вон огоньки —  
И всё,  
                                и всем —  
  понятно.

## АТЛАНТИДА

### Новелла пятая — таинственная

Я Кохмой иду.  
Обретаются снова  
Улыбки, приветы.  
Живётся легко!  
Так в Вологде ждут  
не дождутся Рубцова,  
Где так полногласно звучит  
“молоко”.

О, я бы дождался!  
Но Кохма — иное.  
Повсюду звучит полногласное  
“я”.  
Пятнадцать, январь, лебядя  
и льняное,  
Пятерочка, прялка и даже  
семья.

Как яство, несу нетяжёлую  
фразу.  
Вот так и бреду — бестолков  
и учён —  
Из дёжки отпив рукодельного  
квасу,  
Отведав есенинских рыхлых  
драчён.

Ах, ярмарка-сказка вдруг  
скрылась из вида.  
Так что это было?  
Виденье ли?  
Сон?  
Не зря здесь под воду ушла  
Атлантида,  
А якорь на Уводи бросил Ясон.

Ночь.  
Женское племя встречается  
разно:  
То тянется к небу, то падает  
ниц.  
Задумайся, странник,  
получится разве  
Нежнее, привольней сыскать  
чаровниц?

О, ясные очи!  
О, яркие взоры!  
Насмешница месяцем выгнула  
бровь.  
Под гроздь салюта —  
под залпы Авроры —  
Судьбой наливаются кровь  
и любовь.

Здесь жить интересней.  
Мне жить интересней.  
Куда ни посмотришь —  
и явь, словно новь!  
Куда ни придёшь — обрети  
и воскресни!  
О, как же насмешница вскинула  
бровь...

В домишке ближайшем звучит  
радиола.  
Дедок у плетня уплетает  
морковь.  
И чудятся сёла — далёкие сёла,  
Где свадьба за свадьбой,  
Где песня за песней,  
Где всё ещё помнят,  
что значит ятровь.

ЕВГЕНИЙ ЧЕБАЛИН

## ДЛИННАЯ ПАЛКА “БОЛЬШОЙ КНИГИ”

(суть и колер главной премии)

**Свершившийся факт 2022 года для литераторов, окололитераторов и целеустремлённых графоманов: победителем одной из главных премий России “Большая книга” (в дальнейшем – “Б. К.”) стала “Подлинная история Анны Карениной” Павла Басинского.**

Принимающая участие в конкурсах элита нашей постсоветской литературы, обойдённая и проигнорированная “Большой книгой”, озадачилась: а где остальные, “не подлинные”? Это был логичный вопрос к “Б. К.”, поскольку “Подлинная история” Басинского заталкивала всех предыдущих критиков XIX–XX веков с их “неподлинной” аналитикой “Анны Карениной” в статус, как ни крути, ложных.

Желающих высказаться по поводу публикации глав из “Анны Карениной” в XIX веке было пруд пруди. Они толпились у редакций журналов и газет того времени с неодолимой, засасывающей тягой отозваться на новый роман Толстого. Этот массово-критический бурлеск с изумлением подметил маститый критик того времени Страхов: **“О выходе каждой части “Карениной” (7 мая 1877 г.) в газетах извещают так же поспешно и толкуют так усердно, как о новой битве империи или новом изречении Бисмарка”.**

Помимо Страхова, об “Анне Карениной” писали и критические зубры русской литературы – Ткачёв, Михайловский, Чуйко, Авсеенко, Соловьёв и сам Некрасов. Это далеко не полный список тех, кто жаждал высказаться о шедевре Льва Толстого. По “Анне Карениной” было поставлено более десятка фильмов с участием мировых звёзд, сыгравших Анну: Кэри Блум, Греты Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо, Нарциссы Малфой, Киры Найтли. Каренину сыграли в отечественных фильмах и наши звёзды: Татьяна Самойлова, Татьяна Друбич, Светлана Ходченкова. Каренину станцевала в балете Майя Плисецкая, спела в мюзикле Екатерина Гусева.

Поэтому вполне естественным было желание П. В. Басинского – как давнего препаратора и вивисектора Льва Толстого (до “Подлинной истории...”) Лев Валерьевич “выжал” документальные соки из дневников Льва Толстого в книге **“Лев Толстой: бегство из рая”**) втиснуться очередной книгой в этот звёздно-литературный и кинематографический ряд. Втиснуться, хлестнув предшественников длинной палкой своего “подлинника” об Анне. Про “длинную палку” не навет и не издёвка, поскольку (согласно Краткому этимологическому словарю русского языка) **“Подлинник”** – это длинная палка, которая использовалась дознавателями на Руси для выколачивания из подследственных подлинной правды.

Встраивание Басинского в толпу предшественников стало на удивление болезненным процессом для него самого. Этот “процесс” пошёл у автора после десятого прочтения романа. Басинский делится с читателем своим самоощущением десятикратного вгрызания в текст Толстого:

**“Я понял, что это становится родом сумасшествия... каждый год чувство, что я читаю другой роман, меня не покидало... иногда я обнаруживал, что у графа Вронского вдруг отрастала борода... она то была, то её не было”.**

Нельзя не выразить Павлу Валерьевичу нашего читательского соболезнования в связи с его “родом сумасшествия”, в коем нагло вырастают и пропадают бороды Вронского. Остаётся лишь сочувственно предположить, как кошмарили Басинского герои романа: у Каренина то вырастали, то пропадали рога, наставленные Анной, а у “горячего жеребца” (по Н. К. Михайловскому) Вронского, осеменившего Анну, помимо катаклизмов с бородой, то появлялись, то исчезали семенники и мужское достоинство в трансгендерном процессе.

Но оставим победителя “Большой книги” наедине с его приступами, терпеливо поджидая момента, когда его “род сумасшествия” сменится на адекватность, в состоянии которой можно будет порассуждать о “подлинной” Анне Карениной Басинского, а также о его предыдущих “расчленениях” Льва Толстого с помощью дневников графа.

Вчитываясь в критических предшественников XIX века, анализировавших “Анну Каренину”, властно и логически вытягиваешься в социальную аналитику романа. Она разительно разнообразна по форме, но единодушна по содержанию. Если говорить о форме, нельзя не отметить добродушно-язвительный отклик об “Анне Карениной” самого Некрасова:

Толстой, ты доказал с терпением, талантом,  
Что женщине не следует “гулять” —  
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,  
Когда она жена и мать.

Критик с едва ли меньшей известностью — Ткачёв, — фиксируя нещадный вердикт, вынесенный светскому обществу, присоединяется к Некрасову и пишет в тональности, напрочь лишённой шутейности:

**“Все эти Левины, Вронские, Облонские, Анна Каренина, Долли, Кити — сверхобеспеченные материальным довольствием субъекты... вследствие склада их воспитания и ограниченности нравственного и умственного развития, исповедуют главные ценности жизни — наживу, половые отношения и семейные дразги”.**

Не менее категоричен в своей социальной аналитике критик Н. К. Михайловский. Мы фиксируем в его суждении о романе нравственную оценку “Анны Карениной”:

**“В “Анне Карениной” мы видим факт чрезвычайно брезгливого интереса автора к высшему, благоуханному обществу... этот Вронский, в котором не разберёшь, где кончается горячий чистокровный жеребец, а где начинается человек... этот Облонский с его скрипучим легкомыслием... в описании этих лиц столь полное презрение к этому миру, что и разговаривать дальше о нём не стоит”.**

Завершая этот краткий экскурс в критические публикации XIX века, стоит привести высказывание современника Толстого — романиста Всеволода Соловьёва:

**“Беспощадную и едкую иронию Титана литературы можно видеть в “Анне Карениной” по отношению к высшему обществу, которое составляет главный предмет романа”.**

Нельзя не согласиться: главная тема романа Льва Толстого — агонизирующее имперское высшее общество XIX века, с его праздной, раззолочённой бесцельностью, с его ханжеством и потребительски оголтелым материализмом, напрочь лишённым патриотизма и творческих импульсов. Именно эта психологическая правда Льва Толстого о среде обитания аристократической элиты, среде, которая загнила, среде, где вспыхивали протестные революционные очаги, вызвала столь бурный поток отзывов, откликов и рецензий на “Анну Каренину”.



Скорее всего, именно эта беспощадная правда Толстого высекала из вождя грядущей революции Ленина, не терпевшего “гнилой интеллигенции”, знаменитую, сакральную фразу о писателе: **“Лев Толстой как зеркало русской революции”**.

Аналитики XIX века, отзываясь об “Анне Карениной”, меряли ею, как **социальным** эталоном, своё время. Что социального для **своего времени** видит и фиксирует критик Басинский, в *“Подлинной истории...”*? Что именно заставило его написать книгу об “Анне Карениной”? Транслирует ли он аналогии и ретроспекции оттуда — к нам? Чему учит автор своего читателя, современника из *века-волкодава* XXI-го, бросившегося этому читателю на шею: с вековой, людоедской ненавистью Запада к России, с гельминтозно-паразитической сутью российского олигархата и присосавшихся к нему чиновников, вору, растлителей, с братоубийственной бойней на Украине, навязанной нам Западом и США, с миллионами оболваненных и зомбированных айфонами детей, с театрами, где публично, на сцене справляют нужду, выставляют напоказ гениталии и спариваются? Видит ли, ощущает обронзовелый писатель Басинский эти нынешние язвы и струпья, от коих страна начала мучительно избавляться, болят ли они в нём самом?

Именно эти вопросы заставили взяться за чтение *“Подлинной истории...”* Именно эти, а не история “Анны Карениной”, которую уважающий себя интеллигент России предпочитает познать от самого Льва Толстого, а не от его жанровых пересказчиков-интерпретаторов басинских. Но о жанре и стиле в *“Подлинной истории...”* немного позже.

Обзор этой книги будет неполным без экскурса в предыдущую книгу П. Басинского о Толстом: **“Лев Толстой: Бегство из рая”**, фактура для которой взята из дневников Толстого.

После прочтения её осталось гнетущее, замешанное на брезгливости ощущение от автора: публично смаковались некие быто-фрески, сладострастно подсмотренные Басинским в замочную скважину отхожего места, коим считал свои дневники Толстой. Сам классик отозвался сокрушительно об этой своей мучительной страсти выплёскивать на бумагу все извивы и катарсисы души, нередко скабрёзные и похотливые, мыслимые им как **сугубо личные** заготовки и “житейский сор” для будущих романов:

**“Всё, что там писалось... ужасно жестоко, цинично и несправедливо, там говорится о таких интимных отношениях, о которых было гадко и скверно с моей стороны записывать, и ещё гаже допустить, чтобы кто-нибудь, кроме меня, читал их”** (подчёркнуто Толстым).

Но именно всё самое гадкое, циничное и интимное, не предназначенное для чужих глаз, выставил впоследствии в **собственной редакции** на обозрение всего общества помощник, секретарь, редактор и вор рукописей, домашний шпион семьи Толстых — **Чертков**. Фигура достаточно злоедающая, с гипнотическим воздействием на Толстого, по совместительству — внебрачный сын Александра II, тайный осведомитель Московского обер-полицмейстера — **лорда Редстока**, встроенного в надзорную систему за Россией извечно **“гадящей англичанки”** и изгнанного, в конце концов, правительством из России в Англию.

Чертков-таки умудрился вернуться из английской ссылки и, оставаясь в цепких лапах лорда, буквально прилип к Толстому. Стравливал писателя с женой, доносил Редстоку и полиции о его замыслах, рукописях, гипнотически воспалял его религиозный разлад с Православием и Церковью, втаскивал в протестанство и кришнаитство, подсовывая буддистские талмуды. Отчётливо просматривается сверхзадача Черткова в семье Толстых: любой, самой подлой ценой выбить русского Гулливера литературы из равновесия, возбудить в писателе протест против Церкви и двора Романовых, принизить, оскорбить его непомерно разросшийся статус в мире. При этом попутно получая громадные доходы от изданий Толстого, позволивших ему возвести себе дворец куда роскошнее, чем вся Ясная Поляна.

Эту нескончаемо длящуюся, необъяснимую власть над Толстым отчаянно воплещнула на бумагу своего дневника Софья Андреевна:

***“Жизнь моя со дня на день делается невыносимее... и это всё очень последовательно сделано Чертковым. Он всецело забрал в руки несчастного старика и разлучил нас, он убил художественную искру в Л. Н.***

**и разжѐг ненависть, отрицание меня... и не будет этому конца до смерти несчастного, опутанного дьяволом Чертковым Лѐвушки”.**

Не покидает ощущение, что П. В. Басинский в своей книге **“Лев Толстой: Бегство из рая”** синхронно сплавился со сверхзадачей Черткова и лорда Редстока: из-под комплиментарной, цветасто-благостной формы книги выпирает карикатурно шаржированный скелет русского гения, представленного потомкам неким либидо-буйным монстром.

Читая в интернете отзывы на эту книгу Басинского, понимаешь, что задача во многом выполнена. Здесь стоит привести один из многих отзывов об этом опусе Басинского, отзыв, который аккумулирует в себе суть многих остальных:

**“В книге много всей этой Толстовской похабщины. После прочтения Басинского я бы назвала отношение Толстого к женщине потребительским... женоненавистничество тоже присутствует. После книги порой хочется сказать о Толстом: “омерзительный псих”. Книга среднего уровня, и не могу не сказать: читать её не нужно и вредно, уж очень негативна и осквернена личность Толстого”** (подчёркнуто автором).

Не этой ли оценки и не такого ли отношению к Толстому добивался в своей книге П. В. Басинский, достойный наследник Черткова и лорда Редстока? **Что изучать в школах и вузах нынешней молодѐжи о Толстом? Его либидо-воспалѐнный физиологизм и похотливые похождения по Черткову-Редстоку-Басинскому? Или покорившие планету “Войну и мир”, “Кавказского пленника”, “Холстомера”, “Севастопольские рассказы” русского гения, которого знает и почитает весь мир?**

Экскременты “гадящей англичанки” и Черткова, запрещающих для умирающего любые лекарства и докторов, не признающих святых и Деву Марию, — эти экскременты расконсервированы и щедро выплеснуты Басинским на Льва Толстого в веке XXI.

Богатейшая фактура текстов Толстого в “Анне Карениной” с её притчевостью, образностью, тончайшей психологической нюансировкой — всё это пресуется Басинским лихо и нещадно, оставляя от романа выжатый жмых. Перед читателем после прочтения его книги остаѐтся торчать ошкуренно-голый сюжетный ствол романа, сравнимый разве что со школьными сочинениями нынешних оболтусов, зомбированных гаджетами:

**“Конфликт в доме Облонских, как зубчик шестерѐнки, влечѐт за собой приезд Анны (материальный “зубчик шестерѐнки” может влечь за собой человеческое событие? — Е. И.) в Москву ради примирения её брата с женой. По дороге Анна знакомится с матерью Вронского, которая в итоге сыграет в её смерти ключевую роль. Поездка в одном вагоне с графиней Вронской приводит к тому, что Анна сталкивается (лоб в лоб или грудь с грудью?! — Е. И.) с самим Вронским. Затем они опять случайно видят друг друга в доме Облонских. Потом Анна оказывается на балу, где танцует с Вронским. Потом происходит встреча Анны с Вронским на станции Бологое в метель. Разговор Вронского и Каренина на вокзале в Петербурге”.**

Ещё один из бесчисленных, многостраничных пересказов Басинского происходящего в доме Облонских: муж Стива, гувернантка, с которой он изменял, жена, дети, англичанка, экономка, чѐрная кухарка, повар, телеграмма от Анны Карениной...

Ещё один — из ресторана “Англия” с его роскошным меню: *флешбургские устрицы, прентаньер, тюрбо под соусом Бомарше, ростбиф, каплуны пулярки, шампанское... классическое шабли, сыр пармезан...*

Когда выберешься из этого вязкого месива — пересказа, нафаршированного цитатами из Толстого, логично тянет к арифметике: каков сравнительный процент в “Подлинной истории...” самого Басинского?

В четырёх взятых наугад страницах “Подлинной истории...” вместились двести строк. Из них — **194 (!)** строки примитивно-нудного пересказа, окрашенного в обличительно-обвинительные тона, с цитатами. И лишь **6 (!)** строк — специфические суждения самого Басинского.

**“Но почему её (Анну Каренину. — Е. Ч.) так мало заботит девочка? Предположим, это связано с тем, что она бредит. Но и выздоровев, Анна не заботится о дочери”.**

**“Что мы имеем в сухом остатке?.. Кажется, немного: полнота фигуры... Анна Каренина не похудела в процессе работы Толстого от черновых вариантов к окончательной версии романа”.**

И ещё один, избранно-чёрный мазок на облике Анны Карениной:

**“Это был дьявол, который овладел её душой... она становилась упорно, нарочито мелочна, поверхностна, насмешлива... холодна”.**

И в таком стиле десятками страниц. Из коктейля, сбитого из зубчиков шестерёнки, устриц и каплунов, из сыра пармезана сам победитель “Большой Книги” Павел Валерьевич Басинский **выныривает, проявляется авторскими суждениями в объёме около трёх процентов**, суждениями, которые выборочно касаются скабрёзных ситуаций в романе, плоти Анны Карениной и дьявольского склада её души.

Остаётся сожалеть о том, что Лев Толстой не дал размахнуться во всю ширь плотскому аналитику Басинскому, оставив за скобками романа длину ногтей Анны, размеры её бюста и её менструальные циклы. Впрочем, Лев Толстой и не смог бы проделывать это, поскольку, по Басинскому, **“автор убивает свою героиню уже в XI главе второй части романа, в единственной постельной сцене, где Анна отдаётся Вронскому”.**

Затем Павел Валерьевич погружает своего читателя в прозекторские трупные подробности, но не Анны Карениной, а её жизненного прототипа – Анны Пироговой:

**“Лев Николаевич видел её с обнажённым черепом, всю раздетую и разрезанную, в Ясенковской казарме. Впечатление было ужасное”.**

И всё это дополняет притянутый за уши Вронский с его видением Анны из романа: **“Бесстыдно раскинутое посреди чужих окровавленное тело”.**

Станным образом П. В. Басинского магнитно притягивают в этом, как и в предыдущем, романе не столько история и психология Анны Карениной, сколько жизненные передрыги автора – Льва Толстого, судьба и биография самого писателя и его семьи, из которых наш лауреат тщательно отсортировывает (для всеобщего обозрения) миазмы ссор, агрессии и зависти, склок, инициированных и смачно отредактированных в своё время Чертковым.

Павла Валерьевича лихо и сумбурно заносит в какой-то скачущий хаос семейных и околосемейных персонажей: письмо Толстому из Гейдельберга от сестры; Маша и Лёвочка – младшие дети в семье Толстых; сплетение судеб в семье: Лев-Варвара – Валерия – княжна Дондукова – Корсаков – братья Николай, Дмитрий, Сергей. В этот семейный сумбур втёсывается десятилетний билет, подаренный Варваре из гонорара за “Войну и мир”.

Затем следует ещё более резвый, рекордно дальний прыжок автора от судьбы Анны Карениной к первенцу в семье Пушкиных – Маше. О её зубках и танцах: **“Танцевать она выучилась у собачек”.** О выходе замуж за Гартунга, возле которого появляется некий ростовщик Занфлебен. Смакуются отношения Гартунга к этому ростовщику. Суд над Гартунгом. Его самоубийство. Отношение Марии Александровны Пушкиной к самоубийству. И, наконец, скачок к ...пенсии М. А. в 200 рублей, которую пробил Луначарский и повысил затем до 300 рублей. С коими Марию Александровну застала революция 1917 года.

Попутно на читателя выливаются потоки агрессии, злобы, зависти в семье Толстых. Здесь и отношения Толстого и Тургенева:

**“Что за мерзость Флобер в переводе Тургенева! Это возмутительная гадость!”**

Здесь же едва не состоявшаяся между ними дуэль, причиной которой стали резкие слова Толстого о внебрачной дочери Тургенева Полине.

Здесь сбор материалов в 1872-1873 гг. и неоднократные попытки написать роман о Петре I, которые заканчиваются творческим крахом, что вызывает в Толстом безудержную ярость и ненависть к самому Петру:

**“Пьяный сифилитик Пётр со своими шутами!”**

Жаль, что приведённая Басинским фреска о Петре I столь коротка. А как бы хотелось узнать от Павла Валерьевича об “Арапе Петра Великого”, которого сыграл в кино Высоцкий, у которого была возлюбленная француженка Марина Влади, стоически переносившая его запои, дебоши и наркобуйство. А так же о сквере в Самаре, названном именем Высоцкого, где на газон вокруг памятника с гитарой мочатся выгуливаемые собачки. И сколь часто они это делают...

Но Павел Валерьевич, оставив Петра I в одиночестве, подтаскивает нас к взаимоотношениям издателя Каткова и Толстого, куда Басинский встраивается третьей стороной, выставляя Толстого обманщиком:

**“Катков обманул Толстого, превратив его произведение только в роман. Но ведь и Толстой обманул Каткова, печатая в его журнале, по мере написания, роман, но не закончив его так, как романы заканчивают”.**

Остаётся благоговеть по поводу литературного прокуратора Басинского, “подлинно” знающего, как “графоману” и обманщику Толстому следовало заканчивать роман.

Далее ревность Толстого к Флоберу:

**“Толстой на сравнение себя с Флобером, пусть и в свою пользу, делал “глухое ухо”.**

Наконец, завершая “мерзопакость” бытия Толстого, П. В. Басинский дополняет характеристику русского гения обвинением в плагиате, имея в виду сюжет “Мадам Бовари” Флобера, который Толстой, по Павлу Валерьевичу, беззастенчиво слямзил для “Анны Карениной” у француза:

**“Строго говоря, с точки зрения сюжетной схемы (жена изменяет добродетельному мужу и расплачивается за это своей жизнью) можно даже говорить о плагиате”.**

Здесь нужно не говорить, а вопить о двойном плагиате Толстого: Отелло, поверив доносу о неверности Дездемоны, примитивно душит страдальцу – за неимением поезда с его рельсами и колёсами. Можно подсказать ещё несколько вариантов из мировой литературы.

Напрашивается сравнение книг Басинского с ранними, почившими в бозе приснопамятными шоу-фурункулами на каналах TV: “Пусть говорят” с Малаховым и “Дом-2” с Собчак, которые ныне благополучно выдавлены и продезинфицированы.

Но – достаточно о книге, слепленной из школярских пресс-релизов романа Толстого, цитат из неё, книге из 21 главы, **суть и смысловая авторская составляющая которых около 3%**. Она, как и предыдущая – “Лев Толстой: Бегство из рая”, – до отказа напичкана сладострастно отобранными скабрёзностями, злобой, обманами, плотской физиологией, бузотёрством семьи русского гения Толстого и его самого. Эта, по сути дела, куцая обзорная статья, раздутая до размеров романа, обильно нафаршированная десятками страниц нудных пересказов, являет собой некий литературоведческий **ХАОС**. Хаос – греческое слово, переводится как “зияние” “зев”. То есть **пустота**. И эта пахучая пустота навязывается нам “Большой книгой” как образец писательства.

Во весь рост встаёт вопрос вопросов: кто финансирует подобную иезуитчину? Кто в составе жюри, отбирающего кандидатов на премию? Кто ныне содержит литературных, театральных вампиров типа богомоловых, серебрянниковых, быковых, шендеровичей и пр., отсасывающих из русской культуры и литературы совесть, сострадание, честь, любовь, справедливость? Отсасывающих, чтобы смачно сплюнуть на зрителя и читателя ядом.

Сведения о финансистах “Большой книги” не секрет: в их составе Минцифры, Минкультуры и Ельцин-центр, ставший русофобской помойкой, Центр, который устами дочери и внучки Ельцина, окопавшихся в Лондоне, поливают грязью и специальную военную операцию на Украине, и её бойцов.

Этот же Ельцин-центр, по сути, подгрёб под себя всю книгоиздательскую индустрию России и переводы русских книг за рубежом, посылая туда свои делегации, организуя русофобски отфильтрованные выставки в BUCH WIEN (Австрия), LONDON BOOK FAIR (Англия), FRANKFURTER BUCHMESSE (Германия), LIBER (Испания) и т. п. **За государственный, наш с вами счёт.**

Немало интересного и в составе жюри, отбирающего кандидатов на премию “Большой книги”. Как вам такие фамилии персонажей, свившихся в единый клубок ещё в 90-е в гайдарономике: Шохин – ныне директор либерал-касты под крышей университета ВШЭ; Шахрай; Набиуллина; Кудрин, засветившийся на многочисленных снимках в СМИ в обнимку с Гайдаром.

Особое умиление в жюри вызывает фамилия самого Павла Валерьевича Басинского, таранно пробившего на премию в этой тёплой компании самого себя.

И, как ягодка на торте, – Наталья Борисовна Иванова, награждённая Горбачёвым “Орденом Почёта”, критик, зам главного редактора журнала “Знамя”. Излишне со стороны характеризовать эту критикессу, она сама блистательно делает это в беседе с Алисой Ганиевой – редактором приложения “Н. Г. EXLIBRIS”. Наталья Борисовна с изящным кокетством описывает свою

тотальную схватку с русопятыми секретарями СП, в частности, с Сергеем Михалковым:

**“Сергей Михалков страшно обиделся... он написал пафосную статью “Два крыла детской литературы”, а моя, в ответ, называлась “Когда крылья теряют перья”. Очень гневался, как мне сказали”,** – с наслаждением припоминает Наталья Борисовна свой пикирующий полёт критической галки над седой головой легендарного Михалкова.

**“Я была аспиранткой, работала над диссертацией о Достоевском в современной критике США. Мне не дали её завершить, потому что я позволила себе быть благожелательной по отношению к американской критике”.** Если проще – американцы вылили на Достоевского очередной ушат помоев, а юная аспиранточка Натали радостно захопала этой акции в ладошки в своём аспирантском “одобрямсе”.

**“Мы вступили в такое время, когда чем хуже, тем лучше. Чем больше облаешь – тем больше получишь. Чем грязнее измажешь, тем больше, как тебе кажется, будет твоя известность”.**

В самом деле, госпожа Н. Б. И., ваша известность мастерицы критических клякс – только кажущаяся. Вас уже нет и не должно быть в литературе и критике. И Ваше присутствие в жюри “Большой книги” равноценно сорняку, такому же, как Шохин, Набиуллина, Кудрин и иже с ними, которые пришла пора выкорчёвывать в нашем русском литературном огороде.

### Что делать?

Для начала масштабно и государственно учредить ментально и нравственно противоположную “Большой книге” премию и поднимать ею патриотическую, русскую литературу, драматургию, киноиндустрию, в которых всегда абсолютно комфортно чувствовали себя якут и бурят, чеченец и башкир, татарин и калмык, белорус и дагестанец. А в перспективе – сириец и бразилец, аргентинец и венгр, кубинец и серб.

Надобность в этом болезненно, до катастрофы, назрела именно сейчас, когда на Украине разгорается Третья мировая война против нас. Когда нужен очищающий поток нравственной, национальной духовности. И не просто поток – целенаправленная лавина, которая станет сдирать с общества, смывать либер-тифозную коросту потребительства, наживы, хамства, пофигизма, сатанизма и прочей “майdanовщины”, которой ненавистны русские гении.

Нужен антагонистичный Ельцин-центру и “Большой книге” **государственный заказ на такую литературу, пьесы, киносценарии в форме Международного конкурса, масштабированного ежегодным президентским грантом: “Встанем вместе, братья!”**

Конкурса, который будет иметь в своём распоряжении театр, издательство и тесную, договорную связь с киностудией для постановки и съёмки по сценариям кинофильмов-лауреатов. Ныне отечественная киноиндустрия завалена примитивным набором околлубовной и ментовской бытовухи, с их мордобоем, либидо-изменами, стрельбой, губернскими олигархами и жуликами. Этот набор примитивщины безжалостно отталкивает, отпугивает от себя зрителя, наказывая киноиндустрию тысячами опустевших кинозалов. Зритель выносит свой вердикт ногами и кошельками, предпочитая всей этой унылой лабуде пиратские копии американского, дурно скопированного “Аватара” и доморощенно лопоухого Чебурашку – ожившую “матрёшку”, застенчиво затесавшуюся в человечье сообщество.

**Ещё и ещё раз:** необходим, жизненно назрел тотальный ежегодный конкурс на умные книги, пьесы и киносценарии, реализуемые театрами, издательствами и киностудиями, – тот самый замкнутый цикл, который сможет не просто выявлять, отбирать, награждать лучшие произведения, **но и реализовывать их.**

Конкурс должен быть жёстко ориентирован на патриотическую и военно-патриотическую тематику, которая необходима ныне, когда идёт планетарный слом агонизирующего западного паразитарного фининтерна и ТНК, густо замешанных на крови и смертях миллионов. Начата животворная реформа нашего ВПК и армии. Столь же жизненно необходима наступательная, бескомпромиссная реформа литературы и искусства.

ТАМАРА КУПРИНА

## ОТ ВСТРЕЧИ ДО ВСТРЕЧИ

*К 100-летию замечательного русского писателя  
Бориса Андреевича Можая*

1

Есенинское Константиново (как всегда бывает в этот день) бурлит праздничным многолюдием... Ещё в Рязани, перед поездкой на родину поэта, тогдашний секретарь писательской организации Валентин Сафонов объявил: “Кто желает выступить, записывайтесь...” Я записалась. И вот теперь волнуясь перед первым выступлением в знаменитом на весь мир рязанском селе. Валентин Иванович успокаивает и советует сесть на первую перед трибуной писателей скамейку, а когда назовёт мою фамилию – подняться на трибуну. Сажу и мысленно повторяю то, что хочу сказать просвещённой аудитории (это тебе не в сельском клубе улыбаться со сцены!). У меня давняя традиция – на поэтических праздниках читать сначала стихотворение юбиляра, а потом своё. Решила не изменять ей и в этот раз. Повторяю строки любимого есенинского стихотворения “Всё живое особой метой отмечается с ранних пор...” Валентин Сафонов председательствует. Рядом с ним ещё один Валентин – Сорокин, из Москвы. Сначала – тоже по традиции – предоставляют слово маститым авторам. Среди них наш земляк, большой писатель, уважаемый мной Борис Андреевич Можая. Родной его Пителинский район соседствует с моим Касимовским. Можая начинает своё выступление: “Всё живое особой метой...” Сердце замерло: да это же “моё” стихотворение, не повторять же мне его вслед за Борисом Андреевичем! Пока переживаю ситуацию, слышу голос Валентина Сафонова, объявившего в микрофон: “А сейчас я предоставляю слово Тамаре Пономарёвой из деревни с поэтическим названием Ахматово...” Если бы не это “поэтическое название”, я бы, пожалуй, не поняла, что слово предоставляется мне. В некотором смятении поднимаюсь на сцену. Говорю в микрофон извиняющимся голосом: “Простите, но моя фамилия Куприна, а не Пономарёва...” Вижу, как Сафонов сокрушённо хватается за голову. Кто-то из сидящих в президиуме произносит: “О-о! Знатная фамилия...” Подтверждаю: “Да, фамилия обязывающая!” И начинаю читать своё, написанное в прошлом (92-м) году стихотворение.

Впервые я прочитала его в касимовском Клетине, родном селении поэта Евгения Маркина, на празднике маркинской поэзии. К моему радостному удивлению, стихотворение было тогда воспринято публикой горячо, с душевным пониманием.

Дочитываю последние строки стихотворения: “...Ведь какая б ни шла перестройка, на деревне Россия стоит!” – и слышу прозвучавшие как резюме чёткие слова сопредседательствующего Юрия Львовича Прокушева: “Сказала,

как припечатала: да, Россия стоит на деревне, на земле!” До сих пор эти слова известного есениноведа, которому в минувшем 2020 году исполнилось бы 100 лет, звучат для меня как незабываемая похвала, как высшая награда.

А Валентин Сафонов потом объяснил мне свою оплошность: перед этим он разговаривал по телефону с московской поэтессой Тамарой Пономарёвой, и, видно, эта фамилия закрепилась в его сознании и прозвучала в микрофон.

После официальной части меня внезапно окружила большая группа людей, чего я никак не ожидала. Они протягивали ко мне руки и просили дать автограф. Я сначала даже растерялась: это случилось впервые в моей жизни.

Когда я разобралась с автографами и подняла глаза, то увидела, что напротив меня стоит и улыбается Борис Андреевич Можаяев. Видно, я с таким восторгом смотрела на своего знаменитого земляка, что он шагнул мне навстречу, протянул руку и сказал: “Спасибо, землячка!”

Мы разговорились. Узнав, что я из Елатьмы, он сказал, что бывал в моём родном посёлке несколько раз. Поинтересовался работой Народного музея, где оставил свою запись в “Книге отзывов”. Вспомнили мы воссоздателя и руководителя музея, местного учителя, члена Союза художников СССР Алексея Алексеевича Александровского, ушедшего из жизни в 1989 году, с которым хорошо был знаком Борис Андреевич. Кстати, я пояснила ему, что в “поэтической” татарской деревне Ахматово я работаю учителем иностранного языка. Поговорили о судьбе неприкаянной русской деревни, о которой всегда остро болело сердце рязанского писателя. На прощанье обещал прислать свою книгу “Мужики и бабы”. Но, к сожалению, вскоре заболел, и в 1996 году Б. А. Можаяева не стало.

А в тот незабываемый для меня день, 3 октября 1993 года на родине все-светного рязанца мы ещё не знали, что в Москве у Дома Советов идут настоящие бои с кровопролитием и жертвами, и узнали об этом, только вернувшись в Рязань.

## 2

Более четверти века нет с нами Бориса Андреевича Можаяева, но его мысли, его тревога, его боль за порушенные устои крестьянской жизни актуальны и сегодня.

Сам он так писал в своей биографии:

“... в прежние времена спрашивали допреж всего: “А из какого он рода?”

Родился я в 1923 году, первого июня (на Духов день) в селе Пителино Пителинского района Рязанской области. Отец мой до революции служил на пароходе, как и деды мои, но все они из крестьянского рода. Дед по отцу Можаяев Иван Зиновьевич был астраханским лоцманом, ещё в прошлом веке водил суда по знаменитому каналу из Волги в Каспий. Роднѣй я был богат – братьев и сестёр было пятеро, а двоюродных, троюродных не перечтѣшь. Только по отцовской линии имел трёх тѣток и пять дядѣв. С одним из них, с Николаем Ивановичем Можаяевым, ушѣл на войну в 1941 году, в сентябре месяце: “В кругу скупых на слѣзы, ласку; в кругу семей своих, мешок наклали под завязку нам с дядей на двоих. И древней Муромской дорогой пошли мы, млад и стар...” А всего от Можаяевых, то бишь родственников из нашего села, воевало в эту войну шесть человек. Столько же пителинских Можаяевых воевало и в Первую мировую войну. И вот чудо – хоть и раненые, но все возвращались.

... по отцу родня моя весѣлая. И по матери родственники мои не скучали... Дед, Песцов Василий Трофимович, и старший дядя были моряками. Дед – активный участник революции 1905 года, служил на Чѣрном море. После революции скрывался два с лишним года. По амнистии в 1908 году вернулся в родное село Мочилы, где не был двадцать пять лет. Привѣз со станции десятка полтора чемоданов, саквояжей, баулов. Баба думала: “Добра-то сколько! Носить теперь не токмо нам – детям и внукам не переносить...” Стали открывать чемоданы да саквояжи, а там одни книги. Он всю библиотеку партичейки привѣз. Непокойный был человек – он и умер в пути. Решил, что революция в Москве да Питере не так сделана. В начале восемнадцатого года поехал в Москву, чтоб доказать, кому следует... Да поездка не удалась... Поезда остановились. “ВИКЖЕЛЬ” забастовал. А тут тиф.

Дед заболел тифом и пролежал на какой-то станции. Привезли его домой еле живого... Умер от революции.

А дядя мой — Песцов Павел Васильевич, штурман корабля (он окончил Нобелевское училище в 1912 году), поздней осенью 1918 года на своём пароходе пришёл из Каспия в Казанский затон. И там погиб в марте-апреле 1919 года.

Это моя близкая родословная. Но ежели заглянуть чуть подальше, то вот ещё что могу сказать: все Можаяевы из Пителина, т. е. моего родного села, — родственники. Пращур мой Максим Коротков был участником первой Отечественной войны, после Бородинского сражения остался в отряде Воейкова, прикрывавшем под Можайском отходившую армию Кутузова от наседавших французов. Отличившимся в этом бою (их было человек 20, по рассказам предков моих) дарована была фамилия Можаяевых. Одна фамилия зачахла, а наша, от Максима Короткова, размножилась...

Вот вам моя родословная.

После окончания средней школы я поступил в ГИИВТ (Горьковский институт инженеров водного транспорта) на кораблестроительный факультет. Это было в 1940 году. Осенью по высокому указу всех студентов лишили стипендии и ввели плату за обучение — 150 рублей в год. Тогда это были деньги. Несколько месяцев (до зимы) я ухитрился после учёбы подрабатывать на пристани при разгрузке пароходов. Но наступила зима. Волга замёрзла... И я взял из института отпускную с правом возвращения на 1-й курс после окончания предстоящей мне службы в Вооружённых силах.

А там война... В конце 1943 года просматривалась уже грядущая победа, и нас, призванных из института, направляли на офицерские курсы и даже в высшие военно-морские училища. Вот так я и попал в Высшее инженерно-техническое училище ВМС. Окончил я его в конце 1948 года и был направлен на Тихоокеанский флот в звании инженер-лейтенанта. После смерти Сталина с флота ушёл в литературу. С той поры так вот и занимаюсь этим делом. Правда, окончил ещё двухгодичные высшие сценарные курсы. Писал и стихи, и прозу, и комедии, и сценарии. И, конечно же, занимался публицистикой, критикой и пр. Выпустил в свет много книг, кинофильмов...

1995 г. "

Впервые я его — **услышала**, а потом — **увидела**. Это было так. Я занималась своими делами, а в соседней комнате работал телевизор. И вот я слышу своеобразный волевой голос, умную, рассудительную и убедительную речь. Заинтересовавшись, выглянула из комнаты. И увидела красивого человека в форме морского офицера, который вдохновенно, образно и со знанием дела говорил о жизни крестьянской деревни... И сразу влюбилась в него.

Потом было знакомство с его книгами, с кинофильмами и сценариями... А он, Можаяев, в это время мотался по стране, по командировкам, лез, попросту говоря, во все дыры, докапываясь до истины, до сути событий и явлений. Ему, толковому и принципиальному, трудно было втереть очки. Поэтому и был порой у нечестного начальства как бельмо на глазу. Очерки, написанные ещё в 60-е годы, и сегодня читаются с неослабевающим интересом, ибо главное в них — здравый смысл. Они и сегодня имеют **практическую** пользу по самым острым проблемам сельской жизни: как спасти пойму Оки, наши знаменитые заливные луга, от ретивых "пахарей", а дальнюю уссурийскую тайгу — от хищнической вырубки. У Можаяева — характер, язык, стиль... У него ничего не придумано, всё существует в реальной жизни: и персонажи, и их проблемы, и их среда.

Есть у него небольшая повесть "По дороге в Мещёру". Начинается так:

"Она проходила мимо нашего села и называлась столбовой дорогой, большаком, Касимовским трактом, Крымкой, Владимиркой, Муромской дорогой. По ней возили пшеницу и рожь с юга на Меленки, Муром, Павлово; по её широкому, обвалованному от полей прогону гнали скот из Тамбова на Егорьевск, на Москву. Шли по ней странники, нищие, богомолки. По ней уезжали на заработки, в одну сторону — до Москвы, до Питера, в другую — на Оку, на Волгу, на Каспий.

На Муромской дорожке стояли три сосны,  
Со мной прощался милый до будущей весны...

По ней гуляли отчаянные головы с топором за поясом да кистенём в кармане, поджидали в тёмном месте богатых гостей.



Едут с товарами в путь из Касимова  
Муромским лесом купцы...

Это всё про неё поётся.

... "Проедешь от Тумы до Окатова – доедешь до Саратова", – говаривали в старину про те места.

"Тума железная, а люди в ней каменные" – это Куприным записано. Бывал он там, жил в барском доме в Ветчанах, описывал окрестные столетние боры, местное население, которое "говорит не понятным для нас певучим цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно"...

– У кого здесь гостил Куприн?

– У зятя, управляющего помещьем. Фамилия его Нат.

– А кто построил тот самый барский дом, где останавливался Куприн?

– Пленные французы. А руководил сам фельдмаршал Пётр Михайлович Волконский, дальний родственник Льва Толстого...

– Откуда родом Баташиха, последняя владелица Гуся Железного?

– Немка из родового поместья "Гуд"...

Читала эту повесть с нескрываемым интересом: ведь описывает Можаяев все знакомые мне родные места: (родилась я в Туме, училась в Касимове, живу в Елатье). Одна из героинь – Дуся Мелешкина (в девичестве Демидова) – обращается к писателю:

– "Счастливые вы. То в Москве живёте, то в Рязани. А нас загнали в сырую Туму, и торчи здесь.

Под конец размечталась (обращается к мужу. – Т. К.):

– Вася, говорю, устрой так, чтобы в Елатью нас перевели. Там Ока, пароходы, сады на высокой горе... Совсем другой свет.

А я ей говорю:

– Мы только из Елатьмы. Тоня Анохина... Шурку Анохина помнишь? Тюльку?

– Ну, как же? Тоже наш одноклассник и секретарь, – это мужу.

Тот мотнул головой, знаю, мол.

– Тоня Анохина также вот мечтает удрать из Елатьмы в Рязань.

– Они избалованные. Им повезло. – Дуся помолчала. – Он в обком попал. А нас куда только не кидали...

В Елатью Мелешкины так и не переселились, осели навсегда в Кадоме. Да и район в Елатье закрыли. Делать там нечего.

Как-то лет через пять встретил я их в поезде на Москву.

– Не мечтаете больше о Елатье? – спросил я Дусю.

Только рукой махнула:

– Отмечтали. Наша мечта в коротком платье бегаёт... С годами трезвее мы стали. А тогда верилось, что всё-то откроется нам, всё-то сбудется, как мечталось. Время было такое".

От Касимова дорога разветвлялась: налево шла на Туму и на Владимир, направо же – в Муром, Павлово, Нижний, Саратов, Самару. На широкие волжские плёсы, в бескрайние степи, на вольную волюшку... Ах, дорога, дорога! Сколько по тебе прошло и проехало люду всякого роду-племени в ту страну, откуда уже никто никогда не возвращался?

Шли по ней обречённые арестанты в тюремных армяках, гремя кандалами, шли этапом от ночлега до ночлега, то есть от тюрьмы до тюрьмы – Шацк, Сасово, Нестерово, Касимов...

По этой дороге привозили к нам на базар из глухой лесной стороны всякую всячину: кадки и самопряхи, донца, воробы, отупы, пехтели, лапти, онучи, мёд, пеньку, верёвки, дуги расписные, колёса окованные, телеги на железном ходу, шостинские телеги! А то касимовские сани, подсанки, саночки с расписным задником, с гнутыми копылами, с подрезами. Садись и лети хоть в Москву, хоть катать до самой Сибири – на любом ухабе не опрокинутся".

Описание путешествия выливается в рассказ писателя о самом себе и о простых деревеньках, протянувшихся вдоль Касимовского тракта, каждая из которых, как человек, – со своим "лицом", характером, укладом жизни, со своими бытиями и преданиями... В повести продолжают развиваться лучшие традиции русского классического "путевого очерка". Как не вспомнить Радищева, Карамзина, Александра Сергеевича Пушкина с его "Путешествием

в Арзрум"! Только у Можаева другое "тысячелетие на дворе" – год 1976-й – да "география иная" – путь от Торгового городка в Рязани в родное село Пителино, через Солотчу, Клепки, Касимов... И повесть можно смело ставить в один ряд с близкими по жанру такими выдающимися произведениями современной русской прозы, как "Владимирские просёлки" В. Солоухина, "Вологодская свадьба" А. Яшина, "У дяди Тимохи" В. Рослякова...

Публикации Можаева часто оборачивались ему неприятностями со стороны власть имущих. Вспоминается такой эпизод, связанный с появлением книги "Запах мяты и хлеб насущный": местные партаппаратчики упрятали весь тираж, пришедший на Рязань. В книге было много чего про рязанских деятелей – одних автор прямо называл по фамилиям, другие были легко узнаваемы. "На бюро его! Рога будем ломать враз и навсегда!" Когда один из рязанских журналистов позвонил ему, чтобы поздравить с прекрасной книгой, то Можаев, смеясь, спросил: "А правда, что у вас в Рязани весь тираж куда-то исчез?"

Принудить его к "лакировке действительности" не смог бы и сам Господь Бог. Он не мог не реагировать на то, что творится вокруг. Отчего гибнет наше национальное достояние – народные промыслы? Во что обходится мелиорация? Кто придумал делить деревни на перспективные и неперспективные? Почему с такой бесшабашностью рушим мы то, что было создано до нас? Печальные судьбы осиротевших деревень. Земля – матушка. Мужик – кормилец ("Мужик должен возродиться, если мы хотим жить в достатке и быть независимым государством"). Все эти и многие другие вопросы волновали писателя Бориса Можаева.

Высмеивал он и писателей-верхоглядов. В очерке "Где дышит дух" живописует Борис Андреевич визит большой группы (два автобуса) известных писателей в Клепиковский район. Писателей интересовала мелиорация. Как потом выяснилось, им продемонстрировали возможности польдерной системы, а отнюдь не её реальное состояние. Но мастера пера приняли всё за чистую монету, чем изрядно повеселили автора очерка:

*"Это мероприятие почему-то называется литературным постом в Нечерноземье. Почему постом? Кто там стоит? Что охраняет? Скорее, это был дозор, вроде по Некрасову: "Мороз-воевода дозором обходит владенья свои". Обошли, поглядели, потом в Рязани с трибуны корили всё ту же "деревенскую" прозу, которая-де не замечает достижений. Они же, дозорные, заметили... Я дивлюсь, как иные литераторы "изучают жизнь". Увидеть, как пульсируют манометры, нетрудно, но исследовать глубинный смысл и ход событий куда сложнее. Для этого не только что просёлки, тропы звериные искрестить надо".*

И как вывод:

*"...Писатели всегда делились не на деревенских и городских, не на военных да на штатских, а на хороших и плохих, на художников и беллетристов".*

А на вопрос – нужно ли реагировать на бездарность? – Можаев отвечает словами Пушкина, который писал: успех книги бездарной или даже пошлой должен разбираться критикой с тем, чтобы выяснить, в чём причина успеха и интереса публики, кто его подогревает и с какой целью:

*"Приманчивый отблеск, на который идут косяками эти ремесленники от искусства, излучает конъюнктура. Для них совершенно неважно, какая конъюнктура, – сексуальная, социальная или даже идеологическая. Главное – попасть в денежную струю или на конвейер служебной выгоды; расхожая недолговечная продукция, рассчитанная на ослеплённую рекламой нетребовательную публику, миллионными тиражами забивает книжные прилавки, наводняет журнальные полосы, театральные подмостки и кино. Как у бойких расчётливых лотошников, у этих сочинителей все можно найти для разжигания интереса к шикарной жизни и похотливых желаний, всё: от телесного и нравственного стриптиза до откровенной проповеди насилия. И вся эта хитроумная затея приблудного сочинительства существует только для того, чтобы увести читателя и зрителя от реальной действительности, от её больших сторон и тревожных вопросов".*

Сегодня понятие "патриотизм" исковеркано донельзя. Всё смешалось – естественная для человека любовь к Родине и великодержавная кичливость, боль за многострадальное Отечество и пренебрежение к собственной стране, возрождение национальной духовности и натиск массовой культуры... Можаевский патриотизм начинается с сердечной привязанности к тому уголку земли, где

он родился и вырос, ко всем этим деревенькам, с которыми он встретился “по дороге в Мещёру”, к родному рязанскому краю. Всех героев Можаяева в недавнем прошлом называли тружениками. Сегодня же они мало кому интересны. Книжные прилавки, пресса, телевидение забыты политикой, криминалом, “светской хроникой”, попсой... Но хочется надеяться, что когда-нибудь эта вакханалия кончится и сама жизнь востребует и людей труда, и уважение к ним.

В критической статье “Оставленные в наследство заветы” Можаяев размышляет о роли художника в обществе, ссылаясь на классиков русской литературы. Сегодня эти заветы можно в полной мере найти и в творчестве самого Бориса Андреевича Можаяева — прекрасного русского писателя.

### 3

При моём неоднозначном отношении к творчеству и личности Александра Исаевича Солженицына, который тоже в своё время был рязанским писателем, я благодарна ему за добрые слова о моём земляке Борисе Андреевиче Можаяеве, к которому Солженицын вначале отнёсся недоверчиво и насторожённо, а впоследствии стал его ближайшим другом.

Статью его о Можаяеве я восприняла с благодарностью, поскольку чувствуется, что он и сам писал её с искренней благодарностью Борису Андреевичу за его помощь в трудных жизненных ситуациях, за его доброе участие в судьбе Александра Исаевича.

“В Можаяеве я сразу почувствовал прямоту характера, бесхитрость”, — сообщает насторожённый Солженицын.

“Я остро интересовался положением в советской деревне, историей русского крестьянства, ближней и дальней, — а Борис этим-то и дышал, и знал преотлично. Это и сблизило нас крепче всего помимо наставшей приятельской дружественности. Душевная прямота Бориса рождала распахнутость... Простая трезвость его знающей оценки не могла оставить у него места политическим заблуждениям. Да и от отца же: отец был замечательной душевной твёрдости... Пришло раскулачивание — в кулаки не попал, но и в колхоз не пошёл... Спустя время посадили-таки его, но уже как “врага народа”, а не кулака, — и то были ранние мальчишеские впечатления Бориса.

Однако не политическими взглядами руководствовался Борис повседневно... А вот что Хрущёв идиотски загубил луга — по всей Руси загубил, но вопиуще, что родные приокские! — велел их перепахивать под кукурузу, теряя обильнейшие золотые корма, и на много лет, а получая взамен огрызок кукурузного початка, — вот это злодейство над землёй аж било Борю яростью. Носился он то луга загубленные смотреть, то в рязанские и московские редакции статьи печатать, да их запрещали как горькую контрреволюцию, — ну, тогда хоть выступить где-то, живых людей убеждать, не все же с ума сошли?! (А выглядело внешне: как будто — и все сразу.) Сколько он на это сил потратил, сколько отношений с начальством испортил! Он брал на себя тяжести, как бы не соизмеряя их веса. И нёс, так и не соразмерив.

Не первая то была его борьба за спасение нашего сельского хозяйства”.

Вспоминая о Можаяеве, Александр Исаевич ненароком упомянул и о моих родных местах: “. . . шестью годами раньше, ещё до нашего знакомства, я, того не ведая, до его родного Пителина чуть не доехал от Касимова на велосипед, уже побывал в старообрядческих Высоких Полянах, за 20 вёрст”.

А сам Борис Андреевич в уже упомянутой мной повести “По дороге в Мещёру” описал (после “Касимовской невесты” В. Соловьёва), как царская невеста проезжала по этой дороге:

“Триста с лишним лет назад вот по этой самой дороге выехала из Высоких Полян в Москву на царские смотрины Евфимия Всеволожская. Ехали на долгих с чады и домочадцы, прихватили целый воз нарядов, белья, съестных припасов, кормов, лошадей табун гнали для перепряжек в пути. Эти выборы царской невесты, эти дворцовые смотрины дворянских дочерей на триста лет опередили известные европейские конкурсы красоты. По Оке, по Волге выбирать дворянских дочерей поехал боярин Пушкин. В Касимове, в доме архиерея, он увидел Евфимию Всеволожскую и тотчас пригласил её на смотрины. Царевичу дал знать, что послал из Касимова такую красавицу, равной которой нет и не будет во всей Руси. И Евфимия стала царской невестой; оба

круга прошла, победила московских красавиц, покорила сердце юного царевича.

Боярин Морозов, уязвлённый этой победой (на тех смотринах была его племянница), приказал вплести в косы Евфимии весь ларец царских драгоценностей, а весом они были не менее пуда. Да прихватить, притянуть волоса-то потуже...

И не выдержала царская невеста. От волнения, тяжести и головной боли во время венчания упала она в обморок. Морозов объявил, что невеста больна падучей. Отца её, Рафа Всеволожского, сослали в Сибирь за то, что хотел всучить царю-батюшке порченную дочь. Там, в Сибири, он и помер. Евфимию заточили в монастырь.

Но вот чудо – до сих пор в Высоких Полянах тот бугор, где стоял когда-то барский дом, зовут бугром Всеволожских. Удивительно, как живуче у нас предание!”

Прокатил Борис Андреевич Солженицына по своим родным местам в Пителинском районе, по царству среднерусской природы и деревенского быта, заросшими просёлками да лугами, к Мокше на сенокос: “Кто на сенокосе не побывал – и деревенской жизни не знает”. Там, “в сенокосном кипенье” ночевали они в травяном шалаше, потом на опушке леса, у пасечника.

В ту поездку рассказал он Солженицыну о своём замысле “Мужиков и баб”: сперва цветущая деревня двадцатых годов, потом коллективизация и – отмётный крестьянский мятеж, который в Пителинской округе произошёл в девятьсот тридцатом. Можаяев не только написал картину народной трагедии. Он показал, насколько мощным было народное сопротивление произволу. Но с этим двухчастным романом натерпелся Борис Андреевич много: “Новый мир” (Наровчатов) взялся напечатать, обещал, тянул и в итоге – снял; М. Алексеев (“Москва”) “не взял от порога”; и в “Нашем современнике” (Викулов), считавшемся крепнувшим бастионом русского национального сознания, роман подвергся жестокой критике, в результате – отказ печатать. 1-ю часть отважилось напечатать издательство “Современник”. На напечатание 2-й части, с крестьянским восстанием, смелость нужна была и в “перестройку”. Напечатал “Дон”. Тогдашний редактор Воронов на вопрос Можаяева: “Не уступите?” – ответил “исторической формулой”: “С Дона выдачи нет!”

...Возвращаясь в Россию в 1994 году, через 18 лет после своего “вермонтского затворничества” Солженицын просил Можаяева встретиться его во Владивостоке, что последний и сделал.

В октябре 1995-го оба писателя собирались на есенинское 100-летие в Рязань и в Константиново, но из-за болезни Солженицына поездка не состоялась, побывали они только на открытии памятника на Тверском бульваре. Незадолго до этого Борис Андреевич стал редактором нового журнала “Россия”, сразу дал туда статью об аграрной реформе в Нижегородской области... Но вскоре, вернувшись из брошенного Севастополя, оказался в больнице. В последней гонке своей подвижной жизни Можаяев не заметил своей болезни – “недифференцированный рак брюшных органов”, до самой кончины не знал об этом: от него скрывали диагноз.

И последнее, что он успел в жизни, – написал страстную статью о севастопольской беде, об унижительной арендной плате за Севастополь, о безоглядной уступке кораблей и баз. И хозяева “России” – где он был главным редактором! – после смерти Можаяева так и не напечатали, остереглись “верховного гнева”, ведь наша “свобода слова” – с большой оглядкой. И выручил, напечатал опять всё тот же “Дон”.

Земляки Можаяева любят своего писателя, чтут его память. В центральной районной библиотеке открыта уютная комната автора романа “Мужики и бабы” – со старинным убранством, пишущей машинкой на столе и умиротворяющим видом из окна. На полках заняли место книги Бориса Можаяева на разных языках мира, на стенах висят его фотографии.

Проза Бориса Можаяева – неиссякаемый источник вдохновения для театра малых форм при Пителинском районном Доме культуры. На предложение взять для постановок материал других писателей пителинские артисты твёрдо заявляют: “Этого не будет! Творчество Бориса Можаяева – о наших предках, о нашей земле, и мы будем его продвигать...”

В 2023 году, к 100-летию писателя, в Пителине планируют открыть сквер его имени на месте, где когда-то стоял дом, в котором родился Можаяев.

Начальник районного отдела культуры Анна Васина и её муж привезли и сами установили перед будущим сквером камень – памятный знак... В дальнейшем планируется расчистить заброшенную территорию, установить памятник Борису Андреевичу, соорудить сцену для выступлений. За сценой пителинцы мечтают посадить три сосны – как в любимой песне писателя “По Муромской дорожке...”

#### 4

В 2003 году пригласили меня в Пителино на празднование 80-летия Бориса Андреевича. На центральном стадионе посёлка состоялся большой межрегиональный литературный праздник под названием “Тобой горда земля родная”. Организаторами его выступили областное управление культуры и отдел культуры Пителинского района. Среди почётных гостей, которых ждали с особым вниманием и интересом, – народный артист России, ведущий актёр театра на Таганке Валерий Сергеевич Золотухин.

Осенью 1967 года пришёл на Таганку и писатель Борис Можаяев.

*“В то время я любил старый МХАТ (и именно старые спектакли), – вспоминал он, – моими театральными кумирами были Кедров, Яншин, Станицын, Грибов, Андровская... И вот прихожу я на Таганку, в совершенно незнакомый мне театр... Посмотрел два спектакля: “Десять дней, которые потрясли мир” и “Добрый человек из Сезуана”. Я не был поклонником ни Брехта, ни Джона Рида. Но спектакли меня поразили лихой театральной виртуозностью, постановочным блеском, немислимой изобретательностью режиссёра и подлинно народной зрелищностью”.*

А пришёл Можаяев на Таганку по приглашению главного режиссёра: Любимов предложил ему написать для театра инсценировку по повести “Из жизни Фёдора Кузькина”. Можаяев дал согласие, увлёкся... Будущий спектакль представлялся ему этаким ярмарочным действием, главный герой – похожим на скомороха, а в литературном плане – на лесковского Левшу. В каком бы трудном положении ни оказывался Кузькин, он верит, что не пропадёт. Следующей же весной приступили к прогонам спектакля.

В афише будет значиться – “Живой”, как первоначально и называлась повесть, написанная весной 1965 года, где дана картина колхозной деревни 50-х годов и показан тип русского человека, выживающего наперекор всему: “Значит, судьба меня пытается. Она мне поставила точку на Фролов день, а я ей запятую, запятую...”

И понёс тогда Можаяев своего “Живого”, конечно же, в “Новый мир” – Твардовскому. Твардовский прочитал повесть и запер рукопись в свой сейф: “Эту штуку должны напечатать только мы, здесь, во что бы то ни стало. Если она уйдёт каким-то образом за границу и там появится, то беда будет великая... Сколько пролежит она – одному Богу известно...”

И если бы не Александр Трифонович Твардовский, повесть “Живой” так и осталась бы лежать в каком-нибудь редакционном портфеле долго-долго... Повесть была напечатана через год, под названием “Из жизни Фёдора Кузькина”. И сразу же разгромные статьи в газетах – автор, мол, исказил нашу действительность. Потом заседание секретариата Союза писателей – с похожими формулировками. Потом не стали печатать, старались замалчивать имя. А на родине, в Рязани, даже командировку боялись отметить.

После увольнения Твардовского, а затем и другого главного редактора “Нового мира” – Косолапова, в журнале был наложен запрет на первую книгу романа “Мужики и бабы”, уже одобренную и принятую редколлегией. Годы скиталась по редакциям и вторая книга романа. То же было и со “Старыми историями” – пролежали в разных редакциях полтора десятка лет. И даже когда что-то выходило в свет, чиновник держал ухо востро.

За год до смерти в журнале “Москва” Можаяев опубликовал буквально полторы странички своих воспоминаний об истории “Живого” – “Страдания с переплясом”. Заканчивается рассказ словами: “Ну, а про дальнейшие злоключения моего “Живого” расскажу как-нибудь в другой раз”.

Не рассказал...

Судьба “Живого” – выпускать или не выпускать на зрителя? – решалась семь лет. Обсуждения, собрания, конференции, вызовы в райком, в Министерство культуры... Сохранились стенограммы всех этих разбирательств.

Поклёп на колхозный строй! Очернение героической истории народа! Подстрекательство!.. К делу были подключены работники сельского хозяйства, выступавшие якобы от имени народа, в связи с чем Владимир Солоухин остроумно заметил: “Я не знаю, что стали бы говорить на обсуждении “Ревизора” ревизоры и городничие, если бы в своё время их туда пригласили”.

Премьера спектакля состоялась только в 1989 году, двадцать лет спустя. После премьеры Можаяев скажет: “Кто научил меня сопротивляться бюрократическому произволу? Да тот же Кузькин. Это не конкретное лицо, это характер и тип русской жизни, порождённый нашей действительностью. И писал я вовсе не о колхозном строе, а о русском национальном характере, способном выжить в этой бюрократической каменоломне”...

И на празднике в Пителине в честь 80-летия русского писателя Бориса Андреевича Можаяева ведущий актёр театра на Таганке Валерий Золотухин сказал своё слово, которого с нетерпением ждали поклонники творчества писателя:

– О Можаяеве я могу рассказывать долго. Спектакль “Живой” – этапный в моей судьбе – трижды был запрещён нашими начальниками. На прогон спектакля даже не пускали артистов нашего театра. И Борис Андреевич Можаяев дал нам, артистам, огромный пример мужества. Как он разговаривал с министром культуры Фурцевой, которая обронила такую фразу: “В другие времена вас бы не запретили, а вообще поставила бы к стенке”. И он ответил члену Политбюро: “Как вы смеете, Екатерина Алексеевна!” Нам казалось, что тогда Россия стояла за Можаяевым, перед нами стоял настоящий писатель, стоял офицер, пителинский мужик!

И когда Золотухин сказал, что он чувствует спиной глаза Можаяева, на него с обожанием смотрели из зрительской аудитории такие же, можаяевские глаза пителинцев.

Тогдашний руководитель Рязанского отделения СП России Николай Васильевич Молотков вспомнил, как Можаяев приезжал в нашу область в качестве спецкора “Труда”, с какой тщательностью он расследовал обстоятельства гибели одного крестьянского хозяйства и какой резонанс вызвала его статья “Проданная деревня”.

А после него я рассказала участникам праздника о той памятной беседе с Борисом Андреевичем в есенинском Константинове 3 октября 1993 года. С Валерием Сергеевичем, как и в Константинове с Можаяевым, завязался оживлённый разговор. А на память он подарил мне приобретённый на том же празднике сборник стихотворений пителинских поэтов под названием “Зелена моя дубрава”, выпущенный к 80-летию писателя. Открывают сборник несколько стихотворений Бориса Можаяева. Валерий Сергеевич и автограф написал. А я ему в ответ подарила свою вышедшую к тому времени книгу “Девчонки, которые шли по войне”.

Присутствовал на том празднике в Пителине и сын Бориса Андреевича Андрей Можаяев – тогдашний преподаватель ВГИКа. Он радостно сообщил:

– Я словно в детстве побывал, увидев такие открытые, прекрасные лица.

И поделился воспоминаниями:

– Я вспоминаю отца разным: большим, шумным, добрым, весёлым и в то же время строгим. Мы ездили с ним по стране. И везде в любой ситуации он умел выслушивать других, ценить чужое мнение. Лишь откровенная ложь его возмущала, и тогда он резко обрывал собеседника...

На вопрос, востребовано ли сейчас творчество его отца, Андрей Борисович Можаяев ответил утвердительно:

– Безусловно. Серьёзная литература всегда проходила непростой путь к читателю, ведь всё стоящее прорастает медленно. Сейчас она особенно необходима – у нас просто нет иного пути из тупика лжи и обмана. Чем дальше, тем острее будут ставиться вопросы, поднятые в своё время моим отцом.

Высказался Можаяев-младший и о состоянии современной литературы и искусства:

– Литература находится в сложном положении. Классическая русская традиция – стремление к правде – сейчас просто подавлена. Настоящим, публицистичным по сути произведениям очень непросто пробиваться в свет, но отчаянно, что такие книги есть... Тревожит полная дегероизация нашего кино, отсутствие настоящего героя. Я не имею в виду киллеров или “бригадиров”. Но я преподаю на сценарном факультете и вижу, что в работах молодых

такой герой начинает проявляться. Меньше стало подражаний, больше поиска.

На празднике в Пителине стало известно, что общественный фонд Александра Исаевича Солженицына “Русский путь” передал в дар местной библиотеке 100 экземпляров сборника избранных очерков Бориса Можаева “Земля ждёт хозяина”. Вручил эту коллекцию библиотеке писатель Олег Павлов, лауреат Букеровской премии.

А накануне юбилейного торжества Центральной библиотеке Пителина было присвоено имя Бориса Андреевича Можаева.

## 5

Вот такие незабываемые встречи остались в моей памяти, и в каждой из них зримо или незримо присутствует ставший мне как бы родным мой земляк, замечательный человек и неукротимый русский писатель Борис Андреевич Можаев.

**Р. С.:** Не могу удержаться, чтобы не предложить к опубликованию статью Бориса Андреевича Можаева “Куролесица (Кривотолки вокруг истории России)” из цикла “Крымские страдания”, написанную им четверть века назад незадолго до своей кончины. А кажется, будто написана она сегодня, в наши беспокойные, “окаянные” дни.

## БОРИС МОЖАЕВ

# КУРОЛЕСИЦА

### *Кривотолки вокруг истории России*

В одном из последних номеров ушедшего года в журнале “Дружба народов” появилась странная, если не сказать резче, забористая статья – “Сосед с камнем за пазухой” В. Коваленко, не имеющая никакого отношения к нашей истории и к реальной жизни русского населения в теперешнем Крыму.

Вот каким языком излагается суть обстановки в Крыму: “Так, во время обострения российско-украинских отношений, например, по поводу Крыма, ко мне во время поездок по Украине (встречи с людьми, беседы...) неоднократно подходили местные русские и, волнуясь, произносили одну и ту же фразу:

– Я сам русский, но моя Родина Украина, и передайте в Москве этим гадам (тут, как правило, назывались фамилии одних и тех же московских политиков правого толка), что если они сюда полезут – я первый автомат в руки возьму!”

Да-а! Тут разговор идёт не “по душам”, а “из души в душу”, только и не хватает мата. И главным яблоком раздора являются Крым, Донбасс, Область Войска Донского, Причерноморье, которые, видите ли, были искони украинскими. Какая чушь! В “Российской газете” (№ 1 за 1996 г.) я уже писал, какое срамное судилище устроила в Севастополе над Русской общиной украинская прокуратура. И... позорно проиграла его. Как там, на суде, так и в статье Коваленко утверждается одна и та же вздорная мысль, что Азовское море, Чёрное море, Крым, Новороссию освобождала, а точнее, отвоевывала у Турецкой империи вовсе не Россия, а вроде бы они своим путём “влялись” как-то

по велению безымянного гетьмана в Украину. Что ж, приходится повторять исторические азы иным иванам, не помнящим родства.

Во-первых, теперешняя Украина в Киевской Руси была не окраиной, а центром. В те-то времена конца прошлого – начала нынешнего тысячелетия Киевская Русь имела несколько украин на территории входящих в неё княжеств, и писались они с маленькой буквы, то бишь Псковская Украина, Новгородская Украина, Рязанская и пр. Это были, по-теперешнему, окраины, а Киевское княжество было центром Руси. Предки мои пришли из-под Киева на Украину Рязанского княжества и принесли с собой не только обычаи Киевской Руси, но и тот же язык, и даже названия киевские: заложили город Переяславль (теперешняя Рязань) и речки, впадающие в Оку возле нового города, назвали Лыбечью и Трубжею. Конечно, мы дожили до такого невежества, что плюем даже на своё единокровное родство. Забыли, что следствием раздробления Киевской Руси на удельные княжества явилась повальная междоусобица, когда в безумном азарте пошли брат на брата... Чем всё это кончилось – тоже известно. Помните, у А. К. Толстого:

Умре Владимир с горя,  
Порядка не создав.  
За ним княжить стал вскоре  
Великий Ярослав.

Оно, пожалуй, с этим  
Порядок бы и был,  
Но из любви он к детям  
Всю землю разделил.

Плоха была услуга,  
А дети, видя то,  
Давай тузить друг друга:  
Кто как и чем во что!

Узнали то татары:  
“Ну, — думают, — не трусь!”  
Надели шаровары,  
Приехали на Русь.

“От вашего, мол, спора  
Земля пошла вверх дном,  
Постойте ж, мы вам скоро  
Порядок заведём!”

Думаю, читатель простит мне эту длинную цитату – уж больно она злободневна! Есть о чём задуматься!.. Гляньте хоть на теперешнюю Югославию. Так-то.

Что осталось в те времена от могучего древнего Киева? Развалины, пепел, чертополох... А население частью бежало в Польшу да Галицию, в не меньшем числе было пленено и угнано в рабство, продано на генуэзском рынке рабов.

Вот к чему приводит междоусобица...

Попробуйте в Америке отделить какой-нибудь Техас, не так давно отвоеванный у Мексики. Такое самоуправство немедленно будет пресечено. А у нас теперь всё дозволено: режь и кромсай державу, как ковригу хлеба. Какой ломоть отвалишь – всё тебе в “личное пользование”... Не жизнь, а малина...

Но вернёмся к истории. Прошли века, и государство наше восстановил и воссоединил народ. Да, да! Народ многонациональный: и русские, и украинцы, и татары, и мордва, меря, весь и пр., и т. д. Суесловить теперь, что Новороссию, Азов, Крым отвоевала Украина, следственно, это её исконно-посконные земли, – не просто верх невежества, но и дури. К сожалению, Коваленко и Драч (о последнем речь пойдёт ниже) не исключение в нашей бестолковой литературной братии. Поскольку они бесстыже перевирают нашу общую историю, я позволю себе напомнить читателю, кто и когда отвоевал



и Новороссию, и Азов, и Крым, и Чёрное море очистил... на благо всего нашего народа, а не для одной Украины. Вот эти герои: вице-адмирал Синявин А. Н., командир Азовской флотилии в Русско-турецкую войну 1768–1774 годов, генерал-поручик Ганнибал И. А., один из предков Пушкина – герой штурма крепости Наварин и Чесменского сражения 1770 года. Он же в 1770 году назначен главным командиром крепости Херсон и возглавил её строительство. 26 июня 1770 года адмирал Г. А. Спиридонов выиграл Чесменское сражение.

Во вторую Русско-турецкую войну адмирал М. И. Войнович (черногорец) в 1789–1790 годах командует уже Черноморским флотом. То есть Россия становится в полном смысле черноморской державой. Это вам не набег запорожцев на турецкие берега: налетели, пограбили и удрали назад, пока турецкая армия не очулась.

В освобождённую Новороссию, то бишь новую, отвоеванную у Турции землю, по размерам не уступающую тогдашней Украине, начинают расселяться россияне. Я уже писал об этом, что льготами при заселении Новороссии пользовались болгары и сербы, поскольку их страны, Болгария и Сербия, всё ещё находились под турецким владычеством; а русским и украинцам (великороссам и малороссам) денежных пособий не выдавали, но землю нарежали охотно. При чём же тут Украина? В те поры в неё входили всего пять губерний, т. е. с таким “багажом” она воссоединилась с Россией. Инициатором воссоединения был Богдан Хмельницкий. Следственно, понося наш братский союз, мы поневоле осуждаем и творца его – Богдана Хмельницкого.

А Севастополь (прежде Ахтиарскую гавань) первым описал вице-адмирал Клокачёв, в своем донесении в Петербург он писал: “Могу сказать, что во всей Европе нет подобной гавани”.

И вот после всего этого читать утверждения, что Крым, и Новороссия, и Область Войска Донского – исконно украинская земля, и смешно и грустно. Вся беда в том, что как прежний режим, так и теперешние “демократы” ненавидели и ненавидят русский народ и поощряют подобную фальсификацию нашей истории.

Вот я вам приведу ещё один наглядный пример: года два назад я обратился к И. Драчу с предложением провести на страницах “Литгазеты” дискуссию на тему, что мы искони были и остаёмся братскими народами. Я напечатал свою статью, Драч ответил откровенной бранью, нещадно искажая исторические события и факты. Вроде бы какая ни есть, но завязалась дискуссия. Исполать!

Не тут-то было. “Литгазета” мой ответ Драчу так и не напечатала. Вот я и обращаюсь теперь к своему оппоненту: да, времени прошло много, и острота вопроса не только не уменьшилась, а стала ещё более жгучей.

Уважаемый Иван Фёдорович! Давай продолжим эту дискуссию. Она касается истории русско-украинских отношений, т. е. общей нашей истории, которую в последние годы стараются остервенело исказить. Естественно, я ответил тебе в ту пору... Но опубликовать тот ответ в “Литгазете” мне так и не позволили два её руководителя, бывшие работники ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, то бишь теперешние “демократы”.

С той поры ситуация мало чем изменилась, думаю, что наша полемика будет ко времени. И полагаю, что такая полемика полезнее, чем скрытно или открыто раздувать между нашими народами вражду, искажая суть нашего тысячелетнего братства.

Недавно я побывал в Крыму, в Севастополе, и многое меня там удивило, огорчило и озадачило. Я уже писал о позорном судилище, пытавшемся запретить Русскую общину Севастополя... Скандальная затея сорвалась! Теперь два слова о казусах информационной политики “нашего” и “вашего” Черноморского флота.

Заместитель начальника пресс-центра Черноморского флота капитан третьего ранга Крылов Андрей Викторович признался мне, что мы здесь работаем в режиме военного агентства на территории другого, недружественного государства. Навязывают этот режим украинские службы пропаганды.

– Невероятно! – отозвался я.

– Всё устроено именно с таким умыслом: нас всего восемь человек в пресс-центре флота, а в украинском флотском пресс-центре семьдесят три человека! И распускаются с их стороны такие толки, что диву даёшься.

Офицеры, мол, на Черноморском флоте всегда были русские, а матросы – только украинские. Поэтому они называют Севастополь городом украинской славы – воевали, мол, украинские матросы, а русские офицеры на командных пунктах сидели.

– Ага! – подхватил я. – Эту байку я тоже слышал. Какая чушь! И адмирал Нахимов, и адмирал Корнилов погибли в Крымскую войну в своих штабах, а не на поле брани?! И офицер Лев Толстой, автор документально-художественных произведений о Севастопольской обороне (“Севастополь в декабре месяце”, “Севастополь в мае”, “Севастополь в августе 1855 года”), кстати, которые калечила тогдашняя цензура, “отсиживался в тылу” и с чужих слов написал книгу про матросов и солдат, героически сражавшихся на батареях и редутах? А вот такие штабные брехуны, как теперешние “обличители” из украинского флотского пресс-центра, углядели задним оком, кто воевал на редутах Севастополя. И на кого рассчитана такая брехня?

– Это делается по старой побасёнке: ври больше, авось кто и поверит. Особенно в национальную рознь, – сказал Крылов.

– Да я сам офицер: тринадцать лет отслужил на флоте и уж чего-чего, а историю флота и морских сражений изучал досконально. Сколько у меня друзей украинцев – офицеров флота! Да кто на флоте, особенно среди офицеров, обращал внимание на пресловутый пятый пункт в анкете, насчёт национальности? Или что? Офицеры отсиживались в тылу, отправляя в атаку матросов? А матросы, мол, все украинцы? Экая чушь!

– И тем не менее они утверждают, что Севастополь – город украинской славы и что Украина отсюда никуда не уйдёт.

– Во-первых, украинцев никто и никогда не изгонял ни из одного уголка России. Что же касается Севастополя, то он был выведен из состава Крымской области и подчинён непосредственно Москве ещё в 1948 году. И никто его Украине не передавал.

– Тем не менее абсолютно большая часть администрации Севастополя украинская, а мы здесь на положении иностранцев, да ещё оккупантами нас именуют, – сказал Крылов.

– Но ведь большинство населения Севастополя русское!

– Ну и что? Зато администрация украинская. Кому-то из нашего высокого начальства это на руку.

– Полагаю, что этому начальству до фени наш Севастополь.

– Что бы там ни было, но нам от этого не легче...

Да, не легче... Вчерашнее громовое заявление-протест по телевизору командующего ЧФ адмирала Балтина президенту: “Я налог платить за Севастополь больше не буду!” – и последнего ленивца пробудит от спячки... Доколе мы будем разбазаривать казну свою “на соседей”, когда у нас самих концы с концами не сходятся?

Вот так-то, Иван Фёдорович Драч. А ты негодуешь, что Украину обижают. Я ещё процитирую твои “обиды”. Чуть ниже...

А пока продолжим разговор с флотским пресс-центром. Его начальник, капитан 2-го ранга Грачёв Андрей Михайлович вот что сказал мне:

– Мы здесь дожили до абсурда – наше государство платит налоги Украине за так называемую аренду, то бишь за “аренду” русской земли с нашим славным городом Севастополем, никогда не входившим в состав Украины. Куда смотрят и чем думают наши правители?

– Во-первых, – отвечаю с улыбкой, – им некогда думать об этом уголке земли, далёкой от Москвы. А во-вторых, деньги налогоплательщиков наши правители никогда не жалели... Кабы они уплывали из своего кармана!..

– Да... Деньги большие, что получает флот от правительства. Это почти полтора триллиона рублей, – продолжал Грачёв. – Подумать только! Сорок восемь процентов из них отдаём Украине в виде налога за пользование гаванью, жилищным фондом, землёй... то бишь за всю собственность, принадлежащую России! И вот на эти же русские деньги, на сорок восемь процентов, т. е. больше чем на полтриллиона рублей, Украина содержит свой флот. И нас же поносит. Скажите, о чём думают московские правители? Ведь здесь же все смеются над нами. Стыдно!

Тут невольно приходит на память пословица: “Стыд не дым, глаза не ест”. И поневоле напрашивается вопрос: кто мы, народы-братья? Или русские превратились в подданных украинского сословия?

С этим вопросом в своё время я обратился к Ивану Драчу, отвечая на его дерзкое, если не сказать – глумливое письмо, опубликованное в “Литгазете”. Вот отрывки из этого неопубликованного моего письма к Ивану Драчу: “Ты пишешь с нажимом, так сказать: “Управляешь очами и замечаешь хохлов тогда, когда они галушки жуют, правда, без молока, так как молоко по молокопроводу в Санкт-Петербург или в белокаменную уплыло, чтобы уплатить за нефть тюменскую, хохлом Ермаком когда-то завоеванную. А нынче-то сто двадцать тысяч хохлов там маракуют, в Тюмени-то, нефть добывают интервенты и захватчики, а домой определяют ровно столько, сколько Б. Можаяева крантик позволяет””.

Чудно! Мало ли где кацапы “маракуют”, рассеянные по всему миру, в том числе и по Украине? Что ж нам теперь делать? Неужто требовать мзду со всех стран, в которых они что-то “намараковали”? Между прочим, в пятницу на совещании СНГ Ельцин заявил, что долг Украины России лишь в 1992 году составил несколько миллиардов рублей. А ты ещё требуешь в долг. Лихо мыслишь, Иван Фёдорович! И хорошо сочиняешь! Молоко из Киева ажно в Санкт-Петербург пускаешь по молокопроводу. Далековато, друг мой... Даже до Москвы не дотечёт – в простоквашу превратится.

Теперь насчёт нефти тюменской, “хохлом Ермаком когда-то завоеванной”. И тут хватил через край. Нет, не дошёл Ермак до Тюмени, потому как не было ни дорог, ни самой Тюмени. Да и сам Ермак утонул в Иртыше, не доплыл до реки Туры, на которой теперь стоит Тюмень. Не повезло...

А насчёт национальности Ермака Тимофеевича это ты у донцов-молодцов спроси: как они ухитрились выбрать атаманом донской станицы Качалинской “украинца” Ермака? И что за имя у этого “малоросса”? Ермак – “артельный котёл” по-татарски. А по-русски Ермолай – Ермошка... “Как Ермошка на гармошке дерганёт, так дерганёт”.

А царь Грозный, видать, растяпой был – доверил же охранять границу государства от Дона до Каспия прохожему с Украины, тогда ещё не входившей в состав России?

И наконец, насчёт “крантика” Б. Можаяева. Иван Фёдорович, “entre nous” – как любил говаривать обожаемый тобой Маяковский, – с моего крантика хоть и течёт кое-что, но только не нефть. Эх, кабы нефть текла, я бы и крантик свой не закрывал. Она нынче в цене, нефть-то.

Зачем я привожу эти старые “полемиические” приёмы? А потому что они мало изменились за последние три-четыре года. На нас словно затмение нашло: всё, что было пережито вместе за много веков, забыто в одночасье, а порой искажено и даже оплёвано.

Мы свою общую родину не только не щадим, а порой поносим площадной бранью. Очнёмся же от этого тёмного наваждения! Уясним хотя бы такую малость – ничего доброго не сотворишь в площадной перебранке. Ибо основой благополучия народов всегда был и остаётся “мир во языцех”.

*Январь 1996”.*

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

## ЧЕЛОВЕК БЕЗ КОЖИ

“Василий” – совсем не сказочное имя, в русских сказках оно почти не встречается. Имя парадное, царское, даже императорское, если вспомнить, что оно пришло к нам вместе с православием из Византии, под ним в 988 году в Херсонесе крестился тот самый Владимир Красное Солнышко. Но имечко слишком быстро стало своим на Руси и даже какое-то время соперничало с самим Иваном. Но не об этом пойдёт речь, а о том, что у поэта в жизни, видимо, ничего не бывает случайного, даже если живёт он порой в придуманном им самим мире.

Вот и поэт из Волгограда, хотя ему более импонирует прежнее название города – Сталинград, – Василий Струж как человек необычной судьбы, на первый взгляд, ничего не скрывает, не прячет, а, скорее, наоборот, обо всём выстраданном кричит на весь крещённый мир: вот он каков я! Но вслушиваемся ли мы в чужую поэзию или, оглохнув от гаджетов, несёмся в безликую даль вместе с нынешним веком? Много званых, да мало избранных, как говорится, а мы попробуем нырнуть в бурную поэтическую реку под названием “Косноязычие”. Это не та равнинная река, воспетая пиитами и народами, что неспешно несёт свои воды в Каспий, Струж – это бурлящий день и ночь поток, как будто седой Терек, разносящий вдребезги ущелья всей своей необузданной, какой-то первобытной, народной мощью.

\* \* \*

Кажется, что юный Вася в далёком детстве ощутил на своем челе незримый венец, и через много-много непростых годин он уже голосит во всё горло, смотрите: “Вседержитель заключён во мне...” или во время крещения: “Я светился – в пику тёмным силам!”. Но какое оно, то далёкое ребячество поэта, что оставляет след на всю жизнь?

Безмерная любовь к родителям и родным сквозит во многих строчках волгоградца:

Спасибо тебе, Матушка.  
Спасибо тебе, Батюшка.  
Очаг мой солнечный, Небесный мой,  
За светлую жизнь,  
За тёмные пятнышки,  
За родинки родненькие,  
За мордобой!

Не здесь ли, в том самом семейном очаге, кроется разгадка трепетной любви поэта к вере, к родине, к народу:

Божьи люди шли втроём —  
Мама, я, сестра. У церкви  
Мы перекрестились, пьём  
Веру, бьющую из сердца  
Господа...

Заметим, семья-то неполная и далека от напускной идиллии, да и поэт признаётся, “Что без папы рос...”. До сих пор не отпускают воспоминания о начале жизненного пути пацана из рабочего посёлка, каждое слово звучит как приговор бесконечным советским баракам с гулкими коридорами, щедро разбросанным от Калининграда до Чукотки:

Шум будоражил моё детство.  
И глиной мазанные рейки,  
Треща, всех обращали в бегство —  
Барак разваливался резко!  
Мы били крыс. Они кусались,  
Гоняли кошек и собак.  
Здесь жизнь и смерть меня касались!  
И потому я не размяк.  
Я в мир шагнул не очень прямо —  
Я криво шёл, я сделал крюк,  
В грязи барачной лазал рьяно;  
Мой разум — не небесный трюк!

Свидетель и участник бурных 90-х годов, Станислав Куняев пишет об авторе книги стихотворений “Косноязычие”, что автор желал “добиться успеха любой ценой, завоевать место под солнцем в наше алчное время...”. С этим не поспоришь, но автор книги не застрял в тех нелёгких годах, он постоянно уходит ещё глубже в свои детские 60-е, в подростковые 70-е, в перестроечные 80-е, там его корни — в семье и на улице, подчас крайне жёсткой, с вермутом-портвейном и свинчаткой в кармане. Рабочие окраины сформировали Стружу, он целиком отлит из того времени и руками тех людей, что вкальвали от зари до зари, порой недоедали, бунтовали, как в Новочеркасске, тайно веровали в Бога и грезили о скором коммунизме. Он и ныне, несмотря на то, что умудрился погостить в “новых русских”, глядит на мир глазами тех простых людей, он плоть от плоти народа.

Для чего ему ворошить все эти воспоминания, писать о них, не проще ли позабыть? Но Стружу эти возвращения или побеги в детство и юность, как видно, потребны для нынешней жизни, как кислород. Он так и не оборвал свою пуповину с миром незатейливых людей, несмотря на свои долгие метания, вплоть до малиновых пиджаков “новых русских”, что прозорливо подметил Станислав Куняев. Но поэт скинул с шеи те вериги достатка ради вериг народного духа. Наш Иван-царевич отрёкся от подаренного царства и Елены Прекрасной ради СЛОВА, пускай и косноязычного и не приглашенного. А бывает ли такое? Видимо, случается.

Но Струж — не деревенский Иванушка-дурачок, он, скорее, его противоположность, он дерзок, когда чувствует за собой правду (“Я иду, сжав кулачки в карманах”) — смел, но в то же время по-детски застенчив и не стесняясь рассказывает об этом читателям, будто лучшим друзьям:

До сих пор иду — стесняюсь  
Осеньять себя крестом  
На людях пред храмом, каюсь —  
Прохожу, крещусь потом.

Он трудолюбив, но разгулен, уважает себя и других, терпелив, упрямо ищет на земле небесного богатства — рая, добр, но ему удобно блуждать среди мифов и заблуждений. Стружевское “Мы из Рая” схоже с есенинским

“Я скажу: “Не надо рая, дайте родину мою”. Русь — это Рай, именно такой, с большой буквы, а не строчной. Её поэт использует неоднократно... но это не просто удачно пойманная метафора. Вот в стихотворении “Поднимаясь, птица колокол...” Струж широкими мазками рисует свою Вселенную, окружающую его. Вот его земля обетованная, связанная незримой пуповиной с небом, где у поэта “звёзды стынут”:

Поднимаясь, птица колокол  
Гулко, далеко звучит.  
Машет крыльями и клёкотом  
Заливается, стучит.

А под нею хаты мазаны,  
Православья образа.  
От Европы и до Азии —  
Христианские глаза.

Но Стружу, оказывается, мало привычного материального неба из учебников по географии или астрономии, в нём неудержимо бьёт метафизический родник, и он вскоре сообщает читателю, что рассмотрел в своём телескопе:

Мёртвых праведные головы —  
Словно шапки — в небесах!

И это не просто языческая вера в предков, сопровождающая человека долгие тысячелетия, это, скорее, вошедшее в гены христианство с его праведниками и святыми. Но вернёмся на грешную землю поэта, не всё тут так благостно, даже наоборот: “Ад подземный — уж земной!”

Нарочито мало деталей у Стружа, ничто не должно отвлекать собеседника:

Лёд ломается. И трещина  
Между небом и землёй  
Ширится. В ней падки женщины,  
И мужчины — по кривой.

И автор заканчивает стихотворение видениями из преисподней. Он видит не только праведников, но и грешников, заканчивая стихотворение грозным образом: “В магме ада — телеса...”

\* \* \*

Последние годы у публицистов, и не только, стало общим местом, особенно после 24 февраля 2022 года, подчёркивать, что Россия стала центром притяжения для всего вольного мира, для тех, кто хочет просто жить, а не влачить жалкое существование под опекой ставшего ненавистным Западом. Написанные Стружом минимум лет пятнадцать назад строки многим тогда казались дикими фантазиями, да и ныне найдутся хулители:

Коль хотите жить — держитесь  
Нашей воли! Я — пою.  
Кто-то убирает жито.  
Жмитесь к нам — кто на краю.

Особенно силён Струж, когда его поэзия прикасается к народному творчеству, и немедля в стихах появляется песенное, мелодическое начало:

Крепнут старые двory.  
Избу ставят топоры.  
Жбан с житейской русской кровью  
Влил в крестьян Господь с любовью!

Да и не только он один черпает пригоршнями накопленное за века щедрое народное богатство. Припомним советского классика Александра Твардовского, его поэму “Дом у дороги”, где, как жемчужное ожерелье, сверкает народное присловье:

И солнце жгло,  
И дело шло,  
И всё, казалось, пело:  
Коси, коса,  
Пока роса,  
Роса долой —  
И мы домой.

В стихотворной сказке “Пузо и Кургузый” и в других стихах для детей пробивается наружу, к тёплому солнышку, благодатная поросль русского народного творчества. Василий Струж активно использует ёмкие формы раёшного стиля, гиперболы, повторы, звукоподражание и, конечно, народный юмор. Это не копирование фольклора, а авторские стихи с элементами стилизации.

Ключевые мотивы в раннем творчестве Василия Стружа — дом, семья, дороги, Бог, Родина, национальный характер со всеми его противоречиями и светлыми и тёмными сторонами, жизнь поэта во всём её многообразии и, конечно, смерть.

Завершить размышления о поэте-хулигане, прокладывающем на свой страх и риск собственную дорогу в жизни и в поэзии, хочется его же строчками:

Поэтом быть — быть вечно под арестом  
У Феба ли, у музы — всё равно.

Куда заведёт путь-дорожка волгоградского поэта, никто не ведает, думаем, и он сам пребывает в истоме незнания. Может статься, прислушается к мудрым пожеланиям Станислава Куняева и воротится к “великому наследству” русской поэзии. Но главное, чтобы во главе душевной силы поэта не оказалась гордыня... А вот ещё напоследок слова странного человека без кожи, с оголёнными, как электрические провода, нервами:

И как-то надо разбавлять  
Златую рифму неумелым  
Созвучием, попроще стать —  
Писать на вечности, но мелом.

С косноязычным Стружом можно соглашаться или нет, спорить или даже обижаться, но выслушать стоит, как и всем нам надлежит вслушиваться в чаяния простого народа.

г. Серпухов

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

## КОМУ ПРОТИВОСТОЯЛ БОРИС ШТОКОЛОВ

Кто бы мог подумать, что сам маршал Победы, маршал Советского Союза Георгий Жуков определит Бориса Штоколова в консерваторию, и тот станет великим оперным певцом?!

Кто бы мог подумать, что Борис Штоколов, выступивший на всех известных концертных площадках мира, попадёт на Родине в опалу и запрет из-за песни “Православные”?!

Кто бы мог подумать, что судьба выдающегося оперного певца Бориса Штоколова дружески и надолго свяжет его с замечательным балалаечником Юрием Клепаловым, и они вместе исполнят романс “Гори, гори, моя звезда!”?!

История взаимоотношений двух русских подвижников – Юрия Клепалова и Бориса Штоколова, – посвятивших жизнь оживлению народной культуры, не могла не заинтересовать меня. Не потому, что один – балалаечник, а другой – оперный певец, а потому, что они оказались в едином строю против попыток вытолкать народную музыку на задворки отечественной культуры и придавить её тяжёлой могильной плитой. Их не устроила политика чиновников от культуры – не допускать народную музыку до народа, и они окажут сопротивление тому чуждому, что навязывается русскому человеку, и когда они почувствуют, испытают на себе месть и травлю власти, то не испугаются, не отступят, а продолжат борьбу.

**– Юрий Михайлович, а когда ты впервые услышал имя Бориса Штоколова? – начал я очередную беседу с главного, как мне казалось, вопроса.**

– Я никогда в жизни не думал, что встречу со Штоколовым и буду с ним общаться. От многих людей я знал, что это был талант глубоко народный. Его называли “советским Шаляпиным”. Я обожал слушать его романсы. Удивительно, но у нас с ним общая история есть. Ведь Штоколов учился в Уральской консерватории Свердловска, и я учился там. Правда, Штоколов учился раньше, чем я. И было это во времена великого нашего полководца Георгия Жукова, который руководил Уральским военным округом.

**– Штоколов не раз признавался, что маршал Жуков сыграл в его судьбе большую роль...**

– Мне Штоколов тоже об этом рассказывал. Жуков присутствовал на выпускном вечере авиашколы, где в самодеятельном армейском хоре пел курсант Штоколов. Внимательно и придирчиво прослушав его песни “Дороги” и “Грустные ивы”, он после выступления подозвал Штоколова и спросил: “Как



тебя зовут?”. Тот ответил: “Борис”. — “А фамилия как?” — “Штоколов”. И тут маршал произнёс сакраментальную фразу: “Товарищ Штоколов, таких, как ты, в авиации много, а тебе надо петь”. Через несколько дней в авиационном училище произошёл переполох. Командир получил приказ Жукова: направить Штоколова в Свердловскую консерваторию. Ректором там был композитор Борис Гибалин, создатель песни “Зовёт гора Магнитная”. Эта известная уральская песня стала местным гимном. Жуков, оказывается, и дальше хлопотал. После того как комиссия Краснознамённого ансамбля песни и пляски имени Александрова прослушала Штоколова, хорошо отозвалась о голосе и направила его в консерваторию, маршал позвонил ректору Гибалину: “Я вам посылаю парня молодого, талантливое, нужно его устроить по всем правилам”. Штоколову предоставили отдельную комнату в общежитии и работу электриком в театре оперы и балета имени Луначарского.

— **Зачем маршалу понадобилось продвигать и устраивать неизвестного парня в консерваторию?**

— Надо знать Жукова. Он любил музыку, сам играл на баяне. Образованный человек. Я бы сказал, не только образованный, он был глубоко русский человек. Талант его сказывался не только в игре на баяне, но и в его полководческом деле. Он был стратег, великий полководец, которого Господь подарил нашей русской земле. Для нас всех это просто легендарная личность. И когда Жуков прибыл в Уральский военный округ, то первое, что он сделал, — создал хор, замечательный Уральский хор.

— **И опять возникает простой вопрос: а хор-то зачем маршалу? Не его ведь это дело — создавать хоры и направлять в консерватории парней, даже если они талантливые. Сегодня вообще не слышно о том, чтобы хоть один прибывший в регион командир дивизии или губернатор создавали народные хоры и стремились бы сохранить наследие народной культуры в “немузейном” виде.**

— Так они и на баяне не играют. Им нет дела ни до народной музыки, ни до нравственного воспитания подрастающего поколения. Жуков — иное дело. Он не только создал хор, он его пестовал, поддерживал, потому что понимал: если страна поёт, то она здорова. Если солдат поёт, то любой враг будет обязательно побеждён. Он придирчиво присматривался ко всем исполнителям, особенно к ведущим, и если замечал таких, как Штоколов, то оказывал протекцию.

— **Штоколов оправдал доверие Жукова?**

— Ещё как оправдал! Стал одним из ведущих студентов-вокалистов. А потом достиг таких высот, что стал надеждой всех оперных театров, буквально все мечтали, чтобы он спел у них. Яркий, сочный голос, глубокий, подкупающий манерой пения. Для нашей среды музыкантов любой его концерт являлся событием, и мы знали, что за ним — будущее, он станет оперным певцом мирового звучания.

— **Как сложилась судьба Штоколова после окончания консерватории?**

— Он пел в Уральском театре оперы и балета в Свердловске. Дальше были Украина, Москва с Большим театром, потом он переехал в Ленинград, и вся его творческая жизнь прошла в Театре оперы и балета имени Кирова. И ленинградцы, когда шли в театр, то так и говорили: “на Штоколова”. Его истинно русский голос, как никакой другой, по мнению музыковедов, выражал характер русского народа, его удаль и талант. Только Шаляпину и Штоколову удавалось органично соединить строгий вокальный академизм с ухарской эмоциональностью и искренней задушевностью.

Больше всего люблю у Штоколова романс “Гори, гори, моя звезда”. Это шедевр. Романс пользовался исключительной славой. Меня также потрясают его партии Сусанина, Руслана, Досифея в “Хованщине”, князя Гремина. Он был лучшим Борисом Годуновым, бессменным на протяжении десятилетий Мефистофелем. Популярность в народе у него была настолько широка и крепка, что власти позволили ему в 80-е годы исполнить в концерте гимн Российской империи “Боже, Царя храни”.

— **Мне ещё нравится “Ямщик, не гони лошадей”.**

— Ещё великолепно исполнял “Утро туманное”, “Хризантемы”, “Живёт моя отрада”, “Полюшко”. Но “Гори, гори, моя звезда” он пел настолько превосходно... Это был просто шедевр, неподражаемый... Никто не смог близко приблизиться к той манере, как он пел. Там была душа России. Там было

всё — и величие русской интеллигенции, которая жила до революции, и величие русского духа, который оставил наш великий полководец Жуков. Там всё слышалось. Всё. Это и подкупало зрителей. С именем Штоколова олицетворялась вся наша культура. У многих наших молодых певцов было желание подражать и петь, как Штоколов.

Клепалов был рад, что судьба свела его с великим Борисом Штоколовым. Их пути пересеклись необычным образом. В один из осенних дней директор Штоколова позвонил Клепалову и спросил, может ли Борис Тимофеевич исполнить его песню “Православные”, и если может, то хотелось бы получить ноты и слова. Оказывается, Штоколов слышал про эту песню много хвалебных отзывов, даже нашёл её в газете “Русский вестник” и захотел сам её исполнить. Клепалов сказал, что обязательно вышлет ноты, и пусть тот с удовольствием поёт. И Штоколов эту песню спел. Да как ещё! На одном из замечательных столичных мероприятий он спел так здорово, что зал, стоя, аплодировал, пожалуй, больше десяти минут! После этого концерта у великого Штоколова закончились все гастролы, все концерты. Либеральная верхушка власти в Кремле дала команду — не пущать, не поддерживать. Между тем, эту песню не каждый певец может исполнить. Проректор московской консерватории рассказывал Клепалову о неудачных попытках Надежды Бабкиной и Эдуарда Хиля. Но дело в другом: ни Бабкину, ни Хиля, ни иную звезду попысы за исполнение песни “Православные” не подвергли опале, как Штоколова. Видимо, власть боялась именно талантливого, пробуждающего русский дух исполнения.

Первая короткая встреча Клепалова и Штоколова произошла в театре МХАТ имени Горького, руководителем которого была Татьяна Доронина. Певец дал сольный концерт, а потом пообщался с патриотической общественностью, которая помогала ему, как в Питере, так и в Москве, преодолеть барьеры чиновников. Тогда Клепалов многое узнал из биографии любимого певца.

Его девизом были слова поэта Некрасова: “Воля и труд человека дивные дивы творят”. Пятнадцать лет на сцене Кировского театра с успехом идёт опера “Судьба человека”. Причиной успеха стала не только героико-романтическая настроянность спектакля, но и тот яркий характер шолоховского героя, который ассоциировался у Штоколова с отцом, погибшим на фронте в 1942 году под Ленинградом. По ложному доносу отец был репрессирован и, добившись освобождения, сразу ушёл на фронт...

В редкие минуты отдыха Штоколов любил кататься на коньках, бродить по лесу и часами сидеть на берегу речки. Бродя по берегу Финского залива и повторяя про себя стихотворение Есенина “Отговорила роща золотая”, он разбудил в себе дар композитора — сочинил музыку к романсу на есенинские строки и стал исполнять его так же успешно.

Вторая встреча произошла в Государственной Думе России, где работал родственник певца. И когда Клепалов зашёл в ресторан парламента, то увидел за одним из столов Штоколова. Поздоровавшись с певцом, Клепалов сказал: “Борис Тимофеевич, это я, тот музыкант, из-за которого все ваши гастролы закончились...”. Штоколов не понял нешуточного раскаяния подошедшего человека и резко заявил: “Какую чушь Вы несёте? Как Ваша фамилия?” Клепалов представился. И Штоколов тут же изменился в лице, разулыбался: “А-а-а, Клепалов, это же ты подарил мне песню “Православные”?! Я её очень люблю!”. На воспоминаниях об этой песне они и сошлись.

“Дайте мне свободную, настоящую Русскую республику! — гремел по залу ресторана голос оперного певца с басом Шалапина. — Я буду там жить!”. Клепалов догадался, чем было вызвано желание собеседника создать свой мир, без чужих людей. Он, видимо, до предела испытал на себе тяжесть гонений и опалы чуждых русской культуре чиновников, преследующих и мешающих его творчеству, концертам, гастролям, встречам с людьми.

Штоколов был страшно обижен на ситуацию, мешающую общению с народом, которую сознательно создала ему власть либералов и русофобов. Он старался много ездить по городам России, выступал в Европе, в Прибалтике, и повсюду его дружелюбно встречали, но сколько на всё это уходило сил и здоровья!

Штоколов рассказал Клепалову, как ему удалось сформировать собственную методику обучения вокалу, как голос звучать должен. Подробно об этом он написал в книге “Гори, гори, моя звезда” с подзаголовком “Как надо петь”.

Вот только передавать свои знания ученикам ему приходилось не в консерватории, а дома. В комнате у певца для ребятишек была нарисована специальная схема гортани. Они учились правильно ставить дыхание, с помощью нужных упражнений делать из глотки рупор.

— **А почему он преподавал ученикам дома, а не в консерватории?** — прервал я рассказ Клепалова.

— Такая антинародная, да и антирусская нечисть пришла к власти в России. Все знали, что Штоколов — Шаляпин советских времён. Его голос узнавали мгновенно в любой аудитории. Все знали, что он — ярчайший артист в плеяде русских басов, один из титанов в истории оперного театра двадцатого века. Но именно эта власть вынудила его уйти из консерватории. Он не только преподавал на дому, но и свою квартиру в знаменитом “номенклатурном” доме, где жил, к примеру, пианист и композитор Андрей Петров, сдавал внаём, чтобы заработать на пропитание. Сам же жил на окраине Санкт-Петербурга. Сын Штоколова, окончивший дирижёрский факультет и тоже оставшийся без работы, подрабатывал извозом.

— **Я не от одного депутата Государственной Думы слышал, что власть окружила блокадой Штоколова не столько за песню “Православные”, сколько за то, что он был на президентских выборах доверенным лицом Зюганова.**

— И то, и другое повлияло. Он не случайно примкнул к Зюганову... А где искать опору? У либералов, у космополитов? Штоколов очень сильно страдал от того, что был не востребован. У него была такая слава! Он весь мир объездил, а тут какие-то временщики и лилипуты во власти объявляют бойкот. Согласись, это преступление власти против всей русской культуры, а не только против Штоколова или Пахмутовой. Кстати, когда я ехал с Пахмутовой в машине по сибирской земле, она призналась в том, что чиновники уничтожают нашу национальную культуру.

— **Да, это преступление. Я выступал в Думе в защиту Штоколова. Помню, как телевидение взорвалось критикой: мол, почему Штоколов оказался в опале? А я вопрошал: а вы разве не знали, что его убрали с телеэкранов по политическим соображениям?!**

В подтверждении сказанного я вынул из папки стенограмму Государственной Думы России и зачитал фрагмент своего выступления перед коллегами-депутатами:

“На этой неделе Россия простилась со своим великим сыном певцом Борисом Штоколовым. Все телеканалы были опечалены тем, что в последние десять лет он был изгоем в стране, не допускался на телевидение, со стороны государства никакой поддержки не имел. В этой ситуации я вспоминаю слова Есенина: “В своей стране я словно иностранец”, — потому что огромное количество людей, служащих культуре и искусству, и писатели В. Г. Распутин и В. И. Белов, и скульпторы наши, например, В. Клыков, и художники, — все они изгой в нашей стране. Пришло время узнать, как у нас будет выстраиваться государственная политика по развитию культуры, по поддержке национальной элиты. С тем, чтобы не дешёвая, вульгарная эстрада царствовала на телевидении, а те люди, которые достойны этого”.

Клепалов достал копию статьи из “Российской газеты”, опубликованной 16 марта 2002 года, и в продолжение разговора зачитал мне слова самого Штоколова. За три года до неожиданной кончины певец заявил журналистам:

“Увы, мой голос, который, кстати, звучит не хуже, чем прежде, оказался сегодня невостребованным — сольных концертов практически нет, а для меня пение — смысл жизни. Но я не бездельничаю, много времени ушло на запись лазерного диска, в нём 20 произведений, столь любимых моими слушателями: “Малиновый звон”, “Живёт моя отада”, “Полушко”, “Ямщик, не гони лошадей”. Однако тираж пока не напечатан, о причине догадаться нетрудно. Нынешняя жизнь для меня невероятно сложна: на настоящее искусство денег нынче не даёт никто. Смотрите, кто только не выпускает сейчас лазерные диски, а у меня с одним-единственным — проблема. Я пою классику, великие русские романсы, но оплатить оркестр для записи даже одного диска — просто невысказимо! Поэтому я записывался лишь с баянистом и пианистом, которые, поверьте, не получили ни копейки! Забвение для артиста — самое страшное, тем более, когда у тебя ещё столько сил...”

Ещё откровеннее Штоколов был с журналистом газеты “Завтра”.

“Хотят превратить нас в быдло, в рабсилу для будущих оккупантов. А молодёжь едет на Запад, хотя там не получает и трети причитающегося заработка. Но едут. Западный мир страшен, и молодёжь абсолютно не знает этого. За тридцать лет я не раз объехал земной шар, повидал хваленый западный мир. Это жуткий, ужасный мир. И рвутся туда потому, что здесь, у нас, вообще ничего не осталось. И ничего не платят”.

“Должен заметить, что я, пожалуй, являюсь первым, и возможно, пока единственным учеником Карузо и придаю большое значение процессу становления мастерства певца, пытаюсь теперь и сам рассказать об этом в написанной мною книге “Гори, гори, моя звезда”, в которой основной акцент делаю на проблеме “как надо петь” – это, в сущности, второе название моей книги. Нынче же хочу создать свою студию, и все деньги, которые я зарабатываю, намерен вкладывать в аппаратуру, чтобы было хорошее качество звука. Я не хочу записываться, делая из Окуджавы Шаляпина, а из меня – Окуджаву”.

Газета “Советская Россия” 17 января 1995 года опубликовала беседу под названием “Какими мы стали Иванами?”. Больше всего меня впечатлила мысль Штоколова о незаметной прививке космополитизма нашему народу.

“Что же произошло с народом? Мы стали Иванами, не помнящими родства. Мы не хотим знать своей истории, своих предков. Принимаем всё в том варианте, как преподносят нам радио и телевидение. Известно, если человеку долго внушать, что он свинья, то он захрюкает. Через эстраду, телевидение нашу культуру пытаются американизировать, на что находятся средства. Но я-то поездил по заграницам и знаю, с каким уважением, с какой завистью говорили о нас за рубежом: вы первые в мире по количеству библиотечных залов и оперных театров, ваши симфонические оркестры и ведущие певцы – на уровне мировых фигур и коллективов... Да, ещё совсем недавно мы имели великое искусство, и оно в прямом смысле служило народу.

...Эти космополиты напрасно думают, что найдут на Западе счастье и уважение. Ни Рахманинов, ни Шаляпин не приняли Запад, и он их до конца не понял. Секрет в том, что истинно русский человек живёт не только ради сытости и достатка, но есть у него и другая жизнь – души и сердца. “Цивилизованному” Западу этого не понять... Преобладающее большинство у нас в культуре и политике – приспособленцы. Особенно актёрская среда, певцы. Ловят каждый взгляд сильных мира сего, ждут подачки с царского стола. Предают свой нищий народ, который, в свою очередь, тоже теряет чувство гордости, самоуважения, коллективизма. Ну вот, может быть, писатели Василий Белов или Валентин Распутин честны перед совестью и народом”.

– **Юрий Михайлович, а в ваших беседах Борис Штоколов рассказывал о том, о чём ни одна газета не писала?**

– О чём мы только не говорили! Обо всём трудно вспомнить. В одном разговоре речь, например, зашла о талантливом певце Юрии Гуляеве.

– **Интересно...**

– Штоколов рассказывал, как он жил в общежитии. Жил достойно. К нему никого не подсаляли – Жуков велел. Однажды Штоколов приходит в общежитие, смотрит, а в его комнате стоит дополнительная кровать. Что за чертовщина? Кто такую наглость имел? Смотрит – на кровати сидит мальчишка. Мало того, что кровать поставили, так ещё и незнакомца привели! Сурово посмотрел на подселенца, а тот сидит так испуганно, руки сжал, колени сжал, голову склонил. И Штоколову вдруг стало не по себе, жалость откуда ни возьмись проснулась. А пацан так сидит, зажался, поглядывает на него молящими глазами. Тут Штоколов спрашивает: “Ну, и кто ты такой? Рассказывай. Как тебя зовут?”. Мальчишка начинает отвечать: “Меня зовут Юра, фамилия – Гуляев”. “Юрка Гуляев, значит?” – переспросил Штоколов. “Да, Юрка Гуляев”. “Ну ладно, смотри, ты парень хороший, живи со мной”, – смирил свой пыл.

– **Чем же Гуляев ему понравился?**

– Не знаю. Скромностью поразил. Когда Штоколов уходил из консерватории, то сказал Гуляеву: “Ладно, живи и дальше, не забывай меня”. А от ректора консерватории потребовал, чтобы комната осталась за Гуляевым и к нему никого не подсаляли, иначе, мол, разговор будет тяжёлый. Он ушёл, а Гуляев года три-четыре так и жил один в комнате.

– **Они, кажется, всю жизнь были друзьями?**

— Судьба не раз сводила их после окончания консерватории. Мне было приятно, что два русских человека умели дружить и поддерживать друг друга. Дружба их была крепкой, замешанной на любви к народной культуре. Об этом мне говорил лично Штоколов. А когда на концертах я пересекался и общался с Гуляевым, то же самое слышал и от него. Два великих человека говорили друг о друге с восторгом.

Запоминающейся оказалась встреча Юрия Клепалова с Борисом Штоколовым на одном из концертов у Татьяны Дорониной во МХАТе. Они тогда долго разговаривали об искусстве. Штоколов говорил о значении голоса, о том, как надо петь, о своей работе над учебным пособием для желающих овладеть тайнами пения... Иногда он вкраплял в разговор фрагменты воспоминаний о службе юнгой на Соловках, о работе электриком на кораблях Балтийского флота. Но больше всего говорил о творчестве: “У меня сейчас голос стал звучать лучше, как никогда!”. “А чем это вызвано?” — интересовался Клепалов. И Штоколов откровенно делился: “Что-то во мне такое открылось! Удивительно! Голос стал звучать настолько мощнее, и полётно, и красиво... Я хочу открыть свою школу...”

Клепалов знал, что Штоколов активно занимается педагогикой, работает с детьми. К нему записываются, ходят на консультации... Всё то, что он приобрёл, что Господь дал, ему хотелось отдать молодёжи.

Он не сдавался. И Клепалов, бывая на его концертах, замечал, как у Штоколова необычайно красиво стал звучать голос. Ему показалось, что это было связано с тем, что он освободился от пут, сковывающих его талант, от бед и напастей, которые на него обрушивали власть и пресса. Он раскрылся в своём творчестве всё глубже и сильнее.

Для Клепалова в то время главным было внушить любимому певцу его потребность обществу и стране. А Штоколов, чувствуя в Клепалове друга и единомышленника, пересказывал ему свои жизненные истории и перипетии. Они были связаны и с недоброжелателями в театре, которые всегда старались его в чём-то уколоть, высказать ему критические замечания не по существу... Завистники и конкуренты, не заслужившие ни успеха, ни внимания народа, по щепочке разбирали арии Штоколова даже тогда, когда он был в зените славы...

Когда режиссёр Антон Васильев готовил в театре к показу спектакль “Высотка”, Доронина пригласила Клепалова поучаствовать в нём в роли композитора. Самая пронзительная сцена в спектакле — когда мать вспоминает своего сына под нежные звуки балалайки. Зрители вытирали слёзы. Спектакль увидел Штоколов, и после этого он стал чаще бывать у Дорониной на всяких мероприятиях.

В следующий раз Клепалов со Штоколовым пересеклись в этом же театре, но уже не на спектакле, а на небольшом концерте, после которого у Штоколова появилось желание исполнить романс “Гори, гори, моя звезда” под балалайку. Он тут же попросил Клепалова вместе порепетировать. Доронина, наблюдавшая за репетицией, предложила им выступить у неё в театре с этим номером на отдельном концерте. Штоколов согласился. Более того, он заявил, что готов с Клепаловым поучаствовать и в других концертах. Репетиции были, а концерт так и не состоялся. Штоколов жил в Санкт-Петербурге, а Клепалов — в Подмоскovie. Неблизкие расстояния мешали состыковать удобное для каждого время. К тому же их встречи чаще всего происходили на вокзале. Когда Штоколов выезжал в Москву, то он звонил Клепалову и просил встретить его. Тот вместе с сыном приезжал на вокзал, брал тяжёлую сумку и сопровождал до гостиницы.

Романс “Гори, гори, моя звезда” в исполнении Клепалова и Штоколова был записан у Татьяны Дорониной. Жаль, что репетиция была мимолётным событием, видимо, потому запись и не сохранилась. Клепалов по сей день переживает, что постеснялся и не забрал кассету сразу.

Но в душе Клепалов радовался тому, что Штоколов спел его песню “Православные”. К счастью, запись этой песни у него сохранилась. Есть у него и запись романса Штоколова на стихи Ивана Бунина. Кассету “Сириус” он хранит в домашнем архиве как зеницу ока.

Штоколов на всю жизнь остался для Клепалова недостижимой звездой — звездой русского накала, русского уровня, русского неба.

МАРИНА ПЕТРОВА

## О ТРАДИЦИЯХ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ

В данной статье речь пойдёт о традициях, сложившихся в профессиональном светском искусстве России. Обычно под словом “традиция” подразумевается только то, что отстоялось во времени и как величина постоянная переходит от одного поколения к другому. В столь недалёком прошлом сам термин в области искусства рассматривался преимущественно в социальном аспекте, им оценивался и сам художник, и его творчество. Всё это органично определялось тем гуманистическим ракурсом, в котором рассматривалось вообще само русское искусство.

В моих многочисленных статьях – или монографических, или посвящённых тому или иному историческому периоду в истории нашего искусства, жанру, а порой отдельной, но очень значимой в отечественном искусстве картине, или даже циклу произведений, объединённых порой одним героем, а в другом случае – единой темой, – был дан достаточно обстоятельный анализ, логически прослеживались причинно-следственные связи. Причём в центре внимания были не только сами картины и их авторы, но и время, в которое они творили. А оно оказывало огромное влияние и на избрание самой темы, её толкование, а также формирование мировоззрения и по мере взросления художника, и под влиянием веяний в искусстве и тех явлений, которые происходили в общественной жизни.

Поэтому в этой статье хотелось бы обобщить те выводы, к которым я приходила в процессе исследования, тем более что они в значительной степени не столько скорректировали само понятие “традиция”, сколько существенно изменили его характер, смысл, направленность, содержание.

Рождение профессионального светского искусства в России связано с созданием в 1757 году Академии трёх знатнейших искусств: живописи, скульптуры, архитектуры.

Вступившая на престол в 1762 году Екатерина II уже через два года взяла Академию под своё крыло, прекрасно сознавая, что искусство может стать хорошим проводником важных государственных идей и в жизнь, и общественное сознание.

Откровенно заинтересованное отношение Екатерины II к Академии способствовало также пробуждению общественного интереса к ней. На страницах журналов, на заседаниях созданного при Академии общественного комитета “Вольных общников” разворачивались порой острейшие дискуссии о целях и задачах отечественного искусства, путях его развития, о назначении художника, идеях и задачах его творчества.

Характерно, что уже изначально все сходились на признании за искусством воспитательной функции. Эта точка зрения сама по себе далеко не нова.

Ею определялась служебная функция искусства еще в средневековой Руси. Она же позднее, уже во времена Петра I и породила самую идею создания Академии художеств. При Екатерине же была чётко сформулирована задача Академии, которая должна была дать художнику не только всестороннее общее и специальное образование, но и воспитать его как мыслящего человека, то есть личность. Нельзя сказать, что древнерусское искусство и, прежде всего, церковное, способствовало формированию и образа мыслей, и образа жизни православного народа, было лишено столь же значимой высоты. Но в данном случае речь идёт о становлении светского искусства, об обретении им не только профессиональной основы, но и своей содержательной глубины, измеряемой масштабом задач просветительства. Поэтому далеко не случайно Академия с самого начала становится центром художественной жизни страны, трибуной, с которой провозглашаются положения, заново сформулированные современной национальной эстетикой. Вся полемика развернулась вокруг понятия главного в искусстве.

Несмотря на всю остроту дискуссии, первым пунктом Программы была записана идея, предложенная Сумароковым, который на первое место ставил идею патриотизма. И поэтому задача искусства определялась сама собой: отражение истории народа, его славного, героического прошлого. Патриотическая идея, считал Сумароков, способствует, прежде всего, воспитанию любви к Отечеству и готовности отдать за него жизнь.

Многие, соглашаясь с этим требованием, тем не менее считали самой главной задачей государства воспитание человека нового типа: образованного, законопослушного, с развитым сознанием общественного долга.

Немало голосов раздавалось также в пользу откровенной, изболительной критики пороков и прославления добродетели.

Тогда же, пожалуй, впервые прозвучал голос, вещающий о том, что искусство должно принадлежать всему народу. Тем самым элита, просвещённые круги не только не выделялись в особую касту, но воспринимались как часть этого народа. И, следовательно, сам народ, независимо от социального положения, рассматривался как единое целое.

Выдвинутый тезис имел принципиальное значение для русского общества, раскол которого, в связи с влиянием Запада, начался ещё в XVII веке.

Вот почему при такой полифонии взглядов столь значимо было единое понимание предназначения художников как наставников и воспитателей своих сограждан. Отсюда мысль об особой ответственности художника не только за выбор темы или сюжета, но, прежде всего, за самую идею и её воплощение. Выдвигая этот постулат, русская эстетическая мысль предполагала не столько равенство, сколько художественное соответствие формы содержанию и, значит, сохранение за последним всё же приоритетного положения. Но при этом не в ущерб форме, стимулируя тем самым постоянное совершенствование мастеров.

Достаточно остро встал вопрос об отношении к европейскому историческому наследию. Речь не шла о полном отрыве от него. Напротив! Но как быть: подражать ему или, опираясь на него, искать свой путь в искусстве? Полностью следовать живописной стилистике знаменитых классиков, повторять уже пройденное или, опираясь на достижения прошлого, развивать свою собственную стилистику, свой художественный язык, совершенствовать свою живописную манеру?

При всём разнообразии суждений, мер и предложений в этих жарких спорах тем не менее звучала главная, объединяющая всех мысль: дабы найденная художественная форма была адекватной той высоте идей и идеалов, которые проповедует искусство, наставляя и воспитывая народ.

А это породило ещё один, крайне важный вопрос. Что важнее: полное самовыражение, независимо от того, понимают тебя или нет? Или в условиях эпохи Просвещения, главная цель которой гуманизация, то есть расцерковление общественного сознания, самым важным для искусства, для самого художника оказывается проповедь насущных идей о христианских ценностях, о напоминании обществу о его "крещении и правоверии" (св. Дмитрий Ростовский).

Много позже А. Г. Венецианов, будучи человеком верующим, как, впрочем, и все русские художники, подвергнет сомнению сами идеи Просвещения. "Чёрта ли в том Просвещении, – говорил он, – если в нём нет веры".

Так уже с самого начала закладывались основополагающие традиции русского искусства. И главная среди них — проповедь христианских ценностей.

Примечательно, что первыми преподавателями в Академии были известные у себя на Родине иностранные художники. Тем не менее академисты выбирали для своих работ, и даже дипломных, большей частью не мифологические сюжеты и не события из европейской истории. Они избирали темы из русских летописей, “Истории России” М. В. Ломоносова, из произведений М. М. Хераскова, Я. Б. Княжнина и др. Молодые выпускники Академии и стали открывателями национальной темы в русском искусстве и в этом смысле создателями традиции обращения к историческому прошлому России.

Но главной для них была проповедь христианской любви, христианского братолюбия, идеи духовности как начала начал русской государственности, торжества духовных сил над страстями человека и т. д. Таким образом, с самого начала выявлялась религиозная природа русского светского искусства, формировалась его стержневая — духовно-нравственная основа. Так восставала порушенная Петром I духовная связь времён.

Последующие поколения художников лишь укрепляли эту связь, обогащая русское искусство новыми качествами, открытиями, идеями.

А. Г. Венецианов не заканчивал Академию художеств, а в течение нескольких лет брал уроки у выдающегося живописца В. Л. Боровиковского. Да и живопись Венецианова не отличается особой эффектностью, “украсами”, как говорили в старину. Венецианов — первый художник, героями портретов которого стали простые крестьяне. Он первым стал писать о крестьянском труде. Он первым воспел русскую природу такой, какая она есть, в её естественной простоте и скромности, с её ширью и открытостью небу в отличие от основателя в XVIII веке пейзажного жанра Семёна Щедрина, который так поразивший его вид природы в соответствии со своими идеалами, что, в конечном итоге, картина практически имела мало общего с первоисточником.

Венецианов же, напротив, стремился запечатлеть вдохновивший его вид природы, поразивший своей естественностью и красотой.

Но всё же главное достоинство искусства этого художника состояло в другом. Ещё в образах русских крестьян он подмечал не только характер, скромность, застенчивость и простоту. Он первый, кто сумел выявить и отобразить в этих образах важную особенность, природу русского национального сознания — его созерцательность. Для русского сознания, сформированного церковью, это имело не просто важное, а принципиальное значение, определившее отношения русского народа с миром и восприятие его как совершенное творение Божие. Именно этим отличается природа русского национального сознания от рационального сознания европейцев. Поэтому для них главным становится вопрос: КАК, то есть форма. В то время как для русского художника всеопределяющим вопросом оказывается вопрос: ПРО ЧТО. Имеется в виду не сюжетная, событийная сторона темы, а её осмысление религиозным сознанием, прочтение сквозь призму христианских ценностей. Венецианов — не открыватель, а продолжатель этой традиции, исторически сложившейся сразу в отечественном профессиональном искусстве. Но он дал импульс к развитию этой традиции, обогатив её принципиально новым явлением — духовной созерцательностью. Это особое состояние души, которая верой возносится к небесам. И уже оттуда, из небесной выси, духовными очами художник созерцает окружающий мир, открывая красоту Божьего творения. Сам Венецианов писал: “Художник объемлет красоту и научается выражать страсти не органическим чувством зрения, но чувством высшим, Духовным, тем чувством, на которое природа так щедра бывает...”. Впоследствии многие художники и, прежде всего, пейзажисты будут пытаться подняться на эту художественную высоту, но оказалось, что только одного мастерства мало. Очень важно, чем живёт художник, чем наполнена его душа, его мысли, что проповедует он своим искусством.

Но традиция позволяет не только передавать социально-культурное наследие, отстоявшееся в веках. В русском искусстве само понятие “традиция” оказалось необычайно широким и вместе с тем очень ёмким.

Россия, как известно, богата художниками разных национальностей. Некоторые из них принимали Православие и считали себя русскими, другие хранили верность своей нации и своей религии. Но все они жили в русском мире, возрастали талантом своим на русской почве, на русской культуре



и посвятили служение искусством своему Отечеству – России. И уже неважно, что, например, Карл Брюллов был немец и лютеранин. Но он родился в России, мальчишкой пережил войну 1812 года, закалившую его патриотические чувства, а позже, в Академии художеств, в классе “Исторического рода живописи”, педагоги помогали не только развитию его таланта, становлению личности, но и развивали его историческое мышление. Всё это спустя годы раскроется великим откровением в его знаменитой картине “Последний день Помпеи”. Именно Брюллов в своей картине воплотит в фигуре священника собирательный образ Церкви Христовой. Именно Брюллов проведёт евангельскую мысль об идее спасения. Более того, именно Брюллов “в свой жестокий век” восславит Любовь – Великую, жертвенную стихию любви во имя спасения ближнего своего. И всё это будет впервые и не только в русском, но и мировом искусстве. И далеко не случайно на приёме художника в Академии после его возвращения в Россию его бывший педагог, мэтр исторической живописи А. Е. Егоров со слезами на глазах и трепетом в голосе произнесёт: “Ты кистью Бога хвалишь, Карл Павлыч”.

Но традиция не есть нечто однозначное и застывшее. Как явление она развивается во времени и пространстве. В частности, национальная тема, поднятая в XVIII веке и осмысленная с христианских позиций, в последующем оказалась способной раскрыть заложенный в ней потенциал: евангельскую глубину мысли, воспеть Любовь – эту наипервейшую заповедь Христову.

Традиционно с самого начала историческая живопись была соединена с религиозной в едином классе “Исторический род живописи”. И неслучайно. Сама религиозная живопись была воспринята русскими художниками в том виде, в котором она существовала в Европе ещё в XVI веке. Именно тогда Священное Писание было объявлено историческим источником. И если раньше художники, обращаясь к библейским темам, пытались в силу своей культуры, веры, а главное – воцерковленности раскрыть, хоть и безуспешно, божественный смысл избранного сюжета, то теперь ситуация меняется.

Для религиозно мыслящих русских художников, в отличие от их европейских коллег, сакральность темы оставалась традиционно непреложной и не зависела от их индивидуального понимания или видения. Но шли они к раскрытию тайной, божественной, то есть сакральной сути сюжета тем же путём, что и европейцы. Первый, кто понял всю несостоятельность этого пути, был А. П. Лосенко, не обращавшийся больше к религиозной живописи. Тем не менее ещё почти 100 лет художники продолжали создавать свои религиозные полотна, опираясь на мирские, земные мысли, чувства, состояния.

Эту традицию заземления, обмирщения религиозной живописи прервал Александр Иванов своей знаменитой картиной “Явление Христа народу” (1858). Художник не только не пытался давать толкование сцены Иоаннова крещения, но даже не ставил перед собой такой задачи. Блестящее, при этом обязательное знание христианской символики позволило художнику наполнить полотно религиозными мыслями, чувствами, переживаниями, глубокими ассоциациями, которые были привнесены в картину как откровение, как исповедь его религиозной души. Так впервые в русском искусстве зазвучала высокая исповедальная нота. И именно потому, что она не претендовала на интерпретацию и не определялась ею, она была сразу же услышана и воспринята художниками, работавшими в самых разных жанрах.

Сам того не подозревая, Иванов открыл новое явление, создал, по сути, новую традицию, ставшую одной из фундаментальных опор русского искусства второй половины XIX века.

Хорошо известно, как начинал В. Г. Перов. С какой критикой он – 20-летний молодой человек, за душой которого ни взглядов, ни принципов, ни тем более сложившегося мировоззрения – обрушивался на Церковь под влиянием вейный критического реализма. За свою программную картину “Проповедь на селе” он даже получил золотую медаль и в соответствии с Уставом Академии получил право на стажировку во Франции. Именно здесь начинающий художник пережил своего рода катарсис, нравственное преображение. Здесь, в Париже, язык, характеры, нравы, обычаи, традиции, сам образ жизни – всё чужое. И Перов понимает: чтобы всё это познать, нужны годы. И уже через 2-3 месяца после приезда в Париж он пишет в Академию письмо с просьбой не продлевать, а сократить срок его стажировки, дабы посвятить последующие годы изучению своего народа.

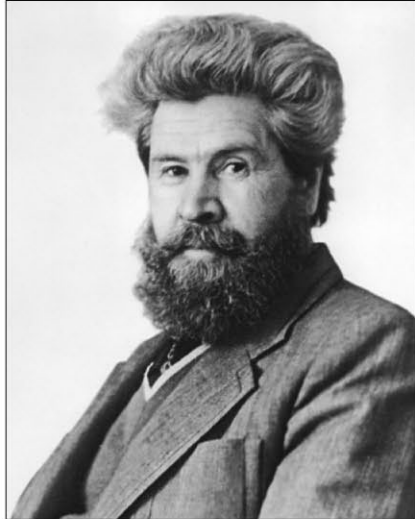
Он и в ранних своих работах никогда не был сторонним наблюдателем. Но теперь, по возвращении в Россию его интересует не житейский бытовизм, а состояние души человека, его самоощущение, его поведение в бедственных обстоятельствах. И впервые в русском искусстве рождается ещё одно новое качество – сострадание. Именно оно сближает героев картин Перова со зрителем, вызывая в душе сочувствие, сопереживание, сострадание. Начинает меняться и само искусство, становясь более человеческим, жизненно-правдивым, без той социальной остроты и направленности, к которой всё время призывал В. В. Стасов; в картинах Перова и горечь, и страдание, и даже трагедия поданы художником без крика, слёз и рыданий. Напротив, его герои страдают тихо, негромко. Смиренно.

Сформулированное ещё в Париже новое определение бытового жанра как “отображение нравственного образа жизни народа” воплотилось практически во всех произведениях мастера, начиная с самой первой картины, созданной им в год возвращения в Россию. И потому неудивительно, что именно Перов явится автором психологического портрета. И поднимет этот жанр на высшую ступень, став создателем духовного портрета, в котором получит своё отображение духовная сущность человека, что, по словам Достоевского, и определяет “главную идею его лица”.

И хотя тогдашняя критика ещё продолжит с иронией говорить о пейзаже как о декорации, о фоне и т. д., тем не менее не стремление к самовыражению, не утверждение своих идеалов, а душевный настрой, состояние души, потянувшейся к храму, будут определять полноту пейзажного образа. Более того, именно такие произведения сыграли свою неоценимую роль в формировании пейзажа как самоценного, самодостаточного жанра.

Раскрывается совершенно иная история традиции в русском искусстве. Проповедь христианских ценностей определяет духовно-нравственную основу отечественного искусства. Ничего другого сознание, сформированное Церковью, религиозная душа народа, воспринимающего мир как совершенное творение Божие, создать не могла. И не случайно в первых рядах оказались художники, которые несли в себе дух веры, любви, наполняли свои произведения проповедью духовных добродетелей и считали, что “у счастья только один глаз, на макушке, устремлённый в Небо, где живёт Бог” (В. Г. Перов).

## К 100-ЛЕТИЮ БОРИСА АНДРЕЕВИЧА МОЖАЕВА



*“Принудить его к “лакировке действительности” не смог бы и сам Господь Бог. Он не мог не реагировать на то, что творится вокруг. Отчего гибнет наше национальное достояние — народные промыслы? Во что обходится мелиорация? Кто придумал делить деревни на перспективные и неперспективные? Почему с такой бесшабашностью рушим мы то, что создано до нас? Печальные судьбы осиротевших деревень. Земля-матушка. Мужик-кормилец. (“Мужик должен возродиться, если мы хотим жить в достатке и быть независимым государством”)...”*

Читайте статью Тамары Куприной о Борисе Можяеве и его статью “Куролесица. Кривотолки вокруг истории России” на стр. 260.

## К 100-ЛЕТИЮ ПЕТРА СОЗОНТОВИЧА ВЫХОДЦЕВА



Фронтовик, воевавший на Сталинградском фронте, на Северном Кавказе, участвовавший в штурме Кёнигсберга, награждённый тремя орденами Отечественной войны, орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени, он стал одним из ведущих специалистов по русскому фольклору и его связи с современной отечественной литературой. Его книги “Александр Твардовский”, “Русская советская поэзия и народное творчество”, “Павел Васильев”, “С думой о Родине”, “В поисках нового слова”, “Земля и люди” вызывали пристальный интерес у читателей и были предметом ожесточённых литературно-критических полемик.

Пётр Созонтович был непримиримым борцом за русское слово и дело, за что в период очередной смуты в конце 1980-х годов был уволен из Института русской литературы, где много лет работал в Секторе народнопоэтического творчества. Его двухтомный труд остался неопубликованным.